

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

МОСКВА 40-х

В Москву и Москва 1944 года

Дорога до Москвы — в сущности, почти через всю Европейскую Россию — мне помнится не то чтобы во всех подробностях, но довольно ясно. Наши две теплушки грузились спокойно, никто не волновался, не боялся, что не попадет, как все вокруг нас во время поспешной эвакуации. Руководил всей экспедицией бывший председатель завкома, человек разумный и организованный. Фамилии его я не называю, потому что буду приводить его высказывания и рассуждать по его поводу, так сказать, в историческом смысле — он был ярким примером советского двоемыслия. Но черта это не личная, и связывать ее с фамилией одного, в сущности совсем неплохого человека — несправедливо. Хоть и начала она проявляться почти сразу. Не знаю, по его ли инициативе, но с его ведома и согласия, даже при его активном участии были собраны деньги для ускорения продвижения наших вагонов. Другими словами, для взяток. Для взяток тем, от кого на сортировочных станциях зависело, к какому составу нас прицепить — к тому, который отойдет через два часа, или к тому, который только сформируется через два дня. Мера была вполне разумная, но мало соответствующая его официальному мировоззрению — оно требовало от него упования совсем на другие стимулы. Это никак не могло укрыться от моих глаз. Я тогда был очень зорек насчет этих несоответствий, хотя уже и менее скор на осуждение за них. Стихия жизни действовала и на меня — тоже ведь вопреки ригоризму догонял родителей на ступеньках и «зайцем».

«Правильно» было бы честно уповать на советскую справедливость и «качать права» на каждой станции. Думаю, что таким способом он подорвал бы себе здоровье и голос, а

мы бы добрались до Москвы недели, в лучшем случае, этак за три, вконец поистратившись и дойдя до ручки. И благодарен ему за такую принципиальность не был бы никто — ни мы, грешные, ни его начальники. Да и сам Сталин не требовал от своих особой чистоты — было бы задание выполнено, а на все, особенно нравственные, издержки при этом внимание обращалось редко. Но вольности эти были нелегальны, официальная мораль их не разрешала, и каждый даже в интересах дела нарушал ее требования на свой страх и риск — при случае его могли и привлечь за это.

Но это уже обобщения, касающиеся не только обстоятельств нашего путешествия. «Беспринципность» бывшего предзавкома привела к тому, что мы доехали дня за четыре. На всех сортировочных нам поначалу обещали несколько суток «загорания», но нигде мы не стояли больше нескольких часов. Наши ходатаи отправлялись на переговоры, и довольно скоро к нашим теплушкам подходила маневровая «кукушка» и перетаскивала их к стоящему уже под парами составу, куда нас тут же и прицепляли. И мы ехали дальше. Все это делала взятка. Впрочем, взяткой это называть было бы неточно.

Я был свидетелем одного такого «взяткодательства». Это было на станции «Рыбное», уже за Рязанью. До Москвы теперь было — рукой подать, а нам и здесь обещали долгую задержку.

На переговоры, как всегда, отправилась делегация во главе с предзавкома. По какой-то причине и я увязался за ними. Искали они не начальника станции, а сменного диспетчера, непосредственно руководившего формированием составов. Помещался он в какой-то стеклянной будке, стоящей высоко над путями. Туда мы взобрались — я сзади всех. Дальше произошел знаменательный разговор. Он начался после того, как, узнав в чем дело, диспетчер наотрез отказался что-либо предпринять. Он не видел для этого никакой возможности. Положение наше показалось мне совершенно безнадежным. Но никого больше это не обескуражило.

— Да ты погоди, не спеши! — дружелюбно, самым тонким показывая, что верит в здравый смысл собеседника, возразил на этот однозначный отказ предзавкома. — Давай сначала поговорим.

Тут же на белый свет явилась и была разлита в припасенные кружки водка, стало нарезать на газете сало — деликатес тоже не тривиальный в те дни.

— Это что? — возмутился диспетчер. — Взятка?

Я и теперь уверен, что взятки он бы не взял. Но ведь и наши были не лыком шиты и не в Швейцарии родились.

— Нет, — уверенно сказал глава делегации. — Это не взятка, это — водка.

Силлогизм сработал. Выпили вместе за победу, поговорили о том о сем, потом вернулись к главной теме.

— А как нам все же добраться до Москвы? Пойми нас тоже... Едем издалека... Столько времени ползем... А тут уже близко, и не укусишь...

Но теперь диспетчер, заметно к нам потеплевший, возможность помочь нам увидел.

— Ничего, ребята, я вас сейчас к такому составу прицеплю — без остановки до Перова домчит...

После чего обе стороны, вполне дружественно расположенные друг к другу, вернулись к прерванным занятиям. Утром мы были в Перове.

Что же произошло? Неужто диспетчер купился или продался за доставшуюся ему часть пол-литры и шматок сала? Да нет, конечно. Ему бы с удовольствием отдали всю пол-литру целиком, только сделай. Но он бы не сделал. В том-то и соль, что ему ничего не дали, а просто с ним выпили. И тут произошло следующее. До этого мы для него были просто клиенты, проталкивающие свои два вагона, а таких перед ним прошли тысячи. Что говорить — весь рабочий день он имел дело с такими, и все грузы были срочными. Процесс совместного возлияния разрушил эту инерцию, и он увидел в нас людей, которым надо доехать до дому, и понял, что ему совсем несложно прицепить эти два вагона к чему угодно. Именно поэтому на Руси иногда за водку можно сделать то, чего не сделаешь за деньги. Речь не о пьяницах или алкоголиках, а о нормальных людях... Именно в таких она иной раз разрушает барьеры и пробуждает естественную человеческую связь с другими людьми. Думаю, что я это почувствовал и частично осознал уже тогда, когда издали наблюдал за этой трапезой (я в делегацию не входил). И мне даже — вопреки воспитанию и тогдашнему мировоззрению — это понравилось. Эта неформальная человече-

ность, с которой я сталкивался не раз и потом — по самым разным поводам и в самых неожиданных местах, — очень меня всегда привлекала в России. Она помогла выжить и уцелеть многому. Поможет ли на этот раз (писал в июне 1993-го, перечитываю в октябре 1997-го)?

Вообще поездка была нетяжелой. Люди друг к другу относились спокойно и дружелюбно. Но запомнились мне, кроме предзавкома, которого я знал и раньше, только один «въедливый» сухощавый старик и двое ребят.

Старик этот был явно умен, всерьез начитан, общался в Москве с какими-то явно «старорежимными» профессорами (такие тогда, несмотря на все чистки и «ответы Керзону», еще встречались) и жаждал общаться, выражать свои мысли. Естественно, я был для него наилучшим объектом. Как для общения, так и для разоблачения. Детально того, что он говорил, я не помню. Говорил он осторожно, но в то же время резко, мысли его были трезвы. Сколько я помню, предъявлял он серьезные претензии к русскому человеку как к таковому. Под которым — он специально это уточнил — разумел «всех, населявших территорию бывшей Российской империи». Обвинял он его в лени и безответственности, в склонности к упрощенным решениям. Он, конечно, не упоминал революции и большевизма, но явно имел их в виду, и я это если не осознавал, то чувствовал. Вроде я защищал идейность как смысл жизни, и вроде он этой цели не отрицал, но вроде и не отрицая ее, не оставлял камня на камне от моих рассуждений. И несмотря ни на что обаяние его на меня действовало.

Однажды, осведомившись о моих планах (военная газета, литература), он отнесся к этому скептически. Такое отношение к моим гордым планам — содействовать творчеством победе коммунизма, другими словами, победе справедливости во всем мире меня поразило. Но больше всего меня поразили слова предзавкома, внимательно прислушивавшегося к спору:

— Ну, конечно... Как все, поближе к государственному пирогу...

Я опешил... Я и теперь не думаю, что эти слова в отношении меня справедливы. Но оставим на время в стороне вопрос о том, кем был тогда я сам, к чему стремился, что понимал. Этому в этой книге уделено достаточно строк, и

отнюдь не всегда апологетических. Но ведь произнес эти слова функционер этой системы. Как говорится, чья бы мычала! А констатировали его слова всеобщее, а не только мое личное (я только пошел по общей дороге) стремление быть поближе к пирогу, как единственную мотивацию общественной деятельности. Что его вело? Распространенное представление о вольготной жизни писателей и артистов, которые подобрались к этому пирогу ближе и удобней, чем он сам, уставший от ежедневной текучки? Отчасти, может, и это. Но не только.

Нет, это не было брюзжанием опального боярина. Он не был опальным. Я его называю «бывшим», но это относится только к должности председателя завкома, на которой я его застал. Остальные его должности не были ниже, и место его в иерархии за ним сохранялось. И сейчас его переводили в Москву, а не понижали в должности, не удаляли от вышеназванного пирога. Так что его слова не были вызваны личной обидой, а отвечали каким-то его собственным, скрытым от самого себя представлениям о «нашей советской действительности». Он сам в ней что-то чувствовал, но, вероятно, относил к дурному поведению людей. Сам он был человеком хорошим, такая у него была репутация на заводе, но все равно ведь частью страшной машины. Но этого он не понимал, да и я ведь до конца не понимал. Это его высказывание — естественное проявление оруэлловского (кстати, выведенного из советского опыта) двоемыслия (*double think*), которое хуже, чем неискренность, когда человек говорит одно, а думает или делает другое. Нет, это когда у человека есть одновременно два представления о том, что его окружает: официально-идеальное для примирения с действительностью и реальное, чтоб в этой действительности существовать и действовать. Тяжесть моего положения в том как раз и была, что на двоемыслие я способен не был.

Сталинщина отнюдь не нуждалась в увязывании своих ипостасей в одну. Но извечное стремление к этому свойственно людям, что и проявилось в этой реплике предзавкома. Непосредственно и в глубине души я не начал относиться к нему хуже. — чувствовал в нем хорошего человека, а это уже вопреки всем моим взглядам имело для меня самостоятельное значение... Как видите, мой ригоризм за-

метно вышел — особенно после того, как я сам оказался неспособным быть таким, каким считал нужным.

Но и от старика, и от предзавкома меня отделял возрастной барьер. Ближе всех я сошелся в пути с двумя своими сверстниками — рабочим Борей и техником по фамилии Богоявленский. Люди это были совсем разные, объединяло их только отсутствие денег на дорогу. В пути я им одалживал деньги. Следует помнить, что все, кроме меня, возвращались к себе домой и на свою предвоенную работу. Я один — ехал в полную неопределенность, и какие-то небольшие деньги у меня поэтому были. Вернул мне их только Богоявленский. Через несколько дней после приезда, он пригласил меня к себе, его семья очень мило меня приняла, и все деньги были мне с благодарностью возвращены. Представитель же пролетариата не вернул мне ни копейки, встреч избегал. А когда Богоявленский, встречая его на заводе, спрашивал об этом, в ответ мрачно молчал или проезжался насчет моего еврейства. Когда одалживал, этот факт его не волновал.

Самое же пикантное это то, что из доверенного ему чемодана он спер мои единственные более ни менее приличные брюки. Чемодан же я ему доверил на уже упоминавшейся станции Перово. Было известно, что на Казанском вокзале в Москве проверяют документы (есть ли пропуск) только у пассажиров дальних поездов. Пассажиры пригородных электричек проходили в город беспрепятственно. Было также известно, что два наших вагона только через сутки перегонят к той платформе, где их должны разгружать. Поэтому те из моих спутников, у кого было мало вещей, предпочли добираться электричкой. То, что пропуск был выписан один на всех и находился у старшего, их уже не лимитировало. Я же вообще ехал не по пропуску, а по воинскому предписанию, задерживаться в теплушке мне было незачем, и я последовал их примеру. А Борю попросил захватить и мой чемодан. Почему его, а не Богоявленского — теперь уже не помню, но так казалось удобнее. Борис согласился, оставил адрес — точный, а не фиктивный — следовательно, обманывать поначалу не собирался. Аппетит пришел уже, так сказать, во время еды.

Чтоб закончить с этой темой — когда я через несколько дней приехал в Бескудниково, где жил Борис, его не было,

была только его мать, которая о деньгах ничего не знала, но чемодан отдала. Когда я хотел тут же надеть брюки, лежавшие в чемодане сверху, их там не оказалось. На вопрос, где же они, я получил то же «не знаю», на этот раз приправленное тем, что называется «пускать слезу». Она заплакала-запричитала, но так фальшиво, так притворно, и была при этом до того противна и жалка, что мне стало душно, и я быстрее захлопнул чемодан и выскочил из этого дома — пусть в некотором смысле и «без штанов» — только, чтоб быстрее оказаться где-нибудь подальше и не видеть этого. Если бы я выносил свое суждение о русских таким же способом, как многие об евреях — на основании этой встречи, — тоже красивая бы получалась картина. Но я никогда не был расположен к таким обобщениям. Даже в армии. А тут и подавно. Тем более, отнюдь не только с Бориной мамой столкнулся я в Москве. Но это уже относится к Москве, а не к дороге.

Но дорога уже и так кончалась. В Перове я, как и решил, пересел из теплушки в электричку и так впервые приехал в Москву. Конечно, сегодня легко сказать: «приехал». Или как в «Автобиографии» для отдела кадров: «В Москву я приехал в апреле 1944 года». Все это правда, но уж очень формализованная и ясная, введенная в рамки. Когда впервые я вышел на перрон Казанского вокзала, ясным мне не представлялось ничего. У следующего перрона остановился только что прибывший поезд дальнего следования, и все выходы с этого перрона были прочно перекрыты милицией, проверялись документы. У меня документы, вероятно, были в порядке, но было приятно, что в этом не приходится удостоверяться. Вместе со всеми я оказался на Каланчевской (тогда, естественно, Комсомольской) площади — иначе говоря, на «площади трех вокзалов».

Об этой площади я много слышал от своих симских москвичей и быстро в ней разобрался. За спиной у меня был Казанский вокзал — из него я каким-то кружным путем вышел, а передо мной рядом два других: слева — Ленинградский, чуть правее — Ярославский. Последний в отличие от всего вокруг имел ко мне некоторое отношение. Отсюда можно было ехать к платформе «Строитель», указанной в вызове как адрес Лесотехнического института. Правда, там меня теперь, в конце учебного года, тоже не ждали. Не говоря уже о том, что всерьез я не собирался в нем учиться.

Планы у меня были все те же: «идти в военную газету», до этого познакомиться с поэтами, почитать и послушать стихи и т.п. Планы эти выглядели ясно и четко, особенно издалека. Но вот я приехал. Площадь... Три вокзала... Вокруг сует множество людей, все знают, куда торопятся. А мне куда было идти? Где сегодня «преклонить голову»? Мне, для которого сейчас самое родное место — Ярославский вокзал.

Насколько я помню, сразу в Лесотехнический я тем не менее не поехал. А поехал я к своему соседу по Симу (брату тех девочек, с которыми я поделился печеньем) Зиновию Ровенскому. Он к этому времени учился в каком-то институте и собирался в армию. Все это было бы ничего, но дело в том, что у него к тому времени своей квартиры не было: то ли была разбомблена, то ли занята военным ведомством, и он сам жил у подруги своих родителей — к сожалению, забыл ее имя-отчество — у Савеловского вокзала. Туда я и направился, расспросив дорогу. Женщина эта оказалась очень приятной, отличалась той строгой и естественной добротой, которая так обаятельна во многих русских интеллигентных женщинах. Занимала она одну комнату в коммунальной квартире. У нее в комнате уже жил Зиновий, и уложить меня просто было негде. Но в общей кухне (подчеркиваю: общей!) стоял какой-то старый диван. На нем меня и поселили. И соседи, в основном люди простые, это терпели. Помню одну пожилую уже женщину, которая если и ворчала по моему поводу, то только уча уму-разуму, в смысле «как дальше жить думаешь», а не по поводу доставляемого неудобства.

А неудобства я иногда доставлял большие. Однажды родители, оторвав от себя, прислали мне с оказией килограмм масла в жестяной банке. Но солнышко пригрело, и масло прогоркло. Его надо было срочно перетопить. На этом сошлись все женщины в квартире. Но они полагали, что это вполне понятное и однозначное действие. Между тем это было не так. Ибо делать это должны были мы с Зиновием Ровенским, смело взявшим на себя руководство. Сначала мы выложили масло в какую-то кастрюлю, потом эту кастрюлю поставили на огонь, почему-то оставив в ней и ложку. Видимо, мы готовились к длительной операции, ибо, проделав все это, стали беседовать о чем-то интересном. Однако, минуты через две масло густо задымило, и каст-

рюля почернела, ложка тоже. Тогда Зиновий чем-то ухватил эту черную ложку и рывком выбросил ее из кастрюли. Масло вспыхнуло. Но Зиновий и тут не растерялся и залил пожар кружкой воды. Произошел взрыв, и все заполнилось дымом. Сбежалась вся квартира. Каким-то образом тлеющие капли масла проникли через дымоход к верхним соседям. Те тоже прибежали. Пожар потушили, но было весело. Я не знал, куда деваться от стыда — явился в чужой дом и чуть не спалил его. За это меня (помимо стыда) и выгнать могли, даже вроде должны были — а куда пойти? Оргвыводов, однако, не последовало. Я продолжал спать на том же диване. Доброты, несмотря ни на что, тогда еще было много в России...

Так что неудивительно, что я никогда не был склонен слишком переоценивать впечатления от Бороного вероломства и жалких нечистых слез его матери — впечатления, подобные впечатлению от давшей мне первый приют в Москве коммунальной квартиры, перевешивают. А если сравнить его с впечатлением от того, с чем я столкнулся в трехэтажном американском домике, где, кроме двух его хозяев, временно жила еще и их племянница и где вследствие такой перенаселенности ну никак, хоть убей, не было места переночевать четвертому, полуслепому уже человеку, и его на ночь глядя отвезли на поезд — искать приюта в ночном Нью-Йорке, — то вообще вокруг головы каждого жильца этой московской коммуналки сам собой возникает нимб.

Благодаря им я начал постепенно осваиваться в Москве. Прежде всего я поехал в «свой» институт. Оказалось, что до трех вокзалов можно доехать на окружной электричке. После этого долгое время, откуда б я ни ехал «домой» на Савеловский, я добирался сначала на метро до «Комсомольской», оттуда доходил пешком до платформы «Каланчевская» и ехал до «Савеловской». Например, из Центра. И даже от Пушкинской площади. Топография города открылась мне быстро, но не сразу. Но такой вариант пути к Ярославскому вокзалу не противоречил здравому смыслу.

Добрался я до платформы «Строитель» довольно быстро. Теперь каждый дурак знает, что означает железнодорожный термин «платформа» и чем платформа отличается от станции, знает, что станция — хозяйство многопутное (если путей немного, это разъезд), а платформа это и есть

платформа — высокий настил вдоль магистрального пути. Думаю, что платформа — порождение электрички, быстро сбавляющей и быстро набирающей скорость. У паровых поездов сам процесс остановки и отхода занимает слишком много времени, останавливать их через каждые полтора-два километра на магистрали невозможно, это застопорило бы движение. С платформами, как и с электричками, я столкнулся только в Москве: Платформа «Строитель» — первая после станции Мытищи, остановка электрички на главной магистрали. Расположена она сразу после того, как от этой магистрали отходят две местные ветки: направо — на Подлипки—Монино (через Болшево и Щелково) и налево — на Пирогово. Лесотехнический институт расположен как бы по дороге от Строителя к станции Подлипки (город Калининград, Моск. обл.) — первой остановки на Щелковско—Монинской ветке. Тогда он помещался как бы в лесу. Как теперь выглядят его окрестности — не знаю. Описываю я эту топографию потому, что с этим пятячком — Мытищи (вместе с Тайнинкой), Тарасовка (через одну остановку на север от Строителя) Подлипки — связаны существенные отрезки моей жизни. Привожу схематический план этого пятячка.

Мое появление в институте в столь неурочное время вызвало некоторое удивление. Все-таки решили меня принять. Люди, с которыми я имел там дело, были интеллигентными и доброжелательными. Поскольку все равно требовалось прописаться и для этого стать на учет в военкомате, а я хоть и к нестроевой службе в тылу, но был годен, секретарша сказала мне, чтоб я без нее в военкомат не ходил, дня через два она сходит вместе со мной и все уладит. Но я пошел тут же. И был тут же опять мобилизован. Явиться я должен был дней через семь. С этого и началась моя литературная биография. Ибо откладывать поиски литературных знакомств было уже невозможно. И я не отложил, а, несмотря на все предубеждения, отправился в Литературный институт — других доступных мне подходящих мест в Москве я тогда еще не знал, и выбирать не приходилось... Я об этом ни разу не пожалел — предубеждения редко совпадают с истиной. С этого посещения собственно и началась моя московская — пусть поначалу и юношеская, непечатная, бездомная, отчасти сиротская, но все же всегда

меня окрыляющая — литературная жизнь. Хотя официально я относительно профессионализировался — был принят в Литинститут — только через полтора года. Впрочем, моя литературная жизнь началась раньше даже этой зыбкой профессионализации. Но о ней в следующей главе.

Дело в том, что некоторое время, месяцев восемь, она шла параллельно с моим прежним нелепым бытием, которое я вынужден был продолжать волей чисто бюрократических хитросплетений, и на его фоне. Эти два мои бытия мало соприкасались между собой, но люди были и там, и там, а «действительности» в этом «предыдущем» бытии было даже больше. Поэтому перед переходом к рассказу о жизни новой я чувствую необходимость закончить рассказ и об этом своем бытии. Конечно, как фон моя новая жизнь будет как-то просвечивать сквозь этот рассказ (как, вероятно, в следующей главе фон этой моей жизни сквозь рассказ о моих первых контактах в литературной среде), но тут уж ничего не поделаешь — один период одной жизни, одно время, одни боли, один невероятный город, часто тот же культурный слой.

Как помнит читатель, я уже полагал, что вырвался, что бессмысленные нефронтовые мытарства мне больше не грозят, как опять наложил на меня лапу военкомат. Тут уже чувство долга меня не угнетало. Комплекс вины мог я испытывать только по поводу моего прямого неучастия в войне — попытка же опять без всякой пользы для дела превратить меня в чернорабочего-неудачника рождала во мне одно только желание — вывернуться. Особенно когда я чувствовал рядом Москву, все расширяющийся круг друзей, какие-то туманные перспективы... Но ни извернуться, ни попасть к Эренбургу для дальнейшего следования в газету (словно это впрямь зависело от мановения его руки) у меня не было никакой возможности, и в назначенный день и час я был с вещами в военкомате. Не совсем выспавшийся — накануне я не уложился в комендантский час, и патруль, несмотря на повестку, протаскал меня часа два взадвперед по Новослободской. Просто так — видимо, получая от такого властвования удовольствие.

Из военкомата нас — целую группу — стали отправлять на соседние заводы и авиачасти, а их было вдосталь и в Подлипках, и в Большеве. Везде мы подолгу ждали и ото-

всюду нас потом отсылали обратно. В обслуживающий персонал авиачастей нас не зачисляли — пристоличные авиачасти и без нас были укомплектованы техническим персоналом, но и заводы в нас не очень нуждались. В конце концов меня зачислили на оружейный завод №88 в Подлипках (будущее базовое ракетное предприятие Королева, Калининград, Моск. обл.) учеником контролера. На этом моя мобилизованность кончалась — я получил обычные паспорт и военный билет. Получил я и место в общежитии. Так, не совсем добровольным образом, я зацепился за Москву и легализовался в ней.

Это, конечно, было не совсем то, в чем я нуждался — даже в «организационном отношении». Полностью это решилось через восемнадцать месяцев, когда — в сентябре 1945-го — я стал полноправным студентом Литературного института и получил место в знаменитом, многократно с тех пор описанном его общежитии, тогда только что оборудованном в его подвале. Там я впервые был на своем месте, и койка в общежитии, которую я занимал, принадлежала мне по праву. До этого моя приписанность к Москве (пусть к области, но ориентировался я на Москву, да и было это Москвой) не освобождала меня от известной ложности и двойственности положения. Ведь контролер из меня был не лучше, чем фрезеровщик. С той только разницей, что стать фрезеровщиком я действительно очень хотел, а контролером — не очень. Тем более, что поездка в Москву стоила двадцать копеек и занимала, максимум, сорок минут, а там я окунался в жизнь, которую — независимо от того, как я ее сейчас оцениваю, — ощущал и считал своей. Короче, из более сложного цеха меня скоро перевели в более простой, а там чуть не отдали под суд «за прогул».

Формально прогул этот имел место: я ночевал в Москве и проспал нужную электричку. Начальник цехового ОТК, старик недобрый и самолюбивый, с самого начала меня почему-то невзлюбивший, был неумолим и велел дать делу «законный ход» — направить его в отдел кадров, чтоб тот согласно заведенному порядку передал его в суд. О том, что такой «порядок» возмутителен вообще, что он унизителен и для народа, и для страны, я тогда не думал (привык, как и все — к тому ж еще шла война), хотя ощущать себя крепостным было неприятно. Такими ценностями я еще не

оперировал, но сама возможность «попасть под суд» вселяла в меня нечто вроде мистического ужаса. Впрочем, у меня были и более конкретные, совсем не мистические причины для ужаса. Разумеется, не страх лагеря — наказание в таких случаях ограничивалось только несколькими месяцами принудработ с вычетом 25% зарплаты. Не так страшно, но для меня бы это было крушением. Я оказался бы надолго и безвыходно закрепленным за заводом, отчего бы ложность и двойственность моего положения закрепились. И поскольку более уместным для завода человеком я бы от этого не стал, неизвестно, чем бы это все кончилось. Но меня спасли друзья.

Свойством быстро обростать друзьями я обладал всегда. Друзей у меня не было только в армии (до появления там В.Огнева) и на станции Самоцветы. Тем более я успел ими обрасти здесь, на заводе, на станции Подлипки (в городе Калининграде) — под Москвой. Это было тем проще, что завод был московский и люди соответственно тоже.

Знакомые у меня появились и в цеху — два молодых интеллигентных инженера. Потом мастер Фирсов — хороший, добрый человек, в начале тридцатых студент вечернего еще Литинститута. Воспоминание о нем до сих пор обжигает меня стыдом, ибо это ему я по тогдашней своей несобранности до сих пор должен сто — тогдашних, правда — рублей. Но цеховым друзьям не под силу было меня выручить. Сделали это другие люди.

Ибо и на заводе, и в городе образовались у меня и другие знакомства — через редакцию многотиражки, куда я пришел вскоре после своего появления на заводе. Редакцию составляли два человека — редактор и литсотрудник. Литсотрудником работала милая интеллигентная женщина, человек вполне литературный. К сожалению, я не помню ни ее имени, ни фамилии. Я стал давать в эту газету поделки «на злобу дня». С этой женщиной у меня с самого начала установились доверительные и теплые отношения. Она была еще достаточно молода, но существенно старше меня (тогда это было нетрудно — мне было девятнадцать). Читатель, который хочет увидеть в этом завязку романа, разочаруется. Не было ни романа, ни даже тени завязки, хотя она была очень недурна собой. Просто она была взрослой женщиной и немного опекала меня. Она же познако-

мила меня с другой, тоже интеллигентной и еще более взрослой женщиной — для меня, тогдашнего, просто пожилой. Эта женщина была специалисткой по вокалу и ведала на заводе самодеятельностью. Она знала на заводе всех — и директора, и начальника отдела кадров в том числе. Но представлен я ей был не из-за ее знакомств (кто знал, что они мне понадобятся?), а просто так. Кажется, чтоб я ей что-то написал для самодеятельности. Она тоже отнеслась ко мне очень хорошо.

Когда грянул гром, обе эти женщины активно стали меня спасать. Втянули в это дело завком (расположенный в том же помещении, что и редакция), для которого я тоже до этого и отнюдь не в предвидении будущего что-то написал. И, конечно, начальника отдела кадров. Короче, вопрос о том, что со мной делать, почти сразу же потерял оттенок судебности и стал проблемой перевода на другое рабочее место — другими словами, куда меня девать.

И тут на сцене появляется Николай Петрович Тузов, заведовавший тогда заводской художественной мастерской. Может возникнуть вопрос: а кому и зачем нужна на орудийном заводе художественная мастерская? Отвечаю: завкому для правильной постановки наглядной агитации, за которую он отвечал. Говоря проще, для своевременного вывешивания всяких графиков соцсоревнования, плакатов, призывов, портретов и т.п. Возникает другой вопрос, каким образом (на мое счастье) во главе этого предприятия оказался Николай Петрович, по профессии преподаватель литературы, сроду, как мне кажется, ничего не рисовавший? А это уже надо было знать самого Николая Петровича. Для него это быя не подвиг. Все-таки в этой мастерской была некоторая, пусть чисто советски-бюрократическая, но потребность. Потребность в фикации, но не фиктивная потребность — с председателя завкома за небрежение этой фикцией «стружку снимали».

Но когда, встретив меня уже через много лет, он, не моргнув глазом, сообщил мне, что теперь заведует кабинетом русской литературы на том же, теперь уже королевском, ракетном предприятии, был поражен даже я, хорошо знавший способности Николая Петровича. Что это значило, я и теперь не знаю, но ясно понимал и тогда, что никакого кабинета русской литературы ни на орудийном, ни на

ракетном, ни на каком-либо другом подмосковном заводе, НИИ или КБ не требовалось. Безусловно, многим тамошним работникам интерес к литературе был присущ, но, находясь в двадцати километрах от московских книгохранилищ (а часто и живя в Москве), они вполне могли удовлетворять (и, вероятно, удовлетворяли) свой интерес без помощи Николая Петровича и его кабинета. И все-таки факт остается фактом — кабинет этот существовал и Николай Петрович им заведовал. Кого-то ему удалось убедить в необходимости такого кабинета. Я смотрел на него во все глаза, как на кудесника-чародея, а он был вполне доволен произведенным впечатлением.

Совершенно понятно, что такому человеку перевести понравившегося ему юношу (а я ему сразу понравился, как и он мне) почти из-под суда в художественную мастерскую ничего не стоило. Назначение мое состояло в том, чтоб писать подтекстовки к карикатурам — всем нам не давали покоя «Окна РОСТА» Маяковского. Как это происходило, я уже плохо помню. Побывали мы и у начальника отдела кадров капитана МГБ Ивашкина — МГБ, а не КГБ потому, что тогда ГБ было министерством, а не комитетом. Своей принадлежности к ГБ капитан не скрывал — он был в форме. Тогда нахождение представителя этого ведомства на таком посту казалось мне естественным — шла война, а завод был орудийным. Я и теперь думаю, что такие места должны — особенно во время войны — находиться под охраной спецслужб. Другое дело, насколько тогдашнее ГБ, привыкшее формировать «врагов» из фанатичных сторонников режима и мирных обывателей, было способно противостоять реальной враждебной воле. Но сам Ивашкин оказался довольно умным, живым и даже проницательным человеком. Он сразу угадал во мне «своего» — не своего сотрудника, конечно, а одного из тех, кем эти сотрудники занимаются.

Не помню, в этот раз или когда я пришел увольняться, он добродушно заметил:

— Тебя, Мандель, в спецукупорку надо. Смотри, попадешь...

Что такое «спецукупорка» я, конечно, не знал и спросил, но он ухмыльнулся и не ответил. Не помню, с чем был связан этот разговор, может, с какими-то моими стихами, конечно, не крамольными, но все же не казенными, кото-

рые я по какой-то причине или по чьей-то просьбе прочел, может, с каким-то моим замечанием такого же характера, но с чем-то, в чем он уловил самостоятельность. Нет, он вовсе мне этого не желал, это была шутка. Но шутка, основанная на ассоциации. Таких и «укупоривали».

Куда? Во что? Я и теперь неточно знаю, что это такое было — «спецукупорка». Но, видимо, что-то очень плохое. Или лагеря смертников, или баржи, которые до отказа набивали людьми, и их топили в море. А может быть, в «своей среде» так, шутейно, именовались лагеря? Непохоже. Звучало как рабочий термин.

Но шутки шутками, ведомство ведомством, а жизнь жизнью. Этому капитану я могу быть только благодарен. Ничего дурного он мне не сделал, а хорошее сделал — не дал ходу судебным поползновениям вредного старика, а потом, когда пришло время, без всяких отпустил меня на учебу (в тот же Лесотехнический) — тогда это было не мало, очень не мало. Шутки шутками, а через три с половиной года я не обнаружил в своем деле никаких следов его работы: в нем не было никаких следов моего пребывания в Калининграде. Фигурировала только Москва. Собственно только в Москве я тогда и проявлялся по-настоящему (о чем в следующей главе). И там меня в это время, вероятно, брали уже «на карандаш», но сюда это не доходило. Здесь Николай Петрович взял на меня направление у капитана Ивашкина, и меня оформили маляром в деревообделочный цех, начальник которого очень милый и простой человек был приятелем Николая Петровича (у мастерской штата не было), и я был торжественно приведен на свое реальное место службы — в художественную мастерскую. Все это оформление Николай Петрович провернул буквально за час. По дороге я прочел ему какие-то свои стихи, а он в ответ свое, весьма наказуемое по тем временам стихотворение, которое заканчивалось так

Мне говорят, что мы иными стали...
Нас давит сила буквы Це-Ка,
И заварил такую кашу Сталин,
Что Ленину не расхлебать в века.

Должен сказать, что прочел он мне это именно по дороге, между делом, а могло это стоить ему головы. Еще раз

обращаю внимание читателя на содержащееся здесь, кроме всего прочего, достаточно «преступного», еще и противопоставление Сталину — Ленину, как Злу — Добру. Оно в те десятилетия висело в воздухе — сознавалось это людьми или нет. И оно же поэтому было тогда главным криминалом, против которого были в первую очередь нацелены «наши славные органы». Так что Николай Петрович сильно рисковал, читая почти незнакомому человеку эти строки. Провокация исключается: она опровергается как его дальнейшим поведением, так и тем, что ни один работник ГБ не позволил бы себе так свободно разрабатывать эту тему. Покушаться на мистику было бы и для него самого опасно.

Помещалась мастерская, которую возглавлял Тузов, в одной из комнат галереи, тянувшейся вторым этажом вдоль стен по всему периметру громадного цеха или, точнее, комплекса механических цехов. В этой пропахшей красками комнате над непрерывно гудящими цехами я проработал, вернее, прожил (ибо тут же и ночевал), несколько месяцев.

Обязанности мои были неопределенными. Что касается подтекстовок, из-за которых я тут якобы стал необходим, то хорошо, если я их написал два раза за все время. И еще кое-чего писал для цеховых художников, которые тоже каким-то образом относились к нам и подчинялись Николаю Петровичу. В основном же я практически был подсобником — бегал за красками, приносил холсты, иногда их грунтовал. Говорят, последнее требует квалификации, но для нашей продукции хватало и меня.

В мои обязанности иногда входило и водружение нашей «наглядной агитации» на отведенные для нее места. Однажды я должен был водрузить громадное панно над зданием проходной. Николай Петрович и предзавкома снизу корректировали: «чуть ниже», «чуть выше», а я с кем-то еще возился наверху. Потом я — не помню почему, но это нужно было для дела, для быстроты, кажется, (что-то у нас свалилось туда) — спустился вниз с внешней стороны. Оказалось, что тем самым я создал ЧП в отделе охраны оборонного завода. Дело в том, что пропуска находились у их хозяев только на территории завода. Уходя, рабочие оставляли их на проходной, а приходя, называли то ли фамилию, то ли номер и получали свой пропуск. Порядок этот строго соблюдался и никем не нарушался. Если человек

выходил и возвращался несколько раз в день (у меня тоже было такое право), то он проделывал эту операцию несколько раз. И вдруг появился я извне и с пропуском в руках.

— Откуда у тебя пропуск? Как ты вышел с завода?

— Да по крыше, — отвечал я беспечно, зная, что охрана предупреждена о нашей операции — без этого никто бы нам не дал разгуливать по крыше проходной. Но оказывается, это только означало, что нас не надо сгонять с крыши и арестовывать, а не то, что можно выходить с завода, минуя проходную. Перепуг был большой, хотя в моем «переходе границы» не было никакого недосмотра охраны, никакого ущерба военным тайнам и самому делу охраны. Все знали и понимали, чем я занимался и как оказался вовне. Но было нарушено некое мистическое «табу». А ведь это дело по тем временам и раздуть можно было. А так ничего — выругали, потребовали письменного объяснения, которое подтвердили предзавкома и Тузов, и дело закрылось. Вернее, не открылось. Вопреки убеждению многих в России не так уж много было людей, которым было бы приятно кого-либо погубить.

Коллектив у нас был дружный. Состоял он из проходивших проверку наших пленных. И двух или трех глухонемых — среди них одна милая женщина, — они-то и работали цеховыми художниками. На заводе вообще на разных работах была занята целая группа глухонемых со своим руководителем-переводчиком. Впрочем, со «своими» Николай Петрович ухитрился объясняться без переводчика и даже успешно острил на разные — в том числе и на игривые — темы. Все смеялись.

Что касается пленных, это выглядело менее смешно. Жили они рядом с заводом, в лагере, откуда их каждый день конвоировали на работу и с работы. Считалось, что в лагере они проходят проверку. Сама идея проверки тогда, как это ни прискорбно, мне не казалась чем-то постыдным: мало ли кого могли немцы оставить, отступая. Разумеется, тех, кого я знал, я ни в чем дурном не подозревал, моя «государственная подозрительность» на них не распространялась, но кто-то где-то и вообще мог ее заслуживать.

Но если говорить с позиций сегодняшнего знания, игнорируя тогдашнюю, почти всеобщую неосведомленность

хотя бы насчет обстоятельств первого дня войны, то сам собой встает вопрос: кто, как и в чем имел тогда право их проверять? Что проверять? Достаточно ли героически и самоотверженно они вели себя в том безвыходном положении, в которое загнали их те, от чьего имени и налажена эта проверка?

Да и вообще — кто был в состоянии осуществлять такую проверку? Каким образом? Собирать доносы этих пленных друг на друга, стимулировать наушничество? Это и применялось. Именно поэтому ребята, работавшие со мной, не очень-то много рассказывали о пережитом за линией фронта. Впрочем, вождь любил, чтобы люди «его» народа не доверяли друг другу.

А откуда вообще такая ярость и подозрительность к пленным?

По-моему, объяснение этому простое: во-первых, патологическая ревность Сталина — представители возлюбившего его народа (сам поддался собственной пропаганде?) должны были охотно умирать за своего кумира, но никак не сдаваться в плен. Сдаваясь, они изменяли любви, и он относился к ним, как владелец серала к неверной жене. А, кроме того, сдаваясь, они нарушали герметичность созданного им самого счастливого общества, что было абсолютно недопустимо — исчезала заколдованность. Кое-кто мог и усомниться в этом: и в счастье общества, и в величии кумира. Вот все, чем могли быть опасны побеждающей державе эти преданные ею ребята. Все это, конечно, мои сегодняшние мысли. Тогда я во всем, что было связано с войной и нацизмом, все-таки признавал необходимой бдительность. Хотя, как я уже говорил, ребятам этим сочувствовал и верил.

В мастерскую к художникам заходило много их товарищей по судьбе. Люди они были разные. Среди них был даже один еврей. Почему-то немцы в нем еврея не узнали и зачислили во вспомогательную команду из наших пленных — такие у них были. Он был назначен подручным повара при какой-то строевой части. Естественно, все время хотел перебежать к своим, но пока работал. Повар, при котором он состоял, тоже не знал, с кем имеет дело, но откровенничал насчет того, что эта проклятая война нужна только Гитлеру и Сталину — пусть и воюют друг с другом, как

хотят, а таким, как мы с тобой, Михель (он и вправду был Миша), простым людям, она ни к чему. Немецкий порядок действовал неукоснительно, и через год моему приятелю был предоставлен законный отпуск домой в какой-то донбасский городок, где его знала каждая собака. Это никак не входило в его планы. Но делать было нечего. Надо было изобразить радость и ехать. Начальник-повар его поздравил, хорошо снарядил и, тепло напутствовав, отпустил в дорогу. Беда была в том, что не доехать до городка было невозможно — надо было сделать отметку именно в тамошней комендатуре и там же закомпостировать обратный билет. В родном городке он, прячась, провел один день, может быть, самый рискованный в его жизни, и вечером отбыл обратно, стараясь ехать как можно дольше.

Перебежал он где-то на Курской дуге, когда началось наше наступление. В части, куда он перебежал, командиром и комиссаром были евреи, и это усугубило его положение. Они от возмущения просто не хотели с ним разговаривать — еврей, а в немецкой форме! Или боялись быть обвиненными в потакании преступному соплеменнику. Но все же он был перебежчик, и его отправили дальше по команде — проверять, не стал ли сочувствовать Гитлеру.

Кажется, для всех, кто работал в нашей мастерской и кто к ним заходил, эта «проверка» кончилась благополучно. Все они были освобождены еще на моей памяти. Впрочем, не знаю, все ли надолго, некоторых из таких освобожденных (из других проверочных лагерей) я потом встречал на Лубянке и пересылках.

Но одного из этих пленных, в прошлом театрального актера, так и оставшегося завкомовским «художником», я встречал в Москве и потом. У него была неприятная странность — страсть пугать меня при встрече тем, что мной якобы интересуется ГБ. Это испугать меня не могло и не пугало, ибо было неправдоподобно. Встречались мы с этим человеком редко и случайно, всегда непредвиденно: на улице, в метро или в кино, и если КГБ временами мной и впрямь интересовался, то в качестве источника информации использовал не его. Зачем он это делал, я понять не мог никогда. Стукачом он явно не был, да стукачи так себя и не ведут. Доставить себе удовольствие моим испугом он тоже не мог — я не верил ему и не пугался. И, тем не

менее, каждый раз, встретив меня (с интервалом в год, два и больше), он все так же отводил меня в сторону и с неизменной театральностью сообщал новые сведения на этот счет. Дескать, не хочешь — не верь, но учти! Учитывать-то я учитывал, но не в связи с его сообщениями. Если бы не плен и не проверки, перевернувшие его жизнь, его актерские способности и потребности нашли бы, вероятно, лучшее применение.

К сожалению, многого о себе в связи с городом Калининградом Московской области я вспомнить не могу, ибо жил Москвой, а здесь только отбывал некий никому не нужный срок. Без особых трудностей я ушел со своего ответственного поста обратно в «свой» Лесотехнический институт. Это стало возможным потому, что студенты, принятые на факультет МОД (механической обработки древесины), этого института в этом последнем военном году начали обеспечиваться бронью. Я, по-прежнему, не собирался становиться инженером, но моральных мук по поводу обретения таким образом брони не испытывал. На этот раз я точно знал, что уклоняюсь не от фронта, а от новой никому не нужной мороки.

Институт освобождал меня от физической зависимости от производства. Теперь уже никто не мог отдать меня под суд за опоздание или прогул, совершенный из-за какого-либо важного для меня разговора или мероприятия. Тогда было много интересных мероприятий (вплоть до выступлений Пастернака), и все они были для меня важны. Кроме того, я там получил место в общежитии, в котором я и вправду жил. Теперь на Ярославском я садился в электрички не Щелковской ветки, а следовавшие по главной магистрали — на Пушкино, Софрино или Загорск, если те останавливались в Строителе. Почему-то — вероятно, по неизжитому детству — мне это было приятно.

Конечно, основное в моей тогдашней жизни происходило в Москве. Но не думаю, чтобы я так-таки с самого начала намеревался манкировать занятиями в Лесотехническом. Я не сомневался в общественной ценности того, что хочу делать, но не сомневался и в том, что в печать это при моей жизни не попадет и что лучше мне поискать иные средства существования. Так что я совсем был не против приобретения этой нейтральной по отношению к идеоло-

гии специальности, и учиться я пробовал. Временами я даже пытался посещать занятия. Был на нескольких лекциях по математике. На первом курсе читалась аналитическая геометрия, и мне даже вроде было интересно. Но посещения мои были нерегулярны — не сначала и не подряд, — я не очень понимал, что это такое в целом, но рассуждения лектора внутри каждой лекции до меня доходили. Получил я и некоторое представление о том, что такое начертательная геометрия. Но в целом я не мог противостоять стихии собственной жизни и рядом расположенной Москве. Меня тянуло в другую сторону, а это не способствовало прилежанию.

Впрочем, помогала мне мириться с этим отсутствием прилежания и некоторая богемность духа, которой я считал своим долгом предаваться. Иногда несколько утрируя свое соответствие традиционному еще тогда для меня представлению о необходимой бесшабашности поэтической натуры. Я даже определял себя так:

Прохожу неровной лентой,
Изрыгаю рев и мат,
А хорошие студенты
Изучают сопромат.

Бесшабашности — подлинной и приобретенной — у меня тогда хватало. Вряд ли образ, стоящий за этими строками, точно соответствовал моему внутреннему облику. О внешнем я не говорю, но он достигался не потому, что я к этому стремился. И «неровной лентой», что значит «надравшись», проходил я где-либо крайне редко, да и не по улице. У меня на это не было ни денег, ни потребности. Кроме того, вряд ли я думал всерьез, что духовно превосхожу «хороших студентов» тем, что не учу сопромат. Но вовсе от такой гордыни, от сознания исключительности своей судьбы, связанной с профессией, воспринятой как призвание, я свободен не был. Что греха таить, этому предавался. Но как-то абстрактно — пока не сталкивался с живыми людьми. Стремлением чувствовать себя обязательно выше всех встречных-поперечных я не обладал никогда. И со студентами, которые жили со мной в общежитии, я дружил на самом деле, хотя они были людьми практических планов и соображений — профиль института притягивал таких людей. Это никак не означает отворачивания от всего высокого.

Конечно, если не сводить это высокое к интимному постижению литературы или, скажем, философии. В их практицизме и естественности были самостоятельность и достоинство. И рядом с этим естественное уважение к высоким сферам, которыми не занимались. Говорю это не на основании их отношения ко мне — его можно было бы объяснить товариществом, — а вообще на основании многих их проявлений. У меня о них остались самые теплые воспоминания.

Почти все они были — говорю об общежитейских — из недалекой, но глубинки. Все они понимали, что жизнь — дело серьезное, что надо в ней устроиться серьезно и основательно. У некоторых и родители работали по лесному делу, были директорами лесхозов. И учились в основном на лесохозяйственном отделении, которое брони не давало — были белобилетниками. Были среди них и инвалиды войны. Заходил и партизан из соединения генерал Сабурова. Жил он в Москве, но заходил и к нам.

Мне они всегда сочувствовали — вероятно, поводов для сочувствия было много. Некоторые слышали мои стихи. Все советовали держаться за институт. И больше всех Толя Фадеев. Приехал он откуда-то из-под Тулы. Парень он был простой, крепкий и очень четкий. Одну глупость, как он считал, он уже сделал — кончил горный техникум. Теперь он, слава Богу, отработал положенное под землей, и больше таким дураком не будет, поскольку себе не враг. Короче, он решил, что отныне его жизнь должна быть связана только с работой на чистом воздухе. Вот и приехал в Строитель.

Впрочем, и его взгляды на современность были вообще более четкими и непримиримыми, чем у других. Думаю, что они были более трезвыми, чем у тогдашнего меня, хотя «теоретически» они были менее обоснованы. Но шел он не от теории, идеологии или поруганной романтики революции, а от жизни и здравого смысла. В нем прежде всего был оскорблен именно здравый смысл. Его раздражала всеобщая туфта. Помню, с каким сарказмом рассказывал он о своем зяте, начальнике райотдела МГБ. Занимался тот неуважаемой Толей деятельностью, но жил себе да поживал, охранял тыл и на фронт не рвался. Но заело дурака, что у него фамилия Дубинкин. Попросил заменить на Дубров-

ский — показалось красиво. Заменяли. И тут же забрали в Войско польское — туда как раз тогда шел набор.

Я уже не помню всего, что он рассказывал, но всегда это было о разных нелепостях нашей действительности, возмущающих разум и, тем не менее, торжествующих... И выводы делал вполне четкие. При всем своем опыте, знании и понимании жизни он это делал совершенно открыто. И, сколько я знаю, — сходило. Может быть, людей чувствовал? К сожалению, советская интеллигенция — я говорю о самых лучших и честных ее представителях (поколения Симонова и моложе) — проходила мимо таких людей с их «мещанской ограниченностью» и таким образом утратила связь со здравым смыслом, которая, на мой взгляд, до сих пор восстановилась не полностью.

Однако вернемся к прерванному рассказу. Мне Толя сочувствовал. Все же я был очень неустроен, и несло меня неизвестно куда, и в Литинститут меня не приняли. Не думаю, что он много размышлял о поэзии или о моих стихах — у него были другие интересы. Но одно он понимал ясно — что я пишу то, что хочу и как думаю. А что это дело по нашему времени абсолютно гиблое, он знал и до встречи со мной. Но он не уговаривал меня писать по-другому — наоборот. Только принимать меры предосторожности.

— Не дури, Наум!.. — увещевал он меня своим затрудненным, сдавленным голосом. — Держись за институт! Кончишь — будешь работать в лесу, далеко от всего этого, и пиши себе что хочешь... А то ведь пропадешь — убьют! Разве они правду потерпят? Это ж бандиты...

Высокий, худощавый, жилистый, крепкий, он весь при этом светился добротой и заботливостью. Он ведь и впрямь был старше и опытнее. Но в то же время говорил он это вслух, при ребятах и девушках и чувствовал себя в полной безопасности. Вряд ли многие из сидевших вокруг стола (разговор был в новогоднюю ночь) интересовались политической, но что жизнь такая — знали все. И поэтому Толины слова воспринимались ими как дружеский совет, а не как политический выпад. Никаких политических задач не ставил перед собой и Толя, справедливо полагая, что не его это дело и что плетью обуха не перешибешь. Он просто хотел меня уберечь.

Потом оказалось, что и Толя ошибался — тоталитаризм не оставлял убежищ. Лесное хозяйство тоже не избежало пристального внимания родной партии, оказалось в центре целых двух шумных политических кампаний: лесопосадочной и общебиологической. Не знаю, насколько разумна была сама идея лесополос (с биологическими «дискуссиями», полагаю, все ясно и без меня), но оказаться под руководящим воздействием всеобъемлющей некомпетентности Толе все-таки пришлось. И хоть к тому времени я его потерял из виду, уверен, что ему это было не очень приятно. Но тогда мы этого не предвидели — ни он, ни я, — и слова его казались вполне трезвыми. Мы не могли угнаться за столь быстро развивающимся сталинским маразмом.

Что еще у меня связано с Лесотехническим институтом? Наверное, многое, но многое и забылось. Осталась только теплота воспоминаний и благодарность, что Россия открывалась мне так. Из этого не следует, что не было ничего другого. В том же институте под занавес произошла такая вот пакостная история, вызванная провокацией и мелкой, может быть, даже бескорыстной подлостью — бывает и такая.

Как я ни манкировал занятиями, я все-таки иногда их посещал. Особенно после того, как в очередной раз вставал вопрос о моем отчислении. В институтскую жизнь я все же как-то входил. У меня появились знакомые, приятели, я многих знал и многие знали меня. Везде, в комитете комсомола тоже. И кто-то — не помню кто — попросил меня то ли дать стихи в стенгазету, то ли представить их для чтения на торжественном вечере. Я выбрал подходящие и дал, но кто-то — опять-таки не помню кто — их запретил. И это меня возмутило. Прежде всего глупостью мотивации — тогда это меня еще возмущало.

Конечно, в это время в Москве, о чем многие помнят — тут я вынужден вторгнуться в темы следующей главы, — на литературных собраниях я публично читал любые, в том числе и самые крамольные, свои стихи и не удивлялся, когда натыкался на сопротивление руководителей. Но одно дело литературные объединения, где перепуганные руководители «давали мне отпор» уже после того, как стихи бывали прочитаны, и совсем другое — стенгазеты и торжественные вечера, где просмотры были предварительными. Напечатать или прочесть там крамольные стихи было фи-

зически возможно. В такие места я крамольные стихи не предлагал никогда. Представить я мог только «проходные» стихи. Поэтому причина этого запрещения могла быть и была только глупой, даже очевидно глупой. Возмущению моему не было предела, оно искало выхода. Это-то и толкнуло меня искать правды.

Реакция была естественная, но, как все естественное среди торжествующей протрации, глупая. Я этих стихов не помню, но, вероятно, были в них какие-то живые строки. А отряженных осуществлять идеологический контроль такие строки всегда настораживали, намекали им на то, что эти люди по своему уровню к доверенной им деятельности непригодны. А такая деятельность чем дальше, тем больше доверялась тов. Сталиным в основном именно таким. Оттепель последних военных и первых послевоенных месяцев на «эстетике» функционеров местного значения отражалась мало. Они свое дело туго знали. И с точки зрения глубинных интересов сталинщины были правы. И поэтому система всегда была бы на их стороне. В этом я убедился почти сразу. Я еще не знал, что основной чертой идеологических работников сталинской и послесталинской эпохи было полное идеологическое невежество, а пропагандиста — космоязычие. Поэтому нормативное мышление было единственно возможное для них мышление, а они и нужны были Сталину для нормативного контроля. Так что получалась гармония.

На каком институтском уровне меня запретили — не помню. Возможно, по линии комсомола. Точно только помню, что не по линии партбюро — поскольку это противоречит сюжету. А «сюжет» развивался так. Мои поиски правды выразились в основном в возмущении, которое я, по видимому, выражал достаточно громко. И тут вокруг меня стал виться некий мальчик с лисьей мордочкой, который принял живое участие в моих переживаниях. Не могу сказать, что я верил его участию, я даже подозревал подвох, но мне как-то нечем было на него возразить. Он предложил мне сходить к секретарю партбюро. Я ему ответил, что уже ходил, но тот занят. Секретарем партбюро был у нас зав кафедрой марксизма-ленинизма. Тем не менее человеком он был симпатичным, серьезным и, как я и теперь думаю, честным. Чем-то он напоминал мне симского Ивана Ника-

норовича. Он вызывал у меня доверие. Не устану повторять, что такие на этом уровне тогда еще встречались. Тем более, что тогда еще от них не требовалось учить специалистов специальности и контролировать учебные программы. Так что неудивительно, что я захотел к нему зайти. Но и впрямь он был занят.

Да что ты — просияла лисья мордочка, — ничего он не занят. Просто у него сейчас инструктор горкома сидит (мы относились к Мытищам, а там был не райком, а горком). Тебе же лучше... Погоди, я сейчас все устрою...

И лисья мордочка на минуту скрылась за дерматиновыми дверями. Я предчувствовал недоброе. Но я ведь был прав — чего же мне было беспокоиться! Какое во мне тогда еще было причудливое сочетание ума и глупости! Что-то я видел яснее и глубже, чем многие другие, а чего-то, более простого, что, казалось бы, прямо вытекало из этого и что быстро усекла лисья мордочка, как бы не видел совсем. Правда, до этого с партийными органами я дела почти не имел и думал о них, что все-таки там работают люди, лично озабоченные неким «общим делом», что-то думающие, решающие. Люди, способные на это, еще там тогда встречались, но редко, а когда дело доходило до идеологии, то это качество почти не проявлялось — идеология была централизована больше, чем что-либо другое. Система не дремала, она все больше подбирала себе людей, которые отличались каким-то боевым непониманием подобных материй. Но это я понял и уяснил много позже события, о котором рассказываю.

Мордочка выскользнула из кабинета и плотноядно произнесла: «Зайди!» Я и теперь не знаю, из-за чего он старался. Для ГБ (если пришли указания из Москвы) или почему-то рыл яму секретарю? Или просто пакостил для удовольствия? Впрочем, ни один из вариантов удовольствия не исключал, а оно ощущалось явственно. Бывают же такие люди!

В кабинете за столом напротив нашего секретаря сидела некая мрачная личность. Обладала она и другими чертами — лысиной, морщинами, шарообразной головой, но все эти черты бывают и у других людей и жестко ни с каким характером поведения не связаны. Но настороженная мрачность этой личности была ее отличительной чертой — чертой

выдвиженца, находящегося не на своем месте вообще. Судя по всему, она ведала идеологией.

Услышав в чем дело, инструктор горкома сразу оживился — почувствовал, что дело пахнет жареным, что можно разоблачить и пресечь, — не каждому выпадает такое счастье. Секретарь парткома стоически молчал, в его глазах не было упрека — видимо, понимал, что я по наивности поддался лисьей мордочке, — но было сожаление. По нему я сразу понял, что свалил дурака, подвел и себя, и его. Но ведь, действительно, в стихах ничего не было!

Для инструктора неважно было, что именно я написал, — в этом он ничего не понимал. Важно было, что запретили, а раз запретили, значит, стихи вызывали сомнения. И этого достаточно — стихи советского человека сомнения вызывать не должны. А вдобавок я вместо того, чтоб благодарно извлечь урок, протестую. Естественно, он взорвался.

Что он говорил, вернее кричал, я сейчас не помню. Ведь я не помню и о каких стихах шла речь! Помню только, что он с первой секунды, как хороший советский судья, яростно встал «на сторону обвинения» и что разоблачал меня не просто, а zcela, не называя его, в партком, который такие безобразия допустил. Партком тут был, как говорится и как ясно читателю, ни сном, ни духом, но он — копал... Не помню, возражал ли я ему или нет. Скорее возражал — глупость обезоруживает, но я ведь тогда был логичен. Помню только смутное чувство неловкости перед секретарем.

Но с секретарем, слава Богу, ничего тогда не стряслось, а мое пребывание в Строителе все равно подходило к концу. Разумеется, произошло это не сразу. Я еще даже продолжал посещать институт, но дело шло к этому. Именно в это время не здесь, а в Москве со мной начало происходить нечто важное. По причинам, связанным с существом моей жизни и творчества, а не с бесосновательными придирками к невинным стихам, надо мной по-настоящему сгустились тучи. А потом произошли весьма странные события, по-странному разредившие тогда эти тучи. Но это уже тема из следующей главы.

После этой «беседы с инструктором» я еще некоторое время продолжал жить в общежитии. И когда совершенно справедливо (не сдавал экзаменов) был исключен из со-

става студентов — тоже. Хотя события мои были по тогдашнему времени чреватые неприятностями. Когда же почему-то жить в общежитии стало невозможно (кажется, все разъехались на каникулы), я несколько раз ночевал в котельной института — приезжал ночью, приходил и ночевал, и кочегары, спасибо им, меня не прогоняли. Все это мелочи, но без таких мелочей — а их тогда было много в моей жизни — я бы погиб. Спасибо всем, из-за кого я выжил тогда.

Пора переходить к следующему этапу. Который, как я предупреждал, начался тоже с самого моего приезда в Москву и поначалу развивался параллельно с только что описанным.

«Вихри враждебные» и иные (Литинститут в апреле сорок четвертого)

Началось мое вхождение в литературную среду, как уже знает читатель, с военкоматской повестки. Она — во всяком случае так я полагал — ограничивала мое пребывание в Москве несколькими днями и тем самым вынуждала не привередничать, а без отлагательства отправиться в Литинститут — знакомиться с кем удастся. Иначе я рисковал уехать из Москвы, с чем приехал — никому ничего не прочтя, ничьих стихов не услыша и ни с кем не поговорив, в общем — не заведя тех литературных связей и отношений, в которых я так тогда нуждался.

Впрочем, у меня уже и до этого было два соприкосновения с литературной жизнью. Первое — случайное. Связано оно было с визитом к той симской знакомой, которую, к слову, я уже упоминал в предыдущей части в связи с пропажей карточки. Литературных целей этот визит не имел. Просто я был с ней знаком, а больше знакомых в Москве у меня почти не было. Но оказалось, что она учится в Литературном институте Союза писателей на отделении критики. Меня это несколько удивило — интерес к литературе у нее был, но никакого стремления к литературной деятельности она в Симу не выказывала. Приняли ее, видимо, потому, что во время войны в институтах был недобор студентов, а критика — понятие еще более растяжимое, чем литература.

Она уже там освоилась и, как часто бывает на первых порах (у некоторых, правда, остается на всю жизнь, но это не тот случай), почувствовала себя причастной к особому, доступному лишь посвященным секрету литературности. Суть его состоит в том, что он коренным образом отличается от обычного восприятия. Поэтому к моим стихам она отнеслась весьма педагогически. Стала мне объяснять, что так теперь не пишут, что у них там это давно пройденный этап. Не знала, что эти слова мне хорошо и давно знакомы, что ради них не было нужды ехать в Москву — их можно было услышать в любом литкружке.

Хозяйка сообщила мне еще, что «у них» принято любить Пастернака и Сельвинского, а презирать — Твардовского и Симонова. Столь строгий вкус меня удивил — Пастернака я и сам любил и в отличие от этой девушки хорошо знал, Сельвинского тоже. А Симонова я, конечно, не считал гением, как Пастернака, но презрение к нему мне было непонятно — в нем я всегда ощущал что-то живое. Часто — но совсем не всегда — это живое переходило в журналистику, но у других и того не было (формулировки это сегодняшние, но ощущения тогдашние). Что же касается Твардовского, то хоть он меня тогда еще не заинтересовал, но какую-то подлинность я в нем и тогда чувствовал. Короче, потребности его отрицать и презирать у меня не было. Мне все эти изыски казались искусственными.

Как, впрочем, и все «взгляды» моей приятельницы. Такое «высшее», «профессиональное» причастие к пониманию литературы дается куда проще и легче, чем «обыкновенное», «читательское», которое не дай Бог утратить и профессионалу. От этого «высшего» отношения — чуть не сказал, понимания, но как раз пониманием тут и не пахнет — я настрадался в жизни не меньше, чем от советской власти. Причем по обе стороны «железного занавеса» и Мирового океана. Но об этом еще будут поводы здесь говорить, и отнюдь не в связи с этим визитом. Тогда же сентенции этой девушки (не думаю, чтобы и в зрелости она мыслила так же) на меня никак не повлияли. Они не поколебали ни моей веры в себя, ни даже моей самоуверенности. Наоборот, они еще больше утвердили существовавшее у меня и до этого предубеждение против Литинститута. Теперь приходилось его преодолевать.

Второе соприкосновение было уже намеренной и более серьезной попыткой выхода из первоначального одиночества, попыткой прорыва. Я говорю о своем визите в «Комсомольскую правду». Попытка была крайне неудачной, но все же полезной — что-то я все-таки из нее вынес. Я принес туда стихи. О них надо сказать несколько слов отдельно. Чтобы отречься от них.

Ибо, с одной стороны, это стихи, отвергнув которые мне нанесли оскорбление, которое я помню до сих пор, а с другой — это стихи, которых я давно уже стыжусь и насчет которых сегодня я только доволен, что они не опубликованы и которые публиковать ни в коем случае не буду никогда. Тем более, что теперь, слава Богу, я их почти не помню — только первые четыре и последние две строки.

Не дремлет бургер...
 Он ослаб и сам,
 И все вокруг
 до крайности ослабли.
 И им уж часто снятся по ночам
 Казацьи гики
 и казацьи сабли.

.....

Нет, немцев нет!
 Одно названье — «Фриц»!
 А там, где «Фриц» —
 там жалости не место.

Такие чувства, несмотря на все, что творили нацисты, противоречили моему характеру, воспитанию и мировоззрению — даже тогдашнему. Но они были мне внушены и разрешены пропагандой, использовавшей и реальную боль, и реальное возмущение. Был еще и соблазн ощущать (в подсознании, конечно), что есть кто-то, кто мирится с еще большими гнусностями, чем даже мы. Сегодня я стыжусь этих стихов, но в «Комсомолку» с ними я пришел тогда. Ни я, ни работник редакции, ни редакция в целом против пафоса этих стихов ничего не имели. Моральных препятствий к его опубликованию не было. Не было и цензурных. Ибо происходило это еще до известной статьи в «Правде» «Товарищ Эренбург упрощает», означавшей приказ прекратить инспирированную ранее пропаганду тотальной ненависти к немцам. Так что драма, которая там развернулась (а для

меня это и впрямь тогда было драмой), не имела ни политической, ни социальной подоплеки, а была чисто человеческой и профессиональной. Дело тут было не в литературных или иных взглядах, а в простом человеческом равнодушии.

Такое впечатление, что, прочитав стихи, работник «Комсомольской правды», который со мной разговаривал (фамилию его я помню, но здесь не приведу), оценил не их качество, а мой, вероятно, провинциальный тогда вид. Разговор развивался так:

— Стихи очень слабые, — объявил он, прочитав их.

Я попросил объяснить почему же.

— Ну как же, — ответил он. — Тут даже «ужи» ползают.

Он имел в виду наречие «уж» во второй строке приведенного четверостишия. Это была наглость. «Ужом» называется словечко-паразит «уж», которым неумелые авторы (наряду с частицей «то») затыкали тогда дыры в размере. Вероятно, теперь это анахронизм — теперь прогресс: все все «умеют», хотя по-прежнему далеко не все что-нибудь «могут», но тогда в стихах «ужи» еще ползали часто. Видимо, он просто не вчитывался в текст, не видел во мне оппонента. Но я воспринимал все слова буквально. Так что, хоть мотивов не подозревал, понимал, что сказана глупость.

— Здесь «ужей» нет. Здесь есть наречие «уж» — краткая форма от «уже», и оно на месте. Ибо раньше немцам это еще не снилось, а теперь уже снится.

Остальные выпады были отбиты столь же легко — ибо он их придумывал на ходу. В конце концов очередную мою попытку проникнуть в смысл его слов он парировал так:

— Я просто хочу сказать, что мы этих стихов печатать не будем.

На это обнаженное свинство я возражать не стал. Подчеркиваю: ни советская власть, ни сталинщина в этом свинстве прямо не участвовали. Это хамство личное, самостоятельное.

Конечно, редакции тогда осаждались графоманами. Сегодняшняя отписка «ни в какую переписку по поводу отклоненных рукописей редакция не вступает» тогда была невозможна, хоть она, наверное, разумна. Работникам редакций приходилось отбиваться от графоманов своими силами и методами. Но ведь умение отличать графоманов от

неграфоманов — профессиональный долг любого редактора. Во всяком случае говорить: «не напечатаем, потому что не напечатаем» — да еще когда в разговоре выясняется профессиональный уровень суждений автора и профессиональная несостоятельность твоих собственных уверток — отвратительно. От встречи с таким хамством не гарантирован ни один начинающий в любую эпоху. И он должен быть готов выдержать его.

Ведь тогда, на первом выходе в московскую жизнь, такой щелчок по носу какому-нибудь более чувствительному человеку мог бы сильно затруднить его последующую жизнь. Конечно, тот, кто чувствует в себе настоящую потребность творчества, потом обязательно оправится от этого удара, но поначалу может дрогнуть и он. Однако в моем случае значение этого факта осталось в нем самом — досадно было, что не вышло, и все. Слова этого деятеля не имели смысла, и я это видел. А я за редкими, но иногда существенными исключениями, себе верил. И, кроме того, у меня уже кое-что было за плечами, что меня поддерживало: Киев, друзья, встречи с писателями. Но то, что я по-прежнему не знал, как вырваться из своего одиночества, а вокруг была огромная Москва, где жило столько нужных и дорогих мне людей, к которым я никак не мог пробиться, было заслугой этого работника...

Кстати говоря, и в самой «Комсомолке» все могло быть иначе, если бы я пришел на час позже или раньше и застал Валентину Георгиевну Дмитриеву, Валю Дмитриеву, в будущем моего многолетнего друга. Когда мы с ней через несколько месяцев встретились, она отнеслась ко мне совсем иначе. Но тогда уже прогремела упомянутая правдинская статья, и о публикации этого стихотворения у нас речь даже не заходила. А стихов, которые могли пройти в печать, да еще появиться в газете, у меня почти и не было больше. Так или иначе, может, это даже к добру, но из-за этого человека моя первая публикация, в отличие от некоторой известности, отложилась на много лет.

А еще через много лет я встретился с этим человеком в совместной многодневной писательской поездке. Отношения были самые милые. Оба делали вид, что ничего не было. И действительно: столько с тех пор было тяжелого и такие ли ошибки люди допускали — что теперь и говорить об

этом мелком эпизоде было бы странно. И в самом деле я сегодня не испытываю к этому человеку дурных чувств. Но сейчас я пишу мемуары, и тут этого факта не обойти — все-таки первая попытка опубликоваться в Москве.

Но вернемся в тот день, когда, только получив повестку, я впервые направился в Литинститут. Тогда этот странный разговор с работником «Комсомолки» был еще совсем недавним, но вряд ли он влиял на мое состояние. Меня угнетало другое — что все же пришлось идти туда, куда идти я не хотел. Мое тогдашнее предубеждение против Литинститута — особенно после разговора с симской приятельницей — было сильным, и никак я не думал тогда, что с этим институтом как-то будет связана моя жизнь. Я уже знал — из ее же слов, — что все, кто меня там интересовал (и к кому я себя правильно и неправильно причислял): и Миша Кульчицкий, и Паша Коган, и Боря Слуцкий, и Сережа Наровчатов, и Дезик Кауфман (Самойловым он стал потом), и Коля Майоров, и Миша Львовский, — сейчас на фронте, а от остальных, наслушавшись ее рассказов, я ничего не ждал. Но выбора не было — за неимением гербовой пишут на простой.

Однако предубеждение мое рассыпалось при первом же соприкосновении с институтом — начать с того, что он не учил писательству, а только давал литературное образование начинающим писателям. Потом в моей жизни он занял большое, даже непомерно большое место. В моем дипломе значится: «В 1945 году поступил, а в 1959-м году закончил полный курс...» Четырнадцать лет! — куда же полнее? Впрочем, написано «в 1945-м», а сейчас на дворе еще весна 1944-го — следовательно, не четырнадцать, а все пятнадцать лет (да еще с гаком) был я с ним связан — с того дня, как пришел туда, получив повестку. А много позже — в 1990-м и отчасти в 1991-м — я вел в нем поэтический семинар.

Конечно, ничего такого я не предполагал и не думал в конце того ясного апрельского дня, когда впервые подошел к чугунной к ограде своей будущей alma mater. Вроде хорошего ждать мне здесь нечего было. Но в глубине души я надеялся, что не все же в Литинституте столь глубокомысленно глупы, как это выглядело в изложении моей приятельницы.

И вот я вошел в эту ограду, прошел мимо садика и вошел в дом, в знаменитый дом на Тверском бульваре. В дом Герцена, как его называли, потому что Герцен на самом деле в нем родился. В дом, который в уже написанном, но пока еще неизвестном почти никому романе Булгакова, назван домом Грибоедова. Но, переступая порог этого дома, я не знал ни того, ни другого названия этого дома, а также и названия булгаковского романа. И вообще того, что известный драматург Булгаков писал еще и прозу. Я знал только, что это Тверской бульвар, 25, и что здесь помещается Литературный институт Союза писателей СССР им. А.М.Горького.

Беспрепятственно поднявшись в бельэтаж, я в его коридорах никого не обнаружил. Видимо, все уже разошлись. Или был день творческих семинаров, и занятий не было вообще. Но в первом коридоре на стене справа, против больших окон я увидел громадную, чуть ли не во всю стену, стенгазету, площадь которой на три четверти была заполнена стихами студентов. Я приступил к чтению. Стихи эти манерой, конечно, отличались от газетных, чувствовалось, что их авторы знакомы с «современной» (двадцатых годов, потом Сельвинского и Пастернака) поэзией. Но в общем, как говорится, стихи были как стихи — характерные для довоенной литературной молодежи (газетные для нее характерны не были), и особого интереса у меня не вызвали.

Неожиданно из глубины коридора появился сухорукий парень примерно моих лет в солдатском обмундировании и встал рядом. Некоторое время мы оба молчали. Наконец он спросил:

— Интересуетесь?

— Да, — ответил я, продолжая читать.

— И сами, наверно, пишете? — вопрос прозвучал вполне утвердительно.

Я подтвердил эту догадку.

— Значит, поучиться пришли?

— У кого поучиться, а кого и поучить, — ответил я не слишком скромно. Хотя странное это дело — приходиться куда-то, где тебя не ждут, с целью кого-то здесь поучить. Но собеседнику мой ответ понравился.

— Вы хорошо ответили, — сказал он. Потом показал фамилию в газете: В.Уран.

— Вот это мои.

Я их прочел и что-то сказал. Что прочел и что сказал — теперь не вспомнить.

После этого очень скоро прозвучало долгожданное и родное:

— Давайте почитаем друг другу.

Как давно — около трех лет — я уже не слышал этой фразы!

И пошел я с ним гулять по московским улицам, размахивая руками и читая стихи, как во время оно, три года назад с другими людьми по киевским. И это опять было самым главным и важным делом жизни не только для меня, но и для собеседника. Как будто не было всего пережитого за годы войны, на которой мой собеседник стал сухоруким. Почему-то отбивать ритм рукой это ему не мешало.

Так впервые после начала эвакуации улыбнулась мне моя собственная судьба в лице Виктора Урина, поэтически именовать себя Ураном он скоро бросил. Стихи его тогда были очень яркие, полны естественной юношеской экспрессии, производили сильное впечатление. Прочел он мне и лирическую, несколько, на мой более поздний вкус, сентиментальную поэму «Лидка» — о горькой судьбе женщины, любимой девушки героя, на фронте. Многое мне тогда понравилось. Из моих стихов ему больше всего понравилось четверостишие из одного предвоенного стихотворения:

А я люблю тебя, страна,
Не как оратор на собраниях.
Люблю тебя как летчик на
Подстреленном аэроплане.

Он сказал: «подстреленная строчка» — имелся в виду результат обрыва фразы на рифме. Я, пожалуй, тоже думаю, что в данном случае этот обрыв работает, но в принципе с этим надо обращаться осторожно. Впрочем, это соображение — обобщение опыта. В самом же творчестве руководствуются не осторожностью, а необходимостью, которую надо чувствовать. Но тогда я обо всем этом не думал, я был счастлив.

В довершение ко всему Витька (а Витькой он для меня стал почти сразу) завел меня к своим приятелям — Юре Гальперину и его жене Лиле Неменовой. Юра был студентом-медиком, Лиля — студенткой сценарного отделения

Института кинематографии (ВГИКа). Жили они в Юриной довольно большой комнате, на улице Герцена (Большая Никитская) на противоположной консерватории стороне, ближе к Никитским воротам. В этом доме, недалеко от Гнездииковского переулка, и теперь, кажется, тот же магазин ПРОДУКТЫ, что и тогда. Юра к тому времени уже успел хлебнуть фронта, был ранен.

В сущности это был первый дом в Москве, где я был принят как свой. Не только по доброте, как у Савеловского, но еще и именно как свой, как желанный. Особенно после того, как я прочел стихи, что произошло почти сразу. В юности многое происходит сразу. И, совершенно естественно, я был тут же оставлен ночевать, благо, когда очутились, вступил в действие комендантский час. Но это повторялось потом не раз. Этот дом вообще притягивал к себе молодежь. Почему-то доминировали харьковчане — вероятно, благодаря Лиле, которая была харьковчанкой. Одно время она была женой Михаила Кульчицкого, тоже, как известно, харьковчанина. Тогда он еще считался только пропавшим без вести, но его стихи «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник...», написанные во время нахождения его части еще под Москвой, уже были известны. Интересно, что при этом вопрос об их публикации почему-то даже не вставал. Они были патриотичны, что тогда поощрялось, талантливы, не содержали никакой крамолы. Все это понимали. И в то же время все понимали, что эти стихи не ко двору. Почему? Ведь «правда о войне» (что на войне тяжело и убивают) допускалась. Но тогдашняя «правда о войне» была только механическим расширением пределов дозволенного, а не свободой. Допущением же личностного начала, самостоятельной «истории души», стихией самосознания — тогда и не пахло (исключения были, но больше в прозе). Напечатаны эти стихи были только после смерти «генералиссимуса победы». Это печать времени, которое по алогичности его проявлений становится все более непонятным и начинает казаться недостоверным. Но оно было, и мы в нем жили. «...И как ни странно, мы были молоды, и жизнь была желанна»*.

Мы были молоды. У Юры я впервые познакомился и с Владиком (Владленом) Бахновым и с его вскоре женой

* Строка из стихотворения Е. Бунимовича.

Нелей Морозовой, тогда студенткой ВГИКа. Был здесь своим человеком военно-авиационный инженер Марк Малков, тоже харьковчанин и тоже человек самых широких общественных, культурных и литературных интересов. Приходили милые студентки-химички Менделеевки, имена которых позабылись, у которых в общежитии бездомным мне и Владу Бахнову приходилось не раз ночевать — не с ними, а у них, в буквальном, а не игровом смысле.

Людей притягивал и объединял общий интерес к поэзии, к искусству, вообще к духовной стороне жизни. И, естественно, желание разобраться в современности. Конечно, как она тогда понималась. Разговоры на любые темы велись вокруг верности и неверности Сталина идее, сиречь той же мировой революции — напоминаю, что иных представлений об истинности и духовности у нас тогда еще не было. Это тревожило. Альтернативой этому была не другая вера, а пустота. И отчасти потому я и встречал если не везде, то часто привет и любовь, что частично отзвук этой тревоги, для одних осознанной, для других неосознанной, они находили в моих стихах. Это не хвастовство, а констатация. Хвастать мне тут особо нечем — из стихов, с которыми я приехал тогда в Москву и там всем читал, я теперь почти ничего не печатаю. Наивного в них все же было много, в этих стихах. Как и в нас самих. Но это эффект не только юности, а и закрытости общества.

Но мы были молоды, и взгляды и идеи никак не составляли всего смысла нашей жизни. Юра Гальперин был человеком широких культурных интересов и духовных потребностей. В те годы, до самого моего ареста, я регулярно с ним виделся. Когда я вернулся, то, занятый открывшимися вдруг возможностями, я временно потерял его из виду — слишком в разных сферах мы жили. А когда обнаружил, он был уже серьезным исследователем, крупным ученым-физиологом. К этому он всегда стремился — наша дружба была душевной, а не профессиональной. Обратился я к нему по медицинским причинам, он мне помог, потом надобность прошла, но отношения восстановились. К сожалению, к этому времени Юра и Лиля разошлись. У обоих уже были другие семьи, тоже хорошие, но другие.

У меня с обоими сохранялись самые теплые отношения до самой моей эмиграции, но все это грустно. Что тут мож-

но сказать — не они первые, не они последние, и те из нас, кто без греха, могут бросить в них камень. Но, по моему, и тем не стоит. Хотя я сильно подозреваю, что все мы взяли у Господа гораздо больше свободы, чем он нам дал. Это мысль поразила меня давно, и отнюдь не в связи с Юрой и Лилей, а в связи с другим, более близким мне опытом.

Юра умер в начале 1989 года, когда я впервые смог приехать в Москву из эмиграции. Но я об этом не знал. Узнал почти случайно. Перед моим выступлением в МГУ ко мне подошла Юрина жена Мэра и сказала, что его на днях похоронили. Следовательно, он умер и его похоронили, когда я был в Москве, а мне никто не сказал. Впрочем, в те недели до меня трудно было дозвониться. Юра был очень ценным — чистым, благородным и активно добрым человеком. Я рад, что с ним дружил. Такие люди встречаются редко, но без них жизнь на земле была бы невозможна. Царствие ему Небесное и вечная память. Но тогда, в 1944-м, никто из нас и представить бы себе не мог, что к нам может иметь отношение смерть (если не на войне) или тем более эмиграция.

Так получилось, что впервые по-настоящему Новый год я встречал тоже у Юры. Это был год от Р.Х. 1945-й, год Победы. Все мы пили за Победу. Никто не предполагал, что она принесет новый виток тоталитаризма. Еще не испарились надежды на то, что теперь будет по-другому, на демократизацию жизни и роспуск колхозов как минимум. И то, и другое как бы витало в воздухе, как бы было обещано народу за победу. Странная логика — кому тогда нужна была эта победа, если кто-то что-то за нее обещал? — но это никому не приходило в голову.

Впрочем, никто никому ничего подобного прямо не обещал, но никто до времени слухов об этом не опровергал. Они поддерживались. Скорее всего, они были инспирированы. Но я, как все, ждал этого. Это было логично.

Было бы! — если бы я при этом не продолжал считать себя большевиком, да еще подлинным. Ведь большевизм был с самого начала отрицанием демократии. Да и колхозы вроде вели к освобождению человека от «пут собственности». А я, разделяя надежды многих, хотел демократизации жизни и склонялся если еще не к роспуску колхозов,

то к чему-то подобному. И вдобавок именно от этого я ждал восстановления «настоящей коммунистической идейности». Поди меня пойми! Строго говоря, я жаждал демократизации коммунизма. Того, чего потом при всей нелогичности этого жаждали многие. Но она была общим умонастроением, общей надеждой, атмосферой времени...

Этой атмосферой была пронизана та встреча Нового, 1945 года, о которой я сейчас вспоминаю. Но со мной на этой встрече произошел неприятный, но комический конфуз, никак не связанный ни с общей атмосферой, ни с моим творчеством.

Я не знал, что ликер пьют из маленьких ликерных рюмочек, и лихо налил себе большую и широкую чайную чашку этой хоть и ароматной, но довольно-таки вязкой жидкости. И при первом же госте, попытавшись осушить эту «чашу» залпом, захлебнулся — не столько от алкоголя, сколько от вязкости. Я просто физически не смог вытянуть ее из чашки. В довершение я почувствовал, что ликер этот тут же застыл в пищеводе и, по моим ощущениям, начал там быстро превращаться в янтарь. Больше я ни в этот вечер, ни в последующие два-три дня ничего ни пить, ни есть не мог. Зато приобрел опыт — понял, что ликер пьют не стаканами и не чашками. Век живи, век учись.

Но все это было уже потом, через несколько месяцев, когда, как знает читатель, я уже вел несколько странную, на свой салтык, но московскую жизнь, когда шел к концу мой «лесотехнический период». А пока я был человеком с повесткой, сулящей новые мытарства, и у меня оставалось всего только семь дней на общение. Надо было торопиться. Правда, первый день я использовал с толком — у меня появились друзья.

На следующий день я опять пришел в институт на Тверском, но уже не просто так, а вроде бы по конкретному адресу — к Урину. Оказалось, что здесь меня уже ждали — Урин обо мне успел что-то рассказать. Но, кроме рекомендации Урина, в этом первоначальном интересе студентов ко мне большую роль играл еще один фактор. Николай Николаевич Асеев, оказывается, не забыл о нашей с ним довоенной киевской встрече и рассказывал о ней на своих семинарах. Читал он там и стихотворение «Жуча», которое когда-то велел мне записать для него.

Правда, в этих рассказах я, как это сегодня ни странно, выглядел страстным ненавистником старых форм. Но для этого, если помнит читатель, я дал когда-то все основания — до войны я считал своим долгом быть футуристом. И я сегодня не поручусь, что к 1944 году это желание полностью выветрилось из меня. Писал я, правда, уже совсем не в этом духе (а совсем в этом я и до войны не писал), но полагал, что главные футуристические подвиги,двигающие вперед литературу, совершу чуть позже, когда отпустит то, что меня сейчас волнует. Так что какое-то — притом дружественное (эстетической левизне сочувствовали все) — представление обо мне у многих из студентов было. Кажется, накануне Виктор Урин уже «опознал» меня в этом качестве. Но теперь я это услышал от многих:

— Ах, значит, ты тот самый киевский мальчик, о котором Асеев говорил?

Это в какой-то мере сыграло роль визитной карточки. Но главным для начала было то, что их товарищ — в данном случае Виктор Урин — как бы привел меня и сказал: «Послушайте!» А потом все уже шло само собой. Действовали стихи — тем, о чем я говорил чуть раньше. Хотя они противоречили принятым в этой среде (да и среди меня самого, как я только что признался) взглядам на поэзию.

О взглядах чуть позже, сейчас — о встрече. Меня тут же где-то усадили и заставили читать. Конечно, слово «заставили» не следует понимать слишком буквально. Меня тогда (и еще очень долго) заставлять не надо было — только выказать желание слушать и тем самым слегка приоткрыть краник. Дальше само лилось. Какие-то люди меня водили в столовую, кормили, читали мне свои стихи, слушали мои... Я стал туда ходить ежедневно.

Почти сразу выяснилось, что из тех, кто меня интересовал, Павел Коган и Николай Майоров погибли, Сергей Наровчатов недавно приезжал с фронта, остальные воюют. Что от Кульчицкого нет известий, я уже знал, а имя Люмкиса здесь ничего никому не говорило. Но Семен Гудзенко, ставший к этому времени знаменитым, был сейчас в Москве. Конечно, я его захотел увидеть, (как же, Киев! — друг моих друзей), хоть был знаком пока только шапочно. Однако никто не знал, как его найти — он, как и Люмкис, был не литинституцем, а ифлийцем.

Но его мне скоро предстояло и так увидеть — при обстоятельствах хоть и нас обоих прямо не касавшихся, но явно печальных. Впрочем, оглушенный всем, что на меня свалилось, я тогда плохо воспринимал их трагичность.

Дело в том, что я появился в Литинституте не в самый лучший момент его истории. Только что арестовали одного из его студентов — Аркадия Белинкова, впоследствии широко и громко известного критика-эссеиста. Я не знал, кто это такой, но в одно из первых моих ежедневных посещений института мне сказали, что сегодня вечером будет важное и притом открытое комсомольское собрание.

И я пришел и сел «со всей культурностью сбоку», точнее сзади, стараясь быть как можно менее заметным — боялся, что выгонят, как постороннего. Однако не выгнали. Собрание это я постараюсь описать настолько подробно, насколько позволяет память. Но чуть позже. А сейчас оно только фон. В самый разгар его экзотических прений я вдруг получил записку следующего содержания: «Мандель, а ну иди сюда» и под этим росчерк: «С.Гудзенко». В перерыве я подошел к нему, мы поговорили, на следующее утро я нанес ему визит, он очень тепло меня встретил, накормил и прочел назидание, которого я не воспринял. Уж очень мы были разные, несмотря на общее киевское происхождение.

Он подарил мне свою первую книгу. Мне в ней очень понравились стихи «Рельсы», «Забудешь все: и окружение...» Знаменитое «Перед атакой» потрясло меня своей силой, но по моим тогдашним представлениям не выходило за рамки описываемого, «натурализма чувств», как однажды о чем-то выразился Б. Слуцкий. Впрочем, чувство — субстанция личностная, оно само содержит обобщение. Здесь точнее было бы сказать: «натурализма эмоций, реакций». К большинству его других стихов я отношусь так и теперь, но к «Перед атакой» я свое отношение изменил. Первые шестнадцать строк отмечены иным волевым замыслом. Это протест живой души против неестественности войны, страх внезапной смерти, заглушающий порой иные человеческие чувства. Эти строки требуют иного, обобщенного, пусть даже и трагического выхода — катарсиса и, как всегда в поэзии, этот катарсис в себе содержат. Но последние восемь строк (может быть, за исключением первой из них: «Но мы уже не в силах ждать») завершают замысел только

сюжетно, а не поэтически, снижают его до описания факта, впечатляющего, но ничего не разряжающего, никуда не выводящего. Поэтические средства, мастерство и интонация скрывали от автора и читателя прозаичность сути. Это не «проза в стихах», это нечто более сложное и «профессиональное». Это как раз то, чем опасно «мастерство».

Нас с Гудзенко многое разделяло, но при всей взаимной откровенности и резкости высказываний у нас с ним всегда были хорошие отношения. Я никогда не считал его приспособленцем, но он слишком верил в мудрость своего легкомыслия и бонвиванства, а они не очень помогали художнику выжить в нашу отнюдь не моцартианскую эпоху. Гудзенко умер «от старых ран» — когда я был в ссылке. Мне рассказывали, что он тяжело пережил мой арест, даже плакал.

Однако вернемся к тому открытому комсомольскому собранию в Литературном институте, на котором мы с ним встретились. Оно интересно отнюдь не только этим. Наверное, теперь уже оно почти всеми забыто, а зря. Тут есть что помнить, хотя и у меня от него осталось только общее впечатление.

Состоялось оно где-то в районе 10—15 апреля 1944 года. На моей памяти это было вообще единственное собрание такого рода. Истерические радения времен ежовщины я не застал, а в мое время ни на одном из литинститутских собраний, на которых я присутствовал или о которых слышал, ничьи аресты не обсуждались.

Например, меня из комсомола с формулировкой: «исключить как арестованного органами МГБ» выпихнули в две минуты без всяких обсуждений, обвинений и филиппик, почти молча.

Не обсуждали и поведения Эльштейна (теперь он печатается под псевдонимом Горчаков), арестованного буквально через несколько дней после этого собрания. (На этом собрании некоторые ораторы набрасывались с идеологической руганью и на него, но, естественно, не в связи с арестом.) А ведь он обвинялся, как я через много лет от него узнал, в попытке создания подпольной организации и действительно не прочь был бы ее создать. Уж, кажется, где бы лучше устроить такое собрание, разлитое море народного гнева? Но нет, его арест не обсуждали, о нем узнава-

ли друг от друга. А вот арест Белинкова обсуждали. Почему — не знаю. То ли, когда речь шла о Белинкове, время еще было по-военному времени либеральным, и требовалось охмурить общественное мнение, а через несколько дней было осознано, что благодаря нашим военным победам необходимость в либеральности отпала, и пришел приказ опять не столько охмурять это мнение, сколько подавлять. Так или иначе, это собрание было уникальным. В силу специфики места тоже.

Я почти не помню выступавших (я и не всех еще знал и различал), но и тех, кого помню, не назову. Иных уж нет, иные так никогда и не возникли в литературе, иные давно уже совсем другие люди. Больше, чем им всем, удивляться я бы должен самому себе. Арестовали человека за его писания (причем не содержащие, говоря по-сегодняшнему, призывов к насилию или убийствам), а я, по ком давно уже плакала та же веревка, сидел, слушал и старался понять, что это за человек, которого арестовали за его творчество. Словно, это имеет значение, словно, если он бы мне не понравился, то ладно — пусть сидит. Чего же мне требовать с других?

Но я был только свидетелем, а не участником этого собрания, поскольку не был здешним студентом и не принадлежал к здешней комсомольской организации. А для всех остальных участие в этом ритуальном действе было обязательно — здоровый коллектив должен был выдать должную реакцию. Вот и выдавали. А ведь тут на всех курсах вместе училось всего несколько десятков человек, и все друг друга знали.

Как всегда в том спектакле без зрителей, которым вообще была советская жизнь, здесь ролей никому писать не надо было, все их и так знали. И как люди творческие вносили в свое исполнение личностное начало.

Как все советские люди, я привык к примитивному действию собраний и к казенным речам на них. Но здесь все выглядело иначе. Все выступавшие инстинктивно стремились придать действию максимум достоверности, придать ему партикулярную непринужденность, интеллектуальный уровень. Дескать, я не просто по команде «Фас!» кричу «Гав!», как собака, а у меня это выношенное убеждение.

Именно это меня — может быть, как неопита — отчасти и сбивало с толку. Казалось, тут что-то есть, ясное всем, но мне недоступное. Ведь эти же ребята слушали мои стихи и искренне на них откликались. И вроде и здесь искренни. Что же это такое? А то, вероятно, что внутренне они не порывали с Действом — тем, которое, меняя сценаристов и исполнителей, продолжалось в стране и в сознании многих с самого семнадцатого, которое к каждому гражданину обращалось, как к своему единомышленнику и соучастнику. И попробуй не окажись им. Это было не только опасно, но и вроде... как-то неудобно. Словно, ты то ли был глуп, то ли не к месту умничал, но нарушал Действо — некий общий уговор. Вот и соответствовали, как заколдованные. В заколдованности этой был не только страх (страх бывает и чувством реальности), а страх в комбинации с обессиливающей властью внушенной идеологии, вне которой духовное существование казалось невысказанным. А всего только и нужно было — произнести (хотя бы мысленно): «Чур-чур, рассыпья!» И поверить глазам, ушам, да и внутреннему чувству реальности — оно ведь у многих было. Но от этого были отучены еще верующими большевиками.

Происходившее на собрании называлось обсуждением. Обсуждалась, конечно, не правильность или справедливость этого ареста, а наоборот: «как мы дошли до жизни такой», что должны были вмешаться органы МГБ. Такая была тональность — ажно неудобно становилось перед бедными органами, которых комсомольская организация института так бессовестно затруднила, свалив на них последствия не выполненной ею работы. В большинстве выступавшие не были ни дураками, ни подлецами — однако такое производили. Таким образом они как бы что-то сохраняли и в самих себе. Иллюзию понимания и причастности. И, вероятно, очень вреден им должен был быть их товарищ, если его нашли нужным арестовать во время такой войны — «в либеральные времена».

Правда, они могли обратить внимание и на то, что «либеральность» кончалась — в это же время газеты обругали «компрачикоса» Корнея Чуковского и «пацифиста» Николая Асеева. Видимо, «партия» (тогда один из псевдонимов Сталина), почувствовав, что пронесло, начала опять обращать внимание на «идеологию» и художественную литературу.

Но ораторы об этом не думали. Пламенея, они каким-то образом задевали и сидевшего рядом со мной в последнем ряду Эльштейна, словно, знали, что топор теперь повис над ним. То ли обвиняли его в том, что он дружил с Белинковым и не повлиял, то ли в том, что и с ним самим не все благополучно. Он огрызнулся. Дня через три он встретил меня в коридоре, очень беспокойный, нервный, на что-то разозленный. И заговорил со мной как-то очень резко и намеренно громко:

— Вот ты читаешь им стихи, они слушают, похваливают, но знай: чуть что, они от тебя отвернутся, предадут...

Я вспомнил о собрании, где напали и на него, и не то что подумал, но почувствовал, что с ним что-то случилось. Теперь я думаю, что в это время его арест был уже решен и что по отношению к нему уже применялась излюбленная тактика ГБ по деморализации намеченной жертвы — создание вокруг него вакуума. Это (о чем в свое время) проделывалось потом и со мной. Возможно, Эльштейн еще не до конца знал, что его ждет, но он прекрасно понимал, что его предадут, и громко демонстрировал это понимание.

Я в душе никогда особо строго не судил тех, кто тогда боялся. А теперь я и сознаю, что, когда ценой простого разговора может быть исковерканность всей твоей единственной жизни, я не имею права презирать тех, кто уклоняется от разговора — каждый сам себе вправе выбрать форму бытия и небытия. Это была наша с Эльштейном последняя встреча в Литинституте. В следующий раз я его увидел лет через сорок пять в Бостоне, где он меня навестил, когда гостил у своих поселившихся в Америке друзей.

Собрание это было для меня интересно еще и тем, что ораторы, каясь в том, что вовремя не дали должный отпор Белинкову, попутно приводили цитаты из его произведений. Были они всегда остры, но не всегда точны. Одна (долгое время мне казалось, что она поминалась как принадлежащая Эльштейну, но тот при встрече это опроверг) была о Сталине и выглядела примерно так: «Жителям горных местностей свойствен идиотизм. Сталин родился в горной местности». Конечно, его за это клеймили. Однако больше не как за антисоветчину, а как за пижонство, которое, дескать, «привело, да еще в такое время к...»

Отчасти это было искренне. Такое про товарища Сталина, по их мнению, можно было сказать только из легкомыслия и пижонства. А поскольку многие, как я понял, его не любили — он вел себя по отношению к ним надменно и при этом не всегда бывал основателем, — то пижонство казалось им и впрямь естественным объяснением. Теперь я думаю, что некоторыми это говорилось, чтобы как-то понизить температуру разоблачений: пижон все же не враг, его уничтожать необязательно. Действом даже загорались, но палачества инстинктивно избегали.

К тому, что это пижонство, смутно — поскольку мало что знал о предмете — склонялся и я. Я вообще не очень люблю такие выпады — с направлением, но без точного смысла. Сталин не был идиотом, и горные местности к его деятельности отношения не имели. Многие его противники, люди прямо противоположные ему по складу, были из той же местности. Но я, конечно, не считаю, что Белинков хотел обидеть горцев, подозреваю, что он вообще о них не думал. Ему надо было обозвать Сталина идиотом — поступок по тому времени более чем храбрый, — а горцев он просто использовал как подручное средство. Я тогда Сталина и сам не жаловал, но такое его отрицание не очень меня привлекало. А оскорблять при этом целые народы было уж совсем ни к чему.

Конечно, все эти мои соображения (а я и теперь так думаю) к делу не относились — ибо что они значили на фоне того, что человека арестовали за мысли и творчество. Но до такого «абстрактного гуманизма», до осознанной порядочности тогда в этой аудитории не дорос еще никто. Хотя вообще порядочности — только не сознательно обоснованной, а естественной, «стихийной» — в ней, да и везде, было не так уж мало. Но и обладавшие ею могли в глубине души думать, что арест несправедлив, ошибочен, нецелесообразен, но что он в принципе недопустим — вряд ли. А «в принципе недопустим» — это ведь более чем мягкое определение арестов сталинской эпохи.

Особо запомнилось мне (и что греха таить, подействовало на меня тогда) выступление на этом собрании всеми здесь почитаемого Ильи Львовича Сельвинского. Подействовало оно на меня и обаянием его имени, и тем, что он говорил.

Говорил он, естественно, о том, о чем все: о сложности момента, о тяжелой войне и о прочем, что я забыл. Отличало его выступление одно место, из-за которого оно собственно так в меня и запало. Развивая свою мысль, он вдруг как-то совершенно запросто заговорил о каком-то особом доверии партии к нам, литературной молодежи. Доверие это, по его словам, заключалось в том, что нам позволено в этот трудный момент обсуждение тех вопросов, обсуждение которых широкой публикой пока допущено быть не может. Потому что мы должны, как говорится, быть в курсе дела как люди, участвующие в формировании общественного мнения. Но нельзя злоупотреблять доверием и... дальше понятно. Разумеется, это не цитата, а только точное изложение смысла его слов.

Вероятно, выглядит это сегодня дико. От большого доверия и при неперемennom условии «правильного» (нужного власти) ответа на все вопросы нам в качестве высокой привилегии вроде бы предоставлялось то, что любой человек в другой стране получал просто так, читая газету за утренним кофе. И мы еще должны были быть горды доверием. Абсурд? Безусловно. Но тогда никто его слова так не воспринял. Они льстили молодому самолюбию, как всякое признание, и радовали, как все-таки право на осмысление происходящего. Впрочем, забегая вперед, скажу, что это «право» было не больше, чем принятое за реальность предположение самого Сельвинского, чем его личное самоутешение...

Теперь, после того как Сельвинский публично оскандалился, приняв участие в травле Пастернака («А вы, поэт, обласканный врагом»), многие и слышать о нем не хотят или просто считают его ничтожеством. Они могут воспринять эти его слова как очередное проявление сервиллизма — дескать, другого от него и не ждем. И уж, конечно, не поймут, за что его можно было чтить и любить. Но его, действительно, чтили и любили. И как ни странно, не только за талант, но и за самостоятельность. И самостоятельность, редкая по тем временам, у него на самом деле была — всю его жизнь никак нельзя сводить к этому одному действительно постыдному эпизоду. Но это особая самостоятельность — она не выходила за рамки не только официальной идеологии или системы, но даже и конкретной политики.

Тем не менее она доставляла ему много неприятностей, ибо и такое тогда казалось подозрительным, «ломало строй». Этой «самостоятельностью» определялась и природа сделанного им ошеломляющего сообщения об особом доверии к нам партии.

Не думаю, чтобы ему кто-либо поручал сообщать нам это. Вряд ли кто-либо вообще его инструктировал, а если и инструктировал, то вряд ли так. Ибо такие инструкторы подобным «доверием» и сами не пользовались. Но он не обманывал. Он просто исходил из собственных размышлений и представлений. Чисто большевистских, должен я сказать. Это большевики, будучи в коллективном заговоре против всех (пусть во имя их счастья), со «своими» могли быть откровенны. У Сталина таких «своих» не было. Ибо он этот заговор приватизировал.

Но Сельвинского и его роман с временем я хотел бы выделить в отдельный вставной очерк. Тем более, что его представления о жизни и эпохе в той или иной форме были не чужды и многим другим мыслящим людям его поколения.

Сельвинский

Илья Львович Сельвинский был личностью, безусловно, трагической. Эта односторонняя игра с воображаемым «временем» была его отличительной чертой. С этим были связаны не только его политические взгляды, но и эстетические построения. Это была общая черта «поколения революции».

Сельвинский не был членом партии, но в Гражданскую войну он воевал против белых. Правда, не столько на стороне красных, сколько разных «Марусек». Однако красную идею воспринял — вместе с марксистским историзмом и диалектикой. Задача творческой личности согласно этим постижениям состояла прежде всего в проникновении в глубину замыслов и соображений правительства СССР, «самого творческого в мире», как полагали такие люди.

Вот Сельвинский и «проникал». Бедой его было то, что Сталин вовсе не стремился к тому, чтобы его понимали, ибо главным секретом его тотально засекреченной держа-

вы был он сам — его личность и мотивы его поведения. Сельвинский выдумывал его. Из такой выдумки он вывел и свое «сообщение».

Он очень дорого заплатил за эти «игры», ибо связал с ними все свои представления о месте и роли поэта и поэзии. Это и завершилось трагедией, которой я считаю его стихи о Пастернаке. Они рождены вовсе не корыстью, как думали многие, а яростью отчаяния. Поступок Пастернака опрокинул все те представления, за которые он всю жизнь с таким мастерством цеплялся, а сил сознаться в этом у него, старого и больного, перед смертью уже не хватило. И он уступил этой ярости. Это не оправдание, а объяснение его падения.

Но это уже был конец его романа с «временем». Я же застал его в самом расцвете. Но и тогда, как всегда, роман этот был, прямо скажем, без взаимности — романом наивного юноши, влюбленного в пренебрегающую им грязную шлюху. Он слишком много вложил в этот роман и был незащищен перед этой шлюхой. На стихах это еще отражалось не так. Помню, что книга его фронтовой лирики «Крым. Кавказ. Кубань» очень мне понравилась. В отличие от большинства печатавшихся тогда «военных» стихов она претендовала на обобщения, на то, чтобы быть хотя бы голосом его поколения. Не знаю, как эти обобщения понравились бы мне теперь — я давно не видел этой книги, — но, наверно, кое-что и уцелело.

С крупными формами ему приходилось тяжелее. Помню трагическую историю его драмы в стихах «Читая Фауста». Он читал ее то ли на своем литинститутском семинаре, то ли даже в Союзе писателей. Читал с успехом. Мне она показалась замечательной. Никакой крамолы она не содержала. Ее публикации я ждал с нетерпением, но ждать пришлось довольно долго — все время возникали какие-то неведомые мне препятствия.

Наконец, она вышла в каком-то сборнике. Я ее сразу прочел и был обескуражен. Все теперь выглядело бледно, невыразительно, искусственно и неинтересно. Можно заподозрить меня в том, что в первый раз я воспринял ее на слух и ошибся, а второй прочел глазами и все увидел. Но это не так. Во-первых, пьеса была в стихах, а тут меня, как и всякого профессионала, чтением обмануть нельзя. Во-вто-

рых, я помнил целые куски и диалоги, которых в печатном тексте не обнаружил, и в то же время обнаружил куски и повороты, которых раньше не было. Все было смазано и обезличено. Живое произведение под воздействием редакции стало мертвым. Исчезло все, из-за чего оно было написано, а следовательно, и из-за чего его стоило читать.

Я не знаю, но представляю, как это произошло. Достигнут этот «идеал» был не сразу, а рядом последовательных уступок давлению. Давление это осуществлялось редактором, который скорее всего относился и к пьесе, и к ее автору вполне доброжелательно и уважительно. Возможно, он даже знал толк в поэзии. Но он знал все писанные и, главное, неписанные запреты и боялся их нарушить. Его можно изругать, назвать трусом, перестраховщиком, но он боялся отнюдь не ветряных мельниц — в случае чего и ему, и автору грозили реальные неприятности.

Что было тогда запрещено? Практически все. Вся жизнь и всякое к ней индивидуальное отношение, в том числе и апологетическое. Жизнь, как таковая, была (частично и во время войны) стандартным образом, который был дан раз и навсегда. В ней ничего существенного не случилось — кроме (во время войны) героических смертей за родину и преодолеваемых трудностей. В цитированных выше стихах Гудзенко «Перед атакой» после страшных слов: «Сейчас настанет мой черед / За мной одним идет охота» вместо естественно реагирующего на это возгласа: «Будь проклят, сорок первый год / И вмерзшая в снега пехота» долгое время печаталось: «Ракеты просит небосвод / И вмерзшая в снега пехота». В общем напряжении этого стихотворения эта неуместная «просьба небосвода» как-то сходила с рук, хотя все же некоторое недоумение вызывала.

Но сорок первого года в разрешенном обиходе не должно было быть. О нем лучше было вообще не упоминать, но уж совсем нельзя было его проклинать. Ибо это был год хитрого заманивания противника в глубь родной территории с тем, чтобы тем верней там его разбить, что, как известно, под Москвой отчасти и удалось. Потом, правда, благодаря отсутствию второго фронта противник сумел уже сам заманиться до Кавказа и Волги, но тут ему настало и кончение. С этого и следует начинать размышления на эту тему. При чем же тут проклятия сорок первому году? И ре-

дактор, вполне доброжелательно относившийся к Гудзенко, желавший «пробить» его книгу и это «гвоздевое» в ней стихотворение, должен был настоять на изменении этой строки.

Тот, кто редактировал «Читая Фауста» Сельвинского, видимо, просто перестарался. Впрочем, там и дело было не в скрываемых реалиях, а в пафосе — в самостоятельной постановке и решении моральных проблем современности. Решалось все за здравие и «в духе», но этот пафос самостоятельности оскорблял. Кроме того, требовалось, чтобы все до конца было всегда понятно интеллектуально и эстетически не готовым к этому контролерам.

Конечно, бывали и исключения. Касаться реальности разрешалось Шолохову. До определенного времени допускалась хорошая военная проза: Виктор Некрасов, Вера Панова, Эммануил Казакевич.

С поэзией все было сложнее. Особо поощрялась, так сказать, народная. Как уже говорилось, я думаю, что Твардовский проходил безболезненно потому, что его принимали за «национального по форме», то есть за русского Джамбула или Сулеймана Стальского, противопоставленного, так сказать, «интеллигентшине». Но это — другая тема. Сгоряча дали Сталинскую премию даже трагической поэме «Дом у дороги», но потом спохватились и обругали. Человек, железной рукой приведший страну к тому, чтобы 22 июня 1941 года было для нас внезапным нападением, не любил, чтоб война выглядела народной трагедией — цепь героических гибелей, не больше. Хотя во время войны и по поводу войны какие-то реалии допускались.

Но стихи, прямо претендующие на обобщение, власть выносила тяжело. А Сельвинского тянуло именно в эту сторону. Конечно, защитить свою вещь — хотя бы отказом ее публиковать (не демонстративным, что было смертельно, а просто как бы не справиться с переделками), он мог. Но, видимо, перед исторически прогрессивной властью, желая оставаться на уровне истории и прогресса, поэт, считавший своей обязанностью выражать дух времени, был бессилен.

Его травили давно и часто. Временами он сам ощущал свою неуместность: «И завидуешь каждой луже. / Как бы стать мне помельче... поуже...» И даже бунтовал. Но, конеч-

но, не в политике — только в теории искусства. Вместо социалистического реализма, который только что изобрели, предложил не менее социалистический символизм — то же самое в более обобщенных и индивидуальных формах. Другими словами, внес путаницу в руководство искусством. Слава Богу, отнеслись, как к чудачеству — просто измордовали.

Из того, что я рассказываю, может возникнуть образ инфантильного худосочного романтического идеалиста. Я рассказываю правду, но таким он не был и так даже не выглядел. Он был высоким, крепким, явно спортивным, выглядел очень солидно и значительно. Да и был таким. Печать инфантильности накладывало на него, как и на многих других, само время. Общей своей атмосферой, когда неинфантильное доверие к логике и собственным глазам выглядит несолидно, как мальчишество, а инфантильные соображения, наоборот, казались единственно серьезными, манили возможностью выхода. Как-никак инфантильность требовалась от всех.

Конечно, выходом она была иллюзорным, но она позволяла жить и активничать, на ней он кое-что строил, проникал в русскую историю, размышлял об исторической драме в стихах.

Многие и поныне не видят за драмой в стихах никакой проблемы. Полагают, что пьесой в стихах может быть любая пьеса, если зарифмовать реплики действующих лиц. А проблема есть — о ней я и сам потом много размышлял. И многое из того, что я сегодня об этом знаю, я услышал от него. В общих чертах тут все определяется характером и степенью обобщения. Размышления Сельвинского, которые мне пришлось слышать на его семинаре, были основаны на собственном опыте, на материале одной из таких его драм — «Ливонская война» — которую он перед этим нам прочел, и потому производили особо глубокое впечатление, заражали и заряжали мысль. Пьеса эта мне тоже понравилась и, кажется, тоже пришлась не ко двору.

Среди многих отзывов о Сельвинском приходилось мне — правда, не в тогдашнем Литинституте — слышать, и что он просто глуп. Возможно, таким было впечатление от мону-ментальности его поведения, а она имела место. Но то, что он говорил о литературе, могло быть неверным (как его

отношение к Твардовскому) — сказывалась смесь ложных представлений Серебряного века, революции и «периода реконструкции», — но глупостью не было.

Личная встреча с ним у меня была только одна. Предшествовало ей то, что однажды на занятии литобъединения при издательстве «Молодая гвардия», руководителем которого он вскоре стал (о самом объединении — позже), он отметил меня как человека, тонко чувствующего внутреннюю организацию стихотворения. Ободренный этим, я попросил его принять меня и выслушать стихи. И тут я наткнулся на его монументальность:

— А что я буду делать, если все мои студенты будут отнимать у меня время? А? — спросил он, хитро улыбаясь.

Однако в следующий раз (кажется, после моего чтения) он все-таки согласился принять меня. И вот я пришел к нему на Лаврушинский.

Кабинет его, как мне помнится, был светлым и просторным. Все в нем было организовано функционально и без излишеств. Он вообще ведь культивировал близость к инженерству. Но это к слову. Важна беседа. Было это уже после того, как у меня изменились взгляды (об этом тоже позже), и я — к счастью, временно — «понял» правоту Сталина. Но «старые» стихи, от которых я как будто искренне отказался, все же читать продолжал — так сказать, для информации о своих поэтических возможностях и исканиях. На самом деле политически я мог о них думать что угодно, а поэтически я от многих из них отказаться не мог (как сегодня от сталинистского «16 октября»). Это чуть не привело к недоразумению. Встретил он меня приветливо. Но после первых же стихов — я прочел «Стихи о детстве и о романтике» (об «ежовщине») — произошла неожиданная заминка:

— Это антисоветские стихи, — отрезал Илья Львович, насупившись, но тут же смягчился. Из дальнейшего стало ясно, что не так уж сильно это отмеченное им качество стихов его оскорбило. Проскользнуло и то, что ему самому и не за такое доставалось, а ведь он претендовал только на обобщенность выражения...

В этом и была основная трагедия его жизни. Он прекрасно понимал, что поэтическая речь — прежде всего речь обобщенная, и от этого отказаться не мог. Конечно, обобщен-

ность, на которую он претендовал, предполагала то, что потом назвали ангажированностью — состоянием, когда непосредственность восприятия контролируется взглядами, и наперед известно, что достойно обобщения, а что нет (как же, историческая необходимость!), — но все же она оставалась актом личного творчества и ответственности. Эта обобщенность — как раз то, что его губило. С одной стороны, она портила его отношения с «эпохой» (сиречь с властью), а с другой, в значительной степени не давала ему развернуться в полную силу его таланта, ибо игнорировала главное в обобщаемой таким образом реальности — ее безвыходную трагичность. Того, чего каким-то образом касались мои стихи и с чем еще долго не могли по-настоящему справиться ни он, ни я сам, ни все вокруг.

Нет, я не пытаюсь возвыситься над Сельвинским. И не только потому, что я тогда уже и сам на несколько лет перешел в сходную «веру», а просто потому, что этот человек в тех ужасающих условиях все-таки мыслил и тем самым заставлял мыслить других. А то, что он мыслил столь странно, то что подделаешь? — это мыслил человек двадцатых годов в сороковые.

Но ведь важно разбудить мысль, наглядно показать молодежи, что она существует, а потом она работает сама и под воздействием жизни может заработать и не в заданном направлении. Важно, чтобы она не совсем уснула, чтобы представление о ней вообще не пропало. А ведь к этому шло. И поэтому не поощрялась всякая мысль, даже верноподданная. И поэтому студенты, и я в том числе, почитали Сельвинского. Говорю я об этом объективно, ибо эстетической близости с ним у меня нет уже давно.

Полностью передать этот свой единственный разговор с Сельвинским наедине я, к сожалению, сейчас не в состоянии — в связи со своими просталинскими «прозрениями» уж слишком неточен я был тогда в своих мыслях, чтобы все запомнилось. Но помню, что разговор был дружественным, что он меня «услышал» и что вышел я от него окрыленным.

На этом очерк-эссе о Сельвинском кончается. Однако заговорив в связи с этим странным собранием о нем, я забежал вперед и вообще отвлекся от происходившего.

Как здесь уже говорилось, это памятное собрание никак особенно на меня не повлияло — дух сталинщины я не

принимал и до этого (принял чуть позже), а ребят не стал презирать и после этого. Были ли среди них сексоты? Наверное, были. Они везде были. Но с речами выступали не сексоты. Конечно, если исходить из нормальных нравственных критериев, выступать на подобных собраниях более чем предосудительно. Но тогда даже самые лучшие из нас придерживались того, что потом называлось «коммунизм с человеческим лицом», что тоже неотделимо от нравственного релятивизма. Так или иначе, ребят я строго не судил. Со многими из них я быстро подружился. Впрочем, были и такие, кого судить было бы и не за что.

Например, Платон Набоков. Подружились мы с ним поначалу по очень простой причине. Все вокруг говорили о Пастернаке, а он был одним из немногих, кто его читал и понимал. И вообще — понимал. Нет, я не имею в виду никакой политической или эстетической тенденции, даже понимания истинного состояния общества и сущности Сталина (представление о нем было «лакировочным» даже у тех, кто его ненавидел), а просто понимание объемности жизни и поэзии, действительную зависимость второй от первой. Только через много лет я сформулировал это (то, что тогда сблизило меня с Платоном) как «умение слышать смысл произносимых слов». Нравились мне и его стихи, погруженные в себя, но взволнованные и серьезные.

Конечно, разговоры о литературе не обходились без попыток обобщений происходящего в обществе. Рассуждали свободно, хотя отнюдь не в духе какого-либо предполагаемого «Союза борьбы за...», в котором, как это ни парадоксально, мы, как и вся советская молодежь, были воспитаны — детскими книжками, например. Многие потом, в юности, и предпринимали наивные попытки организации таких союзов, за что садились — власть воспитывала в духе такой романтики, за следование какой сажала.

Однажды Платон познакомил меня на улице со своим приятелем — смуглым, стройным и очень приятным парнем с живым и острым умом. Некоторое время мы шли вместе. Что-то я ему прочел — это вызвало его одобрение и живейшую реакцию. Парень говорил очень интересно, судил о литературе тонко и точно. За ним ощущалась глубина мысли и образованность. Он часто поминал имя Тынянова. Выяснилось, что он с ним дружит, может, даже секретар-

ствует у него. Я тогда уже понемногу начинал сомневаться в ценности поклонения новаторству (в сущности, термину и манере поведения), которое в неофициальных молодежных кругах с довоенных времен оставалось официальной нормой приличия, и сказал об этом. Мой новый знакомый в ответ улыбнулся:

— Да вот и Юрий Николаевич говорит: какие могут быть новые формы, раз не создано новое общество?

Теперь я давно уже не верю в прямую связь форм — литературных и общественных. И уж, конечно, не верю в принципиально новое общество, для будущих небывалых потребностей которого только и можно предварительно заготавливать художественные формы — как опоки для литья. Конечно, формы общественных отношений меняются. Меняется жизнь и восприятие жизни, и это отражается на искусстве — значит на форме, ибо произведение искусства и есть прежде всего воплощенная форма восприятия.

Я очень чтил Тынянова, хотя ничего еще не слышал о формализме и вообще не знал, что он литературовед. Но он был автором очень важных для меня романов «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара», и этого было достаточно. И то, что он тоже не без ума от новаторства и, главное, что он тоже не находит у нас «нового общества», очень меня тогда поддержало. Раз и Тынянов это видит, значит, я не вовсе спятил...

Фраза эта возвращала реальность, освобождала от гнетущей абстракции. Я мог сколько угодно верить, что такое идеальное общество возможно, это было ошибкой, но не подменяло восприятия и творчества, не требовало лжи, но вера в его наличие хотя бы в зачаточной форме была прямым отказом от самого себя, рабством. Когда наш собеседник распрощался с нами и ушел, я спросил Платона, кто это.

— Жорик Ингал, — ответил он.

Это имя я уже слышал в Литинституте — в том плане, что надо вас познакомить. Вот мы и познакомились. И должны были подружиться. Но даже не встретились больше. Никогда. Через несколько дней он был арестован. Из тех, кто его видел после меня, я знаю только А.И.Солженицына, рассказавшего о встрече с Ингал в «Архипелаге ГУЛАГ». Общался он с ним гораздо больше, чем я, ибо долго сидел с ним в одной камере в Бутырьках. Как ясно из этого

упоминания, Ингал произвел и на Солженицына большое впечатление. А потом пропал. С концами. Как многие. Конечно, кто-то был с ним рядом на этапе и в лагере, но их свидетельства до меня не дошли. Слышал я только, что он умер в лагерной больнице.

Думаю, что и все мы, и лично я, в нем лишились очень ценного человека, который мог бы влиять на жизнь, на продолжение неусеченной культурной традиции. Таких утрат было много, и все они невозможны. Все бы мы были немного другими и вели бы себя по-другому, если бы эти люди были с нами.

Как и хитроумное большевистское ЧК, механистическая сталинская Фемида инстинктивно изымала лучших и редко ошибалась. Это соответствовало ее вкусам и облегчало движение в заданном направлении. А что это движение в пропасть, она не знала, да и не по чину ей было это знать. Через много лет я понял, что сталинщиной для того и насаждалось разобщение, чтобы люди не могли сверять свои мысли и впечатления, чтобы каждый был одинок в «коллективе» и, видя, что король гол, не смел верить своим глазам.

Исчезновение Жоры Ингал созывом специального комсомольского собрания в Литинституте отмечено не было, хотя он тоже там учился. Впрочем, как я уже говорил, это больше соответствовало заведенному тогда порядку, чем его проведение.

С арестом Платона Набокова несколько повременили — спешить им было некуда. Арестовали его только в 1951 году — когда я уже не только побывал в тюрьме, а и отбыл ссылку. И кажется, как раз в те дни, когда я был проездом в Москве.

А пока на дворе апрель 1944-го, и круг моих знакомств продолжает расширяться. Одно время я был близок с Межировым. Потом наши пути разошлись.

В те дни произошло одно из основополагающих событий моей жизни — началось знакомство, а потом и дружба с невероятным — особенно в тогдашних обстоятельствах — поэтом и человеком Николаем Ивановичем Глазковым. Так он должен именоваться, если речь идет об истории литературы. Но для меня, как и для всех, кто его знал, он и тогда, и всегда был просто Коля. Первой со мной о нем заговори-

ла студентка Литинститута Надя Рашеева — чуть ли не на «белинковском» еще комсомольском собрании. Она сказала, что есть такой поэт, Николай Глазков, с которым мне необходимо познакомиться, и очень обрадовалась, что мне знакомо его имя. О нем мне писал Люсик Шерешевский, подружившийся с Колей в Горьком, где оба жили в эвакуации. Я обрадовался, что Коля вернулся в Москву. У Нади же я узнал его адрес — тоже теперь легендарный и потом зарифмованный:

Живу в своей квартире,
Пилю себе дрова...
Арбат, сорок четыре,
Квартира двадцать два.

Коля был близок к окружению Маяковского, считал себя продолжателем футуризма и «Лефа», числился тогда секретарем Яхонтова. Через него я потом познакомился с Лилей Ефимовной Поповой, женой Яхонтова, очень милой и хорошей женщиной и, как я много лет спустя узнал, последней любовью Мандельштама. До войны Коля учился в Литинституте и был оттуда исключен. Он считал, что его положение в институте лучше всего передает анекдот, придуманный преподававшим там Осипом Бриком. Вот этот анекдот. Приезжает в Литинститут высокая комиссия, требует к себе лучшего студента. Тому задают ряд вопросов, тот ни на один не отвечает. Тогда комиссия требует представить худшего студента. Зовут Глазкова. Ему задают те же вопросы, и даже еще более трудные, Глазков на них блистательно отвечает. Комиссия в недоумении: «Почему же он худший?» Ответ администрации: «Вы его не знаете! Он притворяется!»

Когда я появился в Москве, Коля нигде не работал (секретарство у Яхонтова началось чуть позже и было фиктивным) и скоро, действительно, стал кормиться пилкой дров. Еще он пытался промышлять торговлей папиросами и хлебом. По поводу последнего он однажды поделился со мной следующим гениальным соображением:

— Эмочка, я подсчитал, что если бы я весь хлеб, полученный за все эти годы по карточкам, не съедал как дурак, а продавал — я бы давно уже был миллионером.

Разумеется, Глазков тут «валял дурака» — занятие, которое он очень любил. Но чем-то он и впрямь пытался тор-

говать. В торговлю папиросами он однажды довольно бесцеремонно вовлек и меня. Началось с диалога:

— Эма, у вас есть двадцать пять рублей? (Мы тогда еще были на «вы».)

— Есть.

— Покажите.

Когда я показал, он мгновенно отобрал их у меня, вручил взамен пачку папирос и сказал:

— Сейчас мы с вами пойдем на Смоленскую площадь, и вы там продадите эту пачку за пятьдесят — надо вас учить жить, а то пропадете.

Но я чуть тогда же не пропал, и именно от этой учебы. Никому нельзя браться не за свое дело. Первый же покупатель сразу углядел, какой я торговец, и стал, что называется, брать меня «на горло». Дескать, я тебе покажу спекулировать, а ну отдавай по себестоимости. Я, «невольной» обязаный» спекулянт, готов был с радостью и на это, только бы уйти отсюда, но за меня вступился Коля. И тут появился милиционер. Высокую Колину шапку я тут же увидел на мостовой в центре площади — он убежал. Милиционер попался добродушный, «товару» у меня больше не было, и он сразу отпустил меня. Я тут же припустил к Коле.

— Эма, вы не думайте, что я вас предал, — сказал он, открыв мне дверь. — У вас ничего не было, и я знал, что вас должны отпустить. А у меня было много товара, и нас бы обоих схватили.

Скорее всего он был прав. Но страху я натерпелся изрядно. Я был готов страдать за свое, но в качестве спекулянта — это было для меня невыносимо. Глазков смотрел на эти вещи иначе. Он был поэтом и должен был как-то жить. Он не делал никому зла, остальное его не беспокоило.

Правда, милиции он тогда вообще боялся патологически. Однажды мы шли с ним по пустынному вечернему Арбату, и вдруг он углядел издали идущих навстречу двух милиционеров. Милиционерам не было до нас никакого дела, да мы и не представляли для них никакого интереса. Но Коля встрепенулся, схватил меня за руку (а руки у него были очень сильные), круто повернул, и мы быстро перешли на другую сторону. Если бы милиционеры обратили на нас внимание, такой маневр показался бы им подозрительным.

Милиции Коля боялся не из-за своей «спекуляции» — в сущности это были эпизоды, фанатерия, а потому, что милиция его время от времени пыталась куда-то мобилизовать, от чего он увертывался, но что его всегда тревожило.

Однажды, еще до моего знакомства с ним, сердобольные друзья решили, что он пропадает и устроили его грузчиком на мучной склад. Человек он был сильный («я самый сильный из интеллигентов» — любил он повторять), а работа была хоть и пыльная, но позволяла подкормиться. Далее следует Колин рассказ об этой странице его трудовой биографии:

— Проработав день, я понял, что, если так будет долго продолжаться, я умру с голоду.

Но отпустить его с этой «хлебной» работы отказались, и по условиям военного времени имели на это право. Из этого положения Коля вышел по-глазковски. На следующий день явился на мучной склад в отцовском фраке (отец его, адвокат, погиб в ежовщину) и был тут же уволен. Про свои отношения с военкоматом он говорил:

— Я им изложил свои взгляды на военную службу, и они меня отпустили (предварительно признав шизофреником. — *Н.К.*). Настроен был Коля очень патриотично, но при этом идти на фронт явно не хотел. Причина этому была проста, ни за что другое не выдавалась, а обнажалась им с предельной откровенностью: «Али забоялси? — Забоялси!» Но это так, «валяние дурака», о котором он сам писал:

Я сам себе корежил жизнь,
Валяя дурака.
От моря лжи до поля ржи
Дорога далека.

От армии его освобождали не какие-то его сногшибательные хитрости, а реальное медицинское состояние. Оно никак не мешало ему творить, мыслить, читать (хотя иногда он утверждал — ссылаясь при этом на хорошо ему известных мыслителей прошлого, — что читать не надо), общаться с друзьями, но представить его в армии просто невозможно. Хотя это его состояние помогло ему выжить в страшные времена. Его невписываемость в ранжир можно было всегда объяснить болезнью — присовокупив для наглядности какие-то курьезные, но политически безобидные его высказывания или строки.

Да он и сам иногда этому подыгрывал. Однажды, например, он мне рассказал (и с самым серьезным выражением лица), что к нему приходил английский корреспондент с предложением издать его произведения на Западе.

Коля ответил решительным отказом.

— Почему? — спросил «корреспондент».

— Невыгодно, — ответил Коля.

«Корреспондент» ждал любого ответа — например, возмущенных патриотических излияний, — но только не этого.

— Почему невыгодно? — взмолился он. — Мы хорошо заплатим.

— Ну сколько вы можете мне заплатить? — рассудительно отвечал Коля. — Ну, сто тысяч рублей, — ошеломленный «корреспондент» молчал. — Я их за год пропью, а вы меня второй раз не издадите — вам это для скандала нужно... Нет, лучше я подожду, когда меня на родине начнут печатать, тогда уж не перестанут. Нет, мне у вас издаваться невыгодно.

Как этот «корреспондент» анализировал этот прагматический патриотизм у себя на Лубянке, не знаю, но Глазков прожил благополучно в Москве все страшные годы. И даже сохранил весь свой архив, всю переписку.

— Потому что я знал, что если придут — все равно, что найдут. Ибо действительные улики (в сталинское время. — *Н.К.*) ничего не стоили по сравнению с высосанными из пальца.

Последнее соображение свидетельствует о трезвости Колиного понимания происходящего, о независимости и силе его ума.

Но когда я впервые позвонил в его дверь, я ничего этого еще не знал. Глазков жил во флигеле большого арбатского дома. Потом, уже в мое отсутствие, его переселили, но сам флигель стоит. Только его отделили от этого двора глухой промышленной стеной, и он больше не Арбат, и не сорок четыре. Но тогда все соответствовало. Я поднялся на второй этаж и позвонил. Мне долго не открывали, а потом открыли. Соседи. Указали, как пройти.

Его апартаменты находились в конце большой, даже громадной коммунальной квартиры. Постучался. Через некоторое время послышался странный голос, произнесший нечто непонятное. И я вошел. То, что я увидел, меня пора-

зило. Все тонуло в полумраке. Единственного окна не хватало, чтобы его рассеять. Ощущение запустения дополняло полное отсутствие потолка — он обвалился. Вместо него был какой-то грязно-коричневый конус из штукатурки перекрытый и еще чего-то. Окно было справа от двери, в которую я вошел, а слева вдоль стены занимал пространство стол, а за ним — большая кровать.

На ней лежал и смотрел на меня человек с закутанной головой. Он подтвердил, что он и есть Глазков, и я в ответ на его вопрос тоже назвал себя. Выяснилось, что он обо мне знает от Люсика. Он тут же припомнил наиболее курьезные и наивные из слышанных от Люсика строк. Я смиренно сознался, что это, действительно, мои строки. Знакомство состоялось.

Потом был целый день. Коля встал. Возвратилась откуда-то его тогдашняя жена Лида, приготовила какой-никакой завтрак. Потом пришел Колин друг Женя Введенский. Все это время мы разговаривали, читали стихи. В основном я. Оценки были весьма неласковые. Или «Плохо», или «как Симонов», или что-то еще более пренебрежительное. Подчас они поднимались до «на уровне». Причем Коля не забывал добавлять: «Вот видите, Эма, только на уровне». Женя Введенский с ним соглашался. От меня только пух летел. Два или три стихотворения Коле понравились.

— Не унывайте, Эма, обычно я все бракую, а у вас мне все же кое-что нравится, — успокаивал он меня.

Смятению моему не было границ — такому разгрому я еще не подвергался никогда. Но я думал. Многим рассказывал об этой встрече. Относились по-разному. Некоторые говорили: «Плюнь!», но не плевалось. К Коле я больше не ходил, считал, что не представляю для него интереса. Пока, встретив меня где-то, Глазков без обиняков не сказал:

— Вы почему не приходите, Эма? Думаете, если всякие девочки вас хвалят, а Глазков ругает, то они вас любят, а Глазков нет? Все обстоит как раз наоборот.

И я стал ходить к Глазкову, бывать у него часто. И мы скоро перешли на «ты», стали друзьями — хотя ему было уже целых двадцать шесть лет. О нем можно рассказывать много. И, наверное, я еще буду к нему возвращаться.

Думаю, что Колю нельзя было назвать остряком. Остроумие его было в парадоксальности суждений, а сама пара-

доксальность состояла в нормальном восприятии парадоксов действительности.

— Знакомься, — сказал он мне однажды, когда, придя к нему, я застал у него незнакомого парня, — это Илья, поэт-юморист, автор лучших юмористических стихов о Ленине.

Я удивился, тот запротестовал, но Глазков был неумолим:
— Ну как же! Вот смотри:

С измятой кепкою в руке
Стоял он на броневике.

Разве не первоклассный юмор?

В моей жизни и судьбе он занимает особое место — только его и Пастернака я считаю своими прямыми учителями. Хотя следы влияния и того, и другого в моих стихах отыскать трудно. Глазков научил меня внутренней свободе и независимости — даже от собственных взглядов.

Кстати, насчет девочек, ради которых я забываю Глазкова, — они были его «вечной темой». Они если и существовали, то больше в моих мечтах, а для Глазкова, который моих донжуанских способностей отнюдь не преувеличивал, они были не больше, чем игровым этюдом. Помню, как в середине шестидесятых, когда я впервые привел мою нынешнюю жену в Дом литераторов и мы сидели с приятелями, внезапно появившийся Глазков подошел ко мне и начал с того же:

— Эмочка, ты все со своими девочками, а старого Глазкова забываешь.

Он, конечно, понятия не имел, что я пришел с женщиной (за столом их было несколько), он просто был в своем репертуаре. Я не смог удержаться и расхохотался.

Но это все имело отношение к «валянию дурака» — он был одним из самых умных, образованных и самостоятельно мыслящих людей своего времени, дружба с которым, начавшаяся в описываемый период, подняла мою жизнь на более высокую ступень. Для провинциального киевского мальчика она была великой удачей.

Так постепенно я входил в московскую жизнь. Но в центре этой жизни для меня все время оставался Литинститут, куда, как никто не сомневался, я буду принят с началом учебного, 1944 года, и куда меня приняли только через год,

о чем — в следующей главе. И о молодежных литературных объединениях, которые тоже занимали большое место в моей тогдашней жизни (да и вообще играли заметную роль в культурной жизни молодой Москвы тех лет), я буду говорить тоже там. Это уже переходит за грань первого знакомства.

Упоение у бездны-1

(В Москве сорок четвертого.

«Молодая гвардия». «Роман» с МГБ)

Как это ни странно звучит, но тогда, в 1944 году, в военной Москве существовала и набирала силу (восстанавливалась?) молодежная литературная жизнь. Наиболее ясно это было видно по тому, что происходило со ставшим потом знаменитым литературным объединением при издательстве «Молодая гвардия». Было еще объединение при «Комсомольской правде», его я тоже исправно посещал, были и другие, где и при чем — не помню. Но тогда знал все. Человеку, соприкоснувшемуся с молодежной литературной средой, трудно было не узнать про них. Да и редакции с удовольствием к ним отсылали — взамен печатания.

Но «Молодая гвардия»- так запросто по имени издательства мы называли и литобъединение при нем — была вне конкуренции. Динамика нарастания новой литературной «волны» видна по смене помещений, где происходили ее занятия. Когда я впервые туда пришел (привел меня Межиров), они происходили в небольшой комнате. Но народ прибывал, и через несколько занятий собирались уже в просторном холле издательства. Потом и там стало не хватать места, и тогда их перенесли в просторный подвал Политехнического музея (издательство помещалось тогда на Новой площади как раз напротив него). Этот подвал и был зафиксирован многими. И неудивительно — там кипела молодежная вольница. Зафиксирован многими в этом подвале даже я — что читал крамольные стихи и отчаянно спорил. Вообще был *enfant terrible*, каковая роль, несмотря на сопряженную с ней опасность и несвойственность ее моей натуре, мне тогда по младости импонировала.

На первом для меня собрании, еще в комнате, стихи — это было намечено заранее — читал Межиров, читал и всех

очаровал. Впрочем, этой зачарованности уже ждали — видимо, он всех тут очаровал еще в прошлый раз. Я к большинству его стихов относился прохладно — чарующая других экспрессия их не всегда для меня подтверждалась движением сути и выбором слов, что, как я теперь понимаю, одно и то же. Впрочем, тогда я этого не понимал, считал эти стихи хорошими, но почему-то не запоминал. Может быть, другие запоминали — у него много поклонников. Кроме того, он знал бездну стихов самых разных поэтов, любил их и умел заражать этой любовью. От него от первого я услышал стихи Цветаевой и Мандельштама. Это немало.

Потом я узнал, что фамилия «Мити» (я его так никогда не называл) Кедрин. Мы часто возвращались с ним вместе в электричке — он ехал до Тарасовки, а я сходил на две остановки раньше — в Строителе. А до этого, когда я жил в Подлипках, я все равно ехал с ним на его, «пушкинской» электричке, сходил в Мытищах и ждал там своей подлипковской. Разговаривать с ним было очень интересно. Я знал, что этого человека зовут Дмитрий Борисович Кедрин, что он очень хорошо понимает и чувствует поэзию и все вокруг нее, что он вообще мне симпатичен. Не знал я и даже не подозревал только одного — что он поэт. А он ни разу и словом не обмолвился об этом. Вразумил меня не он сам, а мой друг Николай Старшинов, с которым я поделился впечатлениями об этом «понимающем» человеке.

— А ты знаешь, что он и сам поэт! — сказал Коля. — И хороший! У него книжка вышла, и там есть хорошие стихи. Вот смотри! — И он прочел мне «Зодчих». Потом я сам прочел книгу Кедрина. Там были стихи, которые в позднейшие времена назвали бы «антикультовыми» (например «Алена-старица»), а ведь времена были такие, что никакого «разоблачения преступлений, связанных с культом личности», и представить было нельзя, когда некоторые из них только еще предстояли. Так что распространившиеся после его загадочной гибели слухи о том, что его вытолкнули на ходу из электрички (тогда двери в ней еще не сдвигались автоматически) не уголовники, как считалось, а гэбисты, чего я не думаю до сих пор, имели под собой основание. Этот разговор со Старшиновым произошел, вероятно, перед самой гибелью Дмитрия Михайловича, и с Кедриним как с поэтом (т.е. зная, что он поэт) я ни разу в жизни, к сожа-

лению, не встречался. И думаю, что не я один не знал, кем был на самом деле этот понимающий «Митя».

Очень скоро он стал широко известен, и стихи его стали входить во все антологии советской поэзии. Но ведь и до этого он вовсе не был запрещен, и в Москве было достаточно людей, хорошо знавших ему цену. И тем не менее само старшиновское «А ты знаешь...» свидетельствует о том, что о нем знали только немногие. Конечно, я был мальчиком из провинции, знал не все и не всех, но все же остро интересовался всем, что появлялось в поэзии. Я должен был знать его имя. Однако не знал. Даже после выхода его книги стихов — такой книги в такое время. Почему выход его книги не сопровождался шумом, которым он должен был сопровождаться? Не знаю. Но в том, что об этом не знала молодежь, с которой он имел дело, «виноваты» его высочайшая скромность и личное достоинство — человека и поэта. Получалось так — я о вышедшей книге не заговаривал, ну и он тоже. Не хотел себя навязывать. Это недоразумение лишило меня многого, но одарило меня представлением о том, что бывают такие люди. Даже среди поэтов.

Но вернемся к литобъединению. Поначалу его вела административная (от издательства) руководительница Вера Васильевна Юровская. Не понимаю, почему Юровская была Васильевной — так не переводится ни одно еврейское имя, а она была еврейкой и своего происхождения не скрывала. Кажется, она происходила из старобольшевистской семьи. Была ли она в родстве с цареубийцей Юровским — не знаю. Тогда таких «заслуг» не скрывали, но речь об этом при мне ни разу не заходила. Юровская поначалу отнеслась ко мне хорошо, но особо душевных бесед у меня с ней не было.

Я ее считал трусихой. Скорее всего, несправедливо, хотя она и впрямь всего боялась. Так ведь не зря же. Возможно, это было связано с ее старо-большевистским родством, если оно мне не приснилось. Ибо, хотя формально оно продолжало считаться почетным, но на самом деле оно теперь скорее отягощало анкету, а по линии МГБ просто выглядело подозрительно. Так что вполне возможно, что она так всего боялась еще и по этой причине.

Конечно, к большевикам (говорю о «настоящих», «идейных» или представлявших себя таковыми), которые от всего «отдельно взятого» (ими за горло) народа требовали без-

граничного самопожертвования, а сами, когда пришлось, за редким исключением, не проявили и тени готовности к нему, — особый счет. Но речь сейчас не о старых большевиках, а о Юровской, которая лично вряд ли была в чем-либо виновата и вполне имела права бояться моей лихости. Я не был идиотом и тоже понимал, что за это не милуют, но, воспитанный в героических традициях Ленинского комсомола и большевистской принципиальности, какими они представлялись в книгах, а отчасти и сталинской пропагандой, я не считал это достаточным основанием для отказа от истины. Примат общественного над личным, верности Революции над личной безопасностью (причем не только своей) я понимал буквально и воистину бескомпромиссно — хотя и вразрез с властью, якобы являющейся воплощением этих «добродетелей». И я действовал в соответствии с этим, ни с чем не считаясь — другими словами, публично читал стихи, которые писал. Стихи, отчасти уже знакомые читателю этой книги, отчасти (если мною же не забракованы) опубликованные в начале моих сборников, заграничных и «худлитовского».

Что происходило! Мне «давали отпор», запрещали читать стихи, выступать, запрещали даже приходить, а я в шинели без хлястика и в буденновке со звездой на лбу (и то, и другое, правда, в «товарном» виде, мне подарил Марк Малков, упоминавшийся в предыдущей главе) все равно там появлялся, как призрак военного коммунизма, выступал и читал. А директора издательства Михаила Тюрина, собственно и велевшего меня изгнать, даже вставил в стихи, которые тогда читал везде, но давно не читаю и публиковать не собираюсь. Лишь к слову здесь приведу отрывок. Выглядел в нем он так:

О, старый мир! Ты был не прахом,
А мстил сурово за себя,
Когда у нас, в быту, с размаха
Я натыкался на тебя.
Ты шел всегда на авантюры,
Чужой от головы до пят.
... Какой-нибудь редактор Тюрин
Работал тоже на тебя.

Из этого видно, что все, чего я не любил, я относил к проявлениям старого мира (себя — к новому). И что с вра-

гами его был беспощаден — в смысле словесных приговоров. Между тем Михаил Иванович Тюрин просто знал, что за это бывает, независимо от того, новый это мир или старый. Правда, недоброе чувство ко мне он сохранил надолго. Не за эти строки — он о них вряд ли знал, а за перенесенные страхи. Уже через много лет, когда в «Известиях», где он тогда был замом главного, он обнаружил мою подпись под напечатанной репликой, он очень сетовал, что не заметил ее раньше — такого человека, как я, по его мнению, и близко нельзя было подпускать к газете.

Я и сегодня не знаю, как относиться к своему тогдашнему поведению. Ибо, с одной стороны, оно было проявлением самоупоенного эгоизма по отношению к малым (и не очень малым) сим, к «дрожащей — и вовсе не без причин — твари». Но была и другая сторона. Не мог я в девятнадцать лет вдруг взять да и перестать проявляться, практически — существовать. Да и хорошо ли бы это было? Что вообще нравственно в годы декретированной безнравственности? И дальше — рассказывать о том, что я тогда вытворял, значит хвастать собственным «героизмом». Между тем героизма там не было. Героизм — это направленное деяние, имеющее некоторую возвышенную цель. Ничего подобного у меня не было. Такой задачи, чтобы люди, выслушав мои стихи, «встали и пошли», я, видит Бог, перед собой не ставил. Да и куда было им идти? Психологически это был совсем не героизм.

Я читал эти стихи потому, что я их написал. Я просто удержаться не мог. Меня несло. То, что я читал, было в принципе невозможно и невероятно. Это не то, чтобы было запрещено, этого по общему уговору (очень неравноправному) — не существовало, а я с легкостью нарушал это табу так, словно это так и надо. Залы взрывались аплодисментами. Ведь тяжесть всего этого «уговора-табу» (как минимум, касавшегося страха и лжи ежовщины, вообще лжи) давила на сознание и подсознание многих — вот они и откликались.

Сегодня мне вспоминать об этом иногда страшно, а тогда — ничего. Главный страх, который я испытывал по этому поводу, был страх, что мне аплодируют не за стихи, а за храбрость. Я всегда относился к поэзии серьезно и боялся допингов. Это располагало к серьезным размышлениям о ней.

Но открыто читать стихи, которые я писал, было опасно и в банальном смысле. Но что мне было делать? Писать их и никому не читать? Это противоестественно. Я не решал так себя вести, но из этого ничего не выходило. Радикальным решением было бы их не писать. Но тогда бы меня, такого, как я есть и должен был стать, не было бы вообще. Альтернативой тому, что некоторым кажется героизмом, было самоубийство. А хвастать тем, что не кончил самоубийством, нелепо.

Я не ставлю свой опыт никому в пример. «Эксперимент» этот не только мог, он, в общем, по всему и должен был закончиться моим исчезновением. Особенно если бы у него нашлись последователи. Тогда бы уж точно прикончили всех — и меня, и остальных. Но их, слава Богу, не было. Удивительно не то, что ответственные за мероприятия приходили в ужас от моих выступлений, удивительно то, что эти выступления некоторое время все-таки сходили мне с рук. Иногда мне кажется, что ввиду невероятности. То, в чем других надо было уличать или приписывать с помощью внушения, — а они изо всех сил упирались, отталкивались от этого, — здесь человек просто произносил публично или сам объявлял от своего имени:

Мне каждое слово
Будет уликою
Минимум
На десять лет.
Иду по Москве
Переполненной шпиками,
Как настоящий поэт.
Не надо слежек!
К чему шатания?
А папки бумаг?
Дефицитные!
Жаль!
Я сам,
Всем своим существованием —
Компрометирующий материал.

Стихотворение это, написанное мной в восемнадцать лет, было названо «Восемнадцать лет» задним числом. Ибо оно несет печать этого возраста. В восемнадцать лет на снисходительно-ироническое отношение к своему возрасту я, естественно, способен не был. А в сорок я уже никак не мог

всерьез ощущать интонацию этого стихотворения адекватной себе. Отсюда и ироническое дистанцирование в названии. Но ирония моя относится к самоуверенности тона, к безапелляционности авторской самооценки, к вере в свою способность на равных противостоять дракону, короче, к себе, а не к ситуации, в которой это выявилось.

Эти стихи, как я потом узнал, не возмущали, а даже умиляли гэбистов. Еще бы! — впервые в стихах прозвучал их рабочий термин — «компромат» (а я, честно говоря, и не знал, что это термин). Но «компромат» обычно собирают по крупице, под него скрупулезно подгоняют обычные факты и высказывания, а тут человек сам напрашивается и даже правильно все озаглавил. Это могло и ошеломить. Особенно при непривычке иметь дело с реальными делами. Конечно, времена были военные, либеральные, но не до такой степени. Тем не менее сразу меня не арестовали. И даже почувствовать себя дали не сразу.

Я до сих пор печатаю это стихотворение, хотя оно не соответствует моему сегодняшнему вкусу. Наряду с двумя-тремя другими ранними стихами, к которым я отношусь так же, оно вошло даже в мой «худлитовский» сборник, куда я отбирал стихи строго. Вошло потому, что чем-то оно мне до сих пор по-человечески дорого. Как всякому дорого его юность. Обычно я таким своим слабостям не потакаю (во всяком случае сознательно), а тут уступил.

Но здесь я говорю о нем потому, что при всех своих слабостях оно несет на себе отпечаток моего тогдашнего состояния, времени и ситуации. При всей экспрессивности оно точно фиксирует гибельность этой ситуации для поэзии. Тогда и до самой смерти Сталина. Поэзии и потом бывало очень трудно, но петля была стянута уже не так смертельно. А тогда практически было два пути формирования поэта, и оба гибельные — идти напрямую против, отбросив мертвящее наваждение от себя открытым инфантильным жестом, как в этом стихотворении, — это означало физическую гибель. И был второй путь — стараться обойти все, что давило, как незначительный фактор. Он вел к тому, чтобы быстро заглохнуть, исчезнуть или вообще не возникнуть. Это тоже означало не состояться. Признаю, что эта дерзость юношеского противостояния не спасла бы меня, если бы не умер Сталин. Не говоря уже о том, что эстетическая ценность самого акта противостояния, тем более

долгого, невелика. Но поскольку Сталин умер, это дало мне многие преимущества. Оказалось, что я человек с нормальной юностью, с естественными ее реакциями на окружающее, а значит, и с мыслями о ней (самыми разными) — другими словами, что у моего самосознания и сознания, а, значит, и у творческого развития, не было потерянных лет.

Должен сказать, что моя поглощенность литературой не только не отвращала меня от общественных и идеологических тревог, а, наоборот, еще больше приковывала меня к ним. И было бы странно, если бы это было иначе. Ибо, к несчастью, литература стала зависеть от этих материй. Давление общественной ситуации отражалось на всем. Даже многомудрые рассуждения насчет «что» и «как», о чем уже шла речь, были косвенным их последствием, приспособлением к страшным и бессмысленным обстоятельствам, попыткой придать разрешенной деятельности видимость творческой — вообще осмысленной. Чтоб как-то абстрагироваться от действия прямых обесмысливающих факторов, таких, как Лубянка.

Я многое уже знал о Лубянке. А в смысле состава заключенных даже идеализировал ее как место, где наряду с немецкими шпионами содержат и мучают настоящих революционеров (их я, в свою очередь, тоже идеализировал). Но настоящей правды о ней я не знал. Проходя мимо нее к расположенному рядом Политехническому, где кипели наши страсти, я бы все равно не мог догадаться, например, о том, что, как только кончится война, там сразу начнут «готовить материал» на... маршала Жукова как на главу организованного им антисоветского военного заговора. Для этой цели будут арестовывать офицеров и генералов, часто вполне заслуженных (например, маршала авиации Новикова и генерал-лейтенанта Крюкова), и стараться выбить из них нужные показания — и не столько о заговоре, сколько о высказываниях Жукова насчет того, что главную роль в разгроме Германии сыграл не великий генералиссимус, а он, Жуков. Делали это с упорством и пристрастием и о каждом таком «высказывании» как о важном государственном деле тут же докладывали Самому — знали, что вождь на это очень клюет.

Естественно, это была чушь — Жуков не был самоубийцей и ничего такого никому не говорил. Даже я тогда не мог бы себе представить, что у такого масштабного — к счас-

тью, незавершенного — мероприятия, как операция против Жукова, не было никакой, даже самой свинской, политико-идеологической причины — только личный бред, личные амбиции и личные претензии спятившего от удачных преступлений Вождя? Или что карательные органы тоталитарного государства он захотел и сумел превратить в свои личные когти? Этого никто себе не представлял. Но это висело над действительностью, было ее атмосферой. А культ подлинного коммунизма с его мировой революцией и другими аксессуарами был естественной реакцией на эту атмосферу, поиском твердой духовной почвы среди хляби. Мудростью это не было. Немудрым, наверное, было и мое концентрированное внимание к 1937 году, как к трагедии революции. Но я и теперь уверен, что это была еще и трагедия страны и народа, опущение их на еще более низкую ступень состояния.

До 1937 года Сталин, хотя он уже мог многое в смысле политического разбоя, но все же таких изысканных удовольствий, как отбирание заслуг у прославленного маршала, еще себе позволить не мог. После 1937 года — мог и не это. До этих «чисток» даже о Троцком в научных статьях писали как об активном деятеле революции и Гражданской войны, после — такая мысль никому бы и в голову не пришла. Эта сомнительная заслуга у него была напрочь отнята. Его деятельность в революции стала теперь сводиться к одному — к изощренной и перманентной измене. Тогда я мало знал о Троцком, но знал, что все внушаемое мне о нем — идиотизм. И часто «наперекор всему», как это ни глупо, ему симпатизировал как антиподу Сталина. Теперь я знаю о Троцком больше и вижу в нем преступника. Но знаю также, что преступления его (как и многих других) коренятся не в измене большевизму, а в непреклонной верности ему. Тогда я так думать не умел. Именно поэтому не отягощали тогда мою совесть ни коллективизация, ни раскулачивание. Дескать, были перегибы в этом грандиозном и прогрессивном деле, но не в них суть... Этот удар по общественному сознанию и совести был настолько силен, что ушиб от него начал болеть много позже: в конце 50-х — начале 60-х. И уж подавно не страдало мое сердце из-за ограбленных нэпманов — жалеть буржуев уж было совсем не к лицу.

Но коллективизация была преступлением перед народом во имя коммунизма, а 1937 год — преступлением про-

тив самого коммунизма, против всего, во имя чего по-прежнему — и чем дальше, тем преступнее — все творилось. «Все» продолжало твориться, но не имело даже призрачного коммунистического смысла (замененного муляжом, которому попробуй не покорись). Так в сознании пытавшегося мыслить молодого человека середины сороковых коллективизация оставалась в ключе мировоззрения, а вот 1937-й из него выпадал, все ломал, заставлял равняться на романтический «военный коммунизм» и «мягкие» двадцатые годы. Отвращение к муляжу вело к миражу. Такое это было мировоззрение.

Но время не стояло на месте, и мировоззрение мое подтачивалось совсем с другой стороны — со стороны самой жизни. Не до конца, конечно, — еще долго для меня все совмещала и примиряла «диалектика», — но ригоризм, слава Богу, все же постепенно таял. Как бы преступно по отношению к своим ни велась эта война (как — тогда не знал не только я, а, скорее всего, почти никто, в том числе и большинство генералов), дело шло к победе, и это радовало. Всех. И никто не задавал себе вопрос: «А кто собственно побеждал?» Действительно, кто побеждал? Коммунизм? Но его почти не поминали, о чем скорбели все романтики и идеалисты. Значит, Россия? По видимости, выходило так. Побеждали под немарксистским лозунгом защиты отечества — Сталин понимал, что за коммунизм, в глазах народа теперь неотрывный от коллективизации, мало кто согласится рисковать головой. С одной стороны, это меня огорчало, как бы сужало горизонты, а с другой — это была правда. Вот стихотворение, которое лучше всего передает тогдашнюю путаницу моих мыслей и чувств.

ОТСТУПЛЕНИЕ

Шли да шли. И шли, казалось, годы.
Шли, забыв, что ночью можно спать.
Матерились, не найдя подводы,
На которой можно отступать.

Шли да шли дорогой непривычной,
Вымощенной топотом солдат.
Да срывали безнадежно вишни —
Все равно тем вишням пропадать.

Да ташили за собой орудья
По холмам и долам, вверх и вниз.
Русские, вполне земные, люди
Без загробной веры в коммунизм.

Шли да шли, чтоб отдохнуть и драться
За свое засушное, за жизнь.
... И еще за то, чтоб лет через двадцать
Вновь поверить в этот коммунизм.

Это юношеское стихотворение не вошло и не войдет ни в один мой сборник, и здесь оно приводится только как документ, свидетельствующий о моем тогдашнем состоянии. Стихи эти, кроме всего прочего, явно не пророческие — через двадцать лет (в начале шестидесятых) никто особо в коммунизм не поверил, а, наоборот, многие из тех, кто верил раньше (я, например), разуверились или начали разуверяться. Но о той сумятице, которая творилась во мне, они дают некоторое представление.

Они держатся за мировоззрение. Но, по совести, с верностью ему тогда не только у власти, но и у меня самого уже не все было гладко. И прежде всего в вопросе о патриотизме. В детстве разговоры о нем оскорбляли мой революционный интернационализм, но к тому времени, о котором идет речь, я уже признавал себя русским патриотом. Хотя при этом понимал, что это, как и патриотические лозунги, с которыми мы выиграли войну, противоречит «учению». Только лозунги эти были связаны с тактическими соображениями Сталина, а мое самоощущение — с открытием России через ее роль в войне.

Несмотря на всю мою тогдашнюю теоретичность, я все же не был слеп и видел, что воевала именно Россия. Это не значит, что из всех народов СССР воевали (или воевали хорошо) одни русские. Совсем нет. Но это значит, что все группировалось вокруг России, вокруг русских воинских традиций и навыков — война вообще имела «русский характер». Людей других национальностей не оскорбляло, что иностранцы (а иногда не только они) их считали русскими солдатами. К тому времени я уже прочно любил Россию и отнюдь не считал русский патриотизм только удобным средством для защиты иных, «более высоких» ценностей. Но старался увязывать эти «ценности» с ним и с Россией... Как у меня сказано в одной незавершенной поэме тех лет.

Россия!.. Кто не ощущал
В те годы, может быть, впервые
Зародыш мировых начал
В просторном имени — Россия.

Тут уже мировая революция оборачивалась почти славянофильством. Но, конечно, несоответствие одного другому оставалось. Сталина никакие несоответствия не беспокоили, но мне они мешали, я старался их примирить или объяснить. Но замечал их отнюдь не только я.

Всплывает в этой связи в памяти забавный эпизод, рассказанный мне В.Ивановым. Однажды — дело было в начале войны — к его отцу, известному писателю Всеволоду Иванову, зашел В.Б.Шкловский с газетой в руках. Газета была полна обычного (и естественного) для тех дней патристического, близкого к националистическому, державного пафоса.

— Ну что, Сева? — спросил он, ухмыляясь. — Воюем под псевдонимом?

И он был прав — патриотизм для сталинщины был псевдонимом. Но псевдонимом для нее был и коммунизм. Псевдонимом для нее было любое обличье, в котором она являлась людям. Но в том-то была и чертовщина сталинщины, что псевдонимов у нее было много, а подлинного имени — такого, каким можно было вслух называться, — не было ни одного. Ее духовной реальностью была только окружавшая всех нас, никогда никого не оставляющая в покое, все и всех себе подчиняющая гремящая пустота. И промозглый мрак. В этом мраке мы и блуждали, ориентируясь по болотным огням.

Но каким бы ни было это время и эти его огни, оно было временем моей юности. Она не могла жить ни пустотой, ни даже противостоянием пустоте — занятие, может быть, и благородное, но для души опасное, грозящее остервенением и оскудением. Вот и хватался, за что мог. А мог только за фикцию подлинного коммунизма! И жил его коллизиями, путаясь в них, как в трех соснах. Конечно, он и сам был соблазном, но в тот момент соблазном оболганным и подменяемым, и потому для многих — конечно, подспудно — выглядел (а для души и был) попорченной правдой. И это чувство было составной частью моего внутреннего мира.

Итак, все шло к победе, наши армии двигались по Европе. Сердце интернационалиста могло радоваться — предстоял существенный шаг по направлению к мировой революции — создание «соцлагеря» Но радость получалась жидкая, внутренне-риторическая. Непохожи были наши правящие выдвиненцы на революционных Савонарол. Победа приближалась, но я, что бы я ни думал, чувствовал, что побеждает не коммунизм. Теперь я понимаю, что и не Россия тоже. Вернее, побеждала именно она, но... Тогда я так не формулировал, но ощущал, что опять берет верх «это» — то, что меня всегда тяготило, — гремящая пустота. Нет, я не приписываю себе отчетливую прозорливость. Страна побеждала, а я не был монстром — меня, как и всех, это радовало и поднимало. Но то, что во мне сидело, ничем не опровергалось.

Я тревожился об идейности, а Россия в целом (вместе со мной, у меня это как-то совмещалось) ждала плодов победы — как минимум, послаблений, она жаждала жить, а в Кремле думали над тем, как у нее эту победу отобрать. Поскольку с точки зрения сталинщины, которую точно выразил один тыловик в повести В.Кондратьева «Сашка», она «распустилась на передке». Сталин, оказавшись победителем и имея тогда почти всеобщее признание, приходил в себя от перенесенного страха и еще больше утверждался в своей правоте, что в его понимании значило — в безнаказанности, готовился продолжать свои довоенные забавы. А куда хотел уничтожить память о реальной войне и реальных победителях — подбирался к Жукову.

Но в 1944—1945 годах всего этого еще ясно не было видно. Это было скрыто от всех тайной и неправдоподобием. От всех. Даже от таких «оппозиционеров», как я. Эта неправдоподобие и было главным секретом режима. Можно было поверить во что угодно — только не в то, что происходящее на твоих глазах действительно происходит. Происходили события, объяснения которым приходилось придумывать самим гражданам. А потом — даже еще и при Брежневе — и иностранным государствам, которые тоже не могли взять в толк мотивы советского поведения. Так что взять с меня, мальчика, пытавшегося мыслить в обществе, оторванном от информации о мире и о самом себе, и к тому же, как и все вокруг, облучаемого направленной ложью?

И тем не менее, я «жил и мыслил». И не только я. Сам факт, что столько людей слушало мои стихи и симпатизировало мне — некоторые журили, но все равно симпатизировали, — тоже о чем-то говорит. Конечно, в причинах своего сочувствия не разбирались — советские люди умеют недодумывать, — но факт имел место. Видимо, полагали, что просто проявляют заботу о подающем надежды юноше. Но ведь потому они и воспринимали меня как подающего надежды, что откликались на то, что было близко. Что это в них жило.

Помню, как я в «Молодой гвардии» познакомился с приехавшим в отпуск старшим лейтенантом, сотрудником фронтовой газеты (как его звали, не помню), который собирался меня в эту газету увезти. Но не вышло — я ведь жил в военной Москве без документов — их у меня в очередной раз вытащили, — а без документов военкоматы не оформляли. А, может, уже и репутация работала? Но важно то, что сами мои стихи его не останавливали.

Кстати с этим старшим лейтенантом связан тоже эпизод, характеризующий время. Он на объединении читал свою поэму. Поэма была с неожиданным сюжетом — о погибшем герое, попросившем перед смертью похоронить его по христианскому обряду. Командование обещает ему выполнить его просьбу, но сталкивается с неожиданными трудностями. Невозможно найти священника, а обрядов никто из командиров хорошо не помнит. Но не выполнить слова, данного герою, спасшему всю часть ценой собственной жизни, нельзя. И под суфлерство другого верующего солдата функции священника берет на себя сам комбат. Помню только четыре строчки из поэмы:

«Во имя отца и сына!» —
Глухо сказал командир.
И был непохож на рясу
Блестящий его мундир.

Религиозной пропагандой, зароненной несмотря на то, что церковь тогда уже была разрешена, здесь и не пахло. Ни автор, ни его герои (кроме погибшего) в Бога не верили — отдавалась только дань воинскому подвигу. Тем не менее поэма вызвала жаркие споры, ибо оскорбляла атеизм неверующих. Воспитанная в богоборчестве молодежь почувствовала себя задетой за живое. Может, и потому, что допущен-

ние религии понималось этой молодежью как вынужденная военными обстоятельствами уступка косности, а подсознательно — как отступление от идейности, без которой было пусто. И то, что тут кто-то это еще вроде как воспева-ет, они уже вынести не могли.

Интересно, что мои стихи, содержащие настоящую крамолу (большей крамолы, чем сомнение в революционной легитимности происходящего, тогда не было), таких нападков не вызывали. Фактически это была реакция не на религию, о которой никто из нас не имел никакого представления, а на «сталинщину», хоть они об этом не знали, ибо Сталина они чтити. Все смешалось в доме Облонских.

Я тоже был атеистом и даже крайним романтиком революции, но поэму все же защищал. И даже обвинил нападавших на нее в антирелигиозном ханжестве. Ведь в нашей стране есть верующие и есть среди них герои — почему же нельзя об этом писать. Убеждение, что при любых взглядах, при любом отношении к описываемому следует писать правду, было мне присуще уже тогда. Кстати, думаю, что выражение «антирелигиозное ханжество» вообще точное, больше относится к нынешним западным интеллектуалам, чем к тогдашним спорщикам из «Молодой гвардии». Но это — другая тема.

Я должен еще раз опровергнуть распространенное представление, что все тогда боялись друг друга. Из-за моих стихов, а также общительности у меня было много знакомых, и разговоры со всеми бывали весьма откровенные. Это не значит, что все со мной обязательно соглашались, многие защищали Сталина, но обсуждали мы это — конечно, не в общественных местах — совершенно свободно. И никто из тех, с кем я разговаривал, на меня не донес. Доносили стукачи, они, конечно, посещали эти собрания — не могла же Лубянка оставить такое шумящее скопище без своего попечения. Но доносили в общих чертах (большого не знали), и только о том, что происходило на собраниях. То же, как выяснилось после ареста, было потом и в Литинституте. На меня стучали, но не те, с кем я общался а посторонние люди, и тоже в общих чертах — не очень соображаясь с правдой. Почему я не откровенничал со стукачами — не знаю. Вряд ли из осторожности. Вероятно, такая избирательность получалась стихийно — просто я общался, в ос-

новном, с теми, с кем хотелось, кто вызывал у меня интерес и симпатию, а стукачи, видимо, ни того, ни другого не вызывали.

Руководители объединения сменялись. О Сергее Васильеве и Илье Сельвинском я уже говорил. Одно время руководил объединением монументальный Владимир Александрович Луговской. Потом он руководил одним из поэтических семинаров Литинститута. О нем подробнее говорить я буду в связи с Литинститутом.

У нас в подвале выступали с чтением стихов Вера Инбер, Михаил Светлов, Леонид Мартынов. Первые два виделись мне в ореоле невероятных для моего воображения 20-х годов. О Леониде Мартынове я услышал, только приехав в Москву. Кто-то подарил мне его вышедший в Омске сборник «Лукоморье», и я узнал, что в России есть такой крупный и удивительный поэт. Я и теперь так думаю, хотя в его творчестве нравится мне не все. Но ненависящееся (на мой взгляд, слишком нарочито проявляющее его эстетическую позицию) отбрасывается, а Леонид Мартынов остается большим поэтом. У нас тогда он читал поэму, представлявшую собой исповедь дочери служащего какого-то сибирского магистрата в XVII или XVIII веке. Поэма, кажется, была очень хорошей, но мало приспособленной для публичного чтения. Не говоря уже о том, что читал он ее очень скучно. К сожалению, я никогда этой поэмы больше не слышал и не видел — ни в одном его сборнике или собрании. Поэтому проверить это свое ощущение, доказать, что она хороша — до сих пор не могу. Но отдельные куски, которые до меня доходили, как я помню, были очень хороши.

Очень понравился Михаил Светлов, особенно его «Итальянец», — он был вполне человечен, патриотичен и интернационалистичен. Понравился он не только мне, а, как минимум, абсолютному большинству. Для большинства это тогда было глотком свежего воздуха, возвращением к истокам. Впрочем, в этом стихотворении вообще нет ничего дурного. А для меня... Кто-кто, а Светлов был для меня живой легендой, а вот теперь я сидел в зале и слушал. И пусть я не имел ничего за душой: ни одной напечатанной строчки, никаких источников существования, ни кола ни двора, только койку в общежитии чужого по профилю института — это было уже некоторое исполнение желаний, дорогой к

нему. Впрочем, со Светловым я более тесно общался потом, и о нем тоже буду говорить в связи с Литинститутом — я там состоял в его семинаре.

В «Молодой гвардии» я перезнакомился с большим количеством молодых людей. Там я впервые услышал и первый раз подружился с Валентином Берестовым, ныне уже, к сожалению, покойным. Первый — потому что он вскоре вдруг исчез с горизонта, попытался уйти из литературы. Он был еще очень молод, выглядел почти мальчиком, серьезным мальчиком в очках (он был моложе меня на три года — что это теперь значит!), был тогда даже ниже меня ростом, чуть ли не по грудь мне (это потом он вымахал в «дяденьку-доставань-воробушка»), и, кажется, тогда еще учился в школе. К этому времени он уже был замечен и обласкан Ахматовой, Пастернаком, Алексеем Толстым и другими легендарными для меня тогда корифеями (это произошло в Ташкенте, где и он, и они жили во время эвакуации). И действительно — стихи его были законченными, взрослыми. От этой законченности, от вундеркиндизма он тогда и сбежал. Правда, на вундеркинда он не походил нисколько.

Его суждения о поэзии были серьезными и точными, ориентированными на понимание живого организма стихотворения, а не на манипуляцию терминами. Это нас и сблизило, хотя никакой общественной тематикой он не то что не интересовался — не выделял ее. Судил о стихах как о стихах, независимо от степени крамольности — она не была для него ни плюсом, ни минусом. Мне это было очень дорого и близко в нем. Я не хотел «аплодисментов за смелость», не хотел и хулы за нее и не терпел сублимаций страха и равнодушия, высокомерно выдаваемых за эстетическую посвященность. У Берестова ничего этого не было. Он как был, так и остался для меня человеком тонкого, точного и строгого вкуса. Он был культурен.

На одно из занятий он привел своего товарища Кому Иванова, сына писателя Всеволода Иванова. Ныне он известный лингвист, литературовед и мемуарист. Его имя я здесь уже упоминал. Правда, подружился я с ним только в конце пятидесятых.

Некоторых мои стихи располагали к откровенности. Студентка, не помню какого института, Дина Вейс, по какой-то причине близкая к иностранным коммунистам, расска-

зывала мне о многих проделках Сталина. Каких именно, сейчас не помню — они уже давно преданы гласности. Но помню, что она мне первая сказала, что «Катынское дело», используемое гитлеровской пропагандой, ею не выдуманно, — что так это и было. Сегодня это признано и официально, но в первые годы перестройки это еще отрицалось. А ведь она мне это поведала в 1944-м — максимум в начале 1945 года! Не помню, поверил ли я ей, но в глубине души заподозрил, что это правда...

Мое чудесное существование, мои открытые чтения и выступления не могли безнаказанно продолжаться слишком долго. Чудес тогда, если они шли не из Кремля, быть не могло. Да еще в центре Москвы, в двух шагах от Лубянки и ЦК ВКП(б). Специальные люди следили за тем, чтобы их не было. А неспециальные, вроде Юровской и Тюрина, зная о существовании специальных, следили еще пуще. И скоро я наткнулся на то жесткое — жесткое, конечно, по нормальным, а не по тогдашним нашим представлениям — сопротивление, о котором я писал чуть выше. Сколько помню, меня это не столько оскорбляло, сколько окрыляло. От этого я себя чувствовал не политическим борцом, а вариантом скандалиста-футуриста — образ в те годы для меня гораздо более привлекательный, чем «борец».

Стихотворение, в котором поминается Тюрин (см. чуть выше), написано позже, когда я становился уже на «путь праведный», но заканчивается оно все равно не слишком оптимистично — обещанием, что

Я буду с ними грызться, грызться,
Пока меня не загрызут

(те, кто работает на старый мир. — *Н.К.*).

Это яркий пример псевдонимного представления о жизненной драме. Все хорошее ассоциируется со строительством нового мира, а дурное, с противодействием ему. «Загрызть» меня должны были силы старого мира, как защитника мира нового, являющегося официальной целью политики партии и государства, которых я в этом качестве, наконец, признал!

Между тем все было не так. Я знаю, что тот же Тюрин своих товарищей-журналистов, пропавших в ежовщину, жалел. Некоторым, кому, по его мнению, грозил тогда арест, трезво советовал принять меры для спасения (на время уехать

и т.п.), да я и сам вроде какие-то меры принимал — догадывался, какие надо. Это говорит и о некоторой трезвости, чувстве товарищества. И о его невовлеченности в господствующую псевдоидеологию, хоть он и был работником идеологического фронта. И если из-за меня грозили неприятности, то совершенно понятно, что он, безусловно, должен был относиться ко мне, как к бессмысленному смутьяну, мешающему людям жить. Кто из нас был прав? — эту проблему я уже здесь затрагивал, но не решил. И теперь не могу.

Конечно, относиться к такому посту, да и вообще к идеологической работе, как к кормушке, даже как к способу выживания — не очень достойно и не очень безобидно. Но и доставлять таким людям неприятности, не надеясь этим что-либо изменить, тоже не очень гуманно и осмысленно. Но так ли уж хорошо было бы, если бы никто вообще не пытался говорить своим голосом? Получается, что в сталинской мышеловке никто не должен был выглядеть достойно и быть правым — в такие отношения были поставлены люди друг к другу... Бог нам всем судия.

Но тучи постепенно сгушались, хоть я, упоенный собственной жизнью, этого не замечал. Первый гром ударил неожиданно. В 1944 году меня не приняли в Литинститут. Это было удивительно. Я уже давно там был своим человеком, никто не сомневался, что кого-кого, а меня-то примут. Но вот не приняли. Был бы я умнее и опытнее, я бы понял, что это кажет зубы СИСТЕМА. Но я этого не понимал и пошел к директору.

Должен сказать, что до сих пор с официальной и академической жизнью института я не соприкасался. Доходили до меня институтские анекдоты вроде приказа начальника военной кафедры (но не легендарного Львова-Иванова, которому это приписывается, — это было еще до него): «Мужчины, имеющие «хвосты», а также девушки и женщины, не удовлетворившие начальника военной кафедры, к экзаменам допускаться не будут». Но в принципе интересовали меня только студенты и поэтические семинары.

Правда, директор (фамилия его была Федосеев, а отчества его я не помню, помню только, что вместе с именем Гаврила оно очень напоминало державинское Гаврила Романович) производил некоторое впечатление. Высокий, импозантный, культурный, демократичный. Его очень на-

хваливала одна студентка, с которой я довольно близко (но не романически) сошелся, которая потом вышла замуж за гэбиста и исчезла с горизонта. Про нее потом всякое говорили, но я не любитель повторять всякое. Ни один из арестованных тогда студентов ее в этом смысле не упоминал. Даже Белинков, большой любитель подобных «разоблачений». Так вот к этому интеллигентному по общему признаку человеку я и пошел выяснять «недоразумение» — мне ведь это казалось недоразумением. Но как только я вошел к нему в кабинет, я увидел, что недоразумения — во всяком случае на институтском уровне — нет.

— Да, мы вас не приняли, — сказал Гаврила «Романыч». — Вам надо грузить уголь.

Этого «грузить уголь» он придерживался твердо и злобно, отвечая на все мои уточняющие вопросы. Он не пытался обосновать этот свой взгляд или отказ в приеме, только мрачно повторял это утверждение. Почему он так себя вел? Антисемитское объяснение отпадает. В институте училось много евреев, с которыми у него были прекрасные отношения. Больше это походило на поведение человека, вынужденного и решившегося сделать подлость и идущего по этому пути до конца. Так я тогда это и воспринял. Не помню даже, разозлился ли я на него, ибо вообще мало думал об его поведении — был слишком ошеломлен нелепостью самого факта. Да и из института он скоро ушел, а через несколько месяцев умер — видимо, и тогда уже был серьезно болен.

Но невменяемым он не был. И теперь мне это его поведение кажется хамским и отвратным. Конечно, сегодня за всей этой сценой предельно ясно прочитывался испуг. Но если это и так, то он проявился в наиболее подлой форме. Так попытаться сбить с пути неоперившегося юношу — подлость. Более того, испуг — это только предположение, а подлость — факт. Смягчающие обстоятельства могут касаться самого отказа в приеме, а не этого разговора. Это мое воспоминание — не мстительность задним числом. Думаю, что, если бы мы с ним встретились после смерти Сталина, я не держал бы на него зла. И, безусловно, все ему прощаю, Царствие ему Небесное — в слишком страшное время мы все жили. И я вполне верю, что в принципе он не был подлецом. Но прощаю я ему подлость.

Как это ни комично, но и с точки зрения идеологии поведение директора вовсе не было безупречным — он выдавал подлинную психологию режима. Ведь официально грузить уголь было не менее, а может, даже и более почетным делом, чем писать стихи. Тем более, что процесс добывания и использования угля в значительной степени вообще состоит из погрузки и перегрузки — на транспортер, в вагонетки, в подъемники, в вагоны и т.п. Так что, ссылая меня на эту погрузку, как на каторгу, он — руководитель идеологического учреждения — можно сказать, оскорблял героический труд советских шахтеров. Правда о том, как добывается уголь, он по технической неграмотности не знал — как, впрочем, большинство моих и его знакомых, как и я сам тогда. Но психологию «слуги народа» он проявил вполне четко.

Еще одна пикантная подробность. Преподаватель марксизма Зайцев сочувствовал моим злоключениям. Не следует дальнейшее воспринимать сквозь призму нашего сегодняшнего отношения к его предмету. Тогда многие, и я в том числе, относились к нему серьезно, и преподаватели могли быть вполне честными людьми, мучающимися, обманывающими самих себя, напряженно сводящими концы с концами. Так что я вовсе не удивлялся этому участию. Но вот Федосеев ушел, и его заменил Зайцев. И я попытался опять. И наткнулся почти на то же. Разговаривал он со мной иначе, без желания унижить, без личной подлости, но все же с наглой нелогичностью отвергая мои поползновения. Что он отвечал на вопрос: «Как же так?» — не помню, но все же некоторая растерянность ощущалась. Эта наглая нелогичность — обязательная черта деятеля сталинской эпохи — жизни в обстановке, когда логически нельзя объяснить почти ничего. Способность к ней становится даже знаком солидности.

После этого абшида в Литинституте мне не оставалось ничего другого, кроме как восстановиться в Лесотехническом, о жизни в котором я уже рассказал. Но оказалось, что этот абшид был только дальним раскатом грома, канонадой на дальних подступах. По-настоящему тучи стали сгущаться надо мной к концу года, хотя очень долго я ничего этого не замечал.

Конечно, происходило это в «Молодой гвардии». Началось это («начало было так далеко») перед одним из занятий, которые тогда еще происходили в холле.

Вдруг кто-то сказал мне:

— Смотри, Крученых!

И действительно, на занятие пришел легендарный Алексей Крученых, футурист, «ниचेвок», «дыр-бул-шир», друг Маяковского. Это для тогдашней литературной молодежи было событие. Сам футурист выглядел ordinarily. Естественно, был он уже в летах, седоват, но не сед, голос имел высокий и какой-то мягкий. Беседы с ребятами он заводил легко, в божественной обстановке был как рыба в воде. С ним вместе пришел молодой человек высокого роста и в высокой шапке. Вокруг них возникло веселое шепуршение, продолжавшееся несколько минут. И вдруг Крученых как бы невзначай, но громко спросил:

— А кто у вас Мандель?

Я с удовольствием откликнулся.

— Ты? А ну прочти стихи про Сенатскую площадь.

Как я уже неоднократно отмечал, упрашивать тогда меня не надо было. Прочел про Сенатскую. И еще. И еще. Молодой человек тоже слушал — внимательно и доброжелательно. Потом он дал мне свой телефон, чтоб приходил в гости — там поговорим... В силу некоторых причин, о которых позже, называть его подлинное имя я не хочу. Назову его Петр, Петя... Телефон я записал, но поначалу об этом забыл.

Между тем, с моей жизнью стало происходить нечто странное, с этим эпизодом не связанное, а может, и начавшееся до него. Вокруг меня стала образовываться пустота. Все, с кем я общался раньше, вдруг оказывались ужасно заняты — и раз, и еще раз, и еще много, много раз. Кроме тех, с кем я встречался редко. Правда, на «лесотехнической» стороне моей жизни это не отражалось. Но ведь я больше пропадал в Москве.

Это, как я понял через несколько лет, была обычная игра ГБ с намеченной жертвой, имевшая целью еще до ареста довести ее до отчаяния. Кстати, избобличающая опыт борьбы исключительно с невинными — любой конспиратор воспринял бы это как сигнал о необходимости замести следы. Конечно, тогда я об обычности этой игры ничего не знал, но все это было настолько однозначно, что я заметался.

Усугублялось мое состояние тем, что как раз в это время я начал «признавать советскую власть». Действовала на меня приближающаяся победа, бравые и неглупые офицеры, приезжающие с фронта и все же несмотря ни на что, верившие в Сталина, и многое другое, о чем я уже говорил и буду говорить еще. Я как-то не мог ощущать себя выше всех этих людей. И мне хотелось «быть, как все». И как раз в этот момент надо мной начинал свистеть аркан. Все это было так невыносимо, что когда я встретил на улице Крученыха и тот спросил: «Как жизнь?», я ответил, не задумываясь: «Плохая», а на вопрос: «Почему так?» ответил прямо: «Посадят!»

Надо сказать, что Крученыха мой ответ не удивил. Он только посоветовал:

— А ты, позвони Петру — помнишь, со мной к вам на объединение приходил? Скажи ему, что происходит — может, он поможет.

терять мне было нечего, я позвонил Петру и сказал, в чем дело.

— Ну что ж, — сказал Петр, — заходи ко мне сейчас, поговорим — может, я и действительно смогу тебе помочь.

Принял он меня очень хорошо и тепло. Я читал стихи, мы разговаривали вполне дружески. И такие — искренние и доверительные — отношения были у нас всегда. Как будет ясно из дальнейшего, с ГБ он как-то был связан. Но мне он сделал не зло — добро. И о людях, которые из-за него пропали, я не слышал. Именно поэтому я сейчас опускаю его имя и вообще избегаю рассказывать о нем, о наших спорах с ним, например. Желающих не глядя разоблачать и презирать у нас всегда хватало. Не хочу бросать незаслуженную тень на его имя. Время ведь было очень сложное, очень запутанное — даже для самих запутывающих.

Дальше начала разворачиваться фантазмагория. Петя предложил мне составить маленький сборник из лучших стихов — независимо от крамольности. Те, кто будет решать мою судьбу — кто именно, он тогда не сказал, — будут решать только по степени талантливости. Станный в юридическом отношении критерий, сказал бы я теперь, но тогда он и мне, и Пете показался вполне естественным. Ведь все мы были воспитаны в духе пользы и целесообразности.

Была еще одна вставная новелла. Петя сказал: «Приведи какого-нибудь своего товарища, который тебя знает». Я сказал это одному человеку, которого тогда имел основания считать своим другом. Тот пришел и... начал убеждать Петю, что меня необходимо изолировать, потому что я, хоть сам по себе и не враг, очень плохо влияю на всяких мальчиков и девочек. Петя и его жена молчали. Я тоже был сбит с толку. На Петю эта странная истерика влияния не оказала. Он только потом подзуживал меня: «Ну и друзья у тебя».

Почему-то в конце шестидесятых и Петя, и его тогдашняя жена, с которой он в разводе, — оба говорили мне, что ничего такого не помнят. Это немного странно: так долго помнили и — забыли. Правда, был долгий перерыв, когда меня не было в Москве, но все же... Может, думали, что я собираюсь поднимать историю. Не собирался никогда. Тем более что перед необходимостью для него (ввиду его неправдоподобной трусости, о которой я до этого не знал) такого поступка поставил этого товарища я сам — тем, что привел его. Потому я и не называю и никогда не назвал бы его имени. Правда, он мог и не идти со мной. Но, может, и не идти боялся.

Сегодня этот мой бывший товарищ (разошлись мы не поэтому) начисто все отрицает, говорит, что я маньяк. Но такой мании, мании разоблачать и обвинять, у меня никогда не было. За всю жизнь я назвал стукачами только двух человек — одним был известный по процессу Синявского—Даниэля Хмельницкий (ибо об этом мне рассказал В.Берестов, абсолютно чуждый революционной романтики и психоза разоблачений), а вторым — один мой будущий сокурсник (о нем впереди). Но это я точно знал, а теперь это подтверждено многими людьми, устно и печатно. Больше никогда ни о ком, в том числе о людях, дававших на меня показания, я так не говорил. И этот мой тогдашний товарищ тоже не был стукачом — был просто истерическим трусом... К счастью для меня (и еще больше для него), этот демарш успехом не увенчался.

Дело шло своим чередом. Когда через несколько дней я опять пришел к Пете (а ходил я теперь к нему часто — мы подружились), он сказал, что мне согласны помочь.

— Я сейчас позвоню по телефону, и ты поговоришь с одним хорошим человеком. Его зовут Василий Михайлович, фамилия его Жигалов. Ты скажешь ему, что запутался.

Я, конечно, испытывал некоторую неловкость от такого представления, но, с другой стороны, как уже здесь отмечалось, я в значительной степени так и думал. И я произнес именно эту фразу.

Ясно и просто. Впрочем, и это было для меня не так просто, поскольку, если помнит читатель, у меня украли все документы. Однако Василия Михайловича это не смутило. Он сказал:

— Ничего, приходи, пройдешь по моему пропуску.

На следующее утро я сидел в бюро пропусков и ждал Василия Михайловича — кажется, сообщив ему по телефону о своем прибытии. Вид у меня был даже более живописен, чем обычно. Ко всем моим одежкам без застежек прибавился огромный фингал под глазом. Когда я этим утром спешил на электричку из Лесотехнического, где продолжал числиться и жить, на станцию Подлипки и перебежал Ярославское шоссе, меня крылом задел грузовик. Я упал и ударился об асфальт — отсюда и фингал. Но тут же вскочил и побежал дальше. Мне было очень интересно.

Интересно мне было и в бюро пропусков. Оно абсолютно не было похоже на то киевское бюро, куда я когда-то сопровождал Люсика. Там все были сдержанны и печальны, за спиной у каждого стояла «свинцовая беда» (А.Галич), а здесь это было обычное пропускное бюро центрального учреждения. Много было военных в морской и армейской форме с майорскими и подполковничьими погонами. Все вели себя свободно и деловито. То ли все это были начальники особых и первых отделов, то ли хорошо скрывали свои чувства. А может, там, в Киеве, мы были не в бюро пропусков, а в отделе справок. Но все равно общая бодрость и деловитость меня поражала.

Появился высокий, худощавый человек и по дороге к окошку бросил мне на ходу, словно давно меня хорошо знал: «Мандель, пошли!» Удивляться тому, что он мгновенно выделил меня из общей массы, не приходится. Для этого не требовалось никакой особой «чеккистской» пронизательности — уж больно я выделялся своей живописностью на любом, а тем более на этом фоне...

И мы подошли к окошку. Василий Михайлович выписал мне пропуск на основании своего пропуска. Это означало, что мой пропуск на вход и выход в здание МГБ на Лубянке

без предъявления его пропуска был недействителен. Отмечаю это без всякой задней мысли, ибо вызвано это было только отсутствием у меня документов. Так я первый раз попал в знаменитое здание на Лубянке.

Признаюсь, к описанию того, что происходило тогда со мной на Лубянке, я приступаю с некоторой робостью. Положим, я тогда еще верил в ее прекрасное романтическое прошлое, попорченное Сталиным. Сегодня я слишком много знаю об этом прошлом, да и вообще знаю цену этой романтике. Положим, тогда я не знал, что творилось в этом здании в этот момент, когда я там находился — ежовщина вроде кончилась, Ежова расстреляли. Но теперь-то я прекрасно знаю и отчасти уже здесь говорил, что организация эта была и тогда сверхпреступной, обслуживающей капризы, вождения и комплексы Сталина. Но я имел дело с конкретными живыми людьми и не могу о них писать, подгоняя реальные впечатления под общее свое знание о Лубянке.

Люди, с которыми я имел там дело, захотели мне помочь и помогли, когда я был в безвыходном положении. Вероятно, была у них тогда — время-то было еще военное, либеральное — какая-то графа типа «профилактика», по которой они меня и провели, ограничившись «работой» со мной. Графа предоставляла им такую возможность. Но не могло быть графы, обязывающей их это сделать. Этого они — несколько человек, сидевших в одной комнате и составляющих отдел, сектор или Бог его знает что, — должны были сами захотеть. И захотели. И я им благодарен за это.

Да, потом меня все равно арестовали. Но случилось это не в конце 1944—начале 1945 года, хотя к тому шло, а только в конце 1947-го (20 декабря), и не думаю, чтобы по их вине. Фактически они подарили мне три года нетюремной жизни. И несмотря на то, что идеологически эти годы были годами наибольшего моего падения, именно в эти годы я окреп как литератор, смог осознать себя, помериться силами, приобрести некоторую уверенность в себе. Я считаю великим счастьем, что мне не пришлось изначально формироваться в тюрьме и ссылке. Приводить мне в пример Солженицына не надо. По многим причинам. Но еще и потому, что прозаики вообще формируются обычно позже, чем поэты.

Конечно, я не могу не только ручаться, но и представить себе, что вся тогдашняя деятельность этих людей была столь же травоядной, как в моем случае, — не для травоядности существовало это учреждение. И хотя то, что произошло там тогда со мной, никак нельзя обобщать, — частное не всегда характеризует общее — но говоря о реальных людях и событиях, подменять этим общим живое частное тоже нельзя. На справедливость имеет право любой. Я пишу мемуары, а не историю ЧК-ГБ. Рассуждать я могу о чем угодно, но свидетельствовать — только о том, что со мной или при мне действительно было. О своих тогдашних мыслях, чувствах и восприятии.

В комнате этой (секторе? отделе?) все меня встретили с доброжелательным любопытством. Большое внимание привлек мой фингал. Вызвали медсестру и оказали медицинскую помощь. Пошли разговоры о том о сем. Главным образом, о том, что, смотри, мы побеждаем, а ты вон что пишешь. С тем, что действительность сложна, соглашались и они. Атмосфера была если не интеллектуальная, то близкая к тому — разумеется, соответственно уровню идеологического мышления того времени, которого ведь и я был не выше.

Попутно выяснилось мое положение — что живу без документов, в Литинститут не приняли, да и вид говорил сам за себя. Обещали помочь. Вербовать меня в осведомители не старались, об этом и речи не было. Мне вернули мой сборничек, выразили надежду, что теперь я возьмусь за ум (передаю содержание, точных выражений не помню), и отпустили. На улицу меня вывел Василий Михайлович — опять по своему пропуску. Такая вот рождественская сказка о сером волке.

На этом чудеса не кончились. Однажды, придя в свое общежитие, я обнаружил там записку (именно записку, а не повестку) из военкомата. В ней было сказано буквально следующее (думаю, что я передаю это и словесно точно, но за тональность ручаюсь): «Прошу вас в удобное для вас время зайти в военкомат для оформления военного билета». Дальше — должность, звание и подпись. Все. Между тем до сих пор это оформление казалось военкомату невозможным из-за того, что у меня не было паспорта. А паспорт я не мог получить без военного билета.

Дело усугублялось тем, что документы я потерял в момент, когда я из одного места выписался, а в другом не прописался. И я жил в военной Москве без документов и вообще не знал, когда их получу. И вдруг этот гордиев узел был разрублен так просто: «Прошу вас...» Интересно, за кого принимал меня офицер, написавший записку, особенно увидев меня во всей живописности. Документы я получил быстро. Но и до этого высокое покровительство меня выручало, когда меня при проверке документов задерживала милиция. Я давал им телефон Василия Михайловича, они звонили и меня отпускали. Раньше с этим была целая морока.

Но и с «живописностью» моей произошли изменения. Мне велели явиться в Литфонд, а там отправили со мной с ордерами и деньгами в магазины всем (но не мне тогда) известного устроителя похорон, а посему героя союзписательских острот и анекдотов Ария Давыдовича. Мне потом рассказывали, что он был высокопорядочным человеком, бесстрашно хранившим автографы и другие материалы репрессированных тогда писателей.

Любопытно начало его карьеры. Она началась с похорон Л.Н.Толстого. Когда тот умер, Арий Давыдович был студентом и большим почитателем его таланта и учения. И как только стало известно, что Толстой умер, Арий Давыдович отправился в Ясную Поляну и прибыл туда раньше многих, даже гроба с телом. Все вокруг были растеряны и не знали, что делать. И как-то само собой получилось, что распоряжаться начал Арий Давыдович, власть его всеми была признана. Это всех устраивало. И когда умер следующий писатель, кто-то в Литфонде вспомнил о студенте, который так толково всем распоряжался. Его разыскали и пригласили — уже за плату. Так и пошло. И вот он послан был в качестве любящего отца покупать мне кой-какую одежду. Знал ли он, следствием какого звонка была наша с ним поездка? И кем он меня считал, если знал? Впрочем, его начальство знало и говорило об этом вполне открыто. О сексотах открыто не звонили и не говорили. И все же...

Помимо всего этого, меня решили трудоустроить — болтаться без дела в военной Москве было нельзя — но куда? Естественно, в многотиражку. С этой целью Василий Михайлович связал меня с работником МК партии (кажется,

он был тогда заведующим отдела пропаганды) Валентином Гольцевым. У него в кабинете я познакомился с будущим «безродным космополитом», но тогда заведующим кабинетом печати МК партии (ведавшим многотиражками столицы и области) Борисом Владимировичем Яковлевым-Хольцманом, который должен был это проверить. Поговорили, я почитал стихи, отнесся он к ним хорошо, хотя и не без идеологической снисходительности, и повел меня к себе.

Оказалось, что этот кабинет печати был в то же время отделом газеты «Московский большевик». Тут нет ничего удивительного — газета тоже была органом Московского горкома и обкома. Помещалась она в Потаповском переулке у Чистых прудов (парадного выхода на бульвар еще не было). Начиналась моя новая — вполне легальная и «заодно с правопорядком» (Б.Пастернак) — жизнь.

Но прежде чем рассказать о ней (и о том, как она без малого три года спустя кончилась арестом), мне хотелось бы кончить рассказ о своих «связях с МГБ», а также высказать кое-что по этому поводу. Встречался я с ними еще раза три-четыре. Происходило это так. Петя говорил мне: «Позвони Васе», я звонил Василию Михайловичу, и тот назначал встречу. Зачем? Как я уже говорил, никаких попыток вербовки с их стороны не было. Максимум, что они могли от меня узнать не обо мне, — это к каким молодым поэтам я отношусь серьезно. Я относился серьезно к Платону Набокову. Спросили, не могу ли я принести его стихи. Я в них не видел ничего крамольного и сказал, что спрошу его. О моих «связях» знали все, и я прямо спросил Набокова, согласен ли он дать мне стихи для них. Он подумал и отказался. Больше меня ни о чем не просили. Тогда я считал, что Платон поступает глупо, сегодня в этом не уверен. Просто потому, что, кроме этих людей, там работали и играли более важную роль другие, которые могли увидеть крамолу в чем угодно. В этом я мог убедиться на собственном опыте довольно скоро, но понял много позже. Вызывали они меня, как я понимаю, просто потому, что перед кем-то за меня поручились и осуществляли идеологическое «курирование».

Я понимаю, что история эта неправдоподобна — особенно применительно к тем временам. Я и сам больше ни об одной такой не знаю. Но со мной было так. Я, должен

сознаться, был в восторге от моих новых знакомцев и везде о них рассказывал (не мог удержаться — хоть они просили этого не делать). Не надо забывать, что я ведь не переставал считать себя коммунистом и отнюдь не отказался от «чекистской романтики». Я только сомневался в том, что она существует и теперь. И вдруг увидел ее продолжение. Вот стихи, которые родились у меня после «сердечных встреч на Лубянке»:

Я все на свете видел наизнанку
И путался в московских тупиках.
А между тем стояло на Лубянке
Готическое здание ЧеКа.
Оно стояло и на мир смотрело,
Храня свои суровые черты.
О, сколько в нем подписано расстрелов
Во имя человеческой мечты.
И в наших днях, лавирующих, веских,
Петлящих днях, где вера нелегка,
Оно осталось полюсом советским,
Готическое здание ЧеКа.
И если с ног, прошедшего останки,
Меня сшибут — то на одних руках
Я приползу на Красную Лубянку
И отыщу там здание ЧеКа.

Вот так, и не меньше. Если я читал другие свои стихи, то уж эти — сам Бог (точнее, сам черт) велел. Ведь теперь я вроде был свой. Они породили несколько эпиграмм. Одна — глазковская:

Я находился, как в консервной банке,
И потому не видел ни черта.
А между тем стояло на Лубянке
Готическое зданик ЧеКа.

Другая, кажется, Якова Козловского:

Я все на свете видел наизнанку
И сочинял стихи свои — пока
Не вызван был за это на Лубянку —
В готическое здание ЧеКа.

Первая пародирует ход мыслей, вторая — ситуацию. И носит согласно тогдашнему мировоззрению ее автора теперь трудноуловимый нравоучительный характер: дескать, дурил и додурился. Илья Григорьевич Эренбург, выслушав эти стихи, сказал:

— Во-первых, здание не готическое...

— Понимаете, Илья Григорьевич, — ударился я в глубокомыслие, — может, оно и не готическое, но как-то ассоциируется...

— Это у вас ассоциируется, потому что вы не знаете, что такое готика — безжалостно парировал мои «тонкости» Эренбург. — А я знаю, и у меня не ассоциируется.

Но дело, конечно, не в том, что стихотворение плохо определяло архитектурные стили. Сегодня шибает в нос и вгоняет меня в некоторое отвращение к себе самому его система ценностей — исступленное согласие с «расстрелами во имя мечты». Но тогда это было на уровне сознания многих, хотя и тогда оно было наивным. Никто и не собирался их печатать. Оно могло бы кое-как быть допущено в эпоху большевистского «Штурм унд Дранга», но не в расцвете сталинщины.

Сами же воспетые мной были этим отчасти польщены — каждому хочется видеть смысл или хотя бы оправдание своей деятельности, — но отчасти, наверное, и смущены. Лубянка, безусловно, была местом, где подписывались расстрелы, но говорить об этом вслух было не принято. Даже принимая это как высшую романтическую необходимость. А уж говорить о наших днях как о «лавирующих, веских, петляющих днях, где вера нелегка», было и вовсе неподходяще... Хотя уж кто-кто, а они сами сталкивались с этим на службе ежедневно. Ведь к тому времени МГБ давно уже превратилось в личные когти Сталина. Не думаю, чтобы они сами так формулировали, я тоже тогда был далек от этого, но ежедневную зависимость от необъяснимых (объяснения приходилось находить самим) решений вождя они, безусловно, чувствовали. Точной их реакции на это стихотворение не помню, но помню, что она была неуверенной. Но мы об этом разговаривали. Я сегодня не помню в точности этих бесед, но это были именно беседы — они с интересом их поддерживали. Конечно, в этот период я был мыслящим сталинистом, и им это было интересно. Но главное то, что они могли беседовать. Я не зря выделяю это слово «могли». Ибо «могли» не все, и в этом я скоро убедился.

Но вот вопрос: я был тогда наивен, а они? По какой причине они стали меня спасать? Почему они захотели или сочли нужным меня сохранить? В агенты они меня явно не

готовили, да я и не годился — обо всем рассказывал направо и налево. Значит, им почему-то понравились мои стихи. Чем они могли им понравиться? Наверное, искренностью того, что обычно называют гражданским темпераментом. Вот и возникла благородная идея не губить меня, а перевоспитать — чтобы искренность эта осталась, темперамент остался, а направление я обрел «правильное». Чего же проще!

Наивность их заключалась не в том, что они не разбирались в психологии художественного творчества, а в том, что они полагали, что служат направлению, причастность к которому можно выражать искренне, и что их начальство в этом заинтересовано. Хотели так думать, потому что чувствовать себя просто составной частью личных когтей одуревшего (пусть даже гениального) лидера никому не приятно. Те, кто попроще, полагались на то, что самому лидеру этот смысл ведом, а им его и знать не положено. Эти были менее просты, и вот выручали меня и разговаривали.

Кстати, того, чего они от меня хотели, я и сам от себя хотел — писать столь же искренне, но в правильном направлении. Другими словами, поверить в тогдашнюю действительность. И я — отнюдь не только благодаря им — довольно далеко прошел по этому пути, много дальше, чем мне хотелось бы сегодня чувствовать за собой в прошлом. Но как бы мне стыдно сегодня за это ни было, это было не то, что могло их удовлетворить по службе. Или принести мне что-нибудь, кроме тумачков.

Да, я согласился поверить в действительность, в то, что все, происходящее в ней, происходит не зря. Но я соглашался принять и оправдать ту действительность, которая имела место. Только для этого надо было сначала сформулировать, какая она — вот как в этом стихотворении. А это было исключено — как минимум непохвально и непечатно. Непечатно было и обнажение противоречий, которое на мой тогдашний взгляд обнажало и «нашу» правоту. Но начальство от этого ежилось и визы «в набор» ставить не торопилось. Мою железобетонность это не пробивало — просто всех, кто не печатал, я относил к тем, кого обозвал «прошедшего останки» и чье тлетворное присутствие в жизни и влияние я с горечью признавал. Получалось (конечно, только в моем бредовом сознании), что «мои» чекисты, как и я, были по одну сторону баррикады, а эти останки — по другую.

Но так или иначе эти гэбисты со мной разговаривали. И мне это казалось естественным. Ведь я видел и за ними систему взглядов. Это было преувеличением. Такое среди них не водилось. Они просто были живыми, и им было интересно. Да им и самим было приятно, что можно разговаривать о главном. Не потому, что я их чему-то учил или мог научить в свои девятнадцать. Но просто происходящее втайне и их беспокоило, а когда я начал ему находить объяснения — заинтересовывало. Они ведь тоже не воспитывались с детства в специальных питомниках, а брались оттуда же, откуда были все: с заводов, фабрик, с институтской скамьи. Брали по анкетным данным, но это ведь не все.

Потом для того, чтоб выживать, приходилось отказываться от совести, а то и просто звереть: требования были жесткие, а смысл деятельности не был ясен. Некоторые, хотя бы на первых порах, были бы не прочь представлять его более ясно — с ними я, видимо, и имел дело. Но лучше себя чувствовали те, кто в этом не нуждался. Такие люди были больше ко двору. И им отдавалась власть.

Это особенно очевидно стало для меня через год-полтора, когда я наткнулся на человека, бывшего контрастом тем, с кем я имел дело до него. Разговаривать не умевшего и не хотевшего уметь. Разницы я тогда не осознал, ибо оставался в плену своей предвзятости, но сразу ее почувствовал.

А дело было по сегодняшним меркам пустяковое. Однажды — это было уже, когда я давно учился в Литинституте — они меня вдруг вызвали (через Петю, кажется, в последний раз). Оказалось, что на этот раз им надо поговорить не вообще, а по поводу моего нового стихотворения. Стихотворение мне представлялось вполне «в духе», хотя касалось оно репараций. Вот это стихотворение, как оно было. Сомневаюсь я в точности только двух строк — девятой от начала и третьей от конца, — но и их смысл передан точно.

Гудки, и гудки, и гудки, и гудки,
 Плещет кругом черноземная степь...
 Везут из Берлина в Москву станки,
 Как раньше в Берлин украинский хлеб.
 ... Я знаю, что нету святее прав.
 И доказательств не надо тому.
 Но мальчик немецкий глядит на состав,
 И спазмы горло сжимают ему.

Ему сегодня тринадцать лет,
Но он никогда уж не будет наш.
Он будет солдатам советским вслед
Твердить, кулаки сжимая: «Реванш».
А мир вокруг прогнивает до дыр.
И гной течет по страницам программ.
Микадо хотел покорить мир,
А нынче сдается на милость сам.
Плевать мне на всякого короля!
Ведь я не защитник восточных царств.
Я просто хочу, чтоб была земля
И чтобы на ней никаких государств.
Чтоб больше не вышел на брата брат.
Чтоб споры замолкли любых держав.
Чтоб не был никто ни пред кем виноват,
И никто никому не доказывал прав.

Когда я пришел, меня стали журить за это стихотворение, а я не мог понять, в чем дело. Как поэтическое произведение, оно меня сегодня не интересует, тогда я к нему относился и в этом отношении серьезно, но речь шла не о поэзии. Они считали, что я написал нечто непозволительное. Точного содержания их обвинений я не помню, возможно, его и не было. Но, по-видимому, причиной всего было первое четверостишие — о вывозимых германских станках. Как я теперь понимаю, они были этим очень встревожены — если бы эти стихи не понравились кому-либо из начальства, я оказывался браком в их работе. Но тогда я этого не понимал. И отвечал на все претензии объяснениями. Эти стихи ведь и впрямь не ставили под сомнение справедливость репараций: «Я знаю, что нету святее прав. / И что доказательств не надо тому...», — они только говорили о трагичности ситуации, о противоречивости действительности.

Все это никак не противоречило марксизму. А мечта о жизни на земле без различных государств была мечтой о коммунизме. Переспорить меня логикой, оставаясь на почве коммунизма, хотя бы и сталинского, было невозможно. Но тут уже был наивен я — думал, что это важно. У них было указание, и им было не до логики — они стояли на своем. Но они — разговаривали. Хотя и менее свободно, чем раньше.

Потом меня показали новому начальнику отдела. Тот спросил, понял ли я, что мне было сказано. А когда я пустился в объяснения, просто и кратко объяснил, что со

мной сделают, если я не пойму — арестуем, в лагерь отправим (интересно его употребление глагола «понимать»). Так что обещал он мне даже больше, чем на самом деле сделали, когда и впрямь мной занялись «как следует». Мои чекистские знакомые, которые до этого беседовали со мной, стояли навытяжку. Я чувствовал, что им самим неудобно, но новая метла хотела мести чисто. Было и нелепо, и страшно. И страшно потому, что нелепо. А что еще предстояло?

Мой роман с МГБ был широко известен. О нем знали все, кто со мной общался, и многие вокруг. Гнусных подозрений на мой счет он не вызвал — был только сигналом, что прокаженность с меня снята. За одним коротким исключением. Однажды, придя к Коле Глазкову, я обнаружил там того приятеля, которого я приводил к Пете. На этот раз он стал петь другую песню, уже не в помощь органам, а в защиту от них. Он начал убеждать Колину мать, что раз я «там» был, то просто так «оттуда» не отпускают, и, следовательно, я представляю опасность для друзей. Колина мать перепугалась и стала отказывать мне от дома. Но последствий этот демарш не имел. ввиду очевидной его фантастичности. Я продолжал приходить к Коле, как и раньше, и отношения не стали менее доверительными.

На этом (во всяком случае на этой ноте) мое общение с этим (каким точно — не знаю) отделом МГБ кончились. В ноябре—декабре 1947 года, когда вокруг меня опять начала образовываться зона пустоты, я еще раз позвонил Василию Михайловичу, но на этот раз руки мне не протянули. Благодарю за это судьбу, вернее Бога. Но это имеет отношение не только к этому «роману», но и ко всему моему внутреннему развитию в эти годы.

Перед Литинститутом и Литинститут

О своем «романе» с МГБ я рассказал все, что помню. Поэтому рассказывать о своей жизни в послевоенные, для меня предарестные годы, я буду почти без всякого упоминания об нем. Должен, однако, сказать, что вообще этот «роман», произведя на меня большое впечатление, все же большого места в моем внутреннем развитии и вообще в моей жизни не занимал. Конечно, если забыть о том, что

он вообще дал этой жизни состояться — освободил меня от прокаженности. А так — даже романтический «культ Чека», бывший неотъемлемой составной моего тогдашнего мироощущения, возник во мне, как знает читатель, задолго до этого «романа». «Роман» его только не опроверг. И поэтому сильно помог поверить в выдуманную мной картину современности. Культ этот не прошел и после встречи с новым начальником. Но о мировоззрении и мироощущении этих лет — чуть позже.

Могу только сказать, что за все мои «доарестные прозрения», о которых мне стыдно вспоминать, несу ответственность лично я, а отнюдь не «мои чекисты». Конечно, вины за атмосферу, в которой по вине их учреждения вынужден был жить и «воспитываться» весь народ огромной страны, — с них снять никто не может. Но в этом они виноваты, так сказать, в составе всего учреждения, да и всей системы, и перед всем народом: передо мной не больше, чем перед любым другим, в том числе и перед самими собой. Уверен, что когда потом меня опять обложили и на этот раз довели дело до конца — посадили, это было сделано не по их инициативе, хотя и при их стойке «Смирно!». Но это случилось через два с половиной — три года, в самый разгар моего форсированного причастия к духу сталинщины. А мы пока находимся в самом его начале.

Мой рассказ прерван был этим «романом» на том, как заведующий кабинетом печати МК ВКП(б) Яковлев-Хольцман, ведавший всеми многотиражками города и области, привел меня из МК в редакцию газеты «Московский большевик», где находился его кабинет. Борис Владимирович, как помнит читатель, должен был устроить меня на работу в многотиражку, что он в конце концов и сделал. Но человек страстный и увлекающийся, он почти сразу, как только мы пришли, стал меня демонстрировать своим товарищам журналистам из «Московского большевика» и «Московского комсомольца» — обе газеты помещались под одной крышей на Чистых прудах. Приняли они меня очень тепло и хорошо, стали наперебой зазывать к себе, разговаривать, просить читать стихи. И, что тоже существенно, кормить обедами — они получали какие-то спецталоны. Тогда-то я и спросил у одного из «комсомольцев» о судьбе своего симского редактора, которого я здесь назвал Зино-

вием Самойловичем Мильманом, и получил ответ, что он такого не помнит. Впрочем, может, этот человек стал работать в газете позже. Но это — к слову.

Моя чекистская эпопея ни для кого здесь не была секретом, и просили меня читать и «ошибочные» стихи. В качестве таковых я их и читал. Все последующие годы тоже. Не из политических соображений, а потому что не мог удержаться. Тем более, когда просили. А тут просили. В общем, я там жил и цвел. Там я познакомился с Федором Елисеевичем Медведевым, человеком чистейшей души, с которым я дружу уже больше, чем полвека. За это время он много раз выручал меня из нелепых положений, в которые я часто попадал, а однажды даже спас мне жизнь. Но это было потом. А тогда еще только начинался 1945-й, шла война, и впереди у всех нас была только победа. А за ней — свет.

И опять загадка для тех, кто тогда и у нас не жил. Откуда такой мой успех у тамошних журналистов? У того же Бориса Владимировича, например? Ведь он любил говорить о себе (картинно, но вовсе не шутя): «Я представитель правящей партии». Конечно, он не был функционером, он был интеллигентом, сыном репрессированного профессора-педиатра, но принадлежностью к правящей партии гордился всерьез.

Функционером никогда не был даже уже упоминавшийся здесь Ф.Е.Медведев, хотя потом занимал немалые должности в МК КПСС и ВЦСПС. Но и на важных должностях он всегда был помощником функционера, а не самим функционером, всегда помощником секретаря и никогда его заместителем (заместитель был функционером). Причем и по происхождению, и по биографии, и по способностям (хороший организатор, разумный человек, хорошо умеющий работать с людьми) он вполне подходил для любой карьеры. Подозревать его в чем-либо «дурном» не было оснований, да и не подозревали — иначе бы и в помощниках не держали. Как говорится, всем вышел. А вот почему-то держали в помощниках. Дорожили как помощником, стремились заполучить его в помощники, а в функционеры не выдвигали — не подходил по каким-то интуитивно ощущаемым, но все же безусловным для них критериям. А ведь он, как и большинство журналистов, с которыми я там общался, если и не произносил фразы: «Я представитель

правлящей партии», то только из отсутствия тяги к картинности и звучности.

Безусловно, и он, и почти все тамошние журналисты искренне чтити тогда товарища Сталина. Через них шла вся пропагандная ложь, оглуляющая страну, и они вовсе тогда не сомневались в полезности этой деятельности. И все же — в частном порядке — они были мне благодарны за стихи, так или иначе ей противоречащие. Что это такое?

Я как-то об этом не задумывался. Это был очень напряженный период моей, да и не только моей жизни. Впечатлений была тьма. Одни заслоняли другие, и на их осмысление меня не всегда хватало. Впрочем, еще и потому, что воспринимал я это как нечто вполне естественное. Ведь я считал себя коммунистом, а они тоже. Мало того — в моих глазах они-то и были настоящими носителями любезной моему сердцу коммунистической идеологии — они не блуждали, как я, а знали с самого начала то, что мне давалось с трудом — например, «сложную правоту Сталина».

Конечно, все они были оглушены тридцать седьмым годом. Более того, меня он только оскорблял эстетически, а по ним прямо прошелся своими граблями. Именно по ним и шла пальба, именно их товарищей и коллег выдергивали из рядов в первую очередь, на тех же непонятных основаниях каждую ночь могли увести любого из них. Теперь вроде все улеглось, и им тоже хотелось думать, что прострация, в которую их погрузили и которую насаждают (конечно, так откровенно они для себя не формулировали), — только кажущаяся, что все, для них имевшее смысл, продолжается, как течение реки подо льдом. И я был не то что подтверждение, но напоминание о чем-то.

Теснее всего я подружился с Хольцманом. Во-первых, я находился, так сказать, в его ведении и больше всего дела имел с ним. Во-вторых, его литературные интересы были более отчетливыми, чем у других.

Правда, разговаривали мы не только на литературные темы. Борис Владимирович был большим знатоком произведений В.И.Ленина и И.В.Сталина. К нему вся редакция, да и товарищи поважнее обращались за цитатами по любому случаю, и он их легко находил. За это его ценили, но это не было его профессией, и овладел он этим, я уверен, просто от увлеченности. Или от стремления разобраться. Сегод-

ня это совершенно непонятно — как умный, талантливый, образованный человек мог интересоваться такой чепухой, но меня это ничуть не удивляло. Я и сам интересовался — только что никогда не доходил до таких вершин знания. Я даже думаю, что это знание отчасти должно было компрометировать его как «представителя правящей партии» — оно все-таки намекает на то, что носитель его относился к современной ему ситуации как к чему-то, в чем следует разобраться. В то время как настоящему советскому человеку (кто им был?) этого не требовалось. Но о нем так не думали — в нем нуждались.

Так или иначе, Борис Владимирович в отличие от большинства тогдашних и позднейших бойцов идеологического фронта знал первоисточники. И в наших беседах использовал это знание для доказательства того, что и нынче «все идет правильно», другими словами — по-ленински. А в том, что «по-ленински» — это и значит «правильно», не сомневались ни он, ни я.

Сегодня я вообще не знаю, что это значит — «по-ленински». Ленин настаивал на терроре, на лжи и провокации во имя интересов «дела» и «партии», а потом взял да и отступил — пошел на НЭП — и никаких социалистических выходов из него не наметил. Дора Штурман остроумно предполагает, что просто надеялся во время «передышки» — так он это называл — что-нибудь изобрести. Но таких путей не было, во всяком случае он их не изобрел. Какой же путь — применительно к нашему времени — мог считаться «ленинским»?

Над решением таких схоластических задач годами и билась пленная наша мысль. Хоть отнюдь не схоластические потребности нами руководили. Но об этом я уже говорил много.

Очень скоро Борис Владимирович объявил, что мне надо устроить вечер в редакции — настоящий, широкоэвешательный, с объявлением в газете. С ним все согласились, я, естественно, тоже. И началась подготовка к этому вечеру. Я сидел у Хольцмана в отделе и по памяти восстанавливал стихи (у меня их никогда не было под рукой), а его помощница Катя, милая, умная и острая молодая женщина, перепечатывала их на машинке. С Катей я сразу подружился. Правда, Борис Владимирович хотел заставить меня назы-

вать ее Екатериной Николаевной. Но результатом этого была только эпиграмма:

Забуду мать и перемать
И буду жить культурно, славно
И даже Катю называть
Екатерина Николаевна.

Впрочем, потом в перепечатку стихов было втянуто редакционное машбюро. Вероятно, это делалось для составления программы — ведь нельзя было все пустить на самотек. Наконец, пришло время печатать объявление. И тут возникла еще одна проблема. Борис Владимирович мне твердо объявил:

— Нужен псевдоним. Вы русский поэт, и нечего вам быть Манделем.

Должен сказать, что хотя до этого момента, я ни о каком псевдониме не думал, это предложение меня несколько не оскорбило. По двум противоположным причинам.

Я был интернационалистом.

Я любил Россию.

Как это у меня увязывалось, я уже говорил по другим поводам, и проблема была не в этом. Она была в неожиданности: фамилий много, но как выбрать подходящую? Я решительно не был к этому готов.

— Ну, идите, подумайте, — сказал Хольцман. — Через полчаса приходите с псевдонимом. Газету из-за вас никто задерживать не будет.

И пошел я, то ли солнцем палимый, то ли снегом осыпaeмый — сейчас уже не помню. Но на свое счастье встретил жившего тогда в тех местах Елизара Мальцева. На вопрос «Как дела?» я ему быстро рассказал о всех своих метаморфозах (отношения у нас всегда были доверительные) и поделился своей заботой. Дескать, выручай, Зорька! И Елизар выручил.

— Хочешь, — сказал он, — я тебе дам хорошую сибирскую фамилию, кряжистую — как раз для тебя?

Я, естественно, хотел.

— Коржавин, — отчеканил он.

И я принес в клюве Хольцману эту фамилию. Она была одобрена и появилась в объявлении. Так я стал Коржавиным. И никогда об этом не жалел.

Правда, после ссылки (после антикосмополитской кампании с раскрытием псевдонимов), начиная всерьез печататься, я предпринял попытку освободиться от псевдонима: я за ним не прятался и не хотел, чтобы это так воспринимали — но в тот момент мне не дали. А потом пошло, и он стал неотъемлемой частью меня.

Пикантность в другом. Уже в эмиграции из обычного, издававшегося не раз массовым тиражом в Москве словаря русских фамилий я узнал, что происходит выбранный мной псевдоним от слова «коржавый» или «каржавый», означающий «маленький», «плюгавый». Вот тебе и «сибирская, кряжистая, как раз для тебя!» Теперь Бенедикт Сарнов, когда особенно со мной не согласен, кричит: «Молчи, Плюгавин!» Но я не молчу, а своим псевдонимом, по-прежнему, доволен. Ибо фамилии вообще чаще производят впечатление звучанием, а не семантикой. И я вполне могу себе представить богатыря с фамилией не то что Коржавин, а просто Плюгавин, который от своей фамилии не страдает: звучание ее подходит, а в смысл ее редко кто вдумывается. Да и зачем?

Но это все о подготовке вечера. Она была бурной. Самого же вечера я почти не помню. Был некоторый ажиотаж, было много народу. Это был первый из серии таких вечеров. Но чьи были остальные, не помню, кроме вечера Галины Николаевой, тогда еще выступавшей как поэт. Стихи ее были эклектичны, хотя она уверяла, что не читала даже Ахматову. Я в это мало верил. Но поскольку Галина Николаева скоро перешла на прозу, то много об этом и не думал. Но полагаю, что так обвинение в несамостоятельности парировать не стоит. Такой ответ не означает, что данный автор самостоятелен, а только что он, не зная оригиналов, следует их эпигонам.

Мне кажется, что ко времени моего вечера я уже был определен на работу. Местом моей новой службы стала многотиражка авиадвигательного завода, расположенного в Мейеровском проезде у метро «Сталинская» (теперь «Семеновская»). Газета имела локальное название «ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА!» (после Девятого мая «ВПЕРЕД»). Редактор ее Владимир Федорович Кравченко поддался на уговоры Хольцмана и взял меня. Не думаю, чтобы он об этом пожалел. Отношения у нас были самые теплые. Кроме него, в редакции

работал еще один мужчина — Александр Соболев, в будущем автор текста известной песни «Бухенвальдский набат». Несмотря на свою фамилию, он по происхождению был чистокровный еврей. Причем он вовсе не старался скрыть происхождение. Просто фамилия Соболев была его «родовой» фамилией — фамилия его сестры была такая же. Случалось и не такое. Шолом-Алейхем вспоминает где-то о каком-то местечковом еврее по фамилии Иваненко, а уж того в мимикрии не заподозришь — он и русского языка не знал. Просто, когда евреям при Николае I давали фамилии, писарь, от которого это в значительной мере зависело, так записал его отца или деда. И что это все значило? А ничего!

Кроме редактора и Саши, в редакции работало еще несколько человек — все женщины. Относились все друг к другу и ко мне хорошо, атмосфера в редакции была дружной. Я и теперь вспоминаю ее с теплотой. Мне отвели место в общежитии, но я жил в редакции. В общежитии я даже и не прописался, за что скоро был наказан, опять потеряв непрописанный паспорт, который опять трудно было восстановить. К счастью, военный (точнее «белый») билет — «Свидетельство о негодности к военной службе» — я на этот раз не потерял. Впрочем, с окончанием войны он уступил свое сакральное значение паспорту. Но это было и уж точно сказалось потом.

Мне очень неловко перед людьми, с которыми я работал и которым я благодарен, но писать о своем пребывании в газете мне сегодня почти нечего. Я помню всех, кто со мной работал, хоть не всегда помню их имена, помню их теплоту и заботливость, но занимало меня тогда, в мои девятнадцать лет, другое. И другое это было связано не с редакционной работой. Ее и я, и все рассматривали как промежуточную остановку перед Литинститутом. Поэтому от нее у меня, кроме общего ощущения людей и благодарности к ним, осталось очень мало воспоминаний. Только то, что мы с Сашей вместе шлялись по всяким литературным сборищам. И что он вообще опекал меня как старший.

Как ни странно (по-видимому, по той же причине), не осталось у меня никаких воспоминаний и о самом заводе, хотя во всех других случаях, как видел читатель, заводская жизнь меня очень интересовала. Вероятно, этому способствовало еще и то, что здание завкома, в котором помеща-

лась редакция, было расположено вне завода, прямо на Мееровском проезде, другими словами, на одной из улиц города, а городом этим вдобавок была Москва. Это четырех- или пятиэтажное здание из красного кирпича было первым по этой улице, если идти от метро. Дальше, до проходных, мне надо было весьма редко. Помню только, что завод был большой, больше симского, но никак не подлипковского. Помню, как на завод привезли немцев, и тетки их жалели: «Такие молодые. Тоже небось где-то отец-мать есть». Среди немцев были люди не только в форме цвета хаки, но и в коричневой — я тогда их считал эсэсовцами. Теперь сомневаюсь. У эсэсовцев форма вроде была черной, коричневой она была у СА, но, с другой стороны, у СА не было своих фронтовых формирований. Так что не знаю, кто они были.

Поражало, что эти «эсэсовцы» вели себя очень свободно, перемигивались с девушками. Кто-то говорил Войновичу: в мире есть много кающихся коммунистов, но кающихся нацистов — нет. Почему? Мне кажется, что это понятно. В том, что ты взял на себя устройство всеобщего счастья и не считался с «издержками», принял эгоизм за альтруизм, — раскаяться можно. Ты много взял на себя и вместо Добра принес зло. А в чем каяться, если ты просто оказался способен освятить национальный эгоизм и амбиции, отнести себя к высшей расе — то есть реализовал собственную низменность? Можно только обозлиться на весь мир, как пойманный зверь, сожалеть, что ошибся в расчетах, а это другое. Это не значит, что Германия не прошла через покаяние.

Но каялись в основном те, кто примкнул по малодушию, как максимум будучи захвачен волной, кто помалкивал или поддакивал, но лично делать зло не стремился, только не мог ничего изменить — таких было большинство и такие каялись. За себя и за других. Настоящим нацистам каяться было не в чем (разве в том, что сплеховали), как не в чем бывает каяться зверю. Его животность всегда на его стороне и сомнению не подлежит.

На заводе немцы не чувствовали себя во враждебном окружении. Однажды немецкий солдат, встретив меня где-то на безлюдье, украдкой (видимо, не разрешалось) попросил у меня табачку. К сожалению, у меня этого зелья не

бывает, но если бы было, я б ему отсыпал. Помню, как два здоровых, в годах солдата ехали в трамвае на какую-то работу под началом пацана, старавшегося по этому случаю говорить командным басом. Сквозь этот бас все равно проступало добродушие. Это было комично. На самом деле и он к немцам, и немцы к нему относились вполне дружелюбно. Пацан их уважал за мастерство, а они в нем видели ребенка, каким он и был.

Все же отдельные воспоминания, связанные с редакцией, всплывают в моей памяти. Среди них шефская поездка нескольких работников редакции в Центральный госпиталь Красной (тогда уже Советской) Армии, организованная как-то по линии райкома — госпиталь, по-видимому, тоже относившийся к нашему, тогда Сталинскому, как и станция метро, району.

Как называется теперь этот район — не знаю, а станция называется «Семеновской». Так она и должна называться. И должна была бы даже в том случае, если бы Сталин был достоин чествования. Ибо название это — историческое. Здесь находилось село Семеновское, где некогда формировался один из тех самых двух «потешных» полков Петра, которые положили начало российской гвардии и вообще регулярной армии. Второй полк формировался неподалеку — в селе Преображенском — ближе к Сокольникам. Где-то между ними и находится этот госпиталь, построенный, по-видимому, тоже очень давно.

Ехали мы туда на трамвае солнечным весенним днем — по улицам, состоящим из одноэтажных домиков с садиками, а иногда и просто мимо садов — больших, окруженных высокими дощатыми заборами. Не знаю, что это были за сады, но дощатость придавала им партикулярность, домашность — в них не было номенклатурной государственно-бетонной глухоты кремлевских дач (которых я тогда еще и не видел). Это были нечто совершенно естественное — сады и заборы вокруг садов. И они цвели. А вокруг была Москва. Такой Москвы я не знал и не представлял — видел ее впервые. Впечатление, которое произвел на меня тогда этот угол Москвы, было настолько ярким, что оно легло в основу одной моей юношеской лирико-фантастической поэмы, которую я, впрочем, публиковать не собираюсь. Такой Москвы теперь уже нет. И я понимаю, что это естественно —

город расширялся, нуждался в квартирах. Но все равно жалко. Очень жалко.

Госпиталь всеми своими корпусами тоже располагался если не среди сада, то среди парка — так или иначе, среди зелени. Все: и ограда, и корпуса, и парк — было старой постройки и разбивки. «Казенной» — могут сказать. Может быть, не знаю. Все познается в сравнении. Во всяком случае все это было гораздо «теплей», удобней и просторней, чем то, что строилось при нас. Ведь при нас все строилось с расчетом «только бы перебиться до...», а тогда — «чтоб стояло». Но об этом я еще не знал и не думал.

Представлял нас замполит госпиталя. В манерах его была некоторая осторожность и вкрадчивость, но не от скользкости натуры, а от сложности положения. Не помню, в каком чине он был — старшего лейтенанта, капитана или майора, но никак не выше, а на попечении его оказывались и генералы. Причем раненые или очень больные, следовательно, часто раздражительные, капризные, но при сознании своего ранга. И со всеми надо было ладить.

Представляли нас почему-то как писателей, хотя в то мундирное время не имели на это никакого права — официально писателями считались только члены Союза писателей. Большинство из пришедших на эту честь вообще не претендовало, но и мы с Сашей не объявляли себя писателями — это значило бы предварять мнение о себе. Но не вступать же в спор в госпитальной палате. И я просто читал стихи — в солдатских и офицерских палатах. Не помню, что читал, но помню лица слушателей. Нет, не в качестве ценителей — да и что я особенного мог им тогда читать, «не подводя газету»? В этом качестве в большинстве они были просто благодарны за внимание, некоторые рады дополнительному развлечению, и все — доброжелательны. Но я вдруг вспомнил лица — открытые прямые лица людей, выполнивших свой долг, лица победителей в войне против Зла, и мне стало больно. Я ведь смотрю из своего сегодня и знаю, как у них украдут победу. Даже не украдут — просто не выдадут, скажут, что уже получили и что она в возвращенном счастье продолжать начатое перед войной строительство коммунизма. И многих обманут, собьют с толку, соблазнят карьерой и «доверием», превратят в борцов против собственной победы. Как всегда, «Во имя!..»

Во имя чего? Если хорошо подумать, то во имя создания предпосылок для сталинского мирового господства, всему народу и им самим нужного, говоря по-польски, «як дирка в глове». Но тогда они знали, что фактически победили, и были уверены в том, что способны обеспечить своей стране благоденствие — ведь через такое прошли. И они, действительно, были бы на это способны, если бы знали, кто тому враг. Но знал это один лишь великий вождь, а он вовсе не стремился превратить это знание во всенародное достояние. Наоборот, принимал все меры, чтобы это не случилось... Потом людей с такими лицами я встречал в тюрьме и на этапах — сидели за то, что делились впечатлениями о заграничной жизни. Тов. Сталин учитывал (и помоему, не к месту) историю декабризма и принимал меры, чтобы она не повторилась. В уже и без того обезглавленной им и его предшественниками стране.

Генералы и адмиралы лежали в индивидуальных палатах — так что им, если позволяло их медицинское состояние, я читал стихи персонально. Наибольшее впечатление произвел на меня старый, явно дореволюционной выпечки, неизлечимо больной адмирал. Людей такого уровня культуры и образованности — а это проявилось, как только он заговорил — я тогда еще не видел, да и потом встречал нечасто. Казалось бы, в чем душа держится, а она не только держалась, а жила полной жизнью, была переполнена духовной и интеллектуальной энергии, жаждала общения. Услышав, что перед ним писатели, он не стал вдумываться, кто именно — ему уже было не до того, — а, как говорится, завелся с пол-оборота и начал очень горячо и интересно излагать свои мысли, относящиеся к нашей области.

Сейчас его интересовала детективная литература. Вероятно, потому, что во время своей мучительной болезни он к ней часто «прикладывался» для отвлечения. Но не такой это был человек, чтобы, столкнувшись с каким-либо явлением, не начать его осмыслять. Вот он и спешил поделиться своими мыслями. Я тогда мало интересовался этой проблемой, но был потрясен силой и богатством его мысли. Он говорил о критериях подлинности этой литературы, о ее месте и значении. Он не просто говорил, он жил в этот момент полной жизнью. Но как раз это было ему строго-настрого запрещено врачами, и сопровождавший нас зам-

полит вынужден был мягко, но настойчиво прекратить разговор. Адмирал был очень огорчен, пытался протестовать, но тщетно — за такие пиры духа, если они продолжались долго, неизбежно наступала тяжкая расплата, и замполит был неумолим. Мы, естественно, не протестовали, но тоже были огорчены. Прежде всего тем, что этот потрясающий и очень нужный нам всем человек обречен и что наша столь содержательная беседа, прерванная на самом интересном месте, уже ни при каких обстоятельствах не может быть возобновлена и продолжена.

Встреча эта, произведшая на меня такое впечатление, была более чем случайной. Ее могло не быть. А скольких и не было — родная власть красным террором и непрерывными чистками (и не в последнюю очередь тотальной клеветой) заранее позаботилась, чтобы они не могли состояться. Традицию прерывали и подменяли, но уж слишком мощна была русская культура. Достаточно было малейшего знака, чтобы в чьих-то задуренных мозгах постепенно начала восстанавливаться вся цепь. Не сразу. Приводило это к вещам, сегодня многим непонятым, но понять которые все же следует. Я ведь тогда не перестал еще числить себя представителем некой новой культуры, а то обаяние, в поле которого я оказался в этой адмиральской палате, было обаянием культуры старой. Точнее говоря, просто культуры.

В связи с работой в этой многотиражке не могу не рассказать и о своих поездках в Главлит. Мне придется обмануть чьи-то ожидания — ничего ни особо романтического, ни страшного в ни в этих поездках, ни в самом этом учреждении тогда не было. Нам требовалось «залитовать», т.е. получить разрешение на выпуск очередного номера газеты. Выбор часто падал на меня. Ибо другим надо было специально ехать в центр, а мне это всегда было по дороге. Ведь Главлит помещался на Новой площади рядом с «Молодой гвардией», куда я и так стремился, да и типография, куда надо было сдать «залитованный» экземпляр, была тоже в центре.

Поездки эти были вполне рутинные. Конечно, без разрешения Главлита типография не могла приступить к печатанию чего бы то ни было — хоть приглашений на торжественное собрание, но понимающе перемигиваться по этому поводу нет оснований. Учреждение это вовсе не было

таким грозным. Согласно вывеске оно называлось «Главное управление по охране государственной и военной тайны в печати» (кажется, там стояло еще «и на радио», но точно не помню), и собственно этим оно и занималось. Сидели там в основном вполне мирные обыкновенные, озабоченные нелегким бытом женщины и сличали тексты со списком того, о чем было запрещено упоминать. За те несколько месяцев, которые я проработал в газете, я не припомню никаких особых наших недоразумений с цензурой.

Эти благостные строки не должны быть восприняты как намек на отсутствие в то время идеологической цензуры. Цензура эта была, и еще какая, но осуществлял ее каждый редактор на своем посту, с которого в случае недосмотра мог слететь прямо в тартары, а не специальный комитет. Как Хрущеву могло прийти в голову приспособить этих текстов (или таких же мужиков) к цензуре идеологической — ума не приложу. Но цензура как орган — образование более либеральных времен.

Но и наше посещение госпиталя, и мои походы в Главлит — детали. Заполняло мою жизнь то, что я описал выше, «Молодая гвардия», например. И еще страдания — в основном от неразделенной любви. Но с моей должностью в газете это почти не связано.

Именно тогда я как-то очень по-детски влюбился в только что появившуюся на литобъединениях и в Литинституте Юлию Друнину. Появилась она после демобилизации по ранению, для меня — прямо с фронта, и я влюбился. Именно по-детски, романтически — в ее чистоту, в ее подлинность. Влюбился без взаимности и без особой потребности в ней. Она любила моего друга Колю Старшинова, раненого, как и она, на фронте, и вскоре вышла за него замуж. Все эти обстоятельства нисколько не расстроили моих отношений ни с ним, ни с ней. Мы дружили.

Впрочем, романы у меня бывали не только такие идеальные. Возраст и страсть требовали своего. Был у меня роман тяжкий, беспросветный, мучительный. Были и такие, где ничего не было, но вспоминать все равно стыдно. Особенно стыдно мне вспоминать одну хорошую девушку, которой очень нравились мои стихи, которую вроде ко мне тянуло, как и меня к ней. Но когда мы стали с ней целоваться, естественно, потребовала признания в любви. А

поскольку я в этом соврать не мог, она, естественно, оскорбилась и спросила, как же я так себя веду при таких-то стихах. Я растерялся и стал что-то бормотать насчет того, что, дескать, одно дело стихи, другое...

Так что ж стихи — только актерство? — спросила она. И я, ошалев от собственной подлости, подтвердил это. Она была поражена.

А ведь это была неправда. Никогда мои стихи не были актерством. Отказавшись солгать подло, я оболгал себя с ног до головы. Просто легкие романы никогда не были для меня легки. И объекты находились неподходящие, и вообще получался уж какой-то совсем несусветный срам.

А ведь тогда не только человеческое несовершенство — дух времени требовал таких романов. Тогдашнее представление о мужестве, ложное, как и все это время, того требовало. А ведь совсем недавно этого не было. И я вроде это помнил. Потом забыл, показалось, что это моя аберрация. Но оправданий нет. При любом духе времени надо все равно всегда оставаться самим собой. Каждому свое.

Разумеется, из этого не следует, что я был рожден для романов исключительно платонических. Но к Юле я относился именно так. Мне нравились и ее стихи. Вообще мне часто случалось тогда влюбляться в девушек, пишущих стихи, но их стихи, как говорится, шли по другому департаменту. Мне и тогда вовсе не надо было, чтобы моя любимая была еще и настоящим поэтом. Стихи их в лучшем случае были мне интересны только как проявление их женственности и у меня никогда не было потребности их переоценивать. Между тем нравившиеся мне тогда Юлькины стихи не разонравились мне и теперь — это не было связано с моей влюбленностью.

А влюбленность моя была связана все с той же романтикой моей юности, с романтикой «той единственной, Гражданской», в частности, с пресловутым романтическим образом «девушки в кожанке» и пр, и пр. Кожанки не было, была строго пригнанная и хорошо сидевшая на ней шинель, но что это меняло? Цену этой романтики сегодня, задним числом, все знают, тогда не знал почти никто, и я в том числе, от романтики этой давно ничего не осталось, но и в сегодняшней памяти остается неизменным — Юля была прекрасна. Хотя не только воспитывалась на той же романтике, но как бы оказалась наиболее полным ее воплощением.

Как это ни странно, именно она соответствовала «образу положительного героя наших дней». Всеми правдами и неправдами пошла на фронт, была санинструктором, по рассказам очевидцев, вела себя там героически, всегда лезла в самое пекло. И всегда была чиста. Ей некоторые ставят в вину выступление на «антикосмополитском» комсомольском собрании в Литинституте против П.Г.Антокольского в 1949-м. Это ей — пусть как то, о чем она потом глубоко сожалела — поминали даже во время последнего прощания в Центральном доме литераторов. Говорили люди, к ней относящиеся хорошо, но мне было неловко это слышать. И потому, что последнее прощание — не мероприятие для критики и самокритики. И потому, что не тем должна быть помянута ее жизнь.

Конечно, антикосмополитская кампания была грязной антисемитской кампанией. И в 1951 году, когда после ссылки я приехал на несколько дней в Москву, мне сразу же рассказали о Юлином «падении». Рассказывали люди, хорошо относившиеся к ее стихам, ее лично не знавшие и глубоко потрясенные тем, что, оказывается, и при таких стихах можно дойти до такого. Надо сказать, что я и до встречи с ней не очень поверил, что Юля до чего-то такого дошла. Все-таки я знал ее. Я позвонил им с Колей, был тут же приглашен к ним и оставлен ночевать (и, по-моему, ночевал у них еще раза два или три). Отмечаю я это специально, потому что находился я в Москве на полулегальном положении, и моя ночевка была чревата для хозяев, если не опасностями, то крупными неприятностями. Но этого для Юли с Колей как бы не существовало (как, к слову сказать, и для других моих друзей). Они не только не стремились от меня избавиться, но и сами предлагали приходить и ночевать. Это само о чем-то говорит.

Как я и предполагал, никакого «падения», никакого внезапного выявления низости не произошло. А сработала наша общая поведенческая неграмотность. Мы были порядочными людьми, но не были воспитаны на правилах порядочности. Юля полагала даже, что поступает принципиально. И уж, конечно, никакого отношения к антисемитизму она не имела. Просто она за что-то (за что, не помню) и до этого резко осуждала Антокольского, а тут представился случай это высказать публично. Что случай это неподходя-

щий, что нельзя «открыто» выступать против человека, когда его травят, да еще травят по причине его происхождения (впрочем, что такое у нас возможно, она не сразу уяснила), — она не знала: нас так не учили. Но ко времени нашей встречи она уже понимала — поняла на собственном горьком опыте. Тяжело ко всем нам возвращались нормальные ценности.

Мы и потом с ней встречались — не очень часто, но всегда дружески. Перестройку она приняла как возрождение. А когда дело застопорилось — не выдержала. Не выдержала жизненных неурядиц, которые иначе легко перенесла бы, и покончила с собой. Конечно, так поступать нельзя, но я ее не сужу. Даже понимаю. Она была положительным героем наших дней, цельным и чистым, при всей своей тонкости и сложности человеком, сделанным из одного куска. А «дни» таким воспитанным ими героям не соответствовали. Перестроечные — тоже.

Но когда мы встретились, этой антикосмополитской кампании никто не предвидел. И даже моего ареста — ведь я был, так сказать, прощен. Просто мы дружили, любили стихи, говорили о них. Впереди был только День Победы.

Этот день я помню несколько сумбурно, но, наверно, сумбурным он и был. Слухи о том, что акт о безоговорочной капитуляции уже подписан, будоражил Москву уже 8 мая. Мы не знали, в чем дело. Что война кончается, было ясно и без этого, но почему не сообщают, было непонятно. Только потом оказалось, что первоначально немцы капитулировали перед нашими западными союзниками (неужто думали этим обойтись?), но от них потребовали общего Акта о капитуляции. Откуда-то по секрету все знали, что об этом сообщат в два часа ночи. В эту ночь я гостил у ребят в Строителе. Устроили какое-то застолье и стали ждать. Все общежитие не спало. Ждали напряженно: скажут или не скажут. Наконец, в репродукторе раздался треск и знакомый голос: «Говорит Москва». Свершилось.

Сидели всю ночь. Утренней электричкой я прибыл в Москву, которая вся ходила ходуном. Дозвонился до Коли, встретились, ходили весь день. Больше всего радовала мысль, что больше наши ребята не будут гибнуть. Мы не знали, сколько их уже погибло, эта цифра и сегодня еще не ясна. Везде качали военных. Видел ли я в этот день Юльку, как он вообще закончился для меня — не помню.

На следующий день у нас в газете было совещание. Надо было менять название газеты. «Все для фронта» больше не годилось. Я предложил «Вперед» — приняли. Все были довольны. Настроение было торжественное. Все были счастливы.

А жизнь продолжалась, и общение мое расширялось. Подружился я со студенткой Литинститута Идой Фридланд, дочерью репрессированного марксистского историка и сестрой будущего критика и религиозного писателя Феликса Светова (тогда он еще был школьником). Их мать тоже сидела, но к тому времени уже вернулась из лагеря.

В их доме у метро «Кировская» я встречал много поляков. Их семья какими-то родственными или дружескими нитями была связана с Польшей и с распущенной Сталиным (формально Коминтерном) польской компартией. Но как раз в те дни надо было создавать «Народную Польшу». Партию переименовали и восстановили в новом качестве. Польских коммунистов частично освобождали из лагерей и вместе с уцелевшими от «чисток» посылали в страну. По дороге некоторые из них останавливались в квартире Световых, у сестер их матери.

Как пишет в своих воспоминаниях Ф.Светов, я поражал и пугал этих поляков своими стихами. Уж им-то они были близки. Польская компартия, безусловно, тоже была преступна. Но тем не менее я до сих пор уверен в том, что она никогда не бывала похожа на нашу, сталинскую. И именно потому, что свой «37 год» она, так сказать, пережила в России и в Польше его не допустила. Это и спасло Польшу от сталинизации. Спас ее от этого Болеслав Берут, когда любимыми средствами затягивал «следствие» над Гомулкой и не проводил процесса над ним. Да, Берут был сталинистом и чекистом — все правда, но процессов с бредовыми обвинениями в Польше не было. Значит, не было необходимости заставлять людей повторять бессмыслицу или хотя бы ей противостоять. И то, и другое чрезвычайно понижает духовный и интеллектуальный уровень общества. Но о поляках — к слову. Это просто еще один штрих того времени.

Ида Фридланд свела меня со своими друзьями Рут Наглер и ее мужем Сережей Малецом. Отец Рут Григорий Львович был родом из Черновиц, когда-то относившихся к Австро-Венгрии, — потому и жил потом в Вене (пока не эмигри-

рировал в СССР). Несмотря на то, что его загребли в ежовщину (при Берии выпустили), он оставался несокрушимым коммунистом, коминтерновцем и даже твердо верил в абсолютную правоту Сталина. Во всех вопросах, кроме одного, — человек еврейского происхождения, он никак не мог согласиться с положением «классического» сталинского труда «Марксизм и национальный вопрос», что евреи не нация. Когда разговор заходил на эту тему, он приходил в ярость и сопротивлялся, как лев. Конечно, в домашних условиях. Это не ирония — в иных говорить о какой-либо неправоте Сталина было физически невозможно. Потом он опять занимался коммунизмом в Австрии. Сначала с успехом — пока была в советская зона оккупации, а после заключения Государственного договора с Австрией — без оногo.

Но подружился я, главным образом, с его дочерью и зятем. С последним я дружил практически до самой его смерти. Сережа был тогда следователем военной прокуратуры, но взгляды на нашу жизнь имел более чем трезвые. Мы подружились, и Малецы решили свозить меня к Паустовскому — тогдашняя жена которого была их приятельницей. Эту поездку я помню очень хорошо,

Константин Георгиевич Паустовский был тогда фигурой, значение которой переоценить трудно. И как человека, и как писателя. Позднейшее несколько ироническое отношение к нему несправедливо и недостойно. У него не было гигантской мощи Солженицына, но это не основание для иронии. А если бы эта мощь у него была — в те годы, когда он действовал, — то его бы не было самого. Но он был. И был, пожалуй, самым популярным писателем своего времени. Для многих он долгое время был единственным напоминанием, что мир все-таки не стал двухмерным, а, по-прежнему, трехмерен. Я думаю, что, когда уляжется пыль, не все, но многое из написанного им окажется уцелевшим и воскресшим.

Константин Георгиевич жил тогда в Переделкине, на даче Фебина. Поехали мы к нему воскресным летним утром на пригородном поезде, состоящем из паровоза и небольших («дачных») зеленых вагончиков — электрички тогда ходили только по Казанской и Ярославской дорогам. Приняты мы были хорошо — сначала его женой, а потом и им самим. Между делом зашел разговор обо мне. Рут сказала,

что я пишу хорошие стихи. Услышав это ничего хорошего не предвещавшее вступление, Константин Георгиевич заранее попытался уйти в глухую оборону.

— Я не люблю слушать стихи.

Но Рут мягко настаивала. Дескать, увидите, не пожалее-те. В конце концов Паустовский сдался:

— Ну ладно, одно стихотворение я еще могу выдержать.

Я вовсе тогда не был слишком скромного мнения о себе, но почувствовал, что чтение становится ответственным. Одним стихотворением я могу себя погубить или утвердить в глазах человека, чьим мнением дорожу. И я пошел ва-банк — прочел «Стихи о детстве и о романтике» — практически об отрочестве и ежовщине — и победил. Паустовский несколько смутился, крикнул, сказал:

— Читайте еще...

Потом добавил что-то насчет причин своей осторожно-сти — сводилось к тому, что одолевают стихотворцы и стре-мятся отнять у него время тем, что ему совсем неинтересно. Читал я тогда много. Он расспросил меня о моих делах и, узнав, что я должен поступать в Литинститут, вызвался мне помочь и написал письмо уже ставшему тогда директором Ф.В.Гладкову, в котором рекомендовал меня с наилучшей стороны. Мне это было приятно, но после всего, что со мной было, я считал это излишним — события показали, что я, видимо, ошибался.

Письмо я передал. Но, стоя за дверью, я подслушал раз-говор на приемной комиссии. Докладывавший рассказал всю мою историю и предложил принять меня на... заочное отде-ление. Фамилию этого человека я помню, но не назову, ибо сегодня не сужу людей за то, что они боялись — было чего. Но в тот момент я его ненавидел. Я был совершенно обескуражен. Все мои планы опять рушились. Я не получал ни общежития, ни легализации положения — должен был надолго остаться в газете. Но так не случилось.

— А почему на заочное? — спросил Гладков. — Вы ведь говорите, что он талантлив.

— Да, но с ним трудно, — ответил докладывавший.

— С талантливыми всегда трудно, — возразил Гладков. — Что ж нам одних бездарей принимать, чтоб нам легче было?

И я был принят.

Я бы не хотел, чтобы такое поведение Ф.В.Гладкова объясняли только письмом Паустовского. Нет, оно отвечало собственной натуре Федора Васильевича. Письмо могло только обратить на меня его внимание, но не более того. Человек он был более чем самостоятельный. И если бы слова, что он талантлив, но его при этом почему-то следует принять на заочное, были сказаны про любого другого, не имеющего никакого письма, реакция его была бы такой же. Федор Васильевич Гладков ни в какой мере не был флюгером. Доходило это и до смешного.

Например, появившись в Литинституте, он с ходу велел снять портреты Горького и Маяковского. Дело не в том, было ли справедливо его отношение к этим писателям. Но их имена венчали собой государственный литературный Олимп, и директору советского писательского института приказать снять их портреты было то же, что вновь назначенному секретарю райкома велеть снять портреты Маркса и Ленина, почти Сталина. Насилу его урезонили. Основания для таких репрессий были для нас смешны. Маяковского он хотел им подвергнуть потому, что не терпел его творчества, а Горького потому, что основателем соцреализма считал не его, а себя (как автора «Цемент»). Что ж, у двадцатых годов был свой дурман и свои счета. Он отличался не тем, что они в нем были, а тем, что сохранил их в первоначальной ярости. Он как был членом литературной группы «Кузница», так и остался им.

Придя в институт, он привел их с собой — С.Обрадовича, В.Казина. Про Обрадовича ничего не могу сказать — не читал и не был знаком, — а Василий Васильевич Казин при всей своей скромности был крупным литературным деятелем. Причем в разные периоды советской истории он оставался доброжелательным и порядочным человеком. Вообще среди «кузнецов», может быть, не было особо крупных дарований, но они были порядочны и верны чему-то своему — может быть, мнимому, но для них важному. Что же касается самого Гладкова, то «Цемент», я правду сказать, не читал, но вот его автобиографические повести на меня впечатление произвели, и я бы остерегся говорить о даровании их автора как о малом. Но написаны они были уже потом — когда я давно уже не был студентом, а он директором.

Но то, что он писатель, чувствовалось и тогда. Повел он себя круто не только со священными портретами. Он перевел в пединститут довольно большое количество студентов с формулировкой «ввиду несоответствия творческих способностей уточненному профилю института». Некоторых, как всегда бывает, перевел стгоряча, незаслуженно, но таких быстро восстановил — его можно было убедить. Некоторые не стали восстанавливаться, но стали литераторами. Но в принципе Литинститут действительно стал более творческим. Хотя вовсе не элитарным. Все это произошло до того, как я был принят, в предшествующий учебный год.

Но эту свою линию он вел и при мне. Принимал он только тех, кого считал достойным. Ничьи, даже самые высокопоставленные, звонки не производили никакого впечатления. О том, как безрезультатно приходил к нему несколько раз хлопотать за сына генерал высокого ранга Телегин, я расскажу потом. Впрочем, не только генералы, а и другие любящие родители часто, не слушая ничьих компетентных возражений, идут на любые материальные и моральные издержки, для того, чтобы без всяких оснований определить своих чад в писатели, музыканты, певцы и актеры. Другими словами, в несчастные люди. Я лучше понимаю Юрия Андропова, который был искренне благодарен Юрию Петровичу Любимову за то, что тот не принял кого-то из его детей в актеры.

Но я сейчас говорю о Федоре Васильевиче Гладкове. Я просто хочу сказать, что при всех своих причудливых взглядах, при всей внешней свирепости, доходящей до самодурства, он был не только добрым, но и честным и даже — что уж совсем редко тогда бывало — принципиальным человеком. И писателем. Заговорил я о нем в связи с тем, что он открыл мне дорогу в Литинститут. Но хочу отметить, что тогда я не только был ему благодарен, но он мне и просто понравился.

А дорогу он мне действительно открыл. Мои литературные занятия обрели некоторую необходимую в то мундирное время легитимность. Хотя моя литературная жизнь началась раньше. Да и весь период жизни, о котором идет речь в третьей части моей книги и перед которым я каждый раз сокрушенно останавливаюсь, начался еще до моего зачисления в институт.

И вот я впервые пришел в Литинститут не в качестве гостя своих товарищей, а как законный студент. Я впервые встретился со своими однокурсниками. А было их немного — человек пятнадцать, не больше. Как ни странно, все мои новые товарищи были мне незнакомы — среди них почти не было посетителей московских литобъединений. Разве что Володя Корнилов. И то я сегодня не убежден, что познакомился с ним не в Литинституте. Такое впечатление, что все ребята, кроме меня, Расула Гамзатова и Володи Корнилова (он годами не вышел), были демобилизованными солдатами и офицерами. Демобилизованными в основном по ранению, а не из-за окончания войны. И это неудивительно. Война закончилась только в середине мая, набор шел в последующие два летних месяца, широкая демобилизация еще просто не вошла в силу (тем более что предстояла еще война с Японией) и пока не могла сказаться на составе студентов.

Фронтовиками были Андрей Турков, Костя Левин, Максим Толмачев, Гриша Куренев (тогда Хейфец), Слава Костыря, Толя Злобин, Жора Друцкой, Игорь Кобзев, Максим Джежора (он же Калиновский). С последними двумя я сразу подружился. Потом, в середине года, вернувшись с фронта, на наш курс пришел мой бывший «сослуживец» (кавычки относятся не к нему, а ко мне) Володя Немец — в будущем известный критик Владимир Огнев. Из девушек фронтовичка у нас на курсе была одна Ольга Кожухова. Она была очень красивой девушкой — настолько, что красоту ее не портил даже явный и бросающийся в глаза дефект — укороченный с одной стороны рот.

Были у нас еще девушки. Две из них — с нашей тогдашней точки зрения, пигалицы — Инна Гофф и Рита Агашина, — обе тогда писали стихи (потом Инна перешла на прозу) и сразу подружились, хотя Инна была родом откуда-то с украинского Юга (кажется, из Харькова), а Рита — с русского Севера. И дружба их продолжалась всю жизнь, до самой Инниной смерти. Умерла она в начале девяностых, когда я был в Москве. Я пришел проститься с Инной в Центральный дом литераторов. К сожалению, мне это не очень удалось. Ее долго не привозили, а времени у меня было в обрез — согласно твердой дате обратного билета я в этот день должен был возвращаться в Бостон. Но речь не

обо мне. Мы долго ждали у входа. Рядом со мной стояла Рита, теперь уже совсем не пигалица, немолодая женщина с по-прежнему добрым лицом, в платке, и, всхлипывая, говорила:

— Теперь, после Инны, моей жизни наполовину уже нет. Надеюсь, что это не так. Но дружбу они пронесли через всю жизнь.

Кроме них, с нами еще училась Лариса Левчик, которая потом стала женой Василия Федорова и известна как очеркист и прозаик Лариса Федорова — с ней мы тоже быстро подружились. И еще милая, симпатичная, женственная Нина Долгополова. Училась она хорошо, но неизвестно (мне), что писала. Потом она стала женой Максима Толмачева.

Чуть не забыл упомянуть о еще двух студентах — оба уже были намного старше большинства из нас — Юрии Грачевском и некоем Гурвиче. Как мог этот Гурвич попасть в Литинститут, я и теперь не понимаю. Можно было бы заподозрить самое худшее, но по своему культурному уровню в литинститутские стукачи он не годился. С ним никому бы не пришло в голову не только откровенничать, но и просто разговаривать о чем-либо серьезном — далеко не все «гурвичи» интеллигенты. Прожил он на нашем курсе чуть больше семестра, кое-как сдал экзамены, но камнем преткновения стало для него «Введение в языкознание».

Этот предмет читал у нас А.А.Реформатский, который был блестящим человеком, ученым и лектором, но имел одну слабость, на мой взгляд, вполне простительную, — не выносил дураков. Гурвич безуспешно сдавал ему этот предмет бесчисленное количество раз. Но когда в некий «надцатый» раз, отвечая на очень простой «трепологический» вопрос, вместо «права наций на самоопределение» произнес «право наций на самообразование», терпение Реформатского кончилось. Он не только не принял у Гурвича экзамена, но объявил: «Ставлю вам двойку и впредь экзаменовывать вас больше не буду!» Гурвичу пришлось уйти из института. Но как он туда попал и зачем он ему был нужен при таком развитии — для меня тайна.

Юрий Грачевский был штучкой совсем иной. Уж его-то появление в Литинституте ни у кого удивлений вызвать не могло. Правда, он был старше большинства из нас. Но в писатели вообще не всегда идут прямо после школы, и, кроме того, после войны возраст студентов повсюду был

неопределенным — некоторые и по шесть лет служили. Я знаю, что Грачевский был драматургом, но никогда ничего из написанного им не читал, (только в одной публикации эмигрантского автора нашел его юношеские стихи), но человек он был явно литературный, и это чувствовалось. Но был он и стукачом. Теперь это неопровержимо доказано несколькими людьми, пришедшими к этому выводу независимо друг от друга и даже не всегда друг с другом знакомыми. Среди них и я. Понял я это отнюдь не сразу. В институте я этого не знал и не подозревал, но во время своего следствия заподозрил. В Караганде, где я жил после ссылки, подозрение превратилось в уверенность, которая проверкой, проведенной мной по возвращении в Москву, вполне подтвердилась. И вскоре — не только моим опытом...

Однажды между делом следователь спросил меня:

— Наум, а у тебя есть какое-то стихотворение о женщине.

Я удивился: о женщинах у меня было тогда много стихов (намного больше, чем я теперь печатаю).

— Да нет, — уточнил следователь. — О женщине комиссаре...

Оно было в моих бумагах, но я прочел его. Следователь с удивлением воззрился на меня. Он тоже не знал светской хроники двадцатилетней давности. Кстати, имя Рейснер хоть тогда не рекламировалось, никогда не было внесено в список запрещенных имен. О давней прогулке по Тверскому бульвару я вспомнил только после допроса, по дороге в камеру — тогда я впервые всерьез заподозрил Грачевского в стукачестве. Кроме него, никто (в том числе следователь и я) не знал, что это стихотворение крамольно, и не стал бы на него доносить. Тем более что это имя поминалось только в заглавии, да и то лишь поначалу. Потом оно называлось «Баллада о комиссаре Балтфлота».

Окончательно утвердился я в своих подозрениях во время случайного разговора в Караганде, где я жил после ссылки. Мой тамошний товарищ, бывший журналист, как многие, сосланный туда после отбытия лагерного срока, рассказывая о каком-то лагерном событии, вдруг упомянул среди его участников и Юру Грачевского.

— Так что, — вскричал я, — Юра Грачевский сидел?

— Да. Вместе со мной. А что? — не понял моего волнения собеседник.

— Значит, он стукач, — сказал я и рассказал о своих подозрениях. Дело в том, что жить легально под своим именем в Москве в 1947 году удавалось иногда только людям малозаметным, затаившимся где-то в тени, в невидных местах, и то до того, как стали хватать «повторников». Но жить и учиться в столичном институте, да еще таком заметном, как Литинститут, отбывшему срок — врагу народа — без поддержки «органов» было тогда невозможно. Его изыскания насчет любовницы Радека (а может, и Троцкого) обретают смысл и объяснение.

После амнистии, когда в конце 1954 года я приехал в Москву, я однажды попал на праздничную встречу своих однокурсников (институт они окончили в 1950 году). Ребята были рады мне, я им — все было хорошо и сердечно. Пришел и Грачевский с женой Леной, моей давней знакомой, к которой я всегда относился и отношусь хорошо. Но она — это она, а он — это он. И тут я — каюсь — начал раскидывать свои сети. Он, конечно, не мог знать, что именно мне известно. И, кроме того, по-видимому повторяя ошибку многих, считал меня наивным человеком. Не знаю, откуда это бралось. Конечно, и мне приходилось ошибаться в людях, но не так уж часто. И сел я вовсе не потому, что кому-то неосмотрительно доверился. И уж совсем я не мог быть наивным, когда знал, в чем дело. Но тут я — каюсь — немного играл наивного.

Интерес к потустороннему — застеночному, лагерному, ссылочному — миру был тогда в обществе очень велик, от меня ждали рассказов. И я рассказывал — о себе и о других. В частности о лагере, где я, слава Богу, как все знали, не сидел, но где провели существенную часть жизни все, кто меня окружал в ссылке. Так что рассказов о лагерной жизни я тогда наслушался вдосталь и рассказать о ней мог немало. Но в процессе рассказа я применял маленькую хитрость — невзначай ссылался на Грачевского как на «понимающего человека» — свидетеля и очевидца. Дескать, помнишь, Юра, как на разводе бывает в пять утра? Но делал я это довольно невинно — посторонние не обратили внимания. Да и сам Грачевский не увидел тут подвоха. Ибо потом отвел меня в сторону и попросил:

— Знаешь, Эма, лучше не говори здесь о том, что я был в лагере... Зачем? Ребята не знают, и пусть не знают.

Я кивнул в знак понимания и, не спросив, почему это его так беспокоило, прекратил эту игру. Вопрос для себя я вполне выяснил, а заниматься травлей меня никогда не тянуло.

Просьба эта не оставляла сомнений. Не такое тогда было время, чтобы скрывать свою «отсидку». Реабилитация, правда, еще не началась, но Рубикон был уже перейден — впервые под амнистию попали и политические. Правда, со сроками до пяти лет, но политические. И тут же в лагерях начали работать специальные комиссии по пересмотру дел, и людей выпускали пачками, подгоняя их сроки под амнистируемые пять. В Москве появились — и в заметном количестве — первые амнистированные «политики». Они были в большой чести и моде, вызывали всеобщий интерес и симпатию. И скрывать свою репрессированность — тем более в интеллигентской среде — ни у кого не было никаких резоннов. Скорее стремились выпятить все, отдаленно имеющее отношение к ней. Так что стремление Грачевского скрыть от ребят, что и он «сиделец», говоря языком тогдашних следственных протоколов, «полностью его изобличало».

Через несколько дней после этой встречи мы шли с Борисом Слуцким по Тверской и на пересечении с Тверским бульваром встретили Грачевского. Когда тот распрошался с нами, я сказал Слуцкому:

— Знаешь, Боря, по-моему, этот человек — стукач. Может быть, для суда моих доказательств недостаточно, но я абсолютно уверен, что это так.

После этого я рассказал ему все, описанное выше.

— Это не доказательства, — отмахнулся Слуцкий. Хотя, честно говоря, я не понял (и до сих пор не понимаю) почему. Но еще через несколько дней вернулся из лагеря Марлен Кораллов, прямо посаженный Грачевским, и все гадательное стало явным. Прибыл он с благородной целью публично набить Грачевскому морду. Этой задачи он (что делает ему честь) в жизнь не воплотил, хотя комплекция его это позволяла, но факт стал общеизвестным. Теперь с ним согласился и Слуцкий.

Честно говоря, мне это было обидно. Мои факты говорили сами за себя. Правда, о том, что Грачевский сидел, Слуцкому, как человеку другого возраста, было известно и без меня. Но ведь это не объясняло, почему тот стремился

это скрыть от тех, кто этого не знал. И того, что он имел возможность жить в Москве в 1947 году и учиться в Литинституте. Не говоря уже об истории с Ларисой Рейснер. Отмахиваться от всего этого было не больше оснований, чем от свидетельств Кораллова. Впрочем, его он прямо посадил, а меня? Конечно, не исключено, что его донос на стихотворение о Рейснер оказался топором, из которого, как в сказке, начали варить кашу, а потом выбросили за ненадобностью. Но этого я не знаю и никогда не узнаю. В моем деле прямого участия Грачевского не ощущалось — стихотворение это мне никогда не инкриминировалось. Но дело ведь не во мне, а в нем.

Как я уже говорил, в эмиграции я получил еще одно подтверждение стукачества Грачевского. В журнале, тогда еще израильском, «Время и мы» был напечатан психологический очерк эмигрировавшего в Израиль физика Кагана, человека, кстати, очень разумного, образованного и достоверного. Из этого очерка я узнал, что Грачевский посадил и Кагана. Но и без этих подтверждений все было ясно.

Чем же объяснить это неоправданное недоверие ко мне? Легкомысленным представлением о якобы моей наивной горячности? Но ведь я ее в таких делах никогда не проявлял. Никакой безответственной болтовней по этой части себя не скомпрометировал. Мне всегда было близко утверждение бывшего зэка, переводчика с французского Михаила Кудинова, что обвинение в стукачестве слишком серьезно, чтобы им легкомысленно разбрасываться, ибо сказать о нестукаче, что он стукач, все равно что самому сделаться «стукачом». Именно поэтому в этих мемуарах это единственное разоблачение такого рода. Так было и в жизни.

Впрочем, однажды я еще раз сказал такое о человеке. Причем даже о незнакомом и с чужих слов — кстати, в том же 1955 году. Это был Сергей Хмельницкий. Но это другой случай. Я просто сразу поверил рассказавшему мне это Валентину Берестову, которого самого таскали на допрос по делу студентов истфака МГУ, где он учился. А о нем я знал, что он человек не только порядочный, не любящий говорить о людях гадости, но и что чужд всякой революционной романтики и страсти разоблачать злодеев. И что поэтому раз он такое про кого-то говорит, значит, он это знает, и это правда. Как известно, справедливость его слов «блес-

тяще» подтвердилась на процессе Синявского—Даниэля. Больше я ни о ком такого не говорил и не писал.

Не знаю, что толкнуло Грачевского на эту стезю, у стукачей в те страшные времена бывали свои трагедии, но все равно это «бережение на чужой крови» (А.Солженицын) — выход подлый. Ведь у него это было не мгновенное малодушие, а многолетняя хладнокровная деятельность. Кстати, в моем случае он не доносил даже, а просто клеветал. Он прекрасно знал и понимал, что стихи мои не о жене Раскольникова и не о любовнице Радека (или Троцкого), а просто о революционной амазонке из моей детской романтической мечты.

Не знаю, мог ли бы я противостоять гэбистскому давлению, бессовестному и беспредельному — от малодушия в подобных обстоятельствах никто гарантирован не был, — особенно при таком парализующем всякое противостояние мировоззрении, какое было тогда у меня. Но знаю, что долго безболезненно вести жизнь подлеца я бы не мог — это бы меня раздавило. Тем более сохраняя при этом монументальную солидность. В Грачевском меня именно это больше всего и поражало — что он вполне это мог. Даже в разговоре со мной, когда он просил меня молчать о том, что сидел в лагере — неужели он думал, что я не понимаю, почему это может тревожить? — сквозила эта солидность, это сознание, если не своей правоты, то права на все, что ему удобно и помогает сохранять эту солидность. И греховности, некрасоты, незаконности всего, что на это посягает. И с этих недоступных мне высот он не только ненавидел, но и чуть ли не презирал Марлена Кораллова за это разоблачение. Это качество, это несокрушимое самоуважение я часто встречал у людей поведения не очень достойного. И самое странное, что они в этом были искренни.

Но это отступление. Когда повествование дойдет до ареста, будет не до Грачевского. Вот я и отвлекся для этой истории. Отвлекся от рассказа о своем курсе, о его составе. Тут я могу быть и неточным. Кто-то (например, В.Огнев) появился среди нас потом, кто-то ушел. А кого-то я, возможно, за давностью лет перевел на наш курс (или с нашего курса на другой) самовольно. Это вполне возможно, ибо вообще в нашей alma mater мы не жили курсами — жили всем институтом, благо был он невелик. Его семина-

рами, его кулуарами, его открывшимся через несколько дней или недель в подвале знаменитым (то есть описанным неоднократно) общежитием. А ведь я еще вдобавок почти со всеми старшекурсниками был знаком, а с некоторыми и дружен задолго до зачисления в студенты.

Описывать институтские и даже общежитские будни я не берусь — больно их много было, да и тянет вспоминать только забавное. Например, у нас в общежитии «под руководством» рязанского поэта Анатолия Левушкина работала ерническая кафедра матерщины и порнографии, где в звании «ученого магистра» состоял и я — что это значит, никто из нас не знал, но звучало. Остальные состояли в ней без званий. Но тоже некоторое время активно работали — изгалялись перед сном. Но потом это всем надоело.

Или вот такой смешной эпизод. Я лежу в своей постели, о чем-то думаю. Вполуха и вполне безучастно слышу, как Александр Лацис, тоже перед окончанием института год живший в общежитии, стоя, рассказывает товарищам о пользе какого-то препарата, приготовленного из телячьих мозгов, для укрепления нервной системы и улучшения умственной деятельности. Я это слышу, но пропускаю мимо ушей. Но когда Саша быстро проглатывает таблетку этого препарата и запивает ее водой, реагирую именно на это — на прием лекарства. И спрашиваю очень дружески и участливо, без всякой задней мысли или намерения сострить:

— Ну как, Саша? Помогло?

Он сначала в недоумении смотрит на меня выпученными глазами, а потом, наткнувшись на мой сочувствующий взгляд, вдруг начинает дико хохотать. И только тут до меня доходит смысл ситуации и моих собственных слов.

Я жил в этом общежитии два с половиной года — с момента его открытия до ночи моего ареста. Если читатель ждет изложения каких-либо идеологических баталий, то он разочаруется. Их не было. Ведь в те времена я отнюдь не ощущал себя чуждым господствующей идеологии. Только пытался найти в муляже, в который она выродилась, живой смысл, а в этом все нуждались. Больше спорили мы о поэзии, но отнюдь не обязательно в общежитии — чаще на подоконнике в холле бельэтажа. Конечно, за три года население общежития менялось, окончившие курс уходили, приходили новые. Отношения у общежитцев с москвичами были свойскими. Что имело и отрицательные следствия.

Однажды, заболев, я лежал в своей кровати, а все опоздавшие громко хлопая дверью, заявлялись в общежитие, входили в комнату, что-то спрашивали, а потом так же хлопали дверью, уходя. Все это каждый раз больно сотрясало все мое существо. Но что я мог делать? В довершение ввалилась ватага студентов, расселась на близлежащих кроватях, и один из них стал громко и с выражением читать товарищам свой рассказ, а затем все начали интересно и страстно его обсуждать. Каждое слово ударом молота отдавалось у меня в голове. Но никакие увещевания не помогали, все чувствовали себя, как дома. Пришлось срочно выздороветь — переносить болезнь на ногах. И болезнь не вынесла такого невнимания к себе — потерпела, плюнула и ушла.

В общежитии происходили всякого рода забавные и незабавные случаи, связанные с борьбой за дисциплину и посещаемость лекций. Нарушителей дисциплины проще всего было отлавливать в общежитии — они были всегда под рукой. Их там и находили.

Секретарем партбюро был у нас начальник военной кафедры, полковник Львов-Иванов (Сашуня Парфенов, видимо, был его замом). Был он монументален, но не очень образован. Это иногда давало комический эффект. Потом, уже в ссылке, я где-то прочел, что он легендарный герой Гражданской войны в Сибири, чуть ли не командир знаменитого партизанского полка «Красных орлов». Партизанская война в Сибири — дело не только страшное, но и сложное, и останется за пределами этой книги.

Сам Львов-Иванов о своих заслугах особо не распространялся — возможно, из осторожности (всегда от этого могла потянуться ниточка и затянуть), возможно, из скромности, возможно, по обеим причинам. У меня есть основания думать, что человеком он был неплохим. Но в качестве духовного руководителя такого учреждения (а считалось, что партбюро отвечает за идейность кадров) нелеп. Тем более в такое бурное время, когда партия властно вторглась в эстетику и творчество. Он и сам это понимал.

— Василь Семеныч! — просил он нашего умного, доброго и ироничного директора В.С.Сидорина, от которого, собственно, я и узнал об этом разговоре. — Василь Семеныч! Ты б хоть рассказал мне что-нибудь об этом прокля-

том Декадансе. Ну хоть, когда он родился и когда помер... А то неудобно получается... Все говорят: «Декаданс-Декаданс», а я, секретарь партбюро, и не знаю...

Думал ли он, махая шашкой впереди своих красных орлов, что на старости лет ему предстоит еще вести борьбу и с каким-то недобитым Декадансом? Умела Система превращать живых людей в бессмысленных попок!

Так вот — этот Львов-Иванов однажды после начала занятий заглянул к нам в общежитие и обнаружил меня в постели. В женском общежитии кто-то тоже манкировал занятиями. Вот что произошло в реальности. А вот как это, на радость коллективу, выглядело в его изложении на собрании:

— Товарищи! Что ж это творится у нас с дисциплиной? Давно прозвенел звонок, все должны быть на занятиях... А на деле? Захожу в мужское общежитие — там Мандель без штанов! Захожу в женское общежитие — та же картина!

Гомерический хохот, сопровождавший эти слова, оратор расценил как реакцию здорового коллектива на поведение незадачливых нарушителей дисциплины. И смеялся вместе со всеми. Об всем этом мне рассказали, давась от хохота, ребята тут же в перерыве ввалившиеся в общежитие. Собрание было закрытым, партийно-комсомольским, и я не имел права на нем присутствовать, поскольку опять был вне рядов. Не по идейным причинам. Просто, когда у меня по приезде в Москву украли все документы, был украден и мой комсомольский билет — раньше, чем я успел встать на учет. Вот я и повис. Правда, и репутация моя, несмотря на мой оголтелый сталинизм (отчасти и благодаря ему), была такова, что не ускоряла решения о моем членстве. Приняли меня заново только в конце второго или уже на третьем курсе, и опять невпопад — за несколько месяцев до ареста.

Еще какие-то забавные штришки. До определенного момента орденосцы получали деньги за ордена и имели право на одну бесплатную поездку по железной дороге в год. Правило это было введено до войны, когда орденосцев было сравнительно мало, и надо было их выделить. Во время войны количество орденосцев быстро увеличивалось, но пока они сидели в окопах, а в тылу были только раненые, которых было сравнительно мало, это никого не беспокоило. Да

и глупо было бы обесценивать ордена в тылу воюющей армии. После войны начали демобилизовываться, и количество получающих эти льготы сильно возросло. Это ложилось бременем на казну, не рассчитанную на то, чтобы платить долги своим подданным. А поскольку война кончилась, с фронтовиками можно было уже не церемониться. Вот и вышел указ, отменяющий все материальные льготы для орденосцев. Причем делался вид, что указ издан, как тогда говорилось, «идя навстречу пожеланиям трудящихся» в ответ на многочисленные просьбы самих орденосцев.

— В нашем общежитии, где основной контингент населения были фронтовики-орденосцы, для которых по их студенческому положению эти деньги, а особенно билеты были существенным подспорьем, указ этот был принят, прямо скажем, без восторга. Особенно раздражала ссылка на желание самих орденосцев. Помню, как в разгар разговора на эту тему — ораторствовал в тот момент Гриша Поженян — в комнате появился Максим Толмачев, которого Поженян звал почему-то Мосей и считал прижимистым. Максим, как и еще несколько наших ребят, родом из деревни или райцентра, получал из дому продовольственные посылки. Посылки эти были не ахти какие — состояли в основном из сушеной картошки, но и она казалась роскошью, ее готовили в котелках, она распространяла невероятный аромат. Особенно когда после неурожая 1946 года отменили все дополнительные продталоны и когда продовольственное положение в тех московских домах, где нас подкармливали, тоже соответственно ухудшилось. Настроение у нас было смутное. Помню, как мы сидели — я, Поженян и Бахнов, — думали, как жить, куда ни кинь, все выходил клин, но мы сами для себя выдвинули лозунг: «Не загибаться!» В это время из кухни — где-то у нас там еще была маленькая кухонька, но я этого так не узнал за ненадобностью — с котелком вернулся Толмачев, послушал наши разговоры и дружески подбодрил:

— Ни хрена, ребята! Переживем....

Поженяна это взорвало:

— Ишь ты, Мосей! Переживем! Сидит, уминает котелок картошки и — «переживем!» Так каждый переживает.

Никакого антагонизма, никакой зависти по поводу котелков у нас не было. И в данном случае это больше было подтрунивание. Максим ухмылялся в котелок.

И уж совсем подтруниванием с использованием Поженином же созданного образа была и филиппика по поводу указа об орденносцах.

— А, Мося, — набросился на вошедшего Толмачева Гриша, — чего тебя не было так долго? Понимаю — ты, гад, бегал в Кремль просить, чтоб орденские деньги отменили? Зачем?

Толмачев опять ухмылялся. Уж кто-кто, а он бы бегать в Кремль без крайней нужды не стал. И отнюдь не из-за прижимистости. Насчет того, чем был тогда Кремль, он отдавал себе отчет лучше большинства из нас.

Так получилось, что по-настоящему мы с ним разговорились только незадолго до моего ареста. Он очень глубоко переживал то, что сделала революция с Россией. Но главное, за что я ему благодарен, не это. Этого я все равно тогда еще понять не мог. Он открыл мне Тютчева и некоторых других поэтов XIX века. Он уже тогда хорошо знал и глубоко чувствовал эту поэзию. Ведь до этого я жил только в советской поэзии и в том, что ей предшествовало, — в поэзии XX века, за ее пределами по-настоящему ощущал только Пушкина, а до этого — Лермонтова. И то, что он заразил меня любовью к Тютчеву, было очень важно. Особенно перед арестом. Не скажу, что сразу избавился от своей «идейности» (точнее, псевдоидейности), но все же стал восприимчивей и шире. Видел я его после ссылки, он работал в какой-то редакции, мне рассказывал о Твардовском. Но потом я его из виду потерял. Жаль.

Забавного о нашей общежитской жизни можно рассказать много, но книга моя о другом. Как уже говорилось, не только общежитием мы жили, все наши интересы были вне его. Да и самые близкие мои друзья по институту — Максим (Калиновский) и Игорь Кобзев — в общежитии никогда не жили. И так почти у всех. Моя жизнь и жизнь многих из нас была отнюдь не только литинститутской, тем более — общежитской. Но, конечно, и такой тоже...

Не следует, конечно, забывать и о том, что, кроме всего прочего, Литинститут был еще и просто высшим учебным заведением, и в нем надо было учиться. Учились же мы, прямо скажем, по-разному. Одни очень хорошо, а другие, вроде нас с Максимом, рассматривали учебу как неприятное дополнение к возможности заниматься творчеством. А

зря — там можно было получить солидное образование. Хотя академически мы учились по программе не университета (у нас не было классических языков), а пединститута (разумеется, без сугубо педагогических предметов), но состав преподавателей у нас был так блистателен, что это компенсировало все. Только лови момент — набирайся ума и знаний. Но юность нам советует лукаво... Впрочем, кое-что перепадало и мне, и доходило до меня как раз то, что было мне необходимо.

Началось это почти сразу. Был наш институт институтом Союза писателей, но относился он еще и к Главному управлению учебными заведениями (ГУУЗу) искусства в Министерстве высшего образования. Возглавлял этот ГУУЗ профессор Михаил Степанович Григорьев, читавший у нас предмет со странным для меня тогда названием «Введение в литературоведение». Я по тогдашней, неведомой еще мне темноте не понимал, зачем это нужно — само литературоведение и тем более введение в него. Есть литература, и этого достаточно. Впрочем, активного неприятия у меня при этом не было, было даже любопытно, какую лекцию прочтет такой важный начальник.

Но все полетело, как только Михаил Степанович появился и произнес первую свою фразу. Любопытство (о том, что он начальник, мы сразу забыли) тут же сменилось захватывающим интересом, а умствования о литературоведении — свободной и напряженной работой мысли. До сих пор помню, как к аудитории вошел немолодой уже (но и не старый еще) спокойный, сдержанный человек, поздоровался, представился и, медленно расхаживая, стал излагать свои мысли. И первое, что мы от него услышали, было: «Функция искусства коммуникативная». Это было уже мыслью, предполагало в нас мысль, вводило в круг мыслей и мысль будило.

Фраза меня поразила сразу — своей глубиной, лапидарностью и точностью. Вроде я и сам думал об этом — о том, какая функция у искусства, другими словами, зачем оно. А следовательно, о том, чем оно является, что к нему относится, а что нет.

И не по степени умения (это проблема ученическая), а по степени обобщения — обобщенного чувствования и восприятия. Я понимал, что ни пропагандистской задачей, даже

при условии искреннего согласия с ней, ни самим по себе неприятием советской фантазмагории не может исчерпываться суть, цель и просто содержание произведения. И даже воплощение самих по себе военных и любовных переживаний. Я знал, что за этим должно стоять еще нечто, некое причастие к вечности. Распространенное и сегодня представление, что оно достигается просто обращением к так называемым вечным темам, мне всегда казалось глупостью. Как мне уже здесь не раз приходилось напоминать, к «вечному» мы можем выйти только преодолевая «временное», а не минуя его.

Да, я об этом думал, но как-то кустарно, в какой-то доморощенной форме, шел на ощупь. А тут я услышал это в обобщенной форме. За одной фразой вставал гигантский круг мыслей. Оказывалось, об этом и до меня, и не только в связи с нашей сложной исторической ситуацией, размышляли серьезные люди.

И поскольку для многих этот круг вопросов как бы не существовал (заслонялся «профессиональными» или «идеологическими»), то эта фраза имела для меня особое значение. Она означала, что я не мучился дурью и беспокоился не зря. Потом профессор говорил об идеале, о проблеме, которая стоит перед автором и которую он рассматривает в связи с этим идеалом, и о прочих сущностных для литературы понятиях. Все это я впитывал, как губка. Я еще не знал, что все это называется «Эстетика», но был потрясен — я впервые столкнулся с культурой мысли. Почему предмет «эстетика» надо было называть «Введение в литературоведение», я никогда понять не мог.

Так что все началось с первой же фразы. Дело не в том, точна ли эта очень емкая формула. Она — часть общего представления о предмете, предмет нащупывающая. В эстетике вообще ведь **дело** не в формулах, а в круге мыслей и представлений. Впрочем, и формула не такая уж простая.

Конечно, кто-то может возразить, что функция искусства не исчерпывается коммуникативностью. Мол, средствами коммуникации называются чаще печать, радио и телевидение — и даже не только тогда, когда имеют дело с произведениями искусства. Так в том ли специфика искусства? Это недоразумение и путаница.

Коммуникативность произведения искусства в том, что разные люди, даже разные эпохи — через воплощенную в нем, как живое эмоциональное проявление, коллизию опыта во взаимоотношении с идеалом и мерой вещей — ощущают общность своей жизненной драмы и присущих человечеству духовных ценностей. А в этом общность людей, народов, эпох, человечества — культура. Произведение искусства превращает индивидуальное духовно-эмоциональное постижение и достижение одного в индивидуальное же духовно-эмоциональное постижение и достижение многих современников, а иногда и потомков.

Конечно, все это — формулировки более позднего времени, но после лекций Михаила Степановича Григорьева доморощенность моих мыслей об искусстве кончилась. Мысль обрела опору. Михаил Степанович читал у нас только один семестр, только «Введение», был всегда занят, но был внимателен и даже любезен, и вряд ли он меня запомнил, хотя мы с Максимом однажды подходили к нему, пытаясь завязать беседу. Но я, которому сейчас наверняка больше лет, чем было ему в 1945-м, до сих пор вспоминаю его с благодарностью. Через таких людей к нам перетекала культура.

Не думаю, чтобы другие наши профессора были менее значительны, чем он, но он рывком поднял мою мысль на более высокую ступень, а просто расширение и углубление знаний меня еще не интересовало. А жаль!

Преподавали у нас замечательные люди — А.А.Реформатский (языковедение), С.И.Радциг (античность), С.К.Шамбинаго (фольклор, древнерусская литература и XVIII век), Галицкий (зарубежная литература) — за ними каждое слово записывать надо было, а я, дурак, на их лекциях писал стихи.

По самонадеянности, приправленной революционностью (тогда уже архаической — что ж, тем более!), приобщение к вековой культуре человечества меня тогда не очень заботило. Эпоха, в которую я жил, казалась мне настолько напряженной, наполненной и интересной, что не до античности было. Это при том, что сами по себе эти профессора внушали мне величайшее уважение и почтение. Все же в чем-то я тогда и инфантилен еще был, наверное — с психологией школьника никак не мог расстаться.

Но учиться все же иногда приходилось. И кое-что я слышал — когда на лекциях отвлекался от своих стихов. Хотя античность и Средние века — литературу и историю — я мог бы знать и лучше, чем знаю. Да и древнерусскую литературу тоже.

Сергею Константиновичу Шамбинаго было уже лет под восемьдесят. Курсы свои он помнил наизусть и читал их ровным монотонным голосом, закрыв глаза и не очень обращая внимание на слушателей и на то, чем они заняты. А они — и не в последнюю очередь я — были заняты многим, не относящимся к делу. Накатанность лекций и монотонность изложения отнюдь не снижала их ценности. Они были изложены точным и ярким языком, были глубоки и содержательны. Временами, оторвавшись от «дела», я заинтересовывался тем, что он говорил, но «мое» влекло меня сильнее, и я опять отвлекался от слушания. Отнюдь не по вине престарелого, но блестящего профессора. Все же его возраст сказывался. Лекции он помнил хорошо, но в повседневности уже кое-что и забывал.

Помню такой случай. Мы тогда уже были на третьем курсе. На стене в холле у нашей аудитории висело расписание. Обычно перед лекциями Сергей Константинович заглядывал в него, чтобы узнать, что и где ему сейчас надо читать — ему самому это было более или менее безразлично. Так было и на этот раз. Но вышел конфуз. Кто-то в учебной части случайно ошибся, и в расписании, в клеточке, относящейся к нам, вместо «литературы XVIII века» стояло «древнерусская литература», курс которой мы прослушали в прошлом году. И Сергей Константинович, войдя в аудиторию и усевшись за стол, начал читать нам вступительную лекцию к этому прошлогоднему курсу — ту же лекцию и теми же словами. Все наши попытки объяснить эту ошибку на него не действовали, он отвечал, что читает, как в расписании. В конце концов он рассердился на нас и разоблачительно объявив: «Я знаю, почему вы не хотите слушать — вы уже сдали!» (что было чистой правдой. — Н.К.), — ушел. Мы много смеялись.

А сейчас мне не до смеха. И вовсе не потому, что над старостью вообще смеяться грешно. Хотя, конечно, такие штрихи нас забавляли, но ни над ним, ни над его старостью смеяться мы не были расположены — ни явно, ни в

душе. Относились к нему с почтением и сочувствием. Неприятно мне другое — что для нас было естественно положение, при котором, не получая пенсий — пенсиями реальными тогда-то ведь и не пахло, — люди в столь глубокой старости должны обязательно зарабатывать себе на хлеб. А работал он много — и у нас, и в ГИТИСе, и в других местах. Я не думаю, что он бросил бы преподавание и при пенсии, но не было бы такой зависимости от работы и меньше ее было бы. Слава Богу, он был столь заслуженный ученый, что был окружен культурными людьми, которые его ценили, и этим хоть отчасти была защищена его старость.

Но это было на третьем курсе. На первом же он читал фольклор. Установка же его по поводу наших взаимоотношений с фольклором (а судя по всему, и с другими его предметами) была проста: «Женщины знать фольклор неспособны, а мужчины не хотят». На этом основании никаких других отметок, кроме четверок и пятерок, он никому не ставил. Однажды после того, как на его экзамене бывший тогда у нас заместителем по учебной части Журко вытащил у Расула Гамзатова из стола тьму чужих конспектов, и тот, разъяренный, ушел, С.К. встретив нас с Сашуней (Александром Парфеновым, бывшим у нас секретарем партбюро и моим другом — о нем позже) в столовой клуба писателей, к которой были прикреплены наши студенты, и между делом во время разговора вдруг вспомнил:

— Да... Тут на меня этот... татарин... обиделся... Но я ведь не виноват... Что теперь делать?

— А вы назначьте день, С.К., — сказал Сашуня, — он придет к вам...

— Что, экзамен сдавать?

Сашуня кивнул.

— Не надо, — завертел головой профессор. — Вы лучше мне его зачетную книжку принесите, и дело с концом.

Между тем старик вовсе не был циником. Мне кажется, что такое его отношение к отметкам было следствием его застарелого общего отрицания советской современности. Профанацией было все, так стоило ли расстраивать людей плохими отметками? Тем более он всем предлагал полноценные знания: хотите — берите. О его отрицании всего советского тоже все почему-то знали, да он и не скрывал.

Сходило за стариковское чудачество. Был он человеком старо-московским, арбатским. Почему-то несколько раз мы его провожали до Никитских, он рассказывал, что когда-то у него на Арбате был свой, как бы персональный извозчик, который всегда ко времени подавал ему пролетку к дому — ехать в университет. И к университету — ехать домой. Жизнь была налаженной.

Все же коррозия нашего времени боком задела и его. В честь его юбилея (это было еще «до меня») ему выхлопотали орден «Знак Почета» за выдающиеся заслуги в научной и научно-педагогической деятельности, и это признание со стороны напрочь им отрицаемой власти его необыкновенно обрадовало. Настолько, что года через два он в той же столовой опять подсел к нам с Сашуней и сообщил моему другу, что приближается шестидесятилетие его научной деятельности. Нельзя ли отметить? Сашуня слегка поперхнулся. Но сказал:

— Хорошо-хорошо... Я поговорю с Василием Семеновичем, мы выделим средства...

Но старика такой оборот дела не устраивал.

— Это вы насчет чего? Насчет этого? — и он изобразил пальцами некую эмблему выпивки. — Не надо!.. Мне — во!

И показал на лацкан пиджака — старик был, оказывается, не против получить еще один орден. От той же власти. Безусловно, он заслуживал и второго — если творческую работу оценивать орденами. Но от кого? Могу ответить — от власти, овладевшей ходом вещей. И это очень убедительно — даже если овладев, направляет его в пропасть. Кстати, отношения к власти Сергей Константинович из-за ордена вообще не изменил.

Однажды после обеда я шел к выходу (тогда он был только на Поварскую) и, проходя через зал (где теперь столовая), вдруг услышал:

— Голубок, можно вас на минуту?

У стены возле лестницы, ведущей на второй этаж, на стуле, опершись на палку, отдыхал Сергей Константинович. Голубок — это было его обычное обращение к студенту. Однажды на экзамене, когда я нес абсолютную ахинею, он, сидевший как бы в некоей полудреме, вдруг очнулся, сперва поднял на меня глаза, потом замахал руками и в отчаянии воззвал:

— Голубок!.. Что вы говорите!

Четверку, однако, поставил. Но не думаю, чтобы он меня запомнил — он нас не очень различал. Вот и сейчас:

— Присядьте, голубок.

Я уселся рядом с ним.

— Голубок, где я вам читаю — в ГИТИСе? — осведомился он.

— Нет, в Литературном.

— Ага. А кто у вас читает XIX век?

— Александр Леонидович Слонимский — первую треть.

— И как, хорошо?

— По-моему, хорошо.

— А я не читаю, — сообщил он, — я только до XVIII, а дальше — там, знаете, надо всякие слова говорить... А я их не знаю... Еще не те скажешь... И меня, старика, на старости лет еще — извините за выражение — в тюрьму посадят.

Надо сказать, что А.Л.Слонимский никаких таких «слов» не говорил — впрочем, в отношении первой трети века они почти и не требовались, ибо классики марксизма не осчастливили этот период русской литературы своим вниманием. Но старик не дифференцировал. Впрочем, он вполне точно объяснил, что имеет в виду:

— Вот, например, извольте видеть, при императоре Николае Павловиче — которого Лев Николаевич Толстой сперва назвал Пал-ки-ным, а потом в письме к государю-цесаревичу (тут речь его стала особенно отчетлива) от этого названия от-ка-зал-ся, — говорят, был застой. А при нем, извольте видеть, состоялись Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Григорович, начался Достоевской, Толстой и вообще вся русская литература. А теперь расцвет, и ничего нет. Только Алешка Толстой...

Надо сказать, что «Алешка Толстой» был навязчивой ненавистью С.К., эмблемой всего, что он терпеть не мог, его он поминал и во время лекций, и в частных разговорах. Причем дело было не в произведениях А.Н.Толстого («Я их не читал и читать не стану»), а в самой личности писателя.

В процессе этого разговора выяснилась первопричина этой ненависти, она была в непростительном хамстве колоритного прозаика.

— Однажды я читал во Всероссийском театральном обществе (профессор произносил по-старомосковски: «обще-

стви») лекцию об Островском. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется Алешка Толстой, пьяный, извольте видеть, подсаживается к сидевшей в первом ряду актрисе Малого театра Яблочкиной — есть такая — и говорит: «Этого старика нужно головой в нужник и спустить воду»... Ну что это за разговор!

Последняя фраза этого монолога может прозвучать и комично. Но ничего комичного в ней нет — просто растерянность перед хамством непривычного к нему человека. Раньше в интеллигентном обществе так себя не вели — ни либералы, ни консерваторы. Надо сказать, что хамство это ничем не спровоцировано. Профессор Шамбинаго никогда не читал лекций, могущих вызвать такую реакцию, да и не слушал ведь «Алешка» никакой лекции. Просто с пьяных глаз порядок раздражил, да и общее внимание не к нему, а к какому-то солидному профессору — в общем, матросскими комплексами заразился этот сомнительный представитель российской аристократии. До революции он бы все же сдержался, а тут, хотя вроде ощущал себя и объявлял хранителем именно русского, российского, традиционного начала, воспользовался общим падением нравов и разгулялся... Дух века вон куда зашел!

Александр Александрович Реформатский был полной противоположностью профессора Шамбинаго. Свой предмет легким он тоже никак не считал, но к снисходительности это его отнюдь не располагало. Нет, он вовсе не был жесток или мизантропичен. Наоборот, всегда был расположен к шутке, улыбке, к общению. Но у него был один пункт, о котором уже шла речь: он не терпел дураков и невежд. Историю о том, как он изгнал некоего Гурвича, я уже рассказывал. Но это был крайний случай. Да ведь и глупость была проявлена крайняя. Обычно его нелюбовь к дуракам проявлялась в более умеренных формах.

По курсу «Введение в языкознание» учебника у нас не было. А может быть, были написанные учениками Н.Я. Марра, которые тогда еще, до того как Сталин их раскассировал, царили и которых Александр Александрович на дух не выносил. Написанный им учебник еще не был издан и раздавался нам в виде литографического оттиска, скромно называвшегося «конспект». Так вот, этим «конспектом» — единственным нашим учебным пособием он разрешал от-

крыто пользоваться на экзамене. То есть можно было прийти, взять билет, открыть «конспект», переписать ответы на все вопросы билета и... получить любую отметку — от двойки до пятерки. Ибо просто декламировать ответ он никому не давал, а начинал «испытывать на понимание». «А если так?», «А вот если так?»...

Он с удовольствием рассказывал историю, приключившуюся с ним на экзамене года два назад, когда в Москве еще действовало военное положение. Экзамен затянулся до позднего вечера, все уже разошлись, оставалась только одна студентка, которая судорожно готовилась к ответу. Между тем неумолимо подходил комендантский час, надо было срочно отправляться домой, иначе было не успеть. Тогда Александр Александрович сказал девушке:

— Нам пора расходиться по домам. Возьмите с собой билет и приходите завтра.

Назавтра девушка по этому же билету получила двойку.

— Так что, — добавлял он, — если вы ничего знать не будете, вам ничто не поможет. А конспектами пользуйтесь. Мне все равно. Но учтите: администрация этого моего отношения не разделяет. Так что, если вас за этим застучает учебная часть, на меня не ссылайтесь — я буду изображать благородное негодование...

Я не помню и не знаю случая, когда бы ему пришлось это делать. И к экзаменам мы готовились серьезно — не хотелось выглядеть перед ним дураками. Но аристократическая эта практика в наше плебейское время давала иногда сбои. Более или менее образованный и сообразительный человек, иногда и не имея представления о предмете, мог у него заработать четверку — вообще-то у него легко не достававшуюся. Так у него на моих глазах заработал четверку талантливый прозаик Дмитрий Поляновский, к сожалению, рано умерший.

Мой родной город Киев он называл фабрикой порчи русского языка. К Одессе он так не относился — ценил ее особый колорит. Это его пристрастие к Киеву, отчасти заслуженное, отразилось однажды на мне весьма забавно. Как-то он решил проверить нашу грамотность и дал нам всем диктант — признаться, довольно трудный. На пятерку его не написал никто, двое — на четверку и столько же — на

тройку. Остальные оказались двоечниками. Среди написавших на тройку был и я. Отметил он это так:

— Как ни странно, Мандель оказался грамотен.

Я опешил. Но оказалось, что странность была в том, что я оказался грамотен, будучи родом из Киева, — этой пресловутой фабрики порчи языка. Тут Александр Александрович был не очень логичен. Тогдашние киевские языковые аномалии, для чуткого языкового вкуса и впрямь неприятные, касались больше фразеологии и фонетики, а правописание в школе нас учили не менее строго, чем в Москве.

Ко мне он при этом относился очень дружелюбно, но экзамены принимал по всей строгости. За «Введение» поставил мне четверку, но похвалил. За фонетику поставил тройку.

Хорошую тройку ближе к четверке, но все же тройку... «Фонетика — не твое дело — тут надо задницей брать. Вот в следующем году будет грамматика — тогда покажешь себя.»

И как в воду глядел. Впрочем, и этой злополучной тройки, по поводу которой я вовсе не переживал, потом в ведомостях не оказалось. Как я на этом ни настаивал, обнаружить ее не удалось — там стояла четверка. И она же поэтому значится в дипломном вкладыше. Бог его знает — может, профессор потом передумал — возможно, решил, что такая точность оценки знаний в наше время может обернуться несправедливостью? Не знаю. В моем случае это ни на что не влияло — ни на мою судьбу, ни на мое отношение к Александру Александровичу, ни на светлую память о нем.

Отношения в институте вообще редко бывали формальными, а А.А. это и вовсе было противопоказано. Однажды он меня встретил на лестничной площадке верхнего этажа (особняк состоит из подвала, бельэтажа и этого верхнего — то ли второго, то ли третьего — этажа), у двери комнаты, которую с семьей занимал наш директор В. С. Сидорин, у которого он был в гостях. Был он в среднем подпитии, но весел и сердечен.

— Эмка! — вскричал он вместо приветствия, завидя меня. — Тебя надо тяжелым предметом, и по кумполу!

— За что, Александр Александрович? — взмолился я в тон ему — Не надо меня предметом, я хороший!

— А чтоб учился, так твою мать! — несколько нецензурно, но, как я теперь понимаю, совершенно справедливо

выразился он. Потом он стал нам (рядом со мной стоял Миша Годенко) жаловаться на постигшее его горе.

— Ребята!.. Миша!. Эма... У меня ведь сын в химики пошел!.. Я так на него рассчитывал!.. Думал, работать будем вместе, охотиться, умненько так разговаривать... А он — в химики пошел!

Конечно, Александр Александрович и в среднем подпитии понимал, что «уход» сына в химики не может помещать им дружить, охотиться и «умненько так разговаривать». Но ему сейчас нравилось огорчаться, да и некоторая досада по этому поводу у него, вероятно, действительно была... Но не представляю, чтобы он вздумал ее выражать студентам другого учебного заведения, где преподавал. Да и нигде они и не жили в учебном корпусе, да еще в таком небольшом и уютном.

Чем бы это ни объяснялось, какие бы цели ни ставило начальство, создавая его, уникальным местом во Вселенной был тогда наш институт. Уникальным, но не отъединенным. Ни от Вселенной, ни от сталинской действительности. Впрочем, от Вселенной больше, чем от сталинской действительности, ибо был он неотъемлемой частью последней, а она стремилась отгородиться от всего на свете, от прошлого (пока не стала его подменять) и от окружающего. Он был ее частью, и развернувшаяся уже после моего ареста грязная антикосмополитская кампания, свидетелем которой я, слава Богу, уже не был, но в которой оскоромился и наш институт, показала это.

Но те профессора, которые там тогда преподавали, ни от остального культурного мира, ни от собственной культуры, ни от здравого смысла, ни от традиций простой порядочности отъединены не были и не стремились быть. А значит, все-таки тянули и передавали эстафету. В академической области это тоже скоро оказалось трудно — «партия» занялась и ею. Но кто это знал наперед? И все равно нас, как людей пишущих, больше всего занимала современность.

Она, как мне тогда казалось (теперь я давно знаю, что культура — единое целое), имела более непосредственное отношение к творчеству. И к творческим семинарам, руководимым известными писателями и поэтами — хотя они тоже считались входящими в академическую программу, — я никогда не относился легкомысленно.

Я должен был сам себе выбрать семинар и поначалу оказался в трудном положении. Сельвинский в институте работать перестал, с Луговским у меня отношения складывались негармоничные (о чем позже), к приведенным Гладковым поэтам «Кузницы» С.Обрадовичу и В.Казину, несмотря на все мои сегодняшние слова о Казине, тогда не тянуло. Чего было желать, я не знал. Но вдруг стало известно, что одним из семинаров будет руководить Михаил Аркадьевич Светлов. И, естественно, все мы — я, Максим Джемора и Игорь Кобзев — записались в его семинар.

Что значило для нас это имя, я уже говорил, когда упомянул об его выступлении в «Молодой гвардии», где я увидел его впервые — он тогда только вернулся из армии. О том, как мы все любили этого поэта, особенно его знаменитую тогда «Гренаду», ставшую символом отшумевших «романтических» двадцатых с их культом Гражданской войны и мировой революции, о том, как он там же подтвердил эту репутацию своим «Итальянцем» — тоже уже говорилось. Но на этом стихотворении и обстановке, в которой оно появилось, стоит задержаться чуть дольше...

Да, «Итальянец» тогда, в «Молодой гвардии», не обманул наших ожиданий. Стихотворение это хорошее, нравится мне и теперь, хотя в сущности оно не выходило за грань пропагандистски дозволенного. Правда, в нем звучало сочувствие лирического героя убитому им в бою под Моздоком итальянцу. Это было, с одной стороны, неожиданно, выбивалось из ряда, но с другой — антиитальянской истерии наша пропаганда и не нагнетала — только антинемецкую. Кроме того, стихотворение нигде не сетует, что сын небогатого итальянского семейства, посланный в СССР, вынужден был изменить международной пролетарской солидарности — нет, только на то, что он пришел завоевывать чужую землю. И сочувствие ему тоже объясняется не этой солидарностью, а простой человечностью.

Поэтому стихотворение, с одной стороны, укладывалось в тогдашние каноны, а с другой — живо и сегодня. Но тогда оно воспринималось еще и как сохраняющее чистоту идеологических риз — в обстановке, так сказать, вынужденного духовного отступления, вызванного войной под национальными лозунгами. Это как бы напоминало о том, кто мы есть и для чего живем.

А кем мы были, для чего жили? Ведь мы полагали, что для мирового братства, но нам не дают. Кто? Одни надеялись, что исторические обстоятельства, другие прямо считали, что Сталин. Но этой «целью» как основой духовной жизни дорожили и те и другие. Прошу прощения за неоднократные уточнения того факта, что я не верблюд, то есть давно не романтик большевизма и революции — это слабые попытки спастись от недобросовестного цитирования. И еще — пусть никто не утешается и не врет себе и другим: этим болели не только инородцы, а все те люди определенных возрастов, кто вообще в каком-либо осмыслении нуждался.

А сам Светлов? При всей свободе поведения и остроумии он не очень раскрывался перед людьми. На своих семинарах в том числе. Да и вообще. Однажды он так и сказал, что на его лице маска — стеклянная, тонкая, прозрачная, но маска. И это естественно, если вспомнить, что он был участником одной из оппозиций — комсомольской. Вряд ли он там играл активную роль, да и оппозиция эта — незначительная, затерялась в истории среди более громких. Но товарищем многих репрессированных, да и человеком, в иные периоды боявшимся оказаться одним из них, он, безусловно, был. И это, вероятно, наложило печать на весь его облик, творчество и поведение.

Считалось, что он участник комсомольского подполья в тылу у белых, но полагаю, что, как и большинство таких слухов, это преувеличение. Сам он ни мне, ни при мне никогда ничего подобного о себе не рассказывал. Но через подлинное «комсомольство двадцатых годов» он, безусловно, прошел, и это сказывалось. Думаю, что это сильно сузило его горизонты. И, наверное, именно потому Н.И.Бухарин еще в 1934 году, на Первом съезде советских писателей, назвал его поэзию провинциальной.

Но распространяться сейчас на тему о светловской ограниченности мне бы не хотелось. Потому, что на нынешнем сломе эпох легко впасть, а тем более втянуть других в несправедливый разоблачительно-ниспровергательский пафос. Несправедливый потому, что то, от чего сегодня свободна моя мысль, тогда владело умом и душой не только Светлова, а и всех вокруг, включая и меня...

К сожалению, этого разоблачительного пафоса не избежал Владимир Солоухин в своей книге «При свете дня». В этой книге это не единственное, с чем я не согласен (хотя во всем, что касается непосредственно Ленина, она не только точна, но и содержит открытия). Но я говорю сейчас не о книге, а о Светлове. Конечно, его стихотворение «Пирушка», которого коснулся в своей книге Солоухин (с какой задачей, здесь не важно), дает все основания для нападок. Достаточно, что лирический герой вполне сочувственно и даже восхищенно просит своего дорогого и застенчивого друга «товарища Орлова», в прошлом председателя ЧК, чья подпись была беспощадна, вспомнить-рассказать о том,

Как пылала Полтава, как трясся Джанкой,
Как Саратов крестился последним крестом.

Для поэтического и человеческого гнева материалу вроде вполне достаточно (хотя реалии эти не отчетливо застеночные, скорее, фронтовые). Однако завершающее этот разбор с пристрастием ироническое восклицание: «Так-то, Михаил Аркадьевич!», на мой взгляд, несправедливо. Оно еще было бы как-то оправданно, если бы и я, и Солоухин познакомились с этим стихотворением недавно, так сказать, были бы ни при чем. А то ведь познакомились давно, а к такому мироощущению, которое давало нам возможность воспринять эти стихи так, мы пришли по нашему возрасту сравнительно поздно. Нет, не когда и не потому что это стало модно, а самостоятельно, раньше большинства других, — про Солоухина и самого себя я это точно знаю. Но все же далеко не сразу. А до этого знали эти стихи, могли их даже любить, а ужасного в них — не замечали. По той же причине, по которой эти стихи были написаны.

Мы сами жили внутри этого противоестественного мира, и его система ценностей была для нас естественной. А уж в этой системе эти стихи не возмущали, а пленяли. И не только своей романтичностью, сколько — как ни странно — правдой о революции. Пусть эта правда была правдой романтики. Хотя бы это. Принимать революцию без этой правды, без сомнительной веры, что она окупится, значит лгать. Или, привыкнув к лжи, погрузиться в прострацию. Собственно, в ней мы и начинали свою жизнь.

А в этой прострации правда романтики (по существу отвратительной и бесчеловечной — не спору) радовала светом истины. Только если мы воспринимали эти стихи как антитезу прострации, уже наступившей, то для молодежи второй половины двадцатых годов, к которой принадлежал М.А.Светлов, эта романтика была антитезой прострации наступающей, грозящей, но уже ощущающейся. Дескать, «чур-чур!» — ничего такого нет, все продолжается и имеет смысл!

Тогда у этой романтики ужасного — а свойственна она была не одному Светлову, а всей попутнической революционной литературе — была другая функция. Это был единственный способ принять ужасное, неприемлемое. Ведь до самого последнего времени существовала изобретенная попутчиками «чекистская легенда», согласно которой чекисты — это герои, люди, бескорыстно бравшие на себя грязную работу во имя высшей чистоты. Это только году в семидесятом я написал в одной из поэм:

Где мне знать,
что смешно
честно верить в свое бескорыстье,
Если сам на коне,
а кому-то —
в лицо копыта.

А революционные палачи были другими людьми, совсем не такими, какими их когда-то любовно представлял я или сегодня язвительно — мысленно подставив внешность еврея-интеллигента — Солоухин. Разве что только некоторые сотрудники центрального аппарата — в основном бывшие левые эсэры — подходят под этот стереотип. А так — интеллигентами, независимо от их этнического происхождения, бывали только теоретики террора, ну и, конечно, его воспеватели, но не те, кто сам убивал или приговаривал к смерти. Говорю со знанием дела, ибо с одним из тех, кто когда-то отдавал приказы о расстрелах, я встретился. Правда, не на свободной дружеской пирушке, а — на пересылке и потом в Караганде. О чем расскажу в свое время.

Повторяю, я вовсе не защищаю ни этого стихотворения, ни нашей симпатии к этим стихам, ни тем более атмосферы, все это породившей. Я давно уже всему этому враждебен. Я просто хочу сказать, что то, с чем мы имели

дело, было всемирно-историческим заблуждением, вернее, трагическим результатом спекуляции на нем или даже на его инерции, а не мелкой интригой. И ходили мы на занятия к человеку, вовсе не отличавшемуся любовью к палачеству.

Семинары первое время проходили у него на квартире — жил он тогда на углу улицы Горького и проезда МХАТа (или Тверской и Камергерского), в том же доме, напротив Телеграфа, что Асеев (и Булгаков). На самих семинарах ничего особенного не происходило, порядок был тот же, что и на литобъединениях. Студенты читали стихи, потом начиналось их обсуждение, товарищи высказывали мнения, последним говорил руководитель. Только в отличие от литобъединений, где уровень разговора тоже был достаточно серьезен, сюда не могли забрести случайные люди и отнять время на ликвидацию своей литературной неграмотности. И, кроме того, порядок из-за интимности обстановки столь строго не соблюдался — Светлов мог вставить реплику или вступить в спор, не дожидаясь своей очереди в конце, как приличествовало мэтру. Он был поэтом, и вкус у него был точным. И это было очень нам полезно. Фальшь, неловкость и стремление идти «напрямик» (в поэзии прямая — не всегда наиболее рентабельная связь между двумя точками) он отмечал мгновенно и остроумно высмеивал, учил тому, как просты иной раз простые вещи:

— Что больше? — спрашивал он. — Три года или три дня?

И сам отвечал:

— А это как когда. Сравните: «Я вас целых три года не видел!» И — «Я вас целых три дня не видел...»

Положение наставника было ему тогда по новости непривычно, и очень его забавляло. «Значит, вы, мои дети, а я, ваш учитель», — не раз говаривал он. Или просто: «Вы мои ученики, а я среди вас Песталоцци».

О философско-эстетической сути поэзии он в отличие от многих других русских поэтов — допустим, Ахматовой и Мандельштама — никогда (во всяком случае при мне) не говорил. А, по-видимому, и думал не очень много. Подозреваю, что его критерии в отношении поэзии (но не собственного творчества — он был поэтом) к тому и сводились — к присутствию лирической стихии и к знанию секретов мастерства, несколько более сложных, нежели те, которые Твардовский назвал малыми.

Вижу в этом печать времени, его формировавшего, когда с духовной стороны вроде было все ясно, а «секреты» и тайны были только в исполнении, несколько тогда абсолютизируемом не только «формалистами» или «эстетам». Я и тогда считал, что этого недостаточно, но понимал, что это необходимо. А на первых порах — и важно. Тем более когда за этим — не схема, а живой вкус настоящего поэта.

А стихи в наших отношениях было тоже достаточно. После одного из первых занятий Светлов сказал:

— Вот что, дети! Приглашаю вас в коктейль-холл.

И мы совершили поход в коктейль-холл, благо он помещался рядом, чуть выше по Тверской. Мы еще никогда там не были, но слово это было для нас всех, не только для таких провинциалов, как я и Максим, экзотическим — загадочным и манящим. Не из нашей жизни. Может, заведение это и было открыто, чтоб не ударить в грязь лицом перед нашими англосаксонскими союзниками, часто приезжавшими тогда в Москву. Кстати, я вообще не убежден, что видел где-либо специальное коктейлевое заведение — в лучшем случае, коктейль-бары при гостиницах и ресторанах. В годы борьбы с космополитизмом и иностранщиной Коктейль-холл закрыли, а в его помещении открыли кафе-мороженое, существующее, кажется, и поныне. Но тогда, в 1945—1946-м никто еще этого не предвидел, и коктейль-холл был очень популярен.

Едва выйдя из ворот светловского дома, мы увидели, что у искомого входа толпится очередь, и заметно приуныли. Но Михаил Аркадьевич шага не убавил. Дальше произошло следующее. Он спокойно подошел прямо к двери, которая, естественно, была заперта и постучал в ее стекло. Выглянувший швейцар тут же ее открыл.

— Я не один, — сказал М.А. — Вот мои ученики. Я среди них — Песталоцци.

После чего каждый его ученик персонально за шиворот был втащен в эти тесные ворота, и мы оказались в месте не только небывалом, но и непредставимом. Можно было бы сказать — «на Западе», и в каком-то смысле это было бы правдой: круглые сиденья вдоль бара (у нас он назывался «стойкой»), столики, напитки, которые тянут из бокалов через соломинку. Все это есть везде, и связано, кстати, не только с коктейлями, но тогда это меня поразило — такого

я никогда еще не видел. Да и представьте послевоенную голодную Москву вокруг этой роскоши! И вы сразу получите формулу: «разложение». И ошибетесь. Разложения не было. А если и было, так не то, представление о коем связывается с ресторанной жизнью.

Все было чинно, пристойно и в то же время свободно. Люди сидели за столиками, разговаривали, некоторые переходили от столика к столику, тут многие многих знали. И уж, конечно, многие знали Светлова. Было тут много актеров, режиссеров, журналистов, театральных завлитов, всякой другой подобной публики. И все его звали «Миша», «Мишенька», а я вообще не помню, чтобы он в ответ кого-то звал по имени. Но всем, кто подходил к нему, он не забывал сообщить, что мы его ученики и что благодаря нам он теперь Песталоцци. Были разговоры об искусстве, вовсе не крамольные, но серьезные — странная обстановка раскрепощения в центре суперзакрепощенной страны.

Какое ощущение создавалось? Конечно, я говорю не об этом первом визите, (он вовсе не был последним), а вообще. Почему туда так тянуло? Кроме того, что там вообще было приятно, там создавалось ощущение, что существует некая элита, очень нужная (для чего?), которая вполне допускается и до такой раскрепощенности. И заслуженно к ней принадлежать — хорошо и достойно. А творческому человеку даже необходимо. Потом бы благодаря деятельности таких людей доступ к этой раскрепощенности получили и другие. Получалось нечто от благородной роли дворянства. В каком-то смысле некое подобие дворянства стремился создать и Сталин. Только без всякой раскрепощенности — безразлично, впрямь ли присутствовала она тогда в коктейль-холле или только мне примерещилась... В коктейль-холле мы бывали потом почти после каждого семинара. Сначала приглашал Светлов, а однажды мы его пригласили сами. Сделали мы это в начале занятия.

— У меня сегодня денег нет, — ответил он.

— Так мы же приглашаем!

— На ваши деньги? — ужаснулся наш Песталоцци. — Ни за что!

Но когда после семинара мы засобирались, он начал мяться:

— Так вы что, вы в котельную? — спросил он как-то мечтательно и перестал сопротивляться нашей настойчи-

ности. Может, с точки зрения академической это и был непорядок, но это было естественно. Блюсти профессорское достоинство с его стороны, по-моему, было бы нелепо, а достоинству поэта это не вредило. Да ведь и не стремился он нас «выставить», только сам нас всегда угощал, а тут — мы сами навязались. Впрочем, угощать нам его пришлось недолго — стоило ему только показаться в коктейль-холле с нами и объявить знакомым, что сегодня его ученики угощают своего дорогого Песталоцци, как тут же объявились желающие нас заменить. Конечно, он немного посидел с нами, а потом пошло. Когда мы уходили, он еще оставался. Не могу сказать, чтоб он настырно стремился учить нас жить, но одно поучение из его уст я слышал часто. И касалось оно выпивки.

— Знаете, дети, чем я отличаюсь от вас? — И сам же отвечал: — Когда мне уже хорошо, я не стремлюсь, чтобы мне было еще лучше.

К сожалению, этой добродетелью скорее отличался не он от нас, а мы от него, что, наверное, значительно сократило его жизнь. Но тогда до этого было еще далеко.

Но и тогда слухи о наших вольностях в конце концов дошли до Gladkova, и он велел семинары проводить в помещении института.

— Жаль, — ответил Михаил Аркадьевич. — А дома было так удобно. И коктейль-холл рядом — зайти отдохнуть после занятий...

— То-то! — сказал Gladkov, улыбаясь. Светлова он любил, но порядок — тоже.

Шутки Светлова расходились по Москве. Очень любил он приперчивать их еврейским колоритом (он был по происхождению евреем, Светлов — его псевдоним), обращаясь к своим собеседникам, особенно если иронизировал, называл их «кецэлэ» (кисанька). Он принадлежал к тому поколению, которое находило это забавным. Это и впрямь забавно — в нормальной обстановке. Но время было нешуточное. И мне рассказывали о неординарной светловской шутке периода «дела врачей». Как известно, в целом это «дело» по обвинению врачей в фантастическом злодействе и особенно его освещение носили четко выраженную антисемитскую направленность (хотя к «делу» был привлечен и ряд, как говорят в эмиграции, «этнически русских» вра-

чей). Согласно сценарию, большинство врачей занималось своими гнусностями по поручению еврейской благотворительной организации Джойнт, «на самом деле» являющейся филиалом ЦРУ. Считалось, что они продались за деньги Джойнту, а через него — ЦРУ. Джойнт для советской пропаганды стал именем дьявола и в этом качестве заполнял эфир и прессу.

И вот среди этой искусственно нагнетаемой истерии однажды в буфете Дома литераторов сидел мрачный непохмелившийся Светлов и жевал бутерброд.

— Как жизнь, Мишенька? — спросил кто-то, подойдя.

— Да какая жизнь! — мрачно ответил «Мишенька». — Денег никаких никто не платит... И Джойнт что-то давно ничего не присылает... Выпить не на что.

Тогда мало кому было до острот. Тем более таких опасных. Однако Михаил Аркадьевич находил в себе силы, острит.

Неисповедимы пути Господни. В устах Светлова деньги Джойнта могли фигурировать только как ирония, как насмешка над бредом. Он и представить себе не мог (впрочем, как и я тогда), что мог бы на них жить. Но для меня потом они стали реальностью. Несколько первых месяцев эмиграции — в конце 1973 — начале 1974 годов, в Вене и Риме — я с семьей жил на средства этой организации, за что ей спасибо. Занималась она только своим делом — благотворительностью. Причем помогала она только тем евреям, кто в Израиль НЕ ехал — так что вопреки сталинским обвинениям не была даже сионистской. Не говоря уже о том, что и сам сионизм — только стремление создать для евреев национальный очаг, а не некая мистическая гнусность, за что его с послевоенных времен злонамеренно выдавала официальная советская пропаганда. И сегодня ее преемники. Но это — другая тема.

В семинаре Светлова я был и после ссылки. Они тоже были интересны, но всерьез считать те свои годы студенческими я не могу.

Но прежде, чем перейти к другим лицам и событиям, мне хотелось бы рассказать об одном дне моей тогдашней жизни, каким-то образом тоже связанном с коктейль-холлом.

Однажды у нас с моим другом Максимом вдруг появились какие-то деньги, по нашим тогдашним представлениям крупные: мелкие гонорары, помощь из дома, стипендии слились в одно, и мы решили навестить любимое заведение. С собой мы пригласили нашего студента Виктора Ревунова. Особой близости между нами не было, просто мы оба ему симпатизировали. Витька был высоким, крепким парнем, внешне напоминавшим молодого Горького, и, говорили, талантливым прозаиком. Дальнейшая судьба его мне, к сожалению, неизвестна, хотя после ссылки я справлялся о нем. Вечер мы провели приятно, о чем говорили, не помню — наверное, как всегда о литературе и женщинах. Витька на прощание сказал:

— Ну, смотри, Мандель... Я скоро получу гонорар и тебе отомщу.

В заявлении этом не было ничего экстраординарного (кроме формы) — все вокруг так время от времени «местили» друг другу. Ни на какую особенную «месть» я не рассчитывал и ее не ждал. Но она последовала, и то, что в результате получилось, было уже и впрямь настолько экстраординарно, что умолчать об этом грех. Хотя это уже никак не связано с коктейль-холлом и только страдательно с самим Ревуновым.

Впрочем, и Витька начал необычно. Однажды утром, часов в восемь, кто-то дернул меня за ногу. Не слишком нежно, так что я сразу проснулся. Надо мной возвышался Витька.

— Мандель, вставай! — произнес он повелительно. Я молча повиновался.

— Пошли, — отрубил Витька. И мы пошли. Почему с нами не было Максима — не помню. То ли его вообще не было в Москве, то ли он был, мы ему звонили, но почему-то не мог — причем причина наверняка должна была быть уважительной, по неуважительной он бы от такого приключения не отказался. Но факт — его с нами не было. По Тверскому бульвару к Пушкинской площади мы поплелись без него. Город выглядел еще полусонно. Все, что могло нас интересовать, было еще закрыто.

Даже родной «прилитинститутский» бар №4 (остряки утверждали, что наоборот, Литинститут существует при баре). Потом такие заведения переименовали в пивные залы.

Сделано это было в порядке «борьбы с иностранщиной» — и отчасти это более точно: «бар» — это нечто другое. Но точнее — говорю без всякой иронии — просто пивная. Было бы пиво хорошо да заведение пристойным. Впрочем бар №4 навеки остался баром № 4, ибо он был не переименован, а просто был закрыт. Его помещение было передано «кафе-молочной», а потом и вовсе снесено вместе со всем кварталом. А с ним связано многое — и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е... Но тогда еще этот бар вполне функционировал — только не в столь ранние часы. Но Витька углядел на другой стороне Тверской, в доме, которого теперь нет, еще одну пивную типа «забегаловка», и мы свои стопы направили туда. Забегаловка и впрямь, несмотря на ранний час, оказалась открытой. И к тому же набитой народом. Все были в верхней одежде. Витька велел мне подождать где-то в углу, а сам отправился к стойке добывать пиво с водкой. И тут все началось.

Я огляделся. Народ вокруг наспех пил и закусывал — перед работой. Ничего примечательного в этом не было. И вдруг мое внимание привлекло происходящее за столиком рядом. А происходило следующее. Окруженный жаждущими прихлебателями, гоголем сидел уже в некотором подпитии невысокий плотный молодой мужчина, пил, закусывал и куражился. Прихлебатели, которым он время от времени щедро отливал пива и особенно водки, с готовностью сносили это. Я тогда это видел впервые.

Но на самом деле это было явлением обычным. Не могущие без выпивки, другими словами алкоголики, в России всегда существовали (хоть никогда их не было так много, как нынче), никуда они не делись и во время войны, когда водка большинству из них стала не по карману. Я забыл напомнить, что вся торговля спиртным — исключение составляло, кажется, только пиво — была только «коммерческой», значит, по очень дорогим ценам (по карточкам, за нормальную цену получали только пол-литра или литр). Рестораны и коктейль-холл были коммерческими заведениями изначально. Впрочем, алкоголики ими не интересовались. Они «обживали» пивные и бары, где и пробавлялись таким образом — крутились вокруг таких тароватых «тузов» и, если удавалось (их гнали), допивали остатки из кружек.

Так что неудивительно, что «шикование» этого человека бросалось в глаза. Он вообще выглядел состоятельно и картинно. И всем напоминал подгулявшего купчика из тогдашних фильмов и спектаклей по Островскому. На нем было черное, зимнее, по тем временам роскошное пальто, отороченное мехом, а сверху черная же меховая шапка-пирожок. На рукаве этого роскошного черного пальто, у самого локтя, странно повисала, двигалась и подрагивала вслед движениям руки обычная серо-зеленая авоська с батоном, бутылкой кефира и еще с чем-то. Все это тоже было явно коммерческим — в такой обычной бытовой упаковке это тогда больше нигде не продавалось.

Вдруг он стал внимательно разглядывать меня, и круглое лицо его расплылось в улыбке.

— А я тебя знаю... Ты Мандель! — И в ответ на мой недоуменный взгляд пояснил: — А помнишь, мы были у Петра на именинах (он назвал подлинное имя человека, которого я называю «Петр» и который в начале 1945-го спас меня от ареста). Я с женой был, она его двоюродная сестра. Ты еще стихи читал.

И, действительно, я вспомнил эту странную пару, по поводу которой потом Петр сильно потешался. Ибо она работала в милиции, а он был крупнейшим московским спекулянтom. У Петра он вел себя очень скромно, как на чужой территории, а здесь он был в своей стихии.

— Помнишь мою жену? Родила. Вот, — он кивнул на авоську, — передачу несу.

Авоська то поднималась из-за стола, то исчезала за ним.

— Давай садись. Я угощаю.

Место для меня было тут же расчищено.

— Так я ведь не один, я с товарищем.

Против товарища он тоже ничего не имел. Но когда Виктор появился с пивом, довольный тем, что я нашел место, он поначалу был встречен недоброжелательно. Но все уладилось. Прихлебатели испарились до лучших времен. Однако за столиком были не только они. Зашел с утра подзарядиться и заведующий издательством «Известий» — во всяком случае он так отрекомендовался. Узнав о нашей профессии, он в приступе кабацкого великодушия и хвастовства обещал нам с Виктором золотые горы, что, естественно, на нас с Виктором большого впечатления не произведе-

ло — мы знали, что они не зависят от директора издательства (тогда это было нечто вроде завхоза). И когда я через несколько дней откликнулся на его предложение и пришел к нему, он поначалу растерялся. Но узнав, что я не за золотыми горами, а за писчей бумагой, обрадовался и, наказав заходить еще, когда понадобится, отвалил мне просимое в большом количестве.

В конце концов мы остались за столиком вдвоем. «Хозяин стола» был здесь, судя по всему, своим человеком, влиятельным клиентом, и отказа ему ни в чем не было. Но пора было и честь знать — все же жена ждала в роддоме. И он потащил нас себя сопровождать — чтоб потом «продолжить». Но до «потом» было еще далеко. «Для порядка» ткнулись сначала, как в свою alma mater, в свой четвертый бар — уже было время. Но на этот раз он почему-то был еще закрыт — до часа, кажется. Роддом был расположен где-то на Миусах, не так, кстати, и далеко, но путь наш к нему — по улице Горького от площади Пушкина до Маяковского и квартала два еще — был наполнен препятствиями, оборудованными укрепленными «точками», где торговали спиртным. А торговали им в розницу, где угодно. Во всех магазинах «пиво-воды», «фрукты-овощи» и многих других. И в каждую из них он нас затаскивал. И везде были Нины, Веры, Маруси, которые его встречали как родного, и везде мы задерживались и добавляли. Только к часу дня (а начали мы в восемь утра!) мы, наконец, доплелись до роддома. Доплелись — оказалось, что к роженице не пускают, что было открытием не только для таких охломонов, как мы с Виктором, но и для самого счастливого папаша. Он начал бурно протестовать, но строгая нянечка его мигом успокоила. Однако хотя час был неурочный, передать записку и передачу она согласилась. И мы стали ждать ответа. Надо сказать, что приключение нам с Виктором начинало надоедать. Несмотря на обилие выпитого, мы были ни в одном глазу. Сказывались необычность обстановки и некоторое напряжение.

И тут он нас опять поразил — сначала сник, а потом буквально начал ловить чертей. До той поры я думал, что это выражение метафорическое, но он их начал ловить всерьез — примерно, как ловят мотыльков: «Вон смотри, на ботинке присел!» И, как бы подкрадываясь, захлопывал

«его» в ладоши или захватывал в кулак. Но «он» оказывался и на рукаве, и на коленях, и на полу. Дурачил нас наш собутыльник или ему впрямь мерещилось, не знаю. Честно говоря, я сначала просто не понимал, что происходит. Пока не услышал испуганный шепот Ревунова:

— Смотри! Он ведь чертей ловит...

Потом принесли ответную записку от жены. На морозе наш чертогон малость оклемался, и мы пошли назад тем же опостылевшим уже маршрутом — по тем же «точкам». Очень хотелось от него отделаться. Виктор несколько раз это предлагал.

— На хрена он нам нужен! Давай удерем от него, потом пойдем в редакцию, я получу деньги и посидим спокойно.

Я и сам был не прочь. Особенно после такого его, вполне, впрочем, трезвого предложения:

— Вот что, Мандель. Я тебе дам адрес, ты сходи и возьми там шесть пар часов и принеси мне. (Или «отнеси туда часы, а мне принеси деньги» — теперь уж не помню, да это и неважно.)

На это я ему ответил просто:

— Вот что, милый! Сидеть мы с тобой будем оба. Но я за свое, а ты за свое. И путать не надо.

Как ни странно, с этой логикой он согласился. Но хоть вопрос был исчерпан, наша неожиданная и затянувшаяся «творческая командировка» стала после этого совсем невозможной, перестала забавлять.

Однако избавиться от него было не так просто. Несколько попыток он пресек в зародыше. Но в момент, когда он, встретив приятеля, на миг отвлекся, Виктор шепнул: «Мандель, давай!», и мы юркнули в какой-то проходной двор или закоулок. И тем спаслись.

Но история имела завершение. Он исчез из нашей жизни, даже из этого загульного дня еще не окончательно. Мы выполнили ревуновский план. Пошли в бухгалтерию издательства — то ли «Совинформбюро» (потом АПН), то ли «Правды», получили гонорар, потом, подхватив кого-то еще (не Максима ли?), заявили в уже открывшийся бар №4. И когда мы уже там уселись, заказали пиво с водкой и раками и когда уже потекла веселая и интересная застольная беседа, Виктор вдруг толкнул меня локтем в бок: «Смотри!» Столика через два от нас уже, слава Богу, в другой

компании сидел и общнически улыбался нам наш давешний собутыльник. Но к нам он уже не подходил — видимо, тоже чувствовал сюжет завершенным.

Потом я узнал, что была такая афера — продавать золоченые часы как золотые. Может, он имел отношение именно к ней? А может быть, он предлагал мне зайти за нормальными часами, только собранными из деталей, вынесенных с часового завода? Может, был занят какой-либо иной коммерцией, вполне нормальной, но у нас запрещенной? Все могло быть.

Зачем мне понадобился здесь этот эпизод, весьма для моей жизни нехарактерный? Так ли уж интересен и значителен описанный в нем человек? Тем более что больше я никогда не пил и не оказывался рядом ни с этим человеком, ни с кем-либо подобным. Не знаю так ли, но что-то все-таки было и за ним, за нашим чертогоном.

Я думаю, что по природе это был человек совсем не уголовного, а коммерческого склада. Просто было в нем очень много энергии и размаха, которые он мог бы в нормальных условиях превратить в дело, достигнуть в нем чего-то, и тоже одаривать, и тратить деньги — знай наших! — но только уже необязательно на прихлебателей, а и на серьезные, приносящие реальное, а не сиюминутное удовлетворение и благодарность, общественно нужные дела. Но река жизни была перекрыта, а в тесной запруде таким, как он, свою энергию и сметку некуда было девать, кроме как в темные, во всяком случае в запретные, опасные дела, которые — сколько веревочке ни виться — хорошо кончиться не могли. И поэтому давай гуляй и куражься, пока на свободе и при деньгах — одна живем! Особенно, если в душе и сам не представляешь другой системы ценностей, кроме официозной, кроме запруды, в которой задыхаешься и нормы общежития которой беспрестанно преступаешь.

Но что-то в этом эпизоде есть и вообще от того смутного, взбаламученного, с пляшущими ценностями времени послевоенной «оттепели»! И в нашей наспех не к месту примеряемой на себя богемности — тоже: все-таки партикулярность! Конечно, несравнимо с сегодняшним крушением ценностей, но как уже все качалось, Господи! Как все советское, шедшее поперек жизни, держалось на соплях! Но ведь держалось. Я уже несколько лет назад сказал, что все мы — товарищи по несчастью.

Эта сентенция облегчает мне возвращение к прерванному повествованию о руководителях наших семинаров и дает возможность плавно перейти от Михаила Аркадьевича Светлова к Владимиру Александровичу Луговскому. После того как Светлов ушел из института (причин не помню), мы перешли в его семинар. С этим незаурядным человеком отношения у меня были весьма сложными, иногда чуть ли не враждебными. Вплоть до возможности такого диалога у него на квартире за рюмкой водки после одного из семинаров:

— Владимир Александрович, вы ведь меня не очень любите?

— Не очень, — согласился сильно подвыпивший Луговской.

— И я вас тоже. Давайте выпьем за это, Владимир Александрович!

Выпили.

Конечно, все в этом пьяном диалоге — преувеличение. Но даже если так, то преувеличение того, что было в реальности. Конечно, никаких пакостей он мне не делал, если «шерстил» за стихи, то по делу (в этом смысле мы все были неласковы), а не стараясь представить меня бездарью. Нет, все было порядочно. То, что послужило причиной моего странного тоста, происходило на чисто эмоциональном уровне.

Впрочем, к помощи Бахуса он прибегал не только для таких «ответственных» разговоров. Мог появиться в институте, где его в полном составе ждали все участники его семинара, в состоянии, определяемом словами «и лыка не вяжет» — бессмысленно улыбаясь, но держась неестественно прямо. «Прохладил» по дороге. Выпивали мы и у него дома. Однажды принесли две «пол-литры». Жена, естественно, оберегавшая его от этой страсти, хоть и не знала, с чем мы пришли, уходя, на всякий случай заперла в доме все, что могло бы сойти на закуску. А тогда, при карточной системе, это была мера весьма эффективная. Почти во всех случаях, но только не в случае с Луговским. Он и до этого был слегка подшофе (чем и объяснялась репрессия), но, как говорится, проявил здесь высокую профессиональную выдержку и находчивость. Другими словами, он нисколько не растерялся, а великолепным жестом достал из ящика письменного стола две карамели «раковая шейка» (нас было

человека четыре) и царственным жестом положил их на стол. После того как вино было разлито, он изрек:

— Первый тост — по старинному русскому обычаю — без закуски!

Где он такой обычай выкопал, неизвестно, но получилось красиво. Следующие тосты мы уже заедали, слегка откусывая от «раковых шеек». Как ни странно, никто не опьянел. Да и Луговской остался в исходном состоянии. Может, потому, что мы разговаривали. Не тогда ли произошел и приведенный выше диалог?

Потом жена В.А. кому-то говорила, что он ко мне всегда относился очень хорошо. Может быть. Но тогда он это хорошо скрывал — это не ирония, это могло быть. Во всяком случае, моя «нелюбовь» была чувством ответным. Ибо расположен я был к нему относиться хорошо — его стихи с легкой руки нашей Адочки я любил с отроческих лет. А появившись в «Молодой гвардии», он тоже прочел нечто хорошее — все тянет сказать, что «Курсантскую венгерку», но боюсь, что это анахронизм и aberrация. Скорее — «Девочке медведя подарили...». Некоторые его стихи мне потом понравились — в них, на мой взгляд, много рисовки. Но отнюдь не все. Его положение было тоже непростым. Все понравившиеся мне на «Молодой гвардии» стихи Луговского входили в ту его книгу, выходу которой помешала война. Потом времена переменялись, и они, видимо, стали не к месту — их долго не печатали. Вышли они только во время «оттепели». Его поэмы, входящие в книгу «Середина века», неравноценны. В целом поэт пытается дать ответ на трагедию времени. Эта книга — итог многолетней серьезной внутренней работы.

Почему-то мне кажется, что последние годы Луговской был довольно одинок. Сейчас он полузабыт в чаду событий, но это несправедливо — он не только обладал незаурядным талантом, но и был и существовал, что вообще случается не со всеми, а в годы, когда он жил, тем более. И может быть, именно этим объяснялся его вошедший в союз-писательские легенды (наряду с его алкогольными подвигами) патологический страх. Потешались над тем, что вид он имел при этом очень мужественный, был высок, строен, красив, сросшиеся брови его были густы и черны («Бровеносец» — как его кто-то назвал задолго до Брежнева).

Впрочем, легенда об его страхе была связана, в основном, с поездками союз-писательских делегаций на фронт, где он свиста снарядов и бомбежек боялся больше, чем другие. Бросить в него за это камень я не собираюсь и не собирался. Во-первых, потому, что не имею права — вообще не был на фронте. Во-вторых, это больше говорит о состоянии его нервной системы, чем об его человеческих качествах. Да и лет ему было уже сколько! За это я никогда его не осуждал. Осуждал я его тогда за другой страх, и этот другой его страх был в значительной степени причиной некоторой его неприязни ко мне. Хотя и он тоже, как я теперь понимаю, мог быть вызван состоянием его нервной системы. Теперь я уже давно его за это не осуждаю. Ибо лучше понимаю, что могло отразиться на состоянии его нервной системы, другими словами, что выпало ему пережить. Об этом я сейчас и думаю.

Владимир Александрович по происхождению был дворянином — так он о себе говорил. Конечно, в те годы, когда я с ним познакомился, дворянское происхождение уже перестало быть опасным, а раз так, то оно сразу сделалось престижным. А В.А. любил покрасоваться и приписать себе дворянство без всяких оснований тоже вполне бы мог. Приврать для интересу он вовсе не стеснялся, но носило это невинный характер.

— В.А, я вам целый час звоню, все время занято было...

— А это я с индийским посольством разговаривал.

Особенно любил он хвастать экзотическими знакомствами. Что однажды дало мне возможность сострить:

Друг Хемингуэя и Джамбула,

Дворянин Владимир Луговской.

Впрочем, я думаю, что дворянином он был на самом деле. Во всяком случае я никогда в этом не сомневался. Но что был он потомственным интеллигентом — это было бесспорно для всех, кто с ним общался, это ощущалось. И то, что отец его был директором гимназии, — тоже сомнений не вызывало. Об этом он очень достоверно рассказал в одной из поэм «Середины века». Но это уже было в мое время. А в 1918—1922-м, да и позже, оба происхождения — и дворянское, и интеллигентское — были обстоятельством, сильно затруднявшим человеку вступление в «новую жизнь». И

поскольку в то время другой не было, то просто в жизнь. Другими словами, мешало выживанию и даже было чреватое внесением в расстрельные списки во время «красного террора».

Не знаю, по этой или по другим причинам Луговской во время Гражданской войны служил в Красной Армии. Да не увидит никто иронического высокомерия в этих словах. Считаю любую из возможных причин — уважительной. И заблуждение, и страх, и даже, что наиболее вероятно, заблуждение, вызванное страхом. Не знаю, участвовал ли он в боях. Знаю, что на одних краскомовских курсах — в Москве — учился, на других — кажется, в Брянске — что-то преподавал. Так или иначе — «сотрудничал». Но вряд ли это было для него просто. В то время, как среда, к которой он принадлежал, от такого «сотрудничества» отказывалась и к «штрейкбрехерам» относилась плохо. И Луговскому, вероятно, пришлось пережить немало неприятных минут и частично переменить среду.

С.Я.Маршак называл перебежчиков типа Леонида Соболева «Швабриными». Я не очень склонен осуждать людей, оказавшихся в безвыходном положении, но к Соболеву, судя по его последним годам, это определение подходит вполне.

Однако Луговской — другой случай. Он никакой особой карьеры не делал и не сделал. Просто стал известным поэтом. Но это ведь своими силами. Судя по стихам, чем-то он все-таки в революции увлекся. Но не до самозабвения. Его всегда волновала тема России. Хотя звучала она у него горько. Вот переживание глядящего из теплушки воинского эшелона:

Направо — поля, налево — поля.
Деревни как чертовы очи.
И русская, мерзкая, злая земля
Отчаяньем сердце точит.

Ретроспективный взгляд на историю страны в другом стихотворении — «Дорога ведет от широких мечей... от малютиных палачей» — тоже не ласковой. Особенно при таком конце:

Мне страшно назвать даже имя ее —
Свирепое имя родины.

Конечно, тогда, в двадцатые годы, цензура в таких стихах подвоха не видела, идеи России, родины и т.п., как «белогвардейские», была не в чести. И то, что русская земля обзывалась злой и мерзкой, ее не оскорбляло. Да, мерзкая. Вот мы, большевики, и избавляем ее теперь от «мерзости». В принципе изображение вышедшей из берегов стихии вообще большевиками допускалось. В годы НЭПа это и в их собственных глазах, и в глазах измученного обывателя представляло их в выгодном свете: вот какова была стихия, которую мы одни смогли укротить, ввести в русло. Словно не они сами ее распустили и использовали. Нет, с точки зрения цензуры и власти все было в порядке.

Правда, цензоры могли бы обратить больше внимания на отчаяние, которым эта земля «сердце точит». С чего бы, в самом деле? Казалось бы, возвысился над ее «мерзостью», и плюй с высоты передового мировоззрения, наслаждайся своей ролью во всемирной истории, помогай преодолевать вековую отсталость. И торжествуй. Ан нет — «точит». За Россию больно? Неужто за то, что с ней стало во время революции? А за что еще? Причем, если в прозе это можно завуалировать красочностью деталей («появились рассказчики» — свидетельствует Н.Я.Мандельштам), то в поэзии эмоциональное отношение скрыть невозможно.

Стихотворение действительно пронизано болью за Россию. Но к счастью, большевики в поэзии понимали мало (а если понимавшие и были, то, к их чести сказать, помалкивали) и этой неувязки не замечали. Тем более, что автор ведь и впрямь не имел в виду ничего контрреволюционного. Видимо, в каком-то смысле и он приник к революции — всеми своими связями, дружбами и тому подобным. Он был для своих друзей и сверстников «Володя», как Светлов — «Миша» (чего до революции в литературной среде не водилось), в каком-то смысле и образовывался вместе с ними. Хотя полученное в детстве воспитание осталось при нем, что усложняло его психологическую ситуацию и в двадцатые — более прямые годы.

Это определило и всякие его покаяния, вроде стихотворения «Письмо республике от моего друга», содержащее странную на нынешний взгляд просьбу к адресату: «Возьми меня в переделку / И двинь, грохоча, вперед!» Сегодняшний неискушенный читатель может удивиться не только

просьбе человека взять его в переделку, но и тому, что это сделать надо непременно «грохоча». Но таков был психоз времени — противоестественный пафос непрременной правоты «коллектива» и святости «романтически» связанной с грохотом и скрежетом пятилетки. Психоз этот превращал грохот и скрежет в элементы Прекрасного...

Я привел эти строки не для высмеивания. И до, и после войны я воспринимал их всерьез. И не было в них никакого личного приспособленчества. Ибо приспособление к «республике» казалось — не только Луговскому, но и его товарищам и читателям, — приспособлением не только к духу времени, но и — хоть они так не выражались — к Духу и Истине вообще. А отпадение от «республики» — отпадением от Духа. Если это был конформизм, то неосознанный. А в те годы из-за частой смены «правлящих идеологизмов» он не всегда был приспособленчеством — с ним можно было и срок огрести.

Психологически картина была вполне запутана. Смесь интеллигентности с большевизмом и боязнь оступить, проявить «не ту» сущность. Приводило это иногда и к комическим результатам. Он вступил в РАПП аккурат накануне его разгона. До этого не поддавался.

И не знаю уж, этот ли, другой ли свой «грех» этим замазывая, для участия в жизни и борьбе, но он выехал с бригадой писателей в Среднюю Азию. Думаю, что ему повезло. Поскольку коллективизацию — во всяком случае поэтически — пережил там, а не в более понятной и близкой ему Центральной России. Впрочем, и в двух частях написанной им там книги «Большевикам пустыни и весны» есть не одна экзотика, хоть ее там немало. Есть, например, и стихотворение «Басмач», где, хотя идеологическая выдержанность вполне соблюдена, за басмачом Иган-Берды ощущается своя правота и сила.

Внутренне Луговской к большевистской революционности — в чем-то по традиционной интеллигентности, в чем-то уступая обстоятельствам — вполне приспособился. А куда денешься? И тут грянуло убийство Кирова, а за ним разгром старой партии. Судя по его стихам, написанным в последние годы жизни, стихам, для самого себя переосмысляющим прошлое, Луговской, как и многие интеллигенты, Троцкого и до его падения недолюбливал. Так что

надругательство над ним Сталина его особенно оскорблять не могло. К тому же при Сталине русскую историю вроде восстановили в правах — пусть в каком-то обезображенном виде, но все же. И понемногу о российской государственности заговорили — не в малограмотно-оскорбительном тоне, как с начала революции и года до 1935-го — а всерьез.

Луговской никогда не был русским националистом, он был скорее русским европейцем, отчего, естественно, не переставал быть русским человеком и человеком русской культуры. И прекращение малограмотного поношения всего русского (а оно может быть только малограмотным) должно было располагать его к Сталину. А с другой стороны, он и сам несколько в революции погряз, и верить, что Троцкий — организатор нацистского шпионажа против СССР, при любом отталкивании от последнего — не мог. Это было все же и унижительно, и неудобно. Да и многих приятелей по Гражданской наверняка задела репрессии и подобная клевета, в которую все остальные обязаны были искренне верить — не дай Бог заподозрят в неискренности! Да и сам был от такой судьбы — от исчезновения под гром клеветы — не застрахован. Во-первых, как любой другой, во-вторых — из-за своего участия в революции, точнее, в Гражданской войне.

Как люди, подобные ему, справлялись с этой напастью, как объясняли ее себе — человек моего поколения представить может, сам временами недалеко уходил. Но должно было это вызывать и безотчетный страх — особенно при той спутанности истоков, которые определяли мироощущение Луговского. Думаю, что страх этот сказывался и на его отношении ко мне, поскольку я на эти темы писал и говорил. И когда был и в своих глазах крамольным, и когда быть им в своих глазах перестал. Не знаю, в какой из этих ипостасей я раздражал его больше...

Перепалки у нас бывали, но смысла их я не помню, ибо бывали они больше за выпивкой и сводились к каким-то незначашим колкостям. Только однажды он мне что-то колкое отпустил насчет того, что он очень хорошо (и выходило, что неприятно) помнит «еврейских мальчиков 20-х годов». Говорил он это в связи со мной. Выходило, что я ему их напоминаю, и это не должно было мне льстить.

Я удивился и задумался. Нет, я не заподозрил его в антисемитизме. Я слишком хорошо знал, что это не так, и понимал, что не любит он не евреев вообще, а меня лично. Но в то же время я почувствовал, что слова эти были только применены ко мне, а существовали в нем и имели смысл независимо от меня. И то, что он не был антисемитом, а слова эти имели смысл, меня поразило. Я не обиделся и даже не стал пикироваться по этому поводу, а — задумался. Возможно, это слишком сильно сказано — «задумался». Я еще не был готов и не обладал достаточным количеством материала, чтобы всерьез задуматься. То, что я говорю об этих мальчиках, упоминания о которых читатель мог найти в предыдущей книге, — плод размышлений иного времени. Но эти его слова, безусловно, сыграли в них свою роль. Да и сам термин придумал не я. И хотя втайне этими «идейными мальчиками» я тогда еще гордился, я почувствовал уже тогда, что здесь что-то не так.

Можно ли судить этих «мальчиков» (разумеется, речь идет об историческом типе, а не обо всех выходявших в жизнь евреях определенного возраста)? Можно ли судить тех, кого они раздражали? Например, порядочнейшего человека академика Вернадского, за которым непорядочных поступков не числится — ни вообще, ни по отношению к евреям, — но которого в начале тридцатых ужасал напор и засилье «Бердичева» в науке, культуре и политике. Это воспринималось им, а также, наверное, и Луговским, как нечто вроде нашествия варваров. Отчасти оно так и было. Только могу повторить, что это было первым, но отнюдь не последним таким нашествием в нашей послереволюционной истории. И все они были агрессивны. И каждая из этих «волн» оставляла осадок — какая-то ее часть потом, конечно, далеко не сразу, становилась подлинной интеллигенцией.

В этой связи я вспоминаю известного биолога, фамилию которого, к сожалению, забыл (о нем рассказывалось в одном из доперестроечных выпусков «Минувшего»). Будучи в 1949-м, во время антикосмополитской кампании, жестоко травим людьми, которые ему в подметки не годились, он вдруг в ужасе вспомнил, что ведь в начале тридцатых он сам столь же изощренно травил других ученых, которым в подметки не годился уже он сам. И тоже подвер-

стывая обвинения к «нехорошему» происхождению — только тогда не к национальному, как теперь, а к социальному.

Это было покаяние, тем более ценное, что произошло в момент, когда он сам был жертвой, а психологически жертвы склонны ощущать себя невинными. И оно, это покаяние, а не научные заслуги, проявило, что за эти годы этот человек стал личностью и интеллигентом. Такое произошло не со всеми — даже из тех, кому никогда не пришлось никого травить. Некоторые были от природы порядочны и способны, но интеллигентными не стали. Но некоторые — стали.

Тут встает ехидный вопрос — а пока не стали, каково было их переносить? Даже если они не делали подлостей — большинство и не делало, — а просто не «тянули», просто агрессивно судили о том, до чего не доросли? В этом-то они виноваты не были. Это сказывалась история, стоявшая за ними, — историю судить трудно. Кто спорит? Но ведь и переносить ее порой очень не легко. Впрочем, в связи со мной ему приходили на ум не все «еврейские мальчишки», а самые завзятые из них — тоже не шибко приобщенные к культуре неофиты, горячие схоласты, потом честно словившие себе шею в разных оппозициях, которым Луговской не симпатизировал. Ехидство его интонации явно относилось к этому. Впрочем, этот разговор был и прошел.

Вряд ли Луговской так уж заикливался на этих «мальчишках», он и вспомнил о них только затем, чтобы уколоть меня. Я это понимал. Но понимал, что он их именно припомнил, а не просто выдумал. Видимо, я уже тогда, если не понял, то почувствовал, что такая проблема существовала для многих — причем для таких людей, которые антисемитизмом никогда не грешили. То есть существовала в «нашей жизни». И хотя внутренне я потом довольно долго относился к Луговскому достаточно плохо (о чем теперь сожалею), эту его фразу никогда не ставил ему в счет. К ней я отнесся просто, как к информации.

Думаю, что его страх, а от этого и раздражение, вызывало не ко времени размашистое мое поведение. Особенно после того, как я почувствовал себя не враждебным ходу вещей, а своим в доску. Конечно, «прозрев», я ничего крамольного вроде не говорил, ибо не думал. Но сам интерес к этим темам и их обсуждение (хотя бы в связи со стихами)

был опасен. Дело было не в том, что я «неправильно» отвечал на вопросы современности, а в том, что вообще возникли эти вопросы. Видимо, считалось, что настоящий советский человек не объясняет действительность, а не видит в ней проблем, требующих объяснения, — разве что в рамках порученного ему дела. А тот, кто что-то себе и другим объясняет, уже по одному этому подозрителен. Безусловно, Луговского пугало то, что я вижу проблемы, о которых не принято говорить (точнее, отказываюсь их не видеть), но, вполне возможно, раздражало и мое приятие их — во всех тогда было намешано много всякого. Тем не менее Владимир Александрович Луговской был поэтом — пусть со многими отклонениями, отказами от себя и т.д. — в нашу страшную, запутывающую людей, сбивающую с ног и с толку эпоху не потерявшим себя до конца. И еще в конце жизни — создававшим подлинные произведения. Мне повезло, что я с ним общался. Я не знаю, чему именно я у него (или у Светлова, или у кого угодно) учился и научился. Но просто эти люди были рядом, писали, думали, разговаривали — и эстафета передавалась.

Из этого, конечно, не следует, что эта передача эстафеты была осознанной и плавной. Эпоха была мутной, все реальности и реалии спутанными. Не все передающие точно знали, что хотят передать, а перенимающие — что из перенимаемого действительно ценно, что в нем суть, а что — упаковка. Но в конце концов что-то оседало и ценное — что осозналось потом. Для меня очень часто через понимание поэзии, которое опережало общее мое развитие. Это понимание выковывалось тоже не только наедине, но и в разговорах со старшими и с друзьями.

Конечно, жил я не одиноко. Об общих отношениях с товарищами я уже писал. Но были у меня и более тесные. На курсе я с первых дней подружился с Игорем Кобзевым и Максимом Калиновским (Джежорой). Потом я более тесно дружил со вторым, но никогда не прерывал своих отношений и с первым. Многим сегодня моя дружба с Кобзевым — даже тогдашняя — кажется странной. Для них он — воплощение бездарности. Чуть ли не антисемит. Но ни антисемитом, ни бездарью он не был, стихи его в юности были талантливо и многое обещали. Конечно, он был «предан без лестии», но кто тогда не был таким? Он хорошо

учился, живо воспринимал то, что говорили на лекциях наши замечательные профессора. В отличие от меня. От чего я в своих собственных глазах отнюдь не выигрываю.

Мы часто бывали у Игоря дома. Жил он у тети с дядей военным, вскоре военным пенсионером, в большом угловом доме в самом начале Яузского бульвара, короче, на Воронцовом поле. Дядя его, по-видимому, был военным еще во время Первой мировой, а в РККА служил чуть не с ее основания. Почему он сделал именно такой выбор, не знаю — тогда этого вопроса я не задавал не только ему или Игорю, но и самому себе. Мне этот выбор казался для порядочного человека само собой разумеющимся и вполне достойным. Сегодня он мне не столь ясен — ведь пришлось воевать против вчерашних товарищей по оружию. Как решился? Или просто плыл по воле волн? Мобилизовали, а дальше работали аккуратность, добросовестность и исполнительность? Не знаю.

Так или иначе, а его дядю, как и тетю, я и в воспоминаниях воспринимаю людьми добрыми, порядочными и вообще достойными. Удивляла нас всех, заинтриговывала и забавляла только дядина пенсия. До того времени пенсии в стране (кроме, может быть, персональных) были чисто символические — существовать на них было невозможно. А эти, которые вдруг стали положены военным в отставке, были настоящими, даже крупными. Кроме того, отставники получали право на земельные участки площадью до двух гектаров.

Видимо, Сталин хотел создать новую точку опоры — нечто вроде своего военно-служилого сословия. Попытка была нелепая, ибо пирамиду не создают ни с вершины, ни даже с середины. Да и анахронизмом это было, как раздельное обучение в школе — сословность переставала работать и мешала развитию страны еще задолго до революции. Теперь же на поверку она была только декорацией, как «музейный палаш на бедре» самого вождя (В.Боков). Понимал ли я это тогда? Понимал. Но полагал, что раз это делается, значит, без этого никак не обойтись. Хотя сословность во имя революции, солдаты революции, превращаемые в сословие, — все это немного и смущало.

Но нас развлекало не это несоответствие (и не такие принимали), а экзотика — то, что взрослый мужик может

оставаться дома, не ходить на работу. Игорь рассказывал, что и самого дядю это не то что смущало, но по новости положения он не знал, куда себя деть. Гулял, встречался с такими, как он сам, отставниками, обсуждали свои дела, завидовали тем, кто нашел себе занятие. И не приходило нам — а может и им самим — в голову, что удивительно не то, что пожилые военные получают пенсии, на которые можно жить — это как раз естественно, — а что мы этому удивляемся. И что это — привилегия, что все остальные старики (в том числе наш С.К.Шамбинаго) ее лишены. Привыкли мы к тому, что вся страна работает на износ, и принимали это за норму. Впрочем, «свои» старики — люди, постаревшие на ее службе, появились у советской власти тогда впервые. До этого все старики у нее были «старорежимные», и за них (таких, как наша симская «немка» или даже профессор Шамбинаго) ответственности она, как мы видели, вообще не чувствовала.

Отец Игоря, тоже участник Гражданской войны, всю жизнь проработал в политотделах железных дорог. В ежовщину арестовывался, прошел через все, через что все там проходили. Но при Берии его выпустили. Он оставался столь же верным, как был до этого. Суммировал он свои чувства к советской власти, связанные с этим печальным фактом своей биографии так: «Целую руку твою, бьющую меня...».

И тогда — особенно тогда — я его понимал. Все мы относились к этому с пониманием и уважением, как к выражению духовной силы, твердости и правильной реакции на «исторические недоразумения». Может быть, у кого-то возникнет желание воспринять его, да и нас вместе с ним, иронически — пусть наслаждаются, — я к этому человеку и к его трагедии иронически не относился, не отношусь и сегодня. Отец Игоря, как мне кажется, был более простым человеком, чем его дядя и тетя, но вполне честным. А то, что его честность и энергия — лучшие его качества, ушли не на то — не его вина. Это часть исторической трагедии его страны.

В этой обстановке Игорь жил и воспитывался. И вырос он человеком вполне честным и преданным, но слишком советским, не терпящим отклонений. Помню, как после того как мы выслушали текст «секретного» доклада Хрущева на XX съезде, он сказал: «Чем же теперь жить?» Руши-

лись для него не только политические иллюзии, рушился мир. Но это было в 1956-м, когда я вернулся из ссылки, а он давно закончил институт. А в институте по нашему тогдашнему (особенно Максима) представлению он был просто слишком правильным. Недостаток этот понимался нами отнюдь не в политическом, а только в поведенческом смысле. У нас с дисциплиной (посещение занятий и пр.) отношения были весьма неформальные, а он этого не терпел. В принципе он был даже прав, но нас это не волновало.

В конце концов Игорь стал секретарем комитета комсомола. Не думаю, чтобы он был карьеристом. Но раз его выбрали, он выполнял свои обязанности как следует и в этом качестве тоже чего-то строго от нас требовал, в связи с чем Максим напоминал: «Видишь! Я ж тебе говорил!» Что это была служба мертвечине, а обязанности в целом мертвящие, не понимали тогда и мы. Но, вероятно, мы что-то и тогда чувствовали, хотя предпочитали этому не иную систему взглядов, а просто некоторую божественность, весьма поверхностную, но все же. Так что конкретно он и не всегда был неправ — требуя посещения лекций и более честного отношения к занятиям. И только из-за этого, а отнюдь не по политическим причинам, близость наша разладилась. Но хорошие отношения с ним у меня сохранялись всегда, хотя и прошли через нетривиальные испытания. Впрочем, о них — в свое время. Сейчас речь о самом начале нашего знакомства.

В то время отец Игоря работал в Центральном доме культуры железнодорожников (ЦДКЖ). Чуть ли не его начальником. Благодаря ему мы попали на один из первых концертов только что вернувшегося в СССР легендарного Вертинского. Концерт этот произвел на меня неизгладимое впечатление — прежде всего полным внешним несоответствием артиста и аудитории. Помимо тех, кто помнил его с молодости, — а их тогда еще было много — зал наполнила послевоенная публика: юные лейтенанты, стосковавшиеся по нормальной жизни, молодые женщины и девушки с их трудными судьбами — прибавить к этому общую несытость, неустройство быта, привычное отсутствие нарядов. А на сцене на высоких каблуках стоял изящный, роскошно по нашим тогдашним представлениям одетый, пресыщенный всеми радостями бытия человек и томным голосом выводил:

— Как хорошо без женщин!..

И тем не менее его поняли, успех был оглушительный — видимо, культурная связь эпох все равно никогда не прерывалась.

Станным городом была в это первое послевоенное время Москва, столица страны-победительницы. Думаю, что строчки Бродского из очень хорошего стихотворения о похоронах маршала Жукова:

Храбро врывались в чужие столицы
И возвращались в страхе в свою.

— относятся не только к генералам, как буквально в стихотворении, а и к солдатам всех чинов и должностей. Да и не только к солдатам — хоть остальные никуда не врывались и ниоткуда не возвращались. Была некоторая полетность в радости победы, ощущении правоты (да, да, правоты — отчасти ложной, согласен — но ведь перед Гитлером мы и были правы) и в то же время в самом этом полете неосознанная робость — боязнь перейти за необъявленные, нечеткие, но обязательные и вроде бы даже по общему пониманию освященные пределы. Страх был еще и духовный. Но не только. Одно набегало на другое и смешивалось с ним, превращаясь в нечто мутное, нелегальное. Страх, в котором опасно было признаться незнакомым (ибо что ты утаиваешь, раз чего-то боишься?), а подчас и самому себе — словно впрямь ты в чем-то нечист перед чем-то высоким. Последнее относилось ко всем молодым «советским» поколениям, которые, действительно, шли «в гуманисты в сорок пятом» (Д.Самойлов), но которые еще не осознали, что с коммунизмом, а тем более со сталинщиной, несовместима никакая гуманность — а только с ней и ассоциировалось в нашем сознании понятие «гуманизм».

Впрочем, все это было подспудно. В повседневной жизни нашей тогдашней компании страх заметной роли не играл, мы о нем не думали — ни Игорь, ни Максим, ни даже я. Во всяком случае на поверхность сознания он не всплывал. Да и время еще было такое — либеральное, — когда могло казаться, что, если ты предан строю, то тебе ничего не угрожает. Все они знали мои стихи, от которых я, правда, тогда отказался, но им читал. В качестве наследия «проклятого прошлого», но читал. И никто особой беды (той, что последовала) от этого не ждал.

Это была наивность — реально такого «либерализма» при Сталине никогда не было. Именно в это время, когда мы с друзьями были по-юному счастливы, переживали период становления, в нескольких кварталах от нас по наущению Сталина пытали генерала Крюкова (жену его, знаменитую певицу Русланову, тоже прихватили) с целью добыть компромат на маршала Жукова (генералиссимус не хотел делить с ним лавры победителя) — вообще существовала потусторонняя лубянская повседневность. Мы не знали.

Конечно, несколько удивляло, что Жукова убрали из Берлина в Одессу, сообщив об этом между делом таким тоном, словно никаких объяснений здесь и не требуется. Это было странно. Волнующий теперь многих вопрос, стоит ли чтить Жукова (думаю, что все-таки стоит), тогда никому в голову не приходил. Ни у кого из нас, и в первую очередь у наших фронтовиков, репутация Жукова сомнений не вызывала. Да ведь и не за безжалостность к солдатам пинал его Сталин! Такое обращение с самим Жуковым — пусть неосознанно и часто против воли — царапало. Подавлялось, но царапало.

Царапины эти как бы забывались, но все равно оставались, напоминали о бессилии, оседали на дне души несознаваемой тяжестью. Эта тяжесть и стала для многих нормой жизни, определившей их поведение. На это работала и армейская привычка не обсуждать приказы и действия командования. Правило это, для войны и армии необходимое, сильно тогда помогало генералиссимусу и мешало жизни. Это была обстановка, в которой жил народ-победитель. Она была чревата многим, что потом случилось. Но мы ее старались не замечать или «объяснять» (оправдывать). Нам было по восемнадцать—двадцать, мы (в том числе и такие, как я, не нюхавшие пороха) прошли через невероятную войну и хотели жить. И дружили.

Дружил я, как уже говорилось, не только с Игорем, а и с Максимом Калиновским. В институте он существовал под именем Максим Джежора, а печатался потом под именем Геннадий Калиновский — причем как будто ни то, ни другое не было псевдонимом. О сложности своей фамилии, а также происхождении и национальности он рассказывал часто и очень интересно, но за много лет я так и не смог это усвоить. М.А.Светлов, однажды выслушав его родос-

ловную, где были пленный француз, поляки, белорусы, чехи и кто угодно, произвел в уме некое электронное вычисление и выдал результат: «Значит, ты серб!» Сербская кровь — едва ли не единственная, которой не было в перечне моего друга, — была получена Светловым аналитически, как среднеарифметическое. Родом он был из какого-то маленького приднепровского городка в Белоруссии. Кажется, Кобрин. Помню, что городок этот был на самой границе с Украиной, и я его легко находил на карте. А вот сейчас не нахожу — ни на одной карте его нет. То ли переименовали, то ли затоплен каким-то северным отрогом пресноводного «Киевского моря», то ли я путаю название. Есть в Белоруссии и другой Кобрин, но тот не на Днепре, а между Минском и Брестом. Ума не приложу, куда этот девался. Во время войны Максим партизанил, потом был в армии, был ранен. Ходил он поначалу в какой-то куртке с башлыком, был очень красив, даже эффектен, пользовался успехом у женщин.

Вот, кажется, и все неважное о Максиме, что я помню.

Максима я всегда любил, моя дружба с ним прошла через многие, в том числе, как и в случае с Игорем, и через не совсем тривиальные испытания (о чем тоже — в свое время). Я очень виноват перед ним. Когда началось мое предотъездное сумасшествие и я начал вращаться среди людей, пусть часто вполне достойных, но почти всегда не очень мне близких (лишь бы как-то связанных с эпопеей отъезда), он был уже очень болен и просил навестить его. Я, конечно, собирался это сделать, но слишком завертелся в этой изменчивой эфемерности. Теперь и не поймешь, с чего это я так? Ведь отъезд в эмиграцию (в котором я вовсе не раскаиваюсь — тогда я не мог иначе) не только никогда не был, но даже и тогда не казался мне моим звездным часом. Но так или иначе — я так и не собрался к нему зайти — даже попрощаться. Уехал я не простившись, и это уже не поправишь — он вскоре умер.

В институтские годы Максим писал стихи. По-моему, хорошие. Хорошими стихами он был представлен и в литинститутском сборнике, вышедшем, когда я был в тюрьме или уже в ссылке. Но когда я вернулся после смерти Сталина, он уже был прозаиком. В самом этом факте нет ничего удивительного — многие прозаики начинали со сти-

хов. Но в данном случае мне жаль, что это вышло именно так. Как поэт, он гораздо больше обещал — не только мне, но всем, кто его слышал. А проза... Что ж, проза его была вполне добротна. Чутьочку романтична, к чему он имел естественную склонность (вероятно, от поэзии), он выжимал максимум возможного в пределах навязанных норм «бесконфликтности», вне которых существование в литературе в последние годы жизни Сталина было невозможно, не лгал. Но выше добротного среднего (для тех времен высокого) уровня эта проза не поднималась. А стихи — и те, что уже были при мне, и те, которых, судя по ним, можно было от него ждать, — поднимались. По-моему, они были более соприродны ему, проза их только заменяла.

Почему он перешел на прозу, я могу только предполагать — почему-то мы об этом ни разу не говорили. Думаю, что в какой-то момент его соблазнили некоторые возможности, с ней связанные. Можно было ездить по экзотическим местам, встречаться с интересными людьми, писать их на фоне этой экзотики. Получалось интересно, нелживо и искренне — к таким людям его и без того всегда тянуло. Исчез только — и то частично — тот обобщенный взгляд, который был в его стихах и без которого поэзия невозможна. Но сейчас я пишу о Максиме не 1953 года, когда он уже давно писал прозу, а 1945-го, когда он о прозе еще и не думал, когда мы все на прозу смотрели несколько свысока: в духе строк из пастернаковского «Спекторского»:

За что же пьют? За четырех хозяек,
За из глаза. За встречи в мясоед.
За то, чтобы поэтом стал прозаик
И полубогом сделался поэт.

Восприятие часто — особенно в юности — зависит от состояния. Я тогда не замечал (думаю, что и другие тоже) в последних двух строках этого четверостишия той иронии, которой они явно пронизаны и которую предыдущие две его строки вполне готовят и определяют. И именно потому, что у нас в юности была приблизительно та же нетрезвая шкала ценностей, что и у подвыпивших гостей из пастернаковской поэмы.

С Максимом мы проводили вместе много времени, вместе заводили знакомства — часто очень интересные. Пили, как уже видел читатель, вино и водку («для славы — не

потому, что хороша» — по Твардовскому), готовились к экзаменам и пр., и пр. Думаю, что он не раз появится на этих страницах.

Упоение у бездны-2 (Дружбы, взлеты и падения послевоенных сороковых)

Наиболее яростные из нынешних (середины девяностых) хулителей поколения шестидесятых относят и меня к этой хулимой ими группе. Ничуть не стремясь отвести от себя «причитающуюся» мне часть этой пропагандной хулы и вовсе не отмежевываясь от других шельмуемых «по этой статье», среди которых много весьма достойных и любимых мной людей, я тем не менее в интересах истины (а иначе нет смысла писать такие мемуары) — должен сказать, что всегда ощущал себя человеком не шестидесятых, а сороковых годов.

Мое становление и мое неприятие сталинщины связаны не с «оттепелью» 1955—1965 годов, не с разоблачениями XX съезда КПСС, а с временами более ранними. И происходило в менее инфантильной форме, чем потом давались объяснения. Я знал, что Сталин не только нарушал «ленинские нормы» и отходил от «нашего великого мировоззрения», как признал съезд, а и вообще растоптал всякое подобие мировоззрения. И то, что через год после съезда я отверг и само это мировоззрение (в «истинном» и «чистом» виде, в рамках коего я до той поры существовал), не имеет никакого отношения к тому, что говорилось на съезде. Это не значит, что этот съезд не имел никакого значения для моей судьбы. Имел, и колоссальное — хотя общество не было освобождено от принудительной инфантильности, все же часть того, что я думал (еще веря в коммунизм), стало возможно произносить громко, я стал полупегален.

Но это было в середине пятидесятых, а сейчас речь идет о середине сороковых. Десять лет вообще большой срок, а эти — и говорить нечего. До выхода к какой бы то ни было ясности мне при всей моей относительной трезвости было еще очень далеко. Вспоминать мне этот период своей жизни

во многих отношениях неприятно. Хотя речь пойдет о проблемах творчества, а при всей моей общественной заряженности мои представления о поэзии всегда сохраняли некоторую автономность от моих иных взглядов, как бы горячо я их ни исповедовал. Нельзя сказать, что они вовсе не действовали на меня, но в целом в этом смысле я развивался свободно. Но только очень — «в целом». Ненужных (не только по теме) — скажем так — стихов я написал тогда много.

Рассказывая в предыдущей главе о своем друге Максиме в связи с тем, что он из поэта превратился в прозаика, я мимоходом заговорил и про необходимость для поэта обобщенного восприятия — этого требует любое искусство, а уж поэзия наиболее прямо и непосредственно.

То, что люди этой проблемы не замечали, что о ней приходится напоминать, всегда меня удивляло. Ибо голос поэта, который в процессе чтения становится голосом читателя, при всей субъективности содержит и некую объективацию, обуславливающую и оправдывающую такую возможность. Это частное переживание должно быть таким, чтобы в нем попутно раскрывалось то, что задевает ценности, важные для всех, то, чем эмоционально дорожат все — даже те, кто именно того чувства, которое вызвало к жизни стихотворение, сам никогда еще не испытывал и в такую ситуацию не попадал. Если же стихотворение нас заставляет чувствовать то, что нашей душе ничего не открывает и приобщение к чему не приносит никакой радости (скажем по-старинному — не возвышает) — такое «самовыражение» при любом мастерстве и выразительности не «окупается», даже если нечто подобное в жизни читателя было. Впрочем, напоминание о пережитом тоже трогает, но переживание это замкнуто в себе, связано не со стихами, а с самим фактом, и не имеет ничего общего с эстетическим наслаждением.

Голос поэта — голос личности. Значит, человека, осознавшего себя самим собой по отношению к другим людям, к миру, к жизни. Естественно, к современным людям жизни и миру — с другими он дела не имеет. Личности свойственно свое личное представление о них. Личное! Независимое! И эта независимость ощущается в стихах, даже тематически абсолютно нейтральных к будоражащим острым

проблемам современности. Она проявляется во всем, в самой тональности голоса, в звучании стиха.

И как ни странно, начальством, ни уха ни рыла в искусстве не смыслившим, это тонко воспринималось. Независимость и самостоятельность, звучащие в голосе, оскорбляли его почти иррационально при любом приятии действительности и не допускались. И вычеркивались. Вычеркивающие чаще всего мало что понимали, но интуитивно со своей убудочной точки зрения были правы (впрочем, иногда это делали и те, кто понимал, но вынужден был служить, а значит, и чутко улавливать иррациональную логику подобных «веканий»). Как?! Кто-то на глазах у людей «берется» определять что бы то ни было самостоятельно, а что бы это ни было, это вопросы взаимоотношения его с мирозданием, а опосредованно — и с современностью, и все это — самостоятельно! То есть с тем, о чем сам запрещающий и помыслить не посмел бы! И поэтому как бы вдохновенно автор ни принимал политику партии, за ним все равно ощущалась и возможность иного решения — в то время как на это, как и на все вопросы бытия, уже существовал обязательный ответ, который должен был приходиться в голову раньше вопроса. Подтверждать этот ответ самостоятельно была такая же дерзость, как и отрицать его, что, конечно, тоже было немислимо для запрещающего.

Ответ этот был примитивный и фальшивый, требовавший для своего принятия добровольного согласия на инфантильность. Чаще это согласие бывало подсознательным, ибо в своих частных делах и соображениях человек инфантильным не становился. Подсознательное это согласие было не инфантильностью, а вполне взрослой психической самозащитой. И тем более опасным для духа это было. По-настоящему инфантильным (и трагическим) здесь было только то, что многие при этом всерьез ощущали себя поэтами, философами, историками и т.п. Да ведь и бывали — когда творческая стихия выносила их за пределы этой клетки.

На это многое навертывалось. Ведь об особенности поэтической речи говорили тогда, как и теперь, почти все. Это как бы связывало тогдашнюю литературную молодежь с традицией Серебряного века и «легендарных двадцатых». И в конце концов сводилось к известному речению: *важно не «что», а «как», и к «тропам», именуемым «образами»* (а

умение все это употреблять — «мастерством» или даже «владением формой». Это всегда многих соблазняет. Тогда — локально в первую очередь — многих фронтовиков. Это помогло фиксировать впечатляющую и без того страшную и героическую «правду о войне», конкретные и замкнутые на самих себе переживания на грани жизни и смерти. И при этом обходиться без общей «правды о жизни», то есть без свойственного каждому настоящему художнику, хотя и проявляющемуся часто только исподволь общего взгляда, общего «образа» жизни, образа всей жизни в целом. Но без этого обходились.

К переживанию, реальному, острому, но чаще неличностному (с отсечением всего, чем жил автор — или, как тогда говорили, «лирический герой» — до ситуации, вызвавшей это переживание), применялось «мастерство» «художественной» обработки, и все как бы было в ажуре. И стихи получались вроде искренние — и на жизненном материале. Но скоро я заметил, что в этом не всегда есть «еще что-то», без чего нет поэзии. Причем касалось это не только самого момента творчества, а и того, что было до этого — полноты правды жизни, над усечением восприятия которой подсознательно работали до этого. А ведь поэзия только и может проявляться, как ответ на эту правду. Разумеется, поэзия к этому (к осознанию правды жизни) не сводится, но без этого не обходится. Конечно, этому самообольщению всемерно способствовало и распространенное в литературных кругах более кардинальное заблуждение — то, что средства выражения мыслились как средства охудожествления или поэтизации.

Ясно, что до требования обобщенности речи эта, не слышащая саму себя «мысль» не доходила, словно и без нее мышление о творчестве остается естественным и содержательным, и все это закономерно. Конечно, люди выросли и умнели — даже тогда, но далеко не все, и с этим заблуждением я вел отчаянную борьбу, даже стоя на «правовверных» позициях. Необходимость обобщенного отношения к бытию неотменима при любых общественных взглядах художника.

Но это ведь проявление прямых взаимоотношений поэта и бытия — что не столько было запрещено, сколько вообще было немыслимо. И потому вычеркивалось. О необ-

ходимости самостоятельно оценивать современность не могло быть и речи, требовалась, а фактически декретировалась инфантильность. Как же тут могла не раздражать естественность самостоятельного (а значит, и независимого) голоса настоящей поэзии?

Проза, особенно военная (Панова, Некрасов, Казакевич и др.), и тогда еще могла кое-как выкручиваться, а в поэзии состоялся только Симонов (явление яркое, но второго порядка, приблизительное) и (поскольку, как уже сказано, по ошибке был поначалу принят за русского Джамбула) Твардовский. Впрочем, замечательную и трагическую его поэму «Дом у дороги», дав ей сгоряча Сталинскую премию (правда, и сгоряча — только второй или третьей степени), потом и вовсе «раскритиковали». Хотя никакой крамолы она не содержала. Почувствовали чужое, взрослое.

Проблема эта, как видите, шире перехода Максима на прозу, чем бы этот переход ни объяснялся — тем более, что во время нашей совместной учебы в Литинституте, когда наша дружба была наиболее тесной, он еще писал стихи и был одним из наиболее талантливых и обещающих поэтов нашей *alma mater*.

Впрочем, все мы блуждали в потемках. Я, к примеру, очень рано стал понимать сущность поэзии и невозможность ее полного подчинения любой доктрине — даже если автор в ее истинности не сомневается. Но от понимания какой-либо (не говоря уже о полной) несовместимости сталинщины с поэзией (по существу, с жизнью) был тогда, как помнит читатель, еще весьма далек. Хотя на практике, в творчестве, я все время на эту несовместимость напарывался.

Положение мое в этом отношении психологически было трудно. Я жил в окружении людей, писавших стихи, относился к ним по-товарищески, в основном это были люди талантливые, но их стихи чаще всего мне не нравились. Что же мне не нравилось? Написаны они бывали обычно хорошо, отсутствие в них крамольности тоже не могло меня тогда от них отталкивать, свои тогдашние стихи я тоже никак не относил к крамольным. А вот не нравились.

Конечно, не сплошь. Помню, мне нравились стихи Михаила Годенко (потом тоже стал больше известен как прозаик) — крамолы в них и близко не было, но просвечивала

лирическая интонация. Отсутствие «лирической интонации» вовсе не означает отсутствия у пишущего или даже в его стихотворении всякого чувства. Такое предположение, как бы отрицающее в ком-либо самое способность сильно чувствовать, не имеет отношения к делу. За большинством писавшихся и читавшихся вокруг меня стихов, в которых я не находил «лирической интонации», чувство стояло, а часто стоял и существенный жизненный опыт — война.

Но лирическая интонация по существу объемна, она не просто несет в себе чувство, а выражает его как проявление «жизни души», и таким образом связана со всем миром ее представлений, упований и надежд. И — с личностью, в каком бы зачаточном состоянии она ни находилась, — с ее внутренними требованиями к бытию вообще.

Мне в стихах моих товарищей не хватало воздуха. Почти у всех были сильные впечатляющие строки, но почти всегда замкнутые на том впечатлении, о котором повествовали. Не следует забывать, что еще недавно (года четыре назад) писать и о том, что на войне убивают, было признаком «смелости» и «правдивости», что само по себе производило впечатление поэзии. Между тем как средствами поэзии выполнялась прозаическая задача — рассказать, в лучшем случае дать почувствовать конкретную обстановку.

Нет, речь не о рифмованной прозе, против которой бывает нацелено все ученичество — иногда до седых волос. Тут тоже многие запутываются, ибо поэзия может проявляться по-всякому, иногда она принимает вид прозаического изложения сюжета или мысли. «Рассудочности» — обязательно скажут по поводу последней такие «ценители», — а это необязательно: мысль тоже может быть выражением чувства. И вообще определение принадлежности к поэзии по признакам — дело гиблое. Но разобраться с рифмованной прозой сравнительно просто. Такая простодушная имитация творчества была чаще всего, по выражению Бориса Слуцкого, «оборотной стороной ликвидации неграмотности» — другими словами, объяснялась низким уровнем литературной (а иногда и общей) грамотности тех, кто этим грешил.

То же, что я имею в виду — применение средств поэтического выражения (а не только стихотворного размера и рифмы) для решения прозаической задачи, — явление,

весьма далекое от неграмотности. Оно связано с непониманием и инстинктивной подменой иерархии ценностей и представления о высокой сути поэзии. Часто с имитацией: все есть, но все не по делу — не поется, в лучшем случае только читается, а эмоциональные толчки не выходят за границы темы. Конечно, подмена эта бывала чаще неосознанной, но воинственной, все эти «правила» «высокого» вкуса декретирующей. И не попасть в эту струю, противостоять ей было трудно.

И ребята, возвратившиеся с фронта, становились легкой добычей этого облегченного вкуса. Они были переполнены впечатлениями, но все равно границы бытия воспринимались большинством из них как границы интерьера — чаще сталинского, ограниченного представлениями сталинщины. Поэтому, как бы сильно порой ни передавались окопные впечатления, они оставались прозаическим сообщением — поэзия не ощущать потребности в небе, не рваться к небу не может. А какого тебе еще неба нужно, если ты живешь под солнцем Сталина и всех побеждаешь?

Однако вернемся к самому сильному из таких стихов, к гудзенковскому «Перед атакой».

Когда на смерть идут — поют.
А перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою —
Час ожидания атаки.

Снег минами изрыт вокруг
И почернел от пыли минной.
Разрыв! И умирает друг.
И значит, смерть проходит мимо.

Сейчас настанет мой черед,
За мной одним идет охота.
Будь проклят сорок первый год
И вмерзшая в снега пехота.

Мне кажется, что я магнит,
Что я притягиваю мины.
Разрыв! И лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.

Но мы уже не в силах ждть,
И нас ведет через траншеи
Окоченевшая вражда...

Эти первые девятнадцать строчек — сильные и точные. Только самая первая неточна — в таких случаях обычно не поют. Тут поэт отдал дань предвоенной романтической традиции. Стихотворение продолжается, но оно уже перевалило за кульминацию, ему нужен завершающий выход. Этот выход требует общего отношения к жизни, общего ее образа, а этого нет.

Советский человек был по крайней государственной необходимости отпущен в реальность только на время войны, и не так далеко, чтобы воскресить какое-либо отношение к «бытию вообще».

Некоторые гудзенковские товарищи по ИФЛИ все-таки старались выработать это общее отношение, отнюдь не крамольное, но свое. Но они заходили в этом отношении дальше принятого тогда, а это не поощрялось. Гудзенко не заходил. И, как я помню, совершенно искренне — у него и потребности такой не было.

Иногда ссылаются на то, что поэтам необязательно (а то и противопоказано) быть мыслителями, бывают они и чисто чувственными. Кто спорит, бывают. Но личное отношение к бытию тоже необязательно мысль, оно просвечивает и сквозь чувственность, оно есть, например, за каждым стихотворением не только Тютчева, но и Фета.

В это последнее до большевиков, и особенно до сталинщины, никто не вторгался, ибо никто не стремился подменить картину мира в мозгах людей. Впрочем, поэтому до сталинщины выработка или отстаивание этого общего отношения к бытию никогда и не требовали от человека такого интеллектуального и духовного напряжения. Даже в случае полного (и самообманного — иного быть не могло) согласия с властью. Гудзенко таких напряжений не любил, такого отношения не выработал, завершить это стихотворение ему было нечем. И инстинктивно схватился за суррогат — дальше стихотворение движется путем прозы и натуралистической фантастики:

Штыком дырявящая шею.

Бой был коротким. А потом
Глушили водку ледяную.
И выковыривал ножом
Из-под ногтей я кровь чужую.

Я вовсе не пытаюсь выдать эти пять строк за рифмованную прозу. Нет, это стихи. Все элементы стиха не просто присутствуют, а работают, само звучание стиха (фонетика), интонация, рифмы. Рифмы стоят не просто так, а выделяют и отделяют — в соответствии с интонацией. Весь вопрос — на что они работают. А работают они только на то сообщение, которое несут, сообщение совершенно прозаическое — вот, дескать, что было после такого ожидания атаки — истомились и сами озверели.

Теоретически эти строки должны даже усиливать то ощущение противоестественности войны, которым движется стихотворение, но на самом деле оно топчется на месте — эти строки дополняют сказанное прозаическими деталями. Это, конечно, впечатляет. Но впечатляет, как в прозе. Когда нормальный человек выковыривает из-под ногтей чужую кровь — это страшно в прозе. Если подумать, такая деталь может сказать о многом. Но — «если подумать», а стихи вроде совершенно чувственные. Да и сама мысль в поэзии, если она в стихах выказывается прямо (другими словами, органично «выдыхается» стихотворением), действует не через «если подумать». Но здесь эта впечатляющая деталь только замыкает стихотворение на том, что уже сказано, замыкает его на прозе. И как бы сводит все стихотворение к более плоскому звучанию, чем задано его волевым замыслом, началом и течением.

Многие читатели, покоренные всем остальным, конец как бы домысливают или доигрывают. Но мне, наоборот, из-за этого конца оно, как уже говорилось, долгое время и казалось целиком плоским — сильным, но плоским. В этом я был неправ.

Возможно, такие несоответствия я воспринимаю слишком нетерпимо. Но речь сейчас не об оценке этого стихотворения, а о проблеме. Ведь далеко не все стихи о войне имели такие начала или были столь сильными, но почти все, отнюдь не будучи рифмованной прозой, сводились к тому же. Тогдашние, 1944—1945 годов — фронтовые стихи в массе своей не были, не относились к тому, что потом стало называться «поэзией военного поколения».

Некоторые оспаривают это название, называют даже отнесенных к нему узурпаторами. Чаще всего это делается из «патриотических» соображений, поскольку видное мес-

то в поэзии этого поколения занимают Борис Слуцкий и Давид Самойлов, а до войны занимал Павел Коган. Но оснований для «патриотической» тревоги нет — к нему относились еще погибшие Михаил Кульчицкий, Николай Майоров и Николай Отрада, а из выживших — теперь их уже тоже никого нет — Сергей Наровчатов. Из непричастных к этой ифлийской группе (в которой не все и были ифлийцами) я вполне бестрепетно могу отнести к этой формации Михаила Львова и Юлию Друнину. Более опосредованно Евгения Винокурова и Николая Старшинова, хотя по духу оба далеки от «ифлийства».

Но в этот список входят не все хорошие поэты того периода. Например, нет в этом списке Валентина Берестова (он, правда, тогда временно исчез из виду), очень хорошего поэта, с которым я дружил всю жизнь, нет и самого Николая Глазкова. Оставлены только те, для кого эта страшная война была еще и шагом к осмыслению духовной и общественной коллизии, возникшей в нашей стране до войны. Глазков развивался иначе. Он внутри этой коллизии не находился никогда. Грустно отмечаю, что никого из них уже нет.

Конечно, я назвал не всех, кого надо назвать. Не упомянул я, например, Солоухина, который, правда, потом больше прославился как прозаик, — у него до конца жизни бывали пронзительные стихи, не упомянул и многих других. Но я ведь здесь пишу не обзор и не претендую на полноту списка. Кстати, писать этот тогдашний обзор сегодня было бы мучительно. Ведь все это были талантливые люди, в каждом «что-то было» и в то же время далеко не от каждого, в ком «что-то было», что-то и осталось. И отнюдь не всегда это связано с естественным возрастным «отсевом».

Время было более чем «трудновато для пера», оно слишком затрудняло самосознание, превращало его в сложный путь человека к самому себе. И вместе с этим слишком облегчало отказ от этого пути, который выглядел гораздо respectable, чем сам путь. Тем более что выход к себе к тому же — только возможность творчества, а не свершение, только старт, но никак еще не победа. А тут ты начинаешь свершать сразу, и читатель благодарен — ты ведь не врешь, рассказывая о войне, — и начальство к тебе терпимо. Впрочем, последнее до времени. Очень скоро было объяв-

лено: поменьше надо о войне, побольше о наших трудовых буднях, о современности. Такое декретирование застало молодых писателей и поэтов, считавших, что идут в ногу, врасплох, попытались и тут идти в ногу, но успехов на этом пути, на мой взгляд, достигнуто не было. Многих раздавило. Принялись писать лирические, (эмоционально-мастеровитые) стихи на производственные темы. Но за этим превращением я уже мог следить только издали, из ссылки, и как оно происходило в деталях, не знаю. Потом это испарилось.

Перипетии времени, которые потом забывались, смысл которых теперь трудно доступен, запутывали людей и ломали судьбы. Не исключено, что в широком смысле это судьба всех нас — переживания, связанные с перипетиями времени, из которого мы вырывались к вечности и гармонии, могут оказаться слишком специфическими и загубить для потомков наши стихи и наши блуждания. Но альтернатива этому — отказ от себя, инфантильная игра в гения, работающего непосредственно на вечность. Это еще дальше от долговечности. Но это уже о другом. А что касается моих сверстников, о которых я пишу, то жизнь богаче и непредсказуемей любых схем. И как их ни ломало время, как они ни поддавались этой ломке (а я пишу сейчас именно о таких), все равно у многих из них были стихи, в которых они стихийно выражались полностью и из которых я бы сегодня с удовольствием составил антологию поэтов моего и близких ему поколения — антологию стихов, которые эмоционально, читательски существуют и сегодня. Это долг справедливости по отношению не только к стихам, но и к судьбам их авторов, доказательство, что они существовали. Мал выход? Что ж, такие были условия — с малым выходом работала вся страна.

Но пишу я сейчас о своей жизни. Не обходилось без курьезов. О поэтах-ифлийцах я слышал еще до войны в Киеве. А вот о Михаиле Львове получил самое превратное представление в эвакуации. До того как он пошел добровольцем в уральский танковый корпус, он работал в челябинской областной газете (кажется «Челябинский рабочий»), где печатал «дежурные» стихи на случай. По этим стихам я и составил о нем представление. И поэтому, когда он однажды появился на литобъединении в «Комсомолке» (его, ка-

жется, привел Иван Бауков), я, осведомившись, не тот ли он Львов, который печатался в «Челябинском рабочем», и получив утвердительный ответ, без обиняков разоблачительно объявил (тогда разоблачительный пафос был еще мне свойственен):

— Так вы халтурщик!

Началась идиотская перепалка (в основном на тему: «А ты кто такой?»), которая, естественно, ничем завершиться не могла. Но в конце занятий Михаил Львов прочел свои настоящие стихи, несколько не похожие на его газетные, и я был сражен. На следующее занятие — так получилось — мы с ним пришли первыми. И заговорили как ни в чем не бывало. Но все же я сказал:

— Я должен перед вами извиниться... Мне очень понравились ваши стихи. А эти челябинские — ничего не значат. У меня у самого такие были в Симу.

Поразительно, что об этом последнем обстоятельстве в порыве разоблачительного пафоса я почему-то не вспомнил. Так или иначе, но в тот вечер мы последний раз были друг с другом на «Вы». У нас тогда сразу установились дружеские отношения. На всю жизнь. Отношения не очень тесные, но прочные — сблизило нас общее понимание поэзии. Да и жизни. Мы оба тогда не были бунтовщиками, оба тогда принимали свое время, но оба же считали его трудным, сложным и трагическим, требующим от человека силы и мужества — для сохранения личности. Это очень утяжелило мое состояние после ареста — я все равно старался держаться за это декретируемое «мужество», не изменяя вере из-за «неурядиц». И все-таки это что-то мне дало. Что-то за этим стояло и такое, что помогало и потом, когда я вернулся в мир реальных человеческих ценностей.

Конечно, тем, кто издавна помнит Михаила Львова и его стихи, объяснять ничего не надо. Но сегодня, когда приходится специально доказывать молодым людям, что Твардовский не просто знаменитый редактор «Нового мира» (впрочем, для иных и это не заслуга), а прежде всего большой поэт (мне самому приходилось это делать — правда, его стихи убеждали), принимать в расчет Михаила Львова мало кому теперь вообще придет в голову. А зря. Те стихи, которые я услышал тогда в «Комсомолке», живы и поныне. Они тоже были о войне. И о любви к родине. Как и многие. Но — не как многие...

СТЕПЬ (1941)

Березок тоненькая цепь
Вдали растаяла и стерлась.
Подкатывает к горлу степь...
Попробуй, отними от горла.

Идет машина в море, в хлеб,
Солдат открыл в кабине дверцу...
И подступает к сердцу степь...
Попробуй, убери от сердца.

Конечно, это стихи о любви к родине, о тревоге за нее. Чувство извечное, обостряющееся в момент опасности. Но острота этой любви придает им еще терпкий привкус современности. И не только потому, что в других местах такие хлеба уже горели, подожженные войной, а потому, что в нем есть и открытие в себе этой любви. Ведь долгие годы она почиталась чуть ли не неизменной, а потом была заслонена казенным патриотизмом. И вот сквозь это все она вдруг открылась в своей простоте, остроте и высоте. И именно это придает голосу достоверность. Стали ли бы Пушкин или Некрасов фиксировать внимание на том, что в такой момент к горлу подступает степь? Каждый к вечной теме выходит с того места, где стоит, из своей современности, из своего состояния. А стихи потом существуют вне повода, их породившего.

Надо сказать, что к своей современности Михаил Львов относился весьма пристально.

Есть мужество, доступное немногим:
Все понимать и обо всем молчать.
И даже в дружбе оставаться строгим,
И если боль, о боли не кричать.

Автором тогда, безусловно, владели чувства отнюдь не оппозиционные, хотя стихи эти могут читаться и так. Просто потому, что в них есть дыхание жизни, обобщенный ее образ, потому что они реакция на жизнь. «Мужество, доступное немногим» — «мужество» самоотречения, мужество понявших правильность «выбранного нами» пути и согласных переносить все с ним сопряженное: мытарства, несправедливости — все «нетипичное и исторически несущественное» на фоне этих великих и неизбежных свершений.

Конечно, есть в этом пафосе наивная (свойственная тогда и мне) и, объективно говоря, свинская уверенность, что «нас» лично, понимающих «важность целого», жестокие «нетипичные», «не выражающие сути случайные частности» не заденут (из уважения к нашей внутренней силе и сознательности. что ли). Кто был бы (бы!) тогда умнее — пусть наслаждается своим предполагаемым превосходством, а мы — барахтались. В этой связи вспоминается отрывок из какой-то длинной, написанной в эпоху декретируемой «бесконфликтности» и отчасти по ее канонам поэмы об Урале (я ее уже в ссылке читал). Отрывок, для такой поэмы неожиданно пронзительный. Хотя внешне тоже совсем официальный.

Ты помнишь, домну новую пускали?
 Друг друга обнимали, поздравляли.
 Идет чугун! Дорогу чугуну!
 Дорогу в жизнь, в строительство, в страну.
 Идет чугун из домны молодежной.
 Идет чугун, весомый и надежный,
 Дорогою единственно возможной...
 ...И скоро в жизнь отправились мы сами
 Единственно возможными путями...

Не Львова и не моя вина, что и эти единственно возможные пути оказались вообще не путями. Но само это ощущение необходимости пути и трудности его нахождения в атмосфере сталинской прострации было ощущением реальности, было жизнью духа. И как ни иронизируй, все же те, кто барахтался, были живее и выше тех, кто просто тонул в обступавшей его прострации и с ней сливался. Львов не тонул, не сливался, а барахтался. И потому кое-что написал и был поэтом. А интеллектуальные ошибки при нормальном восприятии реальности на истинности поэзии называются не всегда.

Кстати, пафос такого «мужества» поддерживался и свежей памятью о тяжелых, но победных свершениях Великой Отечественной войны, когда тоже с «частностями» не считались (напоминаю: как, почему и насколько не считались — никто из нас тогда не знал и не представлял). Военные образы пронизывают и стихотворение Львова о мужестве, доступном немногим, цитирование которого я на время прервал. Теперь продолжу.

И как снаряд, лететь в сражений гушу,
Чтоб в дальность цели, как в мишень, войти.
Металлу, как известно, не присущи
Лирические отступы в пути.

.....

Так ты пройдешь немедленно и гордо,
Как полководец сквозь железо лет.
И станешь безошибочным и твердым...

Но при всех своих военных ассоциациях эти стихи — не о войне. Они так же пронизаны мужеством самоотречения, но по иному поводу. Дальность цели, куда, как в мишень, должен в конце концов войти снаряд-поэт, ради достижения которой нужно пренебречь всем на своем пути — в том числе собственными эмоциональными и нравственными проявлениями. Это не скопления или укрепления противника, а нечто гораздо менее опасное, но более космическое, что ли. И это так — хотя, если нынче вспомнить о тогдашней реальности, можно и поразиться: о чем речь? Кто и в какую дальность цели запускал тогда такие снаряды? Кто тогда вообще интересовался этой дальностью, чтобы чего-то в нее запускать? Это сами мы себя запускали — и не себя, а свое воображение, так истолковывая имеющие иной, низменный ублюдочный смысл команды и свое исполнение их. Это ли не инфантильность? Спросить могут, но это не «вопросы на засыпку». Неверная оценка политического положения в стране или даже исторического смысла событий, инфантилизмом, о котором шла речь, не являются. Тем более в поэзии.

Если реально воспринята подлинная атмосфера времени и подлиннен поэтический поиск выхода из нее — для поэзии этого достаточно. Инфантилизм, в который нас вгоняли, — это именно игнорирование реальной атмосферы времени, а не необходимость искать выход из нее. Но Михаил Львов при любом своем «созвучии эпохе» почему-то этим не удовлетворялся и искал — он был поэтом. И апогей этого целеустремленного самоотречения, разрядка его, появляющаяся только в последней строке и неожиданная тогда даже для меня (хотя мне и понравилась), странным образом, «от противоположного», подтверждает это:

Но тут уже кончается поэт.

С точки зрения тогдашнего «духа», это было более чем странно. Даже для мысли оппозиционной. Почему ж поэту кончатся, если выполнен замысел? А уж с точки зрения официозной и говорить нечего: как же так «кончается поэт», когда под солнцем сталинской Конституции все только начинается и расцветает! Думаю, что напечатаны эти стихи тогда были по ошибке — обманул (хотя сам автор никого тут обмануть не стремился) военный колорит: металл, снаряд, мужество — начальство мыслило «фонетически» — его успокаивало привычное звучание должных слов. Мои стихи той же направленности, но лишённые этого колорита, тогда не печатались. Но факт остается фактом — Михаил Львов сумел тогда опубликовать ряд хороших и вполне взрослых стихов. И это одно из них.

Дружественные отношения с Мишей Львовым у меня сохранялись всю жизнь. Менялись эпохи, и взгляды наши менялись — и его и мои, — впрочем, не очень отдаляясь друг от друга. А отношения оставались, и оставалось взаимопонимание.

После ссылки мы с ним встретились, как не расставались. Он сильно «продвигал» мою первую книгу в издательстве «Советский писатель», где он тогда заведовал отделом русской поэзии. А это при обилии сочувствующих было все равно совсем непросто. Чтобы усыпить бдительность тогдашней дирекции, договор по моему предложению был составлен так, чтобы показалось, что речь идет не о «сенсационном» авторе, а о каком-то начинающем, которого следует поддержать — гонорар мне был выписан не по рублю сорок, как обычно, а только по рублю двадцать за строку. Видимо, директор издательства небезызвестный Лесючевский моего имени, к счастью, тогда не знал, оно было для него заслонено другими именами, которых тогда ругали. Как и от американских русистов, но это уже не было к счастью.

Впрочем, последнее происходило уже лет через десять—двенадцать после выхода «совписовской» книги, а сама она вышла только лет через двадцать после времени, до которого я пока добрался.

И вспоминаю я сейчас о взглядах Львова и моих, какими они выглядели в середине сороковых, а не потом. Хотелось бы, конечно, выглядеть и тогда чуть умней, но — не выглядели. Однако мне не кажется, что те, кто совсем не думал или старался не думать, выглядели достойней.

Примерно в то же время установились у меня дружеские отношения и с Сергеем Наровчатовым. Тоже не слишком тесные, но дружеские и тоже продолжавшиеся всю жизнь — до моей эмиграции.

У многих представление о Сергее Наровчатове установилось стойко отрицательное. Оно вроде не лишено оснований, ибо связано с постами, которые он занимал в 1960—1980 годы, — не самые кровавые, но все же тоже не слишком почтенные годы советской иерархии. С этим связаны некоторые его действительно прискорбные выступления и высказывания, которые многим памятливы и его не красят. Да и что греха таить — и многие стихи «правильного» направления, мастеровитые, но мертворожденные, за которыми не ощущается никакой внутренней потребности их появления на свет. Поэтому иногда некоторые недостаточно компетентные, но вполне тенденциозные критики даже поминают его имя, перечисляя бездарных стихотворцев, существовавших только благодаря поддержке власти. Но это абберрация. Скорее, все было наоборот. Он был ярко, празднично талантлив, и все кто жил рядом — от Глазкова до Евтушенко — прекрасно это знали, и его роман с властью ему только мешал. И когда будут изданы по-настоящему избранные (значит, строго отобранные) его стихи, в этом убедятся все.

Но прежде, чем перейти к более конкретному разговору об этом поэте, я хотел бы здесь поговорить об одном его стихотворении, написанном в 1946 году и никак не являющемся для него шедевром. По виду, а отчасти по сути это вполне официальное стихотворение. Однако только по виду, а по сути только отчасти. Ибо внутренняя потребность, толкнувшая к его созданию, сквозь него просвечивает — во всяком случае, просвечивала в момент написания, а это не черта официоза. Вернее, я постараюсь отчасти пересказать, отчасти процитировать свою статью об этом стихотворении, напечатанную года три назад в журнале «Литературное обозрение». Ибо в этом стихотворении наиболее ярко выразились соблазны и блуждания, свойственные не одному Наровчатову. Пересказ этой статьи (конечно, и с уточнениями — два года тоже срок) тут тем более уместен, что она уже хотя бы в связи с отмеченным выше носит и автобиографический характер. Главная трудность — избежать повторений.

Обратимся к тексту. Привожу его в том виде, как услышал и в каком оно — в чистом виде — никогда не публиковалось. Вот так оно звучало.

МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ

Наш стаж еще не вымерян годами,
Пять лет от силы — вот он, кровный, наш!
Но он шагал такими большаками,
Где день за год засчитывался в стаж.

Нам партия дала свои начала
И вехи, по которым нас вела,
Рукой отдела кадров записала
Навечно в наши личные дела.

Не раз мы были пулями отпеты,
Но исходив все смертные пути,
Мы с семизначной цифрой партбилеты
Сквозь семь смертей сумели пронести.

И правильность законов диамата
Проверили с гранатами в руках
На улицах Орла и Сталинграда,
На венских и берлинских площадях.

Чужую старь сличая с нашей новью,
Мы, повидав полдюжины столиц,
Узнали цену каждому присловью
Изрядно обветшавших заграниц.

Испытанные партией на деле,
Мы с ней пришли к черте большого дня,
Когда нам приказали снять шинели,
Не оставляя линии огня.

Ну что ж, нам эта формула знакома.
И мы живем уже недель полста
Во власти предписания райкома
И свежего газетного листа.

Но как на фронте, заново и снова,
Мы веруем в свой путь через века,
Как веруем мы в сталинское слово
И в наше — большевистское — ЦК!

Каким бы официозным ни казалось сегодня это стихотворение, оно не воспринималось тогда ни как дежурное, ни как «газетное» — другими словами, оно не было поделкой. Говорю это уверенно. Писать и те, и другие тогда не считалось зазорным. Это оправдывалось следованием Маяковскому и не противоречило представлению о «работе поэта». Но — вот тонкость — своих поделок поэты обычно друг другу не читали. А Наровчатов мне эти стихи прочел, и, более того, я их одобрил, еще и запомнил; могу добавить, что поделкой, тем более бездарной, они и теперь не выглядят.

Для проверки недавно прочел я их своим более молодым приятелям, людям иных поколений, не имеющим моего опыта. Спросил о впечатлении. Они стали в тупик. Все в этих стихах им было чуждо, и все-таки они признались, что они отмечены какой-то странной для них искренностью, иными словами, что рождены они некой внутренней потребностью, которой они сами не испытывали, даже не понимали, но все же чувствовали ее присутствие. Такая странная искренность в этих стихах, безусловно, есть.

Так что неудивительно, что в 1946 году, за год или меньше до моего ареста, когда Сережа Наровчатов мне его прочел, оно понравилось мне. Правда, как уже сказано, нравились мне и другие его стихи. Но эти другие нравятся мне и теперь, а это умерло вместе с тем временным заблуждением, которое выражают. И сейчас они меня интересуют только в историко-культурном плане — как фиксация момента психологического и идеологического состояния тогдашней молодежи. Ибо об этом моменте я теперь и пишу.

Понять, почему мне эти стихи стали неблизки, — несложно. Как ни рассуждай о полной независимости поэзии от злобы дня, я сегодня просто не в состоянии идентифицировать себя с их пафосом. Конечно, эта потеря близости — свидетельство и художественной недостаточности произведения. Ибо способность произведения становиться близким и не терять эту способность под действием времени — серьезный критерий его художественной подлинности. Так что объяснить мое нынешнее к нему отношение — нетрудно. Труднее объяснить, почему они мне нравились тогда. И почему мне его тогдашнее приятие давалось так легко и просто, даже радостно. Хоть я и тогда уже был читателем

искушенным. Но это стихотворение тем для меня сейчас и интересно, что помогает воскресить дух невыносимо тяжелого, душного, неправдоподобного, но при всем этом как бы промелькнувшего времени, дает почувствовать его изнутри. Ведь написано оно тогда, когда и в голову никому не могло прийти, что оно — промелькнет.

Почему так обрадовали меня тогда эти стихи? Причин на это было две. Первая, что в отличие от тогдашних военных стихов большинства его и моих сверстников (разница в шесть лет в таком возрасте существенна, но тут она сглаживалась) это стихотворение имело под собой не только эмпирическую основу, что меня тогда, как я не раз писал, никак не устраивало, а и некое общее отношение к жизни. Это аспект эстетический. Во-вторых, мне был важен сам характер этого отношения к жизни — это уже критерий не чисто эстетический, а историко-культурный, что ли... Но о нем чуть позже...

Мое неприятие военной эмпирики справедливо только в отношении поэзии. Против «окопной правды» в прозе я ничего не имею. В прозе «окопная правда» — это правда о человеке на войне и о самой войне, а часто и о более широких пластах нашей жизни. Наша «военная проза» — яркое тому доказательство, она проникала в частности окопной жизни, и они привели ее к самым большим обобщениям и откровениям. Но в поэзии путь к откровению короче и прямой, ей нельзя увязнуть в подробностях, если эти подробности не работают непосредственно (в прозе они вполне это могут делать и опосредованно) на главный замысел, на выход к откровению. Это никак не запрещение темы. Правдивые поэтические строки, посвященные «бою в болоте», есть у Твардовского в «Теркине», но это стихи, написанные талантливым, совестливым, проникновенным, но никак не «окопным» человеком, взгляд — не из окопа. Употребив термин «окопный человек», я отнюдь не имею в виду биографические обстоятельства — не того, кто вытерпел окопную страду, а того, кто и в поэзии ограничил ею свой мир. Так же я отношусь и к лагерной поэзии. Поэзия — даже трагическая — требует большего простора, какого-то общего ощущения жизни и ценностей, общего «требования от бытия смысла и красоты».

А стихотворение Наровчатова по-своему (а тогда и по моему) прямо отвечало этому требованию. Только, к сожа-

лению, этим общим «небом» для него, как и для меня, как и почти для всей интеллигентной молодежи того времени была верность коммунизму и традициям революции (в нашем, конечно, тогдашнем представлении о них). Вероятно, с точки зрения «современного» человека — прельститься клятвой верности коммунизму совершенно невозможно. Ведь о нем теперь «все знают», что это чушь собачья! Даже разговаривать неудобно. Все так. Но тогда была другая «современность» и такие же «все» так же точно «знали» совершенно противоположное. От такого «знания» и приходится мне себя отстаивать всю жизнь на всех материках. И везде это не сахар.

Более искушенный может заметить, что в этом стихотворении коммунизм сильно пахнет сталинщиной. И, действительно, — «как веруем мы в сталинское слово» — выглядит казенной клятвой сталинщины. Однако не торопитесь судить. Я, например, таких клятв не помню. Помню, как клялись именем вождя, в преданности вождю, но вопрос о вере в его слово как-то не возникал. Ибо это не то, что само собой разумелось, да и не требовалось — требовалось поклонение. Впрочем, «сталинщина» эта сохраняется только в моем цитировании. Это слово здесь дано курсивом, как восстановленное. После XX съезда автор заменил его на «ленинское».

Отчего стихотворение, как это ни парадоксально, уже не только выглядело, а и впрямь становилось казенным. Ибо слово это тут не несет никакой эмоциональной нагрузки. Чего вдруг молодому коммунисту, пройдя войну, говорить о вере в ленинское слово — она давно формально входила в идеологический комплекс и неформально в легенду. В это слово и так тогда верили (плохо, правда, зная, в чем оно состоит). Оно не было проблемой (стало ею много позже), и его не с чего было утверждать. Правда, Сталин ревниво следил за тем, чтобы с «ленинским» не перебарщивали, но «ленинское» появилось после смерти Сталина, и смысла утверждать «ленинское» уже не было.

Между тем стихотворение всем своим строем — утверждает. Утверждает — с тем и было создано — веру. Точнее, наличие, осознанность, свободный выбор именно этой веры — «в свой путь через века» и не в ленинское — пусть великое, но ставшее реликвией, — а именно в сталинское

слово, которое существует рядом и может прозвучать в любой момент. Это вера не в предмет веры, а в самый факт ее существования, в то, что ее носитель знает, что она имеет основания существовать и что руководит его поступками и жизнью именно она, а не только оглушенность тупой пропагандой и страхом. Что он живет в атмосфере собственной веры, а не тотально насаждаемой прострации, как было на деле. Ведь она, как не раз здесь говорилось, не была даже коммунизмом.

Увидеть в навязанной прострации, от которой все равно никуда не деться, смысл — хотя бы коммунистический — хотелось многим. Наровчатов и удовлетворил этим потребность этих многих, и свою собственную. И сделал это искренне. Только подсознание сопротивлялось, точило. Но стихи как раз и сопротивлялись подсознанию — интуитивному знанию. Из этого и рождался тот пафос, искренность которого почувствовали мои молодые друзья. Как это ни странно, смысл — ограниченно-поэтический тогда и, главным образом, историко-психологический сегодня — это стихотворение имело и имеет только в том случае, если слово, в которое «мы веруем», было сталинским. Трагическая судьба этого стихотворения определяется тем, что оно отчасти остается эмоционально-понятным — все-таки написано всерьез талантливым поэтом, — но потребности в его понимании у непримечательных нет, а сопереживание радости не приносит. Приносил только в историческом микроинтерьере. Чем вообще была (а может, и поныне остается?) чревата наша судьба.

Но поскольку я коснулся «исправлений», надо довести дело до конца. То, о чем только что говорилось, — главное. Отмечу уже и все остальные. Их немного. Было почему-то выброшено предпоследнее четверостишие и усечена последняя строчка. Смысл выброса мне непонятен. Может, с точки зрения начальства романтичность жизни «во власти предписания райкома и свежего газетного листа» выглядела излишней — оно привыкло к воспеванию своей мудрости, а не романтичности (но тогда почему осталось «когда нам приказали снять шинели» — хватило б и «разрешили»). Усеченность последней строки может быть объяснена и грамматически — «и в наш ЦК» грамматически более правильно, чем «и в наше, большевистское ЦК». ЦК — Централь-

ный Комитет — мужского, а не среднего рода. Но средний род был употребительней и тут звучит естественней, ибо имелось в виду важное государственное учреждение, а не какой-то там комитет.

Но думаю, что причина не в грамматике. Просто слово «большевистское», как оно здесь поставлено и выделено, должно было коробить начальственный слух. Напоминать об иных, не сталинских временах или даже об уничтоженных предшественниках нынешнего руководства... Конечно, это — догадки, хоть и основанные на ощущении атмосферы. А для раскрытия замысла этого стихотворения определение «большевистское» было необходимо. Оно как бы невзначай, но форсированно подчеркивало — для себя и других, — что это сталинское Це-Ка и есть «большевистское». Не знаю, что тут осознал бдительный редактор, но, что здесь что-то не так, он учуял и предложил незначительное исправление-усечение — благо и грамматика была на его стороне. Наровчатов, возможно, и подвоха тут не заметил.

Современному читателю поведение и соображения всех этих людей может показаться бездарной фантазмагорической выдумкой, но это было реальностью. Это было трезвым поведением в условиях той самой сталинской прострации, которую сегодняшним молодым людям столь трудно представить. Все знают, что тогда свирепствовали террор и цензура (хотя не все знают, что, несмотря на существование Главлита, главным цензором был редактор). Но редактора тогда, как мы видели, еще боролись не только с протаскиванием реальной «чужой» идеологии или антисталинских тенденций (такого им никто не приносил, за это полагалась «секир-башка») и даже не с самостоятельно осмысленным притием ортодоксальности, а просто со звучанием, намекающим на возможность самостоятельности. А это уже укладывается далеко не во всякой голове. Эта правда и впрямь неправдоподобна.

Но все это суперпритие сталинщины и на самом деле было попыткой преодоления ее прострации, отстаиванием себя от нее. Нет, не политически, даже не нравственно, а просто как отстаивают физическое существование. Сталинщина была не ложью соблазна или мировоззрения, а именно прострацией, только внушенной. Я сейчас говорю только о духовно-идеологическом ее оформлении, которым она за-

нималась весьма усердно. Для нее, например, ничего не стоило сочетать интернационализм с выселением целых народов и национализм с коллективизацией, напавшей на большинство нации и разрушившей основы национально-го существования, призывы к инициативе с уничтожением организованных до коллективизации «самочинных» колхозов. Противоречий для нее не существовало.

Чрезвычайно укрепили атмосферу протрации фантастические процессы середины тридцатых. Дело даже не в том, что Сталин грязным способом расправлялся с реальными и мнимыми конкурентами, а в том, что при этом всей стране навязывались примитивно-ублюдочные представления о жизни. Практически каждому было вменено в обязанность быть круглым дураком (или изображать себя таковым).

Из этого положения в рамках коммунистических, конечно, представлений было два выхода. Первый — полное отрицание сталинщины как узурпации ленинизма (страшно подумать, что в иные годы я мог за верность этой идее загреметь в лагерь и там погибнуть, так и не поняв, что это отнюдь не истина). И второй — попытка объяснения и приятия сталинщины со всеми ее преступлениями и гнусностями как необходимого этапа развития революции и диалектического продолжения ленинской идейности. Считаю только нужным напомнить, что — тогда — из представителей новых поколений за рамки этих представлений практически не выходил почти никто.

Перед войной и особенно после победы мыслящая молодежь склонялась ко второму выходу. Конечно, это похоже на конформизм. Впрочем, когда перед тобой глухая стена и выхода вообще нет (а его не было), то можно иногда и стать в тупик, подумать, что она — естественная граница вселенной. Хотя такого «приятия» лучше было не высказывать вслух — все-таки оно было хоть какой-то реакцией на реальность. Но душа чего-то хотела. И вдруг такое стихотворение — из него явствовало, оно пело о том, что мы не просто так плетемся, куда нас гонят, а сами выбрали этот путь, ибо «веруем мы в сталинское слово» и, по-прежнему, «большевистское Це-Ка»! Кстати, это фрейдистская оговорка (что, впрочем, я заметил только сейчас) — кому бы в начале двадцатых пришло в голову с пафосом возглашать, что ЦК РКП(б) — большевистское?

Но Наровчатов здесь на этом стоит. Как и многие другие, он и войну воспринимает в этом ключе. Вроде бы дело ясное. Война — она и есть война. На ней всем год за три зачитывался, и, как известно, было за что. Но здесь у Наровчатова счет особый — «день за год засчитывался в стаж». Речь о стаже именно партийном. Наровчатов и многие его друзья прошли войну настоящую, прошли достойно.

Но после нее многие из них превратили ее как бы в духовное прикрытие, камуфлировали под то, чем она не была, чем — тоже непросто и непрямо — жили до войны. У Наровчатова здесь она — высший всплеск романтизированной коммунистической идейности и партийности. Партия романтизируется так, что такие вещи, как «отделы кадров» и «личные дела», которые обычно добрым словом никто не поминает, выглядят романтично... Но это — как отчасти и «сталинское слово» — делается намеренно, полемично, напоказ. Дескать, это «в наших нынешних сложных условиях» атрибуты того же великого «штурма небес», они поддерживают необходимый строгий порядок продолжающегося движения к цели. Эта дорога вела не просто на войну, но через войну, сквозь «семь смертей», по которой смогли пронести «с семизначной цифрой партбилеты» те, о ком пишет автор — в направлении главного дела их жизни.

«Молодым коммунистам» хотелось верить, что на войне они не только воевали с врагом, но и проверяли «правильность законов диамата», ценность своего мировоззрения. И, уж конечно, при сравнении «чужой стари» с «нашей новью» в полдюжине столиц они в отличие от многих простых людей, пораженных разницей жизненного уровня «у нас и у них», легко и, главное, охотно убеждались, что изрядно обветшавшие заграницы нам ничего нового сказать не могут. Я не хочу сейчас оценивать этот духовный и интеллектуальный феномен.

С «заграницами» ведь тоже все было не так просто. Про себя я думаю, что если нового нам заграницы тогда сказать и впрямь не могли (мы куда-то вырвались, что-то обрели, что-то узнали, хотя еще не осознали), то скорректировать наше «новое», вернуть нас к нормальным нормам человеческого общежития они все же могли. Но мы были воспитаны так, что нам нужен был «градус». Не зря ведь мы утешаемся тем, что, хотя «нам приказали снять шинели», но

«не покидая линии огня», и таким образом мы можем сохранять привычную высокую напряженность в новых условиях (словно просто жизнь и ее прелесть для нас звук пустой). И даже в тех же когортах. Это с одной стороны. А с другой — то, что уже не раз говорилось — и тут мы втайне жаждем хотя бы того, чтобы этот наш путь был и выглядел нашим свободным и страстным выбором. И все это стоит за стихотворением.

Короче, получается, что на войне у «нас» всегда было другое, еще более высокое дело, чем сама война, чем даже защита родины. Хотя, должен отметить, что при этом «открытие России», ставшее потом и официальной идеологией власти, и подлинной сутью многих живых душ, Сергей Наровчатов совершил раньше всех и по сердечному влечению. В силу большей образованности и семейных традиций он продвинулся тогда по этой дороге дальше многих, и меня в частности.

Это высокая ценность. Но тогда полностью этим удовлетвориться не мог и он. И это неудивительно. За родину отдают жизнь и живут исключительно ее интересами только в экстремальных обстоятельствах, но в принципе любовь к ней не экстремальное явление. Родина ведь не цель жизни, родина — сама жизнь, место и среда жизни. На родине живут, с разным успехом ищут и находят все — от благосостояния до смысла. Но жизни-то как раз и не было, искать смысла жизни или благосостояния индивидуально у нас было запрещено, да и непривычно, чуть ли не стыдно — мы были ориентированы на цель. Только в служении ей мы себя чувствовали духовно уместными. Российское это в нас было или советское, или все перемешалось — кто скажет?

Как ни странно, как ни нелепо это звучит, но такое стихотворение могло появиться только после известного и страшного постановления ЦК о литературе. Стыдно признаться, но я его воспринял почти радостно, оно как бы — наконец-то! — реабилитировало идейность. Мешало только то, что говорилось об Ахматовой — в поэзии я уже кое-что понимал. У меня было свое, довольно широкое представление об идейности в ней, и Ахматова в него вполне укладывалась — согласиться с тем, что ее стихи «безыдейны», я никак не мог.

К тому же, что вытворяли с Зошенко, я тогда остался вполне равнодушным — особой ценности в нем я по темноте своей еще не видел. О прозе я тогда размышлял меньше, чем о поэзии. Удивляло меня только, что такой шум поднят из-за незначительного, как мне казалось, рассказа. Вспоминать об этом стыдно. Не только потому, что я давно (в день его смерти) понял, что Зошенко — великий русский писатель, а и потому, что я был варваром и относился ко всему диалектически — не понимал, что эта травля гнусна независимо от ценности ее жертв.

Все это меркло в моих глазах перед тем, что, наконец, восстановлено требование «идейности». Как ни относишься к самой «идейности» или конкретной «идее» (я, как знает читатель, отношусь плохо), тогда это не имело значения. Реально термин «безыдейность» был удобным жупелом, облегчавшим ужесточение контроля над мыслями. Но в первый момент показалось, что в этой прострации блеснул старый и к тому же романтический смысл.

Именно поэтому эти стихи — фиксированная веха времени, психологического состояния общества. И именно поэтому я и говорю теперь о них, хотя они отличаются от всего творчества Наровчатова — от большинства его стихов, о которых я здесь говорить вообще не буду, ибо, к сожалению, говорить о них неинтересно; и от меньшинства, которые собственно и делают его поэтом. Хотя и рассматриваю их отдельно от остального его творчества.

Итак, перед нами еще одна, хоть и обманная попытка сохранить самоуважение и подобие самосознания без, как он сам выражался, «сумы и тюрьмы». Это тоже часть нашей трагедии. Все это по-разному в разной мере относится и к М.Львову, и к Д.Самойлову, и к Б.Слуцкому, и ко мне, и ко многим другим представителям «военного поколения».

Кстати, насчет самого термина. Некоторые объявляют, что, так сказать, ифлийцы узурпировали этот термин, ибо на войне побывали и вынесли из него фронтовой опыт отнюдь не только они. Но «поколением» в истории культуры называются не все люди одного возраста и биографии, а те, которые вобрали в свою внутреннюю биографию, то, что внесла война, опыт общения с народом. Пусть до конца это сказалось не сразу. Кстати, в XX веке «людьми сороковых»,

«шестидесятниками» и т.п. мы называем людей определенной формации, а не возраста. В этом смысле ярким представителем военного поколения были В. Тендряков, начавший писать о войне только в конце жизни, и вообще заговоривший через десятилетия после войны замечательный прозаик В. Кондратьев.

Конечно, в наше время все так перепуталось, что такая стратиграфия вообще условна. Такие замечательные писатели, как В. Некрасов и даже А. Солженицын, прошедшие войну, — нечто другое. Нечто другое и А. Твардовский. Все они — как бы представители разных поколений. Но между этими поколениями часто нет никакого водораздела. Духовно они близки.

Но я пишу сейчас о сороковых годах и о поэте Сергее Наровчатове, память о котором дорога мне отнюдь не в связи со стихотворением, о котором шла речь чуть выше, и которое отнюдь не относится к вершинам его творчества. Между тем с этими вершинами я столкнулся довольно рано, раньше, чем было написано это стихотворение. Но не сразу.

Его стихи я услышал, еще когда он был на фронте. Мне понравились и тогда его «Пропавшие без вести» с их обнадеживающими строками:

Я знаю: невозможное случится.
Я чарку подниму еще за то,
Что объявился лейтенант Кульчицкий
В поручиках у маршала Тито.

Тогда мы все ставили ударение на последнем слоге этого романтического для нас в то время имени.

Но в целом те стихи, которые мне тогда (подчеркиваю: тогда) читали, мне понравились не очень. Показались талантливыми, но внешними. Знакомство мое с ним состоялось чуть позже, когда он приехал с фронта. Где мы познакомились, не помню. Помню только впечатление, которое он на меня произвел — более красивого мужчины я, по моему, никогда и потом не видел. Голубоглазый блондин, хорошего роста, стройный, складный, при этом насквозь интеллигентный, по виду (чуть им культивируемому) русский офицер былых времен. Каких времен? Двенадцатого года? Декабристских? — непонятно. Всех сразу. Соответствие общему романтическому образу русского офицера — тогда впервые после революции он стал импонировать общест-

венному сознанию — производило впечатление. Наровчатов вызывал естественную симпатию. Признал я его по этому довольно скоро.

Произошло это в холле какого-то издательства — кажется, «Советского писателя» на Гнездниковском, — где мы случайно встретились. Он принес туда рукопись и ждал приема, а как там оказался я, не помню. Издательских дел у меня быть не могло, о моей книге речи еще не было, а переводами я стал заниматься только после ссылки. Вероятно, просто сопровождал кого-нибудь из друзей и ждал его, чтобы продолжить беседу. Разговорились. Потом Сережа молча вынул из папки стихотворение и протянул мне: «Вот, посмотри». Это было «Письмо из Мариенбурга». Оно очень мне понравилось — романтическое, ироническое, какое-то тоже красивое, как он, и чуть позирующее, но настолько откровенно, что и позой эту игру назвать было бы невозможно. Показал он мне тогда и другие свои стихи, и они мне тоже понравились. С тех пор я и люблю его стихи.

Наровчатов вообще не был похож на того человека, за которого его принимают или выдают те, кто его не знает — особенно агрессивные представители литераторов более позднего поколения. Хранившие чистоту своего отношения к искусству и вырабатывавшие свое «боевое» отношение к предшественникам в котельных и сторожках, превращенных в их сознании в башни из слоновой кости. Основания для отрицательного отношения есть, за многое из того, что он делал, мне стыдно и больно (не за то, что писал — при наличии хороших стихов плохие роли не играют — они отмирают), но... Но надо знать, о ком говоришь.

Был ли в Сергее конформизм? Некоторый был. Ему очень не хотелось трагизма и конфронтации с «эпохой». Хотя кавычки здесь и точны, и не точны — он жил в том времени, в котором жил. И это вовсе не факт, что поэты должны любить конфронтацию. Она сужает. Я ее тоже не любил и тоже, где мог, старался избегать. Да и очень не соответствовала она складу его таланта — какого-то благородно-красивого и праздничного.

Да, его взаимоотношения с властью, по внешности вполне гармоничные, действительно, помешали ему реализоваться полностью. Но все же не уничтожили его совсем. Да и не были они столь гармоничны, как ему бы хотелось. Цити-

руемое ниже стихотворение, кажется, единственное, не напечатанное им при жизни. Но оно было. И то, что за ним встает, тоже было.

Много злата получив в дорогу,
Я бесценный разменял металл.
Мало дал я дьяволу и Богу,
Слишком много кесарю отдал.

Потому что зло и окаянно
Я сумы боялся и тюрьмы.
Откровенья помня Иоанна,
Жил я по Евангелию Фомы.

Ты ли нагадала и напела,
Ведьма древней русской маэты,
Чтоб любой уездный Кампанелла
Метил во вселенские Христы.

И каких судеб во измененье
Присудил мне дьявол или Бог
Поиски четвертых измерений
В мире, умещающемся в трех!

Нет, не ради славы и награды —
Для великой боли и красоты —
Никогда Взыскующие Града
Не переведутся на Руси!

Привел же я здесь это стихотворение полностью только для того, чтобы не знающие Наровчатова понимали, что не весь он покрывается такими стихами, как «Молодые коммунисты», которые современному читателю безразличны, что все-таки есть о ком говорить. Впервые эти стихи, точнее последние три строфы, я услышал в 1951—1952 году. Тогда они не были крамольными, но явно были «не в жилу». Первые же восемь строк, как мне кажется, добавлены к нему уже после XX съезда, но легли они сюда совершенно естественно и свободно, видно как-то присутствовали в замысле и свидетельствуют о том, что автор носил в себе все эти годы. А носить ему было что. Хотя мне он об этом никогда не говорил.

Я знал, что он долго жил и даже окончил десятилетку в Магадане, но выходило так, что просто его семья там работала — мало ли кто работал по найму на Крайнем Севере.

Правда, однажды, зайдя зачем-то к Сергею и не застав его дома, я минут десять поговорил с его отцом и мог бы кое-что заподозрить, но я, признаться, просто об этом не думал. Между тем этот краткий разговор с его отцом произвел на меня тогда грандиозное впечатление.

Странное дело, ни общего содержания, ни деталей этого разговора я не запомнил. Я не запомнил даже, что говорил этот человек, а он до сих пор стоит передо мной — высокий, ладный, в простецком ватнике — похоже, только что принес дрова из сарая (тогда еще во многих московских домах, даже в центре, было печное отопление) и задает вопросы. Я потому, наверное, ничего не запомнил, что он почти ничего не говорил, а только задавал вопросы. И скромно выражал некоторое сомнение в моих ответах — это уже почти без слов. При этом говорил он со мной вполне дружественно и доброжелательно. За всем этим чувствовался не только сильный интеллект, но и высокая культура, добротная и вошедшая в состав крови образованность.

Разговора я не помню. Помню только, что сводился он к «древнерусскому» «какo веруеши?» И еще — что я (пусть не удивляется читатель) радостно чувствовал полное интеллектуальное и культурное превосходство этого человека над собой. Чувствовал, как я тогда выражался, что я дурак. И почему-то это меня радовало. Причем я вовсе еще не собирался отказываться от того бреда, который исповедовал, а этот человек, если что и делал, то просто осторожно и доброжелательно обнажал бредовую сущность всего, на чем я собирался строить жизнь. Тем более поразительна моя реакция. Неужто я интуитивно чувствовал, что все равно вернусь к этому?

Я знаю, что Сережа очень любил и уважал своего отца, гордился им. Как соотносилось то, что стояло за отцом, с тем, за что хватался Сережа (и мы все) — это загадка нашего времени, когда жизнь теоретически была отменена и все же шла.

Только году в восьмидесятом Сергей глухо обмолвился в краткой автобиографии, что в 1934 году жизнь его семьи круто переменилась, и они должны были покинуть Москву и поселиться в Магадане. Совершенно ясно, это было сделано недобровольно — видимо, их захватило чем-то вроде «кировского потока». Он об этом со мной никогда не гово-

рил, и даже в восьмидесятом году говорит об этом очень осторожно. Что ж, слова «зло и окаянно я сумы боялся и тюрьмы» так просто не выплескиваются. Вероятно, этот страх, эта страшная тайна влияла на его поведение, мысли и поступки.

Хотя с чего он вдруг стал делать карьеру литературного начальника, я понять не могу. Кстати, карьера его вовсе не была гонораром за стихи типа «Молодые коммунисты» — они прошли в этом смысле незамеченными. И много лет Сергей никакой карьеры не делал. Правда, когда-то какое-то время он был заведующим отделом молодежной литературы ЦК ВЛКСМ. Но именно в это время он стал сильно пить (что отражено каскадом поэм Николая Глазкова на эту тему) и из пирамиды власти вылетел. Разумеется, это не было опалой — пьянство лиц, причастных к власти, не поощрялось, но в то же время оно считалось пороком социально близких и идеологически выдержанных, — но положение его было не ахти какое. Помню, я как-то в конце пятидесятых хотел напечатать в «Литературной газете» большую статью под названием «Поэт Сергей Наровчатов». Статью велели сильно сократить, а название изменить. «А то, — говорил тогдашний редактор газеты В.А.Косолапов, — ко мне явятся все поэты и будут требовать очерков о себе».

Карьера его началась, когда он пить бросил и написал ряд блистательных статей, в которых, — в общем не греша против собственного вкуса, ругал тех, кого хотело начальство. Но все же при всей блистательности это были не критические статьи, а разгромные выступления. Свои вкусы защищать надо, в этом я вообще непримирим, но делать это надо не в союзе с государством. (Впрочем, ни одно государство, кроме тоталитарных, в такие дела и не вмешивается — ибо не занято реализацией комплексов своих руководителей.) А дальше — коготок увяз, всей птичке пропасть. И на Солженицына — куда денешься? — подлаивать приходилось, и многое другое.

Но говорили мы с ним, когда встречались, вполне откровенно — при всем несогласии. Даже когда я был вызван к нему как к секретарю Московской писательской организации для того, чтоб выслушать порицание по поводу своего «подписанства». Последнее было сведено к минимуму,

к формальности. Мне всегда больно, когда о нем говорят, как о каком-то бонзе, бездари, чуть ли не ровне Софронова — и говорят часто люди, которым по уровню не только таланта (тут вообще ему мало равных), но и по общему уровню весьма далеко до него. Да, во многом он не выдержал давления времени. Но никто еще не доказал, что поэты рождены переносить именно такое давление, и что те, кто его выдержал, выше талантом. Тут я иногда думаю и о себе самом. Эти слова я произношу со страхом. Желающих быть «выше» теперь пруд пруди. Но Наровчатов другое, да и говорю о самой его одаренности, а не об ее реализации. Почему-то именно в связи с Наровчатовым мне сегодня вспоминаются сочиненные мной примерно в описываемое время случайные строчки, так и не вошедшие ни в одно стихотворение и вовсе не имевшие в виду лично его:

...как ломались мои товарищи
На углах и противоречиях.

Характерная деталь времени, вернее, моего романа с ним. Строчки эти вовсе не воспринимались мной как крамольные и оппозиционные. Имелась в виду все та же тяжесть времени, его «углы и противоречия», на которых ломались отнюдь не худшие, но на которых, если хочешь быть личностью и сознанием оставаться на уровне «эпохи», следует уметь не ломаться. Но все, что я сейчас вспоминаю в связи с этими строчками, — это воспоминания о побочных мыслях, имеющих отношение не к их буквальному смыслу, из-за которого я их вспомнил, а только к моему тогдашнему состоянию. А сами по себе эти строчки только честно говорят о трагедии людей, которых я любил. Вышеописанное тогдашнее «осмысление» в них не прочитывается. Вероятно, меня — пусть не все мои тогдашние стихи, но хотя бы меня самого — то и спасло (кроме ареста!), что при любых своих завихрениях я писал правду — правду собственного состояния и обстоятельств, которыми она вызвана. У Наровчатова судьба сложилась более благополучно. К сожалению? К счастью? Кто скажет? Жили мы в непредставимо страшное время. Так ломались мои товарищи. Те, в ком было чему ломаться. Да и я сам. Думаю, что тем моим товарищам, в ком и ломаться было нечему, все-таки гордиться перед ними нечем.

О Наровчатове я услышал, как понял читатель, только в конце войны. Но о Кульчицком, Слуцком, Кауфмане (своего будущего псевдонима Самойлов тогда еще и сам не знал), Когане и Майорове я слышал еще до войны. Кульчицкого запомнил по публикации «Стихи московских студентов» в «Октябре». Там были и другие авторы, но Кульчицкий тогда был мне ближе своей обнаженной революционной романтикой и как бы следованием Маяковскому. Сегодня в такие мои «критерии» поверить трудно. Правда, стихи Кульчицкого были еще очень талантливы.

Кстати, из воспоминаний его сестры Олеси я узнал, что обожаемая им революция (правда, уже на стадии начальной сталинщины, на подступах к ежовщине) проехала по его семье довольно жестко — его отец был арестован и сослан на Беломорканал, куда сын с матерью и сестрой однажды ездили его навещать.

А в результате — при всей любви к отцу (семья была дружной) — романтическая любовь к революции и вера в Сталина как в современного выразителя и хранителя ее пути и духа. Печать времени.

Реальность начала возвращаться к нему, как и ко всем его товарищам, на войне. Как видно из единственного сохранившегося его армейского (но еще не фронтового) стихотворения «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник...»

К сожалению, Кульчицкого я никогда не видел. Когда я появился в молодежной литературной среде, его недавнее присутствие в ней еще ощущалось явственно, но его самого давно уже в ней не было. Так что к моим мемуарам он может иметь только косвенное отношение. Как и Николай Майоров, самый взрослый и в смысле самосознания наиболее «продвинутый» участник этой группы, кучки, генерации — называйте как хотите. Для меня эта «продвинутость» выразилась только в одном стихотворении — «Тогда была война...» После героического, даже несколько иступленного «Мы», оно выглядит особенно значимо. Впрочем, и в «Мы» сквозь саму иступленность притяия, пронизывавшую его, просвечивало нечто реальное — невозможность естественного, даже открыто романтического притяия.

Придавленное неимоверной тяжестью, развитие все же происходило. Прервала его только немецкая пуля. Когда я вспоминаю о том, что он, как и Михаил Кульчицкий, Павел

Коган и многие другие погибшие, так никогда не узнал и не понял того, что потом легко понимали и те, кто им в подметки не годится в интеллектуальном, духовном и творческом отношении, — мне становится обидно и больно. До сих пор. Уж очень это несправедливо.

Но, естественно, встречался я тогда только с теми участниками этой группы, кто уцелел — впрочем, они были для меня не менее легендарными, чем погибшие. Встречался по мере их появления или возвращения.

Если мне не изменяет память, с первым я встретился со Слуцким — когда он приехал в отпуск. По-видимому, это произошло в конце 1945-го или в 1946 году, уже после победы, когда я уже был студентом Литинститута и жил в общежитии. Как это организовалось — не помню. Безусловно, я жаждал этой встречи. И если я знал, что он в Москве, то сделал все, чтобы она состоялась. Но кажется, я не знал, и инициатива исходила от него. Видимо, кто-то рассказал ему обо мне, и он просто пришел в общежитие. Возможно, его приходу все же предшествовала какая-то договоренность — теперь уж не вспомнить. Но удивительного в его интересе ко мне нет ничего — ему, как вспоминает Самойлов, и до войны было свойственно носиться по Москве и обзирать молодых поэтов, вести, так сказать, учет поэтического хозяйства. А кроме того, я, действительно, во многом стоял к нему и его товарищам ближе, чем кто-либо другой из стихотворцев следующего суб-поколения — тогда казалось, просто поколения.

Так или иначе, он зашел за мной, и мы с ним отправились в один из «коммерческих» ресторанов. Тогда как раз открылась сеть таких торговых точек — магазинов и ресторанов, где торговля и обслуживание осуществлялись без карточек, но по «коммерческим» (значит, весьма повышенным) ценам. Я тогда и не мечтал о такой фешенебельности. Впрочем, следует признать, что это было первым, но отнюдь не последним моим посещением подобного заведения. Все рестораны и пивные моей юности — а их было хоть и не так много, как хотелось, но все же немало — были коммерческими. Их прекращение совпало с моим арестом. И описанное мной выше «путешествие по пивным со счастливым отцом» было тоже путешествием по заведениям коммерческим.

Но в первый раз в такое заведение привел меня Слуцкий, который отнюдь не был прожигателем жизни. Ему, фронтовому майору, находящемуся в Москве в отпуске или командировке, было в тот момент это доступно, он чуточку даже бравировал этим. Впрочем, это, как и все его последующие бравирования, руководящие роли и т.п., было, как я потом понял, наивной и невинной игрой перед самим собой. Главным его желанием было накормить меня. Эта его игра иногда проникала в его стихи — чаще вместе с идеологией — и портила их. Но далеко не во все. Часто побеждало присущее всякому художнику чувство правды и естественная доброта, сочувствие людям, которыми он был наделен в высшей степени.

Его уже упомянутый интерес к тому, что представляет собой мое, как мы тогда оба считали, поколение, объяснялся не только естественным любопытством, а был содержателен. Один его вопрос кажется мне в этой связи особенно показательным. Он спросил, считаем ли мы нашу эпоху просто дежурной эпохой, доставшейся дежурному поколению, или эпохой исторически особой, отличной от всех остальных. Передаю я за давностью лет только суть, а не прямую речь. Хотя определение «дежурной» врезалось мне в память и принадлежит ему — я бы сказал «очередной». Что эпоха наша особая — в этом усомниться трудно. Сама Ахматова говорила, что жила во времена, «которым не было равных».

Но Слуцкий хотел знать другое — согласны ли мы, что именно на наше время и наши поколения легла задача — сознательно, ценой невероятных жертв, усилий и насилий решить главные проблемы человечества. Вопрос этот был отнюдь не бесосновательный. Именно этим жили он и его товарищи перед войной, именно это жило в его тогдашних стихах, в подхваченных интеллектуальным студенчеством поэме Майорова «Мы» и лирических отступлениях из романа в стихах Павла Когана — во всем тогдашнем странном суперортодоксальном «самиздате» — тогда этого слова не знал еще и сам его изобретатель, Николай Глазков.

Вопрос был в самую точку. Большинство ребят, вернувшихся с фронта, были, о чем уже шла речь, вообще далеки от каких-либо обобщений. А я, стоявший наиболее близко к таким, как Слуцкий и его товарищи, и даже оценивав-

ший ситуацию так же, как они, — тоже не мог обрадовать его полным согласием. Подспудно такое отношение к ситуации поломалось. Восстановилась историческая связь.

Разумеется, несогласие (точнее, неполная идентичность) это было подсознательным. Как ни странно, оно совсем не касалось идеологии. Тем более не было в этом сомнения в привлекательности Конечной Цели. Это сегодня я рад, что она утопична. Это сегодня мне страшно представить, что было бы, если бы она оказалась достижимой. Поневоле страшно становится за потомков — что им, бедным, оставалось бы делать в жизни, если бы все вопросы бытия были бы задолго до их рождения кардинально и окончательно решены за них нами? Этот простой, но едкий вопрос мне тогда в голову не приходил. Кстати, и поныне многие, искренне отказываясь от утопии, исходят только из ее недостижимости. В ее благодати, если бы она была достигнута, до сих пор мало кто сомневается. Но тогда я еще вообще полностью жил в этой системе координат.

Тем не менее идентичности не было. Война, общение с людьми самых разных слоев — все это внесло свои изменения. И, видимо, в связи с этим гораздо больше стала значить и живее выглядеть для меня история — уже не история революционных движений, а вообще, особенно история России. Война заставила ощутить ее реальность и ценность — *несмотря* на официозную пропаганду, а *не благодаря* ей. И это как-то вплеталось в мое тогдашнее мировоззрение, о котором здесь говорено более чем достаточно...

Помню, как, несмотря на весь пиетет, с которым я к нему относился, я даже возражал ему. А ведь помимо всего, он тогда еще казался мне неизмеримо старше меня. Хотя тоже был еще очень молод. Потом возрастная разница потеряла значение. Но это — потом. Впрочем, литературные мальчишки в двадцать лет, в предвкушении неминуемых побед и славы, относятся к уважаемым ими старшим поэтам в лучшем случае, как к равным. И я не был исключением. Я спорил со Слуцким. И тогда, и не раз потом. И чаще бывал, наверное, более прав, чем он. Чаще, но не всегда и не во всем.

У меня ведь — и как раз тогда — бывали завихрения, которых я теперь стыжусь, и порой заходил я в них дальше, чем он. О них я не раз тут рассказывал. Впрочем, часто я

был к нему и близок. Мне было тогда понятно, почему он «недемократически» делил военную, да и всякую иную молодую поэзию на офицерскую и солдатскую. Себя он, конечно, относил к офицерской, но дело тут было совсем не в кастовости. Давида Самойлова, вернувшегося с войны сержантом, он тоже не колеблясь отнес бы к поэзии офицерской. Когда один не шибко умный поэт стал выдавать по поводу этого деления солдатские комплексы, Слуцкий, улыбнувшись, заметил:

— А ты не кипятись. Пока солдатские стихи печатают, а офицерские не очень...

Речь шла о воображаемом кругозоре, о диалектическом и идейном осмыслении пережитого, опять-таки о «сложном»приятии действительности. Но и с этим мужественным приятием было у него не все просто. Однажды я прочел ему стихи, представлявшие пик моих завихрений, моего интеллектуального этатизма. Стихи эти, как я полагал, идеологически должны были быть ему близки. Но услышав их, он помрачнел:

— Да... Это стихи о моральном превосходстве литерной карточки над рабочей.

Разумеется, речь в стихах шла не о карточках, а о том, что людям большой работы свойственен кругозор и глубинное понимание событий, недоступное тем, кто видит их изнанку. Смысл сказанного Слуцким был ясен. Я от этих слов ошалел. Нет, не от того, к стыду моему, что они были справедливы. Я ведь и раньше знал, что это так, что вроде сознательно отказываюсь от обычной, «мещанской», единственно возможной справедливости ради «высшей», мифической, нечеловеческой, несуществующей. Но я поразился, что эти слова произнес именно Слуцкий. Но именно он их и произнес. Прорвалась его естественная доброта.

И как эта его щемящая доброта и жалость к людям, понижающая многие его стихи (и в чем ему практически нет равных), уживалась с долго сохранявшимся железным, даже безжалостным мировоззрением и представлением о должном — я до сих пор не пойму. Видимо, натура и поэзия пересиливали самые горячие догмы. А догмы, если их искренне придерживаться, всегда горячи — иначе не держатся. Слуцкий, вероятно, еще не раз появится на этих страницах. Дружеские, хоть не слишком тесные, доброжелательные, но вечно полемические, со взаимными «подкальыва-

ниями», иногда довольно острыми, — отношения продолжались у нас всю жизнь, до моей эмиграции. Примером тому может служить моя эпиграмма, напечатанная впервые в «посевском» сборнике «Времена» под заглавием «На друга-поэта»:

Он комиссаром быть рожден.
И облечен разумной властью,
Людские толпы гнал бы он
К непонятому ими счастью.
Но получилось все не так —
Иная жизнь, иные нормы.
И комиссарит он в стихах
Над содержанием и формой.

Слуцкий — это было уже в пятидесятых годах — стоически выслушал эти строки и сказал:

— Ну что ж... Про Симонова ты обидней написал.
Про Симонова я действительно написал обидней:

Вам навеки остаться хочется
Либералом среди черносотенцев.
Ваше место на белом свете
Образ точный определит:
Вы — лучина.
Во тьме она — светит.
А при свете она — коптит.

Но тут был повод. Это был отклик на возмущившее меня участие Симонова в травле Пастернака, развязанной начальством после выхода «Знамени» с подборкой стихов из «Живаго». Эпиграмма же на Слуцкого — результат многолетней, хотя и ожесточенной, но дружеской полемики, и обидной быть она не могла. Правда, вскоре после этого, когда так же проштрафился Слуцкий, никаких моих эпиграмм не последовало. Я нисколько ни на одну минуту не усомнился в честности и порядочности Слуцкого и поэтому отнесся к его проступку не с возмущением, а иронически — понимал, что к этому его привел не расчет, а честно и буквально исповедуемый принцип партийности, от следования которому никаких благ он никогда не получал. Выгранности в систему, какая была у Симонова, у Слуцкого не было и в помине. Может быть, это противоречило его убеждениям, но ничего не поделаешь — он всегда оставался не партийным, а свободным художником.

Но Слуцкий, как уже сказано, еще не раз появится на этих страницах. А я сейчас, хотя и заскакивая вперед, вспоминаю первые послевоенные годы. Как-то утром мне кто-то сообщил, что, наконец, вернулся Дезик Кауфман и хочет меня видеть. То ли мне был передан его телефон, то ли (если телефона не было) просто приглашение и адрес. Так или иначе, я уже через час после этого сообщения стоял у дверей его квартиры и неуверенно крутил ручку дореволюционного дверного звонка. Квартира эта на шестом, кажется, этаже большого углового дома на площади Борьбы — что настоящее ее название Александровская, я узнал много позже — была коммунальной, и родители Дезика занимали в ней, как мне кажется, две комнаты. Остальные, к счастью, занимали их родственники. Родители его были милыми, добрыми, интеллигентными, по-старинному порядочными людьми. Сейчас обстановка в доме, естественно, была праздничной. Мать тут же усадила меня за стол и стала угощать.

Сошлись мы сразу. Характер в этом смысле у Дезика был легкий, и у меня, видимо, тоже. Так что разговаривать стали мы тут же. Он был переполнен впечатлениями войны. А войны он хлебнул вдоволь, и самой настоящей. В отличие от большинства своих товарищей, он так и остался сержантом. И хотя последние месяцы войны он был комсоргом батальона, но батальон-то этот был разведбатом. Напоминаю нынешним ригористам, что комсоргство тогда не противоречило ни его, ни моим взглядам — мы только потом и трудно стали такими умными, какими они легко вслед за нами.

Читали мы друг другу и стихи. Говорили о них. Откровенно. В нашей среде вообще обижаться на критику было не принято. Впрочем, его стихи я принимал с пиететом. К моим он отнесся с доброжелательной снисходительностью, что я, как младший, воспринял, как должное. Но, конечно, потому, что в общем он их тоже принял (если бы это было не так, никакой близости у нас бы не установилось — какая может быть близость, если в тебе не признают главного, чем ты живешь?). Но и без пиетета — непосредственно — его тогдашние стихи мне понравились. Сейчас мне трудно вспомнить, какие именно он мне читал. Ибо многие помявшиеся мне стихи он написал в первые недели после

возвращения, когда находился в состоянии творческого запоя. Конечно, стихи эти были разного достоинства — как всегда и у всех, но думаю, что они все были живыми и интересными и что в своих «Памятных заметках» он к ним в целом несправедлив.

Но занимались мы не только поэзией и серьезными разговорами. В Дезьке внезапно прорвался запас неистраченного мальчишества. Вдруг среди обеда раздался его клич, обращенный ко мне:

— Эмка, давай гонять кота!

Имелся в виду любимец и баловень не только всей семьи, но и всей квартиры толстый кот Васька, который привычно исполненный высокого достоинства, в это время свернувшись клубком и ничего не подозревая, подремывал рядом на стуле. К покушениям на свое достоинство он не привык и такой подлости от людей не ждал. А мы, к ужасу всей семьи («Не обижайте Васеньку!»), согнали его превосходительство со стула и стали его гонять. Он не мог от нас спрятаться ни в одной комнате квартиры — ни под одним столом, ни под одним шкафом, ни под одной кроватью или даже диваном. Везде мы его так или иначе доставали. Пока нам это не надоело, что произошло довольно скоро. На вопрос домочадцев о причинах такого плохого отношения к коту Дезька отвечал:

— А я к нему хорошо отношусь. Но как коту, а не как к человеку. Как вы!

Вряд ли кот Васька оценил бы его отношение так же. Что же касается меня, кошки редко вызывают мою симпатию, я люблю собак, но во взрослом своем состоянии ни до, ни после этого случая мне ни разу не приходило в голову их гонять. А тут в такой интеллектуальной компании — оскормился.

Кончился мой первый визит к Самойлову знаменательно. В прихожей зазвенел звонок, потом появилась смущенная Дезькина мать, а за ней молодой парень, почти подросток, в гимнастерке, несколько нагловатый от смущения. Дезька бросился ему навстречу. Оказалось, фронтовой товарищ. Мы вместе сходили в угловой магазин за водкой, может, еще за чем-нибудь. Пока Дезька возился с деньгами или карточками (возможно, он покупал это по отцовскому литеру), неожиданно обнаружился еще один товарищ —

невысокий мужичонка в ушанке. Видимо, они оба вернулись с фронта вместе с Дезькой, думали тут же проследовать дальше, но не получилось, и пришли по оставленному им адресу. Может, даже вместе пришли, но старший постеснялся войти, — Бог его знает, как примут эти москвичи, — и младший пошел один, как бы на разведку. Так или иначе, назад мы вернулись вместе. Естественно, и новый фронтовой товарищ сына был встречен матерью вполне радушно. Гости уселись за стол. Начались «А помнишь?», и я, не имея с ними общих воспоминаний, захватив оставшееся здесь во время похода в магазин свое имущество (кажется, тетради со стихами), поспешил ретироваться.

Потом я бывал у него часто — особенно первое время. Стоял он на тех же фантастических революционно-государственных позициях, что и я, что и многие вокруг. Тем не менее мы ухитрились с ним спорить об оттенках. Как-то такое «исповедание» уживалось в нем, как и во всех, с фронтовыми впечатлениями, с рассказами о симпатичных ему солдатах и офицерах, которые его там окружали и которым все эти наши идеологические заботы были, по позднейшему выражению, «до лампочки».

Рассказывал он мне, как справлялся в армии с «еврейским вопросом». Поскольку он был еврей, да еще «московский студент», то по существовавшему предубеждению должен был чураться и бояться всякой физической работы. Поэтому, попадая в новую часть, где его не знали (в тылу или на формировании), он принимал меры для того, чтобы исключить такое представление о себе. Обычно перед тем, как на такую работу назначать людей на вечернем или утреннем построении, для начала перед строем спрашивали, есть ли на нее охотники. Дезька, понимая, что потом все равно пошлют его, и, главное, стремясь на будущее вообще исключить всякие подозрения на свой счет, объявлял себя таковым. И несмотря на усталость (допустим, после тяжелого марша в зной, в метель или под дождем), после отбоя мыл пол в казарме. В дальнейшем его, конечно, все равно могли назначать в любой наряд, но без подначки — как всякого другого. «Еврейского вопроса» в отношении него уже не возникало. Все знали, что он этого не боится.

Отношения у нас всегда были дружественными, а сначала вообще были довольно тесными. Его снисходительно-

покровительственное отношение я сносил легко, хотя однажды оно чуть не подвело его самого.

Он восстановился в МГУ, ставшем, как уже знает читатель, правопреемником ИФЛИ, и через некоторое время там, в одной из аудиторий на Моховой, был устроен его авторский вечер: сначала чтение, а потом обсуждение его стихов. Было известно, что будут там и противники, причем отнюдь не официозные. По иронии судьбы к официозной точке зрения внешне были ближе мы. Противниками были те самые эмпирики, которым во всякой обобщенности чувства чудилась рассудочность.

Друзья его, естественно, приготовились к контратакам. Меня, как наименее ценный кадр, несмотря на мои протесты, решено было использовать для затравки. Я должен был выступить первым, а уж потом должна была заговорить тяжелая артиллерия. Это было глупо хотя бы потому, что я не знал, что говорить. Не от отсутствия мысли, в от отсутствия повода их выражать. Мне, безусловно, нравились стихи Дезика, но пока эту безусловность не ставили под вопрос, мне не о чем было говорить — выступать с академическими докладами я тогда не умел. И представлять аудитории поэта я тогда тоже не умел. Да и странно это было бы.

Но ничего не поделаешь, я выступил первым — с вымученной и бледной речью. Постепенно перешли в атаку противники — доказывали, что ничего особенного. Вступила в бой наша «тяжелая артиллерия», но оказалась неподготовленной и растерялась — стала стрелять неточно, а снаряды на ее вооружении оказались холостыми. Может, потому, что ифлийская логика не доходила до новой аудитории, может быть, по другой причине. Вечер проваливался — вопреки иерархии ценностей и здравому смыслу. Я чувствовал себя прескверно, как человек, который всех подвел. Но пока я слушал выступления, мысленно находя точные возражения оппонентам и отмечая промахи единомышленников, во мне, как ни странно, рождалось новое выступление. Говорят, лучшие слова приходят на лестнице, а я все-таки был еще не на лестнице, а в аудитории, на том же обсуждении.

И я попросил слова вторично. И мне его грустно предоставили (руководил кто-то из поклонников поэта). Как бы говоря: если хочешь — теперь уже все равно. Но я, хоть и

очень волновался, теперь знал, о чем разговор, и, по-видимому, сказал нужные слова, ибо настроение в аудитории переломилось. А то уже и те, кто пришел восхищаться, дрогнули. Мое выступление вернуло им реальность. Конечно, заслуга эта перед русской литературой не столь уж велика. Главное было в стихах Самойлова. В конце концов они бы все равно за себя постояли. А до времени, пока был жив Сталин, никакие выступления не смогли бы помочь Самойлову легализовать свое положение в литературе.

Успех моего выступления объяснялся тем, что аудитория чувствовала, что стихи хорошие, но была смущена господствующим мнением, чуть было не сложившейся атмосферой. А я сыграл роль андерсеновского мальчика, не подавшегося внушению. Только на этот раз люди вопреки очевидности начинали верить, что король гол, когда он вовсе не был гол, а не наоборот, как в сказке. Но это ничего не меняет.

Эта роль *enfant terrible*, говорящего очевидное вопреки принятому (точнее, внушенному — как видит читатель, оно бывает не только государственным), закрепилась за мной навсегда и доставила мне в жизни массу неприятностей. Впрочем, и признательности. Такому мальчику обычно благодарны только по прошествии времени — а в момент, когда он восклицает, признавать его правоту многим, даже когда это неопасно, все равно неприятно.

Но к данному случаю это отношения не имеет. Цену прочитанным стихам многие понимали. И поэтому, когда после вечера мы пошли в ресторан, меня все хвалили. Я был польщен. Все-таки в этой компании я был самым младшим, а кроме того, людей этих, меня хваливших, я любил — это были хорошие и ценные люди.

Дружеские, хотя и отнюдь не идиллические отношения с Самойловым, как и со Слуцким, установившиеся у меня до этого вечера, продолжались всю жизнь. Разделяло нас то, что и сближало, — поэзия.

В целом мы друг друга признавали — иначе и отношений бы быть не могло — но и подкалывали мы друг друга тоже изрядно. Впрочем, это было в порядке вещей — во взаимных оценках стихов все вокруг были жестки. При общей близости позиций, у нас были некоторые теоретические расхождения во взглядах на поэзию. И, как всегда бывает, расхождения близости позиций выглядят остро.

Думаю, что оба они несли на себе печать студенческой эстетики конца тридцатых, когда напору официозной пустоты молодежь, находившаяся в плену идеологии, не могла противопоставить ничего кроме «формального мастерства» и «формальных достижений». С этим как-то сочеталась (причем тогда — в мировом масштабе) и подлинная, неказенная «идейность» — коммунизм. И действительно, если можно по планам сотворить нового человека, почему нельзя по чертежам «делать» поэзию?

К большевизму Дезик, конечно, давно относился иронически, но до конца отрясти его прах со своих ног не мог и не хотел — ни в дневнике, ни в «Памятных записках». Нет-нет, а что-то проскользнет. Это естественно. Мне, пришедшему чуть позже, ясность давалась тоже совсем непросто (сила сталинщины в ее неправдоподобности), но все же легче. Но у нас сейчас речь о поэзии, а в эстетической сфере, в теоретическом понимании формы и техники он сохранил от прошлого очень много — прежде всего гипертрофическое представление о месте исполнительства. Не столько в творчестве, сколько в спорах.

В годы моей эмиграции большинство из того, что он писал, было талантливо, но не первично. Он подражал не чьим-либо приемам, а образу Пушкина. К этому не относятся его замечательные стихи, написанные прямо о Пушкине («Пестель, поэт и Анна», «Болдинская осень»), а многие его гармонические, примиренные с трагедией бытия стихи в пушкинском духе, очень тонко написанные, и этой тонкостью смягчающие тот факт, что примирение возникает в них чуть ли не раньше «расстройства», волнения. Но такими были далеко не все его стихи и в этот период.

Естественно, когда нас разделял «железный занавес», мы не могли ни встречаться, ни выяснять творческие позиции. Но он меня все-таки «достал» в дневнике. И «достал», на мой субъективный взгляд, очень странно. Делясь впечатлениями о Бродском, он отметил неудобочитаемость стихов последнего (качество, видимо, вдруг ставшее нейтральным при оценке достижений изящной словесности и, кстати, присущее Бродскому совсем не всегда), а также и душевно-психологическую напряженность — пишу по памяти. Все это — дело его. Но дальше он добавил что-то вроде того, что это нечто отнимает у Коржавина.

Странно тут все. Прежде всего то, что в интимном дневнике он называет меня по псевдониму, а не по имени, как называл всегда. Но дело не в этом. Он мог ко мне начать относиться как угодно плохо. Но почему мне должен был «угрожать» именно Бродский? Не могу я взять в толк, что общего он мог увидеть у меня с ним? Ко мне имеют отношение и теоретически могут что-то у меня «отнять» (если такая постановка вопроса вообще существует) многие — сам Самойлов, Слуцкий, Глазков, Корнилов, Чухонцев, Окуджава — ни к кому из коих, кстати, конкурентных эмоций я никогда не испытывал. Список можно продолжить, но никогда бы в нем не было Бродского, каким бы гениальным кто б его ни считал. Да будь он и впрямь гением, а я впрямь бездарью — это все равно было бы так. Уж больно мы чужды друг другу по существу... Объединяет меня с ним только одно — факт эмиграции. Неужели такое глубокое впечатление производил на Самойлова этот случайный факт? Отнять у меня Бродский мог только часть случайной публики — часть той публики, которая гамузом приветствовала эмигрантов за то, что они эмигранты (а потом за то же гамузом их поносила). Реальные аудитории у нас с ним разные. Правда, есть и совместные — это при не очень выраженных вкусах. Но и в этом случае откликающиеся по-разному на разное.

Но Бог с ней, с этой дневниковой записью. Когда я впервые за пятнадцать лет появился в Москве, Дезик позвонил мне из Пярну (Эстония), где тогда жил, и разговор был старый, дружеский. Договорились о встрече, когда он приедет. Но он не приехал — умер. Хорошо, что я хоть мог с ним проститься в актовом зале Дома литераторов, где на сцене был установлен гроб с его телом. Конечно, у жизни всегда летальный исход, но когда Дезик только вернулся с фронта и мы с ним гоняли по квартире обиженного кота, кто бы мог представить, что я буду стоять в почетном карауле у его гроба. Как тогда еще невозможно было представить, а, может, и пожелать, что он построит себе домик в Пярну и что потом — уже, слава Богу, после его смерти — его вдова под напором пафоса освобождения вынуждена будет покинуть этот оплот гармонического мироощущения его последних лет.

Гармония создавалась на вулкане и разлетелась в пух и прах, как всякий анахронизм, но иронизировать над его стремлением создать себе гармоническое мироощущение (этакое убежище от тяжелой и опасной реальности) я не собираюсь. Он не лгал, не обманывал, не предавал, а просто искал выхода в безвыходной ситуации. Кто это делал лучше, кто хуже — знает только Бог.

И никто до конца не знает, что из того, на что мы ставили или ставим сегодня, в наступающие неясные годы окажется анахронизмом, а что нет. Может быть, им окажутся все представления многовековой европейской культуры — впрочем, уже и теперь в отношении нравственных императивов, часто олиберальных до омерзения. А значит, и обесиленных до последней степени. Но как это ни странно, в те годы, сильно путаясь в нравственных ориентирах, необходимость самой этой шкалы ценностей мы под вопрос не ставили. И как минимум, в частных отношениях люди оставались порядочны. Среди широкого круга моих друзей не было ни одного доносчика, предателя, ненадежного человека. Хотя мировоззрение требовало обратного.

Друзья старшие и иные

1. Отступление: Москва—Киев

Вся жизнь моя тогда уже и навсегда безраздельно была связана с Москвой, но повествование мое будет неполным, если я не отвлекусь от нее ради Киева, в основном ради первого моего послевоенного посещения родного города во время летних каникул 1946 года. Впрочем, все за давностью лет настолько перепуталось с впечатлениями от других моих тогдашних — послевоенных, но доарестных — поездок, что за то, что с какой связано, я ручаться не могу. Да это и неважно. Тем более, что съездить мне тогда удалось еще только раза три — через полтора года меня арестовали.

Предыстория первой моей поездки такова. Родители мои вернулись на Украину еще в конце 1944 года, вскоре после моего отъезда. Сначала в Днепропетровск, куда отца организованным порядком перевели из Сима тоже на авиазавод. Еще шла война, и мать в первых письмах писала мне,

что в городе по ночам иногда бывают воздушные тревоги (в Москве к этому времени и думать о них забыли). Но Днепропетровск для них был промежуточным пунктом — душа их рвалась в Киев. И мать поехала в Киев отвоевывать жилплощадь. Дело это было непростое — хотя казалось бы все просто: они возвращались к себе домой. Но жилищный кризис в городе в связи с возвращением эвакуированных и демобилизованных был более острым, чем когда-либо. Ибо часть жилого фонда была разрушена, а во время оккупации в квартиры, «освобожденные» эвакуированными, мобилизованными или убитыми, въехали другие люди, которым теперь тоже некуда было деваться. Между тем прежние «квартиросъемщики» — все, кроме, конечно, убитых — возвращались и требовали своего. Но и убитые не смягчали кризиса, ибо возвращались их родственники, до войны жившие с ними вместе и имеющие право на их жилплощадь. В общем, жилищный кризис был жесток.

Конечно, существовал закон, но он, как всегда, действовал выборочно. В принципе квартиры, пусть со скрипом, но возвращали. Но вот, например, моей тете Шифре квартиру не вернули — ее занимал фронтовик с семьей. Однако для моих родителей все разрешилось сравнительно благополучно и легко — в нашей квартире жила не семья фронтовика, а «бывшие в оккупации», — по тогдашней шкале люди второго, а может, и третьего сорта. Мамины хлопоты быстро увенчались успехом. Но, поскольку они теперь были без меня, вернули им не нашу большую комнату в 24 квадратных метра, а соседнюю, двенадцатиметровую, в которой до войны жили мои убитые в Бабьем Яру тетя с дядей, бывшие хозяева всего нашего дома. К чести родителей, это уменьшение жилплощади они не восприняли как несправедливость — нашу комнату занимала семья с детьми. По-человечески это правильно, но справедливо это только в нашем бездомном обществе. Думаю, что постороннему здравому человеку разобраться в этих советских вывороченных (идущих от вывороченной ненормальной жизни) справедливостях невозможно.

И, действительно, — почему расплачиваться с заслуженным ветераном нужно было за счет моей тети, больной пожилой женщины, вернувшейся из эвакуации, потерявшей там мужа? Она ведь очень долго потом не имела своего

угла, жила у моих родителей, у моей двоюродной сестры. И, наоборот, почему людей можно было ущемлять в их правах на жилье за то, что они по вине Сталина оказались в оккупации? Об общей несправедливости отношения к этим людям я здесь не говорю, но жилье — вещь элементарная. И где вообще может быть справедливость, если надо или кого-то не впускать в его недобровольно покинутое им жилище, или кого-то из этого жилища неизвестно куда выгонять — при том, что обоим деваться больше некуда.

В нашем случае все решено было справедливо. Но это была справедливость внутри советской системы распределения, когда все заботы взяло на себя государство, на самом деле озабоченное, главным образом, не этим. Разумеется, страшные последствия войны и оккупации играли в этом громадную роль (они оправдывали обстановку бивака), но и эти привходящие, «системные» обстоятельства нельзя сбрасывать со счета. Конечно, восстановительные работы велись, но новых жилищ до самых «хрущоб» не строили — в основном распределяли.

Но это общие обстоятельства, да и осмысленные позже. А тогда для меня самым важным было то, что родители мои так или иначе опять живут в Киеве, и я могу вновь посетить свой город. Ехал я с Ритиком, Риталием Заславским, — нижегородским другом Люсика Шерешевского и Коли Глазкова, теперь опять киевлянином. С ним я недавно познакомился и быстро подружился (и вот дружу — полвека). В Горьком Ритик был в эвакуации, теперь он уже опять жил в Киеве и, в очередной раз побывав в Москве, возвращался домой. Его дядя, завхоз какого-то крупного строительства, достал нам плацкартные билеты, и в нарядном скором поезде, в роскошных по моим тогдашним понятиям условиях, мы отбыли в родной, ныне заграничный, город нашего детства.

А поезд был действительно нарядным, все вагоны были выкрашены в синий цвет, вдоль стены каждого белыми выпуклыми буквами было широко выложено: МОСКВА—КИЕВ, а над каждой дверью светилась электрическая надпись: «Скорый поезд №15 Москва—Киев. Вагон 10». Большой был порядок в сталинском государстве! В пути, когда поезд проносился мимо обнищавших брянских деревень, надпись, кажется, не светилась. Состояние путей и тяги тоже

мало соответствовало нарядности поезда — путь меньше чем в 900 километров скорый поезд преодолевал за 30 часов. Потом — за двадцать два. Но тут и впрямь сказывались последствия войны.

Дорожных впечатлений именно эта поездка оставила мало. Помню только одного странного для меня тогдашнего на вид человека, учителя из Закарпатья — он ездил в Москву хлопотать о чем-то и жаловался на непонимание. Я краем уха слышал его жалобы и тоже, к стыду своему, его не понимал. И тоже высокомерно — возвышаясь над его духовной провинциальностью, а по существу (но как я был далек тогда от существа) — над здравым смыслом. И еще помню демобилизованного майора, который не успел закомпостировать билет и, торопясь домой, ехал на площадке между вагонами. Я сказал кондуктору, что это как-то нехорошо, заслуженный человек, и на площадке.

— Где? — уточнил тот. Я показал.

Появился кондуктор на площадке сухо-официально.

— Попрошу документы.

Майор показал. Естественно, военный литер у него был. Кондуктор углубился в чтение. И только после этого столь же сухо сказал, как приказал:

— Пройдите в вагон.

Оба они были украинцами, но официальную беседу вели по-русски. Впрочем, русско-украинские отношения если в вагоне кто-либо из демобилизованных и затрагивал (а их тогда на всех поездах было много), то шутливо. Вот разговор, в эту или следующую поездку — демобилизованные возвращались еще долго.

— А зараз (сейчас) так, — философски отметит один, — сюды идуць (едут) украинци, а туды — кацапы...

Но в людях, только что прошедших военную страду бок о бок с этими «кацапами», такое словоупотребление оскорбляло нравственное чувство.

— Ни, так нэ трэба казаты.

— А як трэба?

— А можэ так, — выдвигал примирительную версию другой — сюды украинци, а туды — руський народ.

— Та ни, — подводил итоги дискуссии веселый голос, — трэба так: туды кацапы, а сюды — хохлы.

Тем и удовлетворились — обрадовавшись шутке.

В массовую ненависть украинцев к русским и в крайнюю необходимость для них жить отдельно я не верю. Для большей части Украины это больше «идея» — вещь сугубо романтически-интеллигентская. И как всякая такая идея, если проводится последовательно, она к добру не ведет. А в значительной степени просто «западыньска», точнее, «галычанська», а не своя кровная. Галиция и впрямь исторически больше обособлена от России, чем остальная Украина. Может ли вся Украина стать «Вэлыкою Галычыною»? Может ли Галиция ее повести? Куда? Впрочем, и пути России немногим более ясны. В Беловежской пуше охотились на Мишку, а подстрелили все государство. Но тогда до этого было далеко.

Хочу вспомнить еще одну свою студенческую поездку в Киев, ибо она очень колоритна. Решение ехать пришло внезапно, я взял в институте отпуск и отправился на Киевский. Билетов, естественно, не было и в помине, но какой-то железнодорожник продал мне свой литер, который я легко закомпостировал в кассе для железнодорожников. Ехал я в общем вагоне среди демобилизованных киевлян. Народ был веселый, дружелюбный. Поездка затянулась — поскольку где-то в Сухиничах перекладывали пути, поезд повернули в Калугу, оттуда он пошел на север, в Вязьму, на Белорусскую дорогу, и лишь оттуда — на Брянск. Литер у меня отобрал первый же контролер, поскольку у меня не было эмпээсовского удостоверения личности. А билет — по квитанции о штрафе — мне удалось взять в Фаянсовой — между Вязьмой и Брянском.

Ребята корили меня:

— Дурак, сказал бы, мы бы тебя прикрыли, да и билет у нас общий, и на большее количество людей, чем едет. Провезли бы.

Оно бы, конечно, да кабы знать, что билет отберут! Но самым примечательным в этой поездке был разговор о поэзии.

Узнав, где я учусь и чем занимаюсь, ребята попросили меня что-то прочесть. И я прочел им забытые мной теперь начисто хмурые стихи о солдатах, которых везут в Сталинград. Солдаты понимают, что это значит, но понимают и то, что кому-то все же надо там сейчас быть. Стихи были

вполне патриотические и о патриотизме, но их пафоса, как я его запомнил, я и сейчас не стыжусь. Крамолой они и не пахли.

Однако реакция слушателей была неожиданной и еди-нодушной. По их мнению, я все написал неправильно. В это «неправильно» стоит вдуматься. В него вовсе не входило несоответствие тона и сути этих стихов пережитой ими реальности или несогласие с моим отношением к описываемому. Правда жизни и опыт в формировании этого суждения не участвовали — сами они и до и после этого разговора рассказывали о войне и не такое. Но им и в голову не приходило, что это имеет отношение к оценке стихов.

И не с тем они говорили, чтобы не ударить лицом в грязь или «поставить меня на место». И уж, конечно, не вставляли грудью на защиту идеологии, поскольку ею не интересовались. И не опасение за меня ими руководило. А бывало и это — мне не раз приходилось это слышать: «дескать, знаешь, что за это бывает». Но мысли их были далеко от этого, да тут и повода не было. Движимы они были исключительно доброжелательным отношением старших к младшему. Стихи, прочитанные мной, были грустными и о трудном.

А краем уха и глаза из газет, а больше из радиопередач, они усвоили, что стихи должны быть бодрыми и звать. И воспринимали это как условие профессии. Сапоги не должны быть дырявыми, а стихи небодрыми. Сами они в этой бодрой продукции не нуждались и подобным делом заниматься бы никогда не стали, но раз выбрал профессию, делай, что она требует. С их точки зрения я просто по молодости и неопытности не знал этого. Вот и вразумляли. Это были простые, хорошие и совсем неглупые парни, сами по себе вовсе не расположенные «знать» то, что им и интересно никогда не было. И именно поэтому из их «неправильно» ясней видно, что такое «промывание мозгов» — другими словами, как умели задурять людям головы несуществующими знаниями и фантастическими представлениями советские печать и радио.

Но вернемся к первой поездке. Поезд пришел в Киев днем. На подходе поразило меня то, что купола Святой Софии и Лавры были не золотыми, а коричневыми — их так выкрасили, видимо, при немцах для светомаскировки.

Поезд медленно полз по какому-то временному, с виду деревянному мосту, мелькнул Киев-второй (Демиевка—Сталинка), стрела Большой Васильковской с костелом вдали, увидел я даже Жилянскую — она на некотором отдалении тянулась вдоль полотна — отметил даже товарную станцию, но нашего угла и нашей улицы в тот раз не увидел. И наконец вокзал. Киевский вокзал. Не прошло и пяти лет (по тогдашнему моему возрасту, не говоря уже о пережитом, — серьезный срок), как я опять ступил на киевскую землю. Правда, ступил я на нее со ступенек вагона, а сходил по сходням баржи, но это мелочь.

Вокзал — одно из самых значительных сооружений довоенного Киева — показался мне теперь обшарпанным и бедным. Впрочем, удивительного тут не было ничего — пострадал от войны и еще не был до конца восстановлен. Как, впрочем, и весь Киев, в чем я вскоре убедился. На всех его центральных улицах торчали пустые коробки зданий. По некоторым, например по Прорезной, трудно было пройти из-за гор разбитого кирпича и щебня. Крещатика почти просто не было. Но восстановительные работы шли очень интенсивно. Через несколько лет почти все было восстановлено. Только Крещатик был не восстановлен, а построен заново — получилась совсем другая улица в сталинском духе и стиле.

Домой я поехал на трамвае №10, который теперь шел по Владимирской, мимо нашего дома, обратная остановка была как раз под нашими окнами. Когда-то поездка на вокзал и с вокзала воспринималась как серьезное путешествие, а теперь расстояние это почему-то очень сократилось — трамвай на Владимирскую с Саксаганской свернул почти сразу, и доехал я как-то очень быстро. Так было почти во всем. Оказалось, что до Оперы, которая раньше помещалась для меня вообще в другом мире — меньше чем десять минут ходьбы, а до университета — просто рукой подать. Сказывалось, наверное, и то, что я стал взрослым, был молод, да и привычка к московским расстояниям тоже сказывалась.

Но все это открывалось и в общении со старыми и новыми друзьями.

К этому времени вернулся в Киев не только Ритик. Вернулись из армии и упоминавшиеся в первой части этих ме-

муаров фронтовики — Гриша Шурман и Марк Розенблат, вернулся и Марк Бердичевский, ставший не по своей вине инвалидом войны еще на подступах к ней. Многие вернулись из эвакуации. Едва ли не первой из моих друзей появилась в Киеве Женя Бирфирер (Жуча), потом ряд других ребят и девушек, а уже при мне — Тамара Стояновская.

Тогда же Гриша познакомил меня с семьей Тamarченко, с которыми я тоже быстро подружился и с тех пор, как и с Ритиком, дружу вот уже целых полвека (с 1946 года). Собственно, это была тогда не семья, а целый клан, состоящий из двух семей. Одну составляли профессор Давид Евсеевич Тamarченко и его тогдашняя жена Броня, на которой он только что женился, другую — Гриша и Анка, брат Давида Евсеевича Григорий и его жена Анна Владимировна. Все они были филологи-литераторы. Давид Евсеевич преподавал в университете теорию и историю литературы, Анка — литературу в пединституте. Гриша воевал, только что вернулся из армии, писал диссертацию. Была еще там мать обоих братьев, но с ней у меня отношений практически не было.

Все они были выпускниками Ленинградского университета. Анка вообще коренная уроженка Питера. Жили Тamarченки в известном тогда еще всем киевлянам «доме Мороза», на углу Владимирской и Льва Толстого (до революции Караваевской), наискосок от университета и против знаменитого Николаевского парка (тогда, а теперь и по-прежнему — парка Шевченко) — практически в центре города (Крещатика-то почти не было) и минутах в пяти-шести моего тогдашнего ходу от дома, где я рос. Я уже писал, что мой микрорайон, физически, конечно, оставаясь на месте, психологически как-то переместился в центр. Впрочем, как и в Москве район каких-либо Ямских или Мещанских.

Давид был человеком больным, парализованным, но чрезвычайно живым и живого ума, и при всей своей имобильности пользовался успехом у женщин (как и они у него). Сошлись мы с ним быстро (о чем чуть ниже), и теплые, дружеские отношения у меня с ним сохранялись до самой его смерти. Ему тоже доставалось немало. Как и многим, ему пришлось выдержать все унижения, все выплеснутые на него ушаты грязи, связанные в антикосмополитскую

кампанию, которые были положены по штату всем выбранным в ее объекты. А ведь тяжело человеку в возрасте, да еще больному, в единый миг превратиться из уважаемого человека в парию, в предмет тотального заушательства. Но он все же сумел себя отстоять — правда, переместившись из Киева в Москву — чудны дела твои, сталинщина! Умер он сравнительно молодым, в Ленинграде, в конце 1959 года, будучи старшим научным сотрудником Пушкинского дома.

Моя дружба с младшими Тмарченками, Анкой и Гришей, никогда не прерывалась. Позже они, как и я, уехали в Америку. Уехали по естественной причине — чтобы соединиться с уехавшими раньше дочерьми. Когда они уезжали, иного способа увидеть своих уехавших детей у родителей не было. Отцу моих друзей, живущих в Америке, которые выехали из страны по официальному разрешению и политической не занимались, отказались разрешить поездку к сестре в Париж на том основании, что ведь туда к нему могут приехать его сыновья-эмигранты из США. Так что уехали мои друзья не от жажды быть иностранцами. Но тогда само предположение даже и о такой возможности показалось бы нам не только немислимым, но и оскорбительным. Хотя времена были стократ хуже и страшней, нежели те, когда мы уезжали.

Обстановка в доме была духовной и интеллектуальной, очень близкой мне по духу. К сожалению, все мы были людьми того неправдоподобного, одновременно и героического и раздавленного времени, и интеллектуальность наша была тогдашней, по позднему выражению, «ангажированной» и часто самоослепляющей. Напоминаю, что в этот период и я признавал Сталина. А уж в том, что мировая революция — высшая ценность, которой должна служить и служит, несмотря ни на что, вся страна, я, как уже здесь говорилось, еще и долго после того не сомневался. Все они относились к этому примерно так же. И Сталина ведь признавали как продолжателя этого Дела в особо сложных условиях.

Обо всем этом я уже не раз писал, и на этих страницах тоже — иного духовного наполнения жизни мы себе не представляли. Вся беда была для нас (тогда!) в том, что и в соответствии Сталина этой идее тоже верилось трудно. Как-то мало соответствовали выдвигенцы своей официальной

(да и любой другой) идеологии. Верить было трудно, но мы старались. Анка страстно при полном моем согласии утверждала, что идея мировой революции сохраняется в чистоте, но в «консервированном» виде. И при этом сама рассказывала, как одна пожилая интеллигентная женщина грустно ответила ей на это:

— А может быть, консервированная материя меняет свою биологическую сущность?

Показательно, что фраза эта нам очень понравилась, даже поразила, но... на тогдешнее наше мировоззрение не повлияла.

Конечно, ни о какой духовной консервации Сталин не помышлял. Да она и невозможна. Все это были только наши упования. А если при этом вспомнить, что это была за материя даже без «консервации» — а до понимания этого, минимум, еще лет десять—одиннадцать — то видно, в каком призрачном мире билась живая мысль и как тяжело она пробивалась к реальности и реальным ценностям — к свободе. А свобода — еще и неуют личной ответственности.

И все-таки, несмотря ни на что, это была живая мысль, питавшаяся естественной потребностью живой души в «смысле и красоте»*. Что же касается тамарченковского дома (который, как и все в XX веке, тоже оказался временным пристанищем), то жизнь его вертелась в основном вокруг литературы и поэзии. Последнему особенно была привержена Анка. Как и я, она признала Постановления ЦК о литературе, но считала долгом прежде, чем ругать то, что положено было ругать (всех акмеистов и чуть ли не Блока), познакомить студентов с тем, что это такое, и сама увлекалась стихами, которые любила. Да она ведь и не считала их плохими. Претензии были только теоретически-идеологическими, вымученными для сохранения цельности. Потом, в период космополитизма, она, несмотря на свое дворянское происхождение, была главным объектом кампании в Черновцах, где тогда работала.

Общение с Тамарченками было для меня благотворным еще и потому, что я расширил свое впервые сформированное на лекциях М.С. Григорьева представление об эстетике.

* Это ссылка на важное для меня определение академика Ухтомского: «Жизнь есть требование от бытия смысла и красоты».

Да и вообще впервые узнал, что это так называется. Ведь предмет, который он читал (и который вообще значился в вузовских программах изучения литературы) именовался «Введение в литературоведение» и слова «эстетика» профессор не произносил. Почему? Неужели оно было тогда отменено? Хорошо помню, что потом термин «эстетика», правда, с определением «марксистско-ленинская» бытовал, но это потом. А тогда — не знаю. Хотя и потом предмет назывался по-старому (или по-новому — как все в нашей жизни — откуда считать) «Введение в литературоведение». Так или иначе, что это называется «эстетика», я впервые услышал от Анки.

Я останавливаюсь на этом так подробно потому, что в моем становлении эстетика сыграла громадную роль. Может возникнуть досужий вопрос — а нужна ли вообще людям, посвятившим себя столь интенсивному и импульсивному делу, как поэзия и вообще художественное творчество, столь абстрактная дисциплина (не наука же!)? Безусловно, никакое погружение в премудрости эстетики не сделает человека художником, если он не художник, не гарантируют даже верной оценки художественного произведения.

И все же я думаю, что скорее нужна — особенно в век столь многих революций в искусстве, — иногда после всех забот о тонкостях выразительности не худо вспомнить, о чем собственно вообще речь, что и почему вообще стоит (адекватно) выражать средствами искусства. И, кроме того, именно в связи с эстетикой я впервые соприкоснулся с проблемой личности.

До сих пор мне (в теории, конечно) было известно только «личное» (сиречь мещанское, эгоистическое, мелкотравчатое), которое и существует практически только для примата над ним общего. А тут, хоть и в марксистском освещении, оно оказалось центральной проблемой — ну хотя бы в литературе. Помню вступительную фразу из лекции Давида в Москве: «История литературы есть история развития человеческого характера». Разумеется, все это, как и то, что чуть раньше открыл мне М.С.Григорьев, шло навстречу моему самоощущению (интуиции), поэтому я это и воспринял, но услышать это сформулированным было тем не менее очень важно. Ведь культура потому и культура, что передается и развивается, а не начинается каждый раз с

нуля. Сталин не зря боролся против всякого общения и всякого самосознания.

Я уже упоминал, что все это приобщение к культуре проходило в марксистском оформлении. Я давно уже не марксист, ибо не материалист, не социалист, не поклоняюсь классовой борьбе и знаю, что классовое сознание есть не истинное, а искаженное представление о реальности. Но это не отменяет того факта, что учился я мыслить на марксизме и что он же меня научил отрицать марксизм. Ибо культурный марксизм (не «марксизм-ленинизм») был все-таки европейской системой мысли — к тому же единственной мне тогда известной.

Кстати, я и теперь не присоединяюсь к тем, кто, обжегшись на молоке, дует на воду, и хотя отрицаю марксизм, его ответственность за ленинскую партию и Октябрь Семнадцатого считаю весьма косвенной (большинство марксистов в мире все это тогда отвергло), а за сталинскую коллективизацию и индустриализацию — вообще никакой — да, к огорчению «национально-мыслящих», Маркс и Энгельс к организации колхозов отношения не имеют. Так же, как не имеют они никакого отношения к многочисленным сегодняшним террористическим группам в Южной Америке и других веселых местах планеты, хотя те прямо объявляют себя «марксистскими».

Конечно, марксизм в целом тут не безгрешен — видимо, он создал ауру, которая оказалась очень удобной для любых «активистов». Но я здесь не пропагандирую марксизм, даже не определяю меру его вины в целом, а просто пишу о том, что такое культурный марксизм и что роль, которую он в тогдашних условиях сыграл в моем (да только ли в моем?) развитии, была благотворной.

Хочу напомнить, что из отрицания марксизма вышло такое серьезное культурное явление, как русская религиозная философия. Из отрицания сталинской и послесталинской эклектики получилась только другая эклектика — пусть интеллигентская, но не менее капризная. Подчеркиваю — в то трудное время именно марксизм возвращал к культуре и мысли.

Должен сказать, что если сталинщину и ленинщину я с гневом и стыдом отверг, то от марксизма просто отказался как от неверной теории. Но при этом я и теперь не забы-

ваю, что Маркс все равно был мыслителем. И что хоть на счет вредности капитализма и частной собственности он явно был неправ, а с их отпеванием явно поторопился, но еще в «Экономически-философских рукописях 1844 года» сумел предугадать, описать и оценить массовую уравнительную психологию нынешнего времени, назвав ее «грубый коммунизм». Правда, это я прочел много позже...

От Тамарченок я впервые узнал о разгромленной в конце тридцатых группе «Литературный критик», с которой они были и интеллектуально, и лично связаны. От них я впервые услышал имена ее лидеров — венгерского эмигранта-коммуниста Георга (Дьердя) Лукача и Михаила Александровича Лифшица. Имена этих людей были известны уже во многих странах. М.А.Лифшиц был, кроме всего прочего, составителем известной тогда хрестоматии «Маркс и Энгельс об искусстве».

Вижу ироническую улыбку непосвященных и нелюбопытных. Дескать, знаем мы все эти «Ленин об искусстве», «Сталин об искусстве»... Нет, не знаете. Это вовсе не было официальной компиляцией, это было впрямь предпринято с просветительской целью. Конечно, Маркс и Энгельс специально искусством не занимались, и в этой области были и есть более крупные авторитеты. Но уровень культуры и понимания, который они проявляли, обмениваясь друг с другом в письмах мнениями на этот счет или задевая эту тему мимоходом в статьях, посвященным другим вопросам, имел для нас колоссальное значение, а в начале тридцатых освобождал от тоскливой жвачки Пролеткульта...

Впрочем, я до Тамарченок ни об этой хрестоматии, ни об ее составителе, ни об его круге, ни о дискуссии ничего не знал. Наверное, если и встречал в довоенной «Литературке» упоминание о дискуссии, о том, зависит ли талантливость произведения от мировоззрения автора, то пропустил из-за отсутствия интереса.

Между тем за этой схоластикой стояло многое — это был бесплодный спор культуры с бескультурьем, когда вдобавок на стороне бескультурья стояли партия и государство.

Но, как все «сознательные» сторонники строя, «теченцы» (так их по свидетельству Д.Самойлова называли в ИФЛИ) при всей мощи своего интеллекта этого не понимали. А они теоретически были тогда сторонники не просто

строая, но и лично Сталина, поскольку тот разгромил «вульгарный социологизм». Кстати, не без их помощи — они были ударной силой и теоретическим обеспечением этого разгрома. От крамолы, как видите, они были весьма далеки. И если говорили о независимости качеств произведения от идеологии автора (речь шла о прошлом), то не столько из либеральности, сколько из идеологической уверенности. Они имели в виду, что талант все равно заставит автора писать правду, а значит, объективно его творение будет на стороне передового класса и прогресса. А в том, что правда на «нашей» стороне, они и сомнения не допускали.

Короче, они на первых порах видели в Сталине культуртрегера и не учли, что отменил он вульгарный социологизм, а не саму вульгарность. Ее он только укрепил и умножил. И — в еще большей концентрации — применил в своей особой, сталинской «народности» (после того, как он подорвал все основы и связи народной жизни). Именем этой «народности» и были разгромлены «теченцы».

Горькая ирония этих моих слов не должна быть никем воспринята, как взгляд свысока. Ведь речь идет о замечательно умных, очень талантливых и ярких людях. Просто обстановка закрытого общества и тотальной дезинформации действует на всех. Я не думаю, что при всем своем уме они понимали, почему потерпели поражение. Среди них было много евреев, но это не могло быть актом антисемитизма. Во-первых, тогда он был запрещен, а, во-вторых, «по поручению партии» возглавлял этих сталинских «народников» бездарный профессор еврейского происхождения В.Кирпотин.

Преследовались не евреи, а культурный разум, по природе чуждый сталинской бессмыслице, даже когда думает о себе иначе. Я потом острил, что социализм это такой строй, при котором В.Кирпотин может в открытой дискуссии победить М.Лифшица. Получилось так, что я потом однажды соприкоснулся с Кирпотиным (тот принимал у меня какой-то экзамен в Литинституте, ничего дурного мне не сделал, но производил крайне неприятное впечатление) и был в добрых отношениях с Лифшицем. Так что, как говорится, могу оценить если не остроумие, то справедливость своей остроты. Однако социализм сработал — Кирпотин победил!

Антимодернистские взгляды М.А.Лифшица были всегда мне близки. Это вовсе не значит, что я разделяю все его оценки — например, его отрицание импрессионизма. Но никакая верность общей позиции не гарантирует правильность оценки конкретных произведений. Как не гарантирует она творческих откровений. Но эта общая позиция облегчает и то, и другое, создает культурную атмосферу. В 1950—1960-е годы некоторые воспринимали этот пафос М.А. как конформизм — ибо с модернизмом вздумало бороться и государство. Но это они были неправы, это была обычная советская путаница. Ибо впервые он выразил эти взгляды в тридцатые годы, когда «антимещанский» пафос модернизма не только официально не осуждался, а отчасти даже приветствовался.

Лифшиц считал себя ленинцем (во времена моего знакомства с ним уже не сталинцем), но всегда в нем жила здоровая консервативность. Не зря он когда-то дружил с Твардовским и Платоновым, которые, впрочем, тоже считали себя коммунистами. Я с ним знакомился два раза. Еще в юности до ареста, на квартире его дочери Веты, где он меня одарил великолепным презрением и — попутно, к слову — не менее великолепным анализом «Евгения Онегина». А вторично — уже в зрелости, когда меня привела к нему Ольга Чайковская. И хотя он вроде ко мне уже хорошо относился — я к тому времени тоже написал ряд серьезных статей против модернизма, — наши отношения тут же чуть не кончились.

Ибо я мало того, что покусился на Ленина (сказал, что у того было господство темперамента над логикой), но еще с радостью первооткрывателя высказал тонкое предположение насчет ленинизма самого М.А. — сказал, что когда-то в юности он совершил насилие над собственной логикой, а дальше все пошло правильно. Что тут началось, передать трудно. Фраза, что первоначальное его (М.А.) низкое мнение о моих умственных способностях, поколебленное недавно в нем его друзьями, как теперь он убедился, было правильным — не казалась самой резкой.

Я оказался в шекотливом положении. В истинности моих слов я не сомневаюсь и теперь, но я ведь пришел к нему разговаривать и слушать, а не учить его или ругаться с ним — так сказать, выяснять отношения. И до этого, и в тот мо-

мент я считал его одним из самых умных и интересных людей своего времени. Теоретически надо было расплестись и уйти, но это было глупо. И я стал отрабатывать задний ход, о чем и теперь не жалею. В общем, «вечер прошел в теплой дружеской обстановке». О Ленине и ленинизме мы больше не говорили.

Такое насилие над логикой — для того времени «многих торный путь», хотя от этого множества М.А. отличался невероятной силой и глубиной интеллекта.

После этой встречи мы всегда дружески встречались, переговаривались, и это всегда было интересно. Как я слышал, в конце жизни он признал «абстрактные» (в противовес относительным, классовым), то есть нормальные человеческие ценности. Но я думаю, что он всегда из них исходил, только оформлял их в духе «двадцатых годов», к которым в культурном отношении тоже вряд ли относился с особым пиететом. К его антимодернизму никак не следовало относиться легкомысленно. Он никогда не был у него «мещанским» неприятием непривычного, он был плодом глубоких размышлений о жизни и культуре — был шире просто отношения к искусству.

Я всегда считал его учеников своими учителями — не в поэзии, а в мысли. Не стоит острить, что дескать мысль была марксистская. Я учился у них (и у марксизма) не столько мыслям, сколько культуре мысли. А через что еще, если не через этот культурный, попираемый «марксистской» властью марксизм она могла до нас прийти? И знакомство с этим началось у меня в Киеве и через Тамарченко.

А вообще Киев я воспринял тогда мрачно. Раздражало многое. Очень агрессивен был, например, (или только мне казался?) украинский национализм. Прежде всего в своем яростном желании не столько утвердить свое, сколько искоренять все русское. Я это стремление воспринимал как антикультурное. В какой-то степени оно таким и было (и есть сейчас), но именно в какой-то степени.

Поймите меня правильно. Я с детства человек русского языка, но никакой украинофобией не страдал. Как уже рассказано в первой части, я вырос в Киеве и с детства привык к украинской речи вокруг себя, привык даже к украинским вывескам повсюду. Более того, в эвакуации мне всего

этого не хватало, и я бывал всегда рад, если вдруг слышал рядом украинскую речь, живо на нее откликнулся. Это и сейчас так.

Но в первый мой послевоенный приезд в Киев это было не так — напор украинизма рождал во мне какое-то глухое, иррациональное сопротивление. Разумеется, и тогда это не относилось к простым людям, для которых эта речь была естественна, а в какой-то нарочитости, ощущавшейся во всем. Может быть, отчасти дело было и во мне, в моей тогда еще неофитской, а потому бескомпромиссной приверженности к России и всему русскому. Вероятно, в какой-то мере я не избег и великодержавного шовинизма. Но все же дело было не только в этом. Ибо «шовинизм» этот подпитывался многим, на что я наткнулся — и реальностью, и химерами, возникавшими из нее.

Оккупация по понятным причинам вообще сильно накладывалась на мое восприятие. Это все-таки ведь особое ощущение — оказаться в родном городе, где еще три года назад ты официально и легально подлежал уничтожению. О том, что ситуация эта для нашей страны в XX веке не уникальная, что многие подлежали этому раньше (хоть не по расовому, так по классовому признаку), что с выссылаемых в 1922 году российских интеллектуалов брали специальную расписку, что они предупреждены о том, что в случае их появления на территории РСФСР будут тут же расстреляны, — я еще не думал, а отчасти и не знал.

Но зато прекрасно «знал», что украинские националисты сотрудничали с оккупантами. Я уже писал в первой части, что дело обстояло куда сложнее. Именно украинские националисты долго спасали моего друга, талантливого поэта Якова Гальперина. К тому же немцы очень быстро и кроваво расплевались со своими «союзниками», решив, что обойдутся без них. Правда, скоро жестоко поплатились за свое «арийское» самомнение — в ответ получили партизанское движение «бандеровцев», которое ведь только после изгнания немцев стало воевать против нас. Все, что тут было — дворник Кудрицкий, мои родные и одноклассницы, погибшие в Бабьем Яре, — угнетало. А в городе я встречал людей, которые в это время тут жили, а часто, как я полагал, и участвовали. Даже не служа. Вот как один возчик, подрядившийся перевести бабушку и дедушку Ритика до

сборного пункта. Немецкий приказ объявлял только о переселении «жидов города Киева», а не об их уничтожении. Так что ответственность за предприимчивость, которую проявил возчик (их сосед снизу) по отношению к ним, лежит целиком на нем.

А состояла она в том, что, доставив семью к месту назначения, он вместо того чтобы дать сгрузить пожитки, нужные для того чтобы начать жить на новом месте, стал отгонять их хозяев от телеги кнутом, приговаривая разные нехорошие, но теперь разрешенные слова. Его пассажиры были убиты не им и не по его инициативе, вещи у них бы все равно отобрали, и служил он в данном случае не немцам, а самому себе. И встречал Ритик в Киеве этого субъекта (фамилия которого вполне литературная — Белинский) и после войны. Как раз тогда. Это конкретная история, касавшаяся моего друга. Но таких историй мне приходилось слышать много. Они будоражили подозрительность.

Конечно, подозревал я и тогда не всех подряд. Не подозревал же нашу А дочку Давиденко. И нашу милую соседку со второго этажа Анну Семеновну Колесникову тоже. Но обе они были русские (А дочка несмотря на украинскую фамилию), а русские при оккупантах по моим тогдашним представлениям в отличие от украинцев были в городе Киеве людьми второго сорта. Кроме того, я знал, что много украинцев служило в нацистских лагерях уничтожения. И слышал, что в эсэсовском батальоне «Нахтигаль» («Соловей»), «работавшем» в Бабьем Яре, служили тоже соловьи отнюдь не курские. Недавно один их духовный наследник из Ровно объявил, что он гордится этим фактом.

Я не прощаю ни одного человека, согласившегося на слепое палачество — независимо от того, сделал он это из холопства или из мести кому попало. И тут неважно, что этот палач испытал до того — его жертва могла испытать не меньше. Но и о том, что многое на Украине было следствием «Голодомора» — после которого полностью здоровым не может быть ни один народ, — тоже забывать не надо. Обвинительной прыти будет меньше. Во всяком случае чем у меня в сорок шестом. Но и сегодня я думаю, что тех, кто шел в лагерные палачи и соглашался убивать и истязать невинных, а тем более проявлял при этом прыть, не оправдывает даже «Голодомор».

Но судить огульно о целом народе все равно нельзя — об украинцах, как и о евреях. Ведь я и тогда знал, что фронтовиков среди украинцев было намного больше, чем коллаборантов. Знал и о тех, кто, рискуя жизнью, прятал евреев и спасал еврейских детей. Я собственно и не судил — речь тут вообще идет не о мыслях, а о настроении. Не говоря уже о том, что в каком-то смысле, да еще по сталинским меркам «сотрудничали» все, независимо от происхождения, ибо — раз уж люди оказались «под немцем» — им, если бы они не «сотрудничали», то есть не работали где-нибудь, просто не на что было бы жить. Но это сегодняшнее понимание — советское воспитание к такому отношению не располагало.

Но и сегодня тогдашняя обстановка в Киеве все равно вспоминается как тяжелая. Тем более что взаимные подозрения и взаимонепонимание катализировал уже упоминавшийся мной квартирный кризис. И поскольку возвращались в основном евреи, это создавало какой-то каменный непроходимый антисемитизм, какого в такой концентрации и абсолютности я больше потом никогда и нигде не встречал.

На это откликнулся украинский писатель-юморист Остап Вышня, которому разрешили после лагеря вернуться в Киев — такое редко случалось. Он разразился фельетоном против тех, кто просидел войну в Ташкенте, а теперь требует свои квартиры. Антисемитизм тогда уже допускался, но, видимо, он нарушил какие-то нормы, и его одернула сама «Правда». Директивный орган дал понять, что никто не позволит противопоставлять одних граждан другим — все советские люди. Я и теперь считаю этот фельетон низким и постыдным. Не дело писателя подливать масла в огонь таких страстей.

Незадолго до моего приезда этот огонь едва не обернулся еврейским погромом. Вечером на Демиевке некие личности встретили офицера-еврея при многих орденах и звездах Героя Советского Союза. Стали его оскорблять и, кстати, осведомляться, за сколько денег он в Ташкенте купил эти награды. Офицер почему-то обиделся и вместо того чтобы подробно рассказать под смех публики, за что он какую награду получил, поступил с ними так, как на фронте привык поступать с их единомышленниками — выхватил

пистолет и убил обидчика. Неизвестно, перешли ли вопрошавшие к оскорблению действием, но такой способ разрешения конфликтов незаконен везде. И то, что офицера арестовали — естественно. Но все равно наутро стали собираться возмущенные толпы. Назревал погром. Власти растерялись. Положение спас митрополит. Он позвонил в Москву, и оттуда последовало распоряжение принять меры. Меры были приняты, до погрома в Киеве не дошло. Но обстановка была противная. И Остап Вышня наравне с Андрием Малышко и его (по выражению В. Некрасова) «малышкин-югенд» создавали ложное, как я теперь думаю, представление об украинской интеллигенции.

Такое отношение к ней прошло у меня без следа после появления на сцене молодых украинских «националистов» — другими словами, культурной творческой молодежи.

Речь идет о В. Коротиче, И. Драче, И. Дзюбе, Д. Павлычко, Л. Костенко и незабвенном моем В. Пидпалом — всех не перечислишь. То, что я здесь называю только поэтов (исключение И. Дзюба), неудивительно — я их лучше знаю. Люди это разные, далеко не во всем я с каждым из них согласен, особенно сегодня. Но все это люди, понятные мне — в то время как Малышко и его окружение (по классификации «националистов» «хуторяне») по-человечески мне понятны не были никогда. Или — что то же самое — были мне слишком понятны всегда. Но тогда в киевской атмосфере царили они.

В Киеве я тогда же или в следующий приезд познакомился и с Людмилой Титовой. Кто-то, не помню кто, рассказал мне о ней и прочел ее стихи об оккупации. И я к ней пришел — просто так. Жила она в самом центре, у самых Золотых ворот, на углу Большой Подвальной и Владимирской (тогда Ворошилова и Короленко). Окна и балкон ее комнаты (жила она, как и большинство горожан в те годы, в коммуналке) выходили на Золотоворотский садик.

История ее такова. Отец ее, Виталий Платонович Титов, был дворянином и командиром Красной Армии. В 1937-м или в 1938 году (даты наводят на мысли), когда он уже жил с другой семьей далеко от Киева, он неожиданно кончил самоубийством. Люда до войны жила с матерью и отчимом, евреем по национальности, который раньше был даже прокурором, но потом читал лекции на юридическом

факультете Киевского университета. Весной 1941 года Люда кончила школу и поехала в Москву поступать в институт. Когда началась война, она не сразу добралась до Киева и мать с отчимом уже там не застала. Соседи ей сказали, что они эвакуировались с университетом. И Люда застряла в Киеве. Попытались ее произвести в еврейки (по отчиму), даже череп мерили, но отчество у нее было другое, а кроме того, она показала дворянские грамоты отца и матери. Отступили. И она прожила в Киеве всю оккупацию. Стихи ее были талантливы и подлинны. Но всерьез литературой при всей яркости своей личности и дарования она не занималась — в Литинституте, куда я ее без труда устроил (показав ее стихи), она не осталась и уехала домой. Стихи ее теперь стараниями Ритика почти все изданы — в Москве и Киеве. В Москве в ЦДЛ даже состоялся и прошел с успехом вечер ее памяти.

Отношения с Людой и с ее вскорости мужем Яшей Данцкером я тоже поддерживал и поддерживаю всю жизнь. После ссылки при жизни Сталина, в 1951-м и в 1952-м, я, приезжая полулегально, останавливался по их приглашению у них. Они вели себя так же, как и мои московские друзья. Та часть моего поколения, к которой относились мои друзья, шла к истине трудными путями, но друзей в беде не покидала. А ведь за одну такую ночевку неположенного человека можно было нажать крупные, а то и роковые неприятности. Тем, кто склонен относиться иронически к слабостям предыдущих поколений, стоит задуматься, было ли легко это делать и примириться, смогли ли бы они сами вести себя так же в столь грозных обстоятельствах.

Яша и Люда, как многие в наше время, потом разошлись. Последний раз Люду я видел в 1992 году в Киеве, когда она была уже смертельно больна, но оставалась все такой же — яркой и всегда неожиданной. Думаю, что она была рождена для большего, чем сделала. Она умерла. Яша теперь, как и я, живет в Америке, в Вашингтоне, мы переживаемся. Ритик и теперь живет в Киеве.

А моей книге настает уже пора возвращаться из Киева в Москву.

2. Круги и кружение

А в Москве круг наших с Максимом знакомств расширялся. При всей перекрученности ее судьбы Москва и тогда была в высшей степени интересным городом. Во всяком случае для нас с Максимом. Уверен, что это и объективно было так, но сейчас речь не об этом. Мы оба были провинциалами, и нас она влекла прежде всего интересными и значительными знакомствами. И мы с ним заводили эти знакомства (отнюдь не «связи»), так сказать, проникали в круги московской художественной и гуманитарной интеллигенции. Где-то в гостях (а может, на какой-нибудь, как теперь говорят, «тусовке») мы познакомились с Майей Рошаль, тогда студенткой режиссерского факультета ВГИКа (Института кинематографии), и она пригласила нас в гости.

Она жила с родителями — известными режисерами Григорием Львовичем Рошалем и Верой Павловной Строевой. Приняты всей семьей мы были радушно, тепло, ободряюще, нас, как говорится, внутренне поддержали. Дружба с этой семьей продолжалась у меня всю жизнь, выдержала все испытания, которым щедро подвергало ее жестокое сочетание последующей истории с моей биографией. И ни на каком отрезке пути она не подводила.

Конечно, и Григорий Львович, и Вера Павловна, как и все известные режиссеры тех лет, диссидентами в позднейшем смысле этого слова не были. Я имею в виду не поведение — об этом тогда и речи быть не могло, — а внутреннее отношение к происходящему. Адекватного ему абсолютно и жесткого отрицания «эпохи» (и в диссидентство оно, кстати, не уложилось бы) у них и в помине не было. А у кого оно было, кто умом и духом уже тогда — не задним числом, а уже тогда — полностью соответствовал создавшейся ситуации?

К тому же все вокруг были в эйфории недавней победы над фашизмом, добытой в союзе с демократиями, — это радовало, как десятилетие назад ту же среду радовал разгром «Пролеткульта» и РАППа. Тогда эту наживку творческая интеллигенция проглотила с крючком, с которого ее отцепили только при Горбачеве. Теперь, когда она уже дав-

но была на крючке, никто и не тратился на наживку — этим союзом с цивилизацией она утешалась сама.

Но тут я уже соскользнул на разговор о среде, так сказать, стал рассматривать вопрос «в общем виде», говорить об одном из предшествующих мне поколении творческой интеллигенции. К тому, что я помню о старших Рошалах, он отношения не имеет. С ними ни о «Пролеткульте», ни о союзных демократиях я разговоров никогда не вел. Я только хочу сказать, что приятие сталинской действительности у старшего поколения этой семьи было далеко не безусловным. Свидетельство тому — их безусловная и традиционная интеллигентская порядочность, выразившаяся хотя бы в том же их отношении ко мне в трудные годы. Но и в творчестве тоже.

Я здесь не собираюсь оценивать фильмы Рошалей по гамбургскому счету (даже если он применим к кинематографу) и погружаться по этому поводу в киноведческие проблемы. К тому же я эти фильмы смотрел очень давно и не знаю, как бы я их воспринял сегодня. Но чем они были в тогдашних условиях, я помню хорошо. Мне скажут, что нельзя судить о произведении искусства применительно к условиям. Это правда. Но и жить в сталинщину, тем более вести в ее условиях интеллектуальную и духовную жизнь — тоже нельзя. Однако жили и вели. И кому-то за что-то были благодарны. За намек на правду или на реальную ценность.

Поколения меняются. Те, кому все это понятно, вымирают. И все большему количеству людей надо объяснять, что я пишу не вообще о годах советской власти, а об апофеозе сталинщины. Ибо к советчине относятся и годы «оттепели», и годы застоя. Я не идеализирую эти периоды, застой просто остановил порывы страны к спасению, но и в эти годы наше кино при всех помехах старалось говорить полным голосом, не мытьем, так катаньем протаскивать свое — и иногда это ему, хоть с потерями, удавалось. Но сталинщина — другая эпоха. Тогда об этом и вопрос не стоял — убивали за одно только подозрение в «протаскивании».

А фильмы Григория Рошала («Петербургская ночь», «Зори Парижа», «Мусоргский», «Павлов» и другие) и «Поколение победителей» Веры Строевой «протаскивали» интеллигентность, идейность (как личное независимое убеждение), погружение в творчество, порядочность. Напоми-

нали, что они, так сказать, таятся в «наших истоках» (во что тогда многие искренне верили), следовательно, что они вообще существуют. Все это подавалось в упаковке отнюдь не крамольной (такая и не замышлялась), в обрамлении «правильного» истолкования*, но все-таки напоминало. И благодаря таким людям и такой деятельности это в нас за-ронялось.

Этот дом сыграл, как я полагаю, огромную роль в моей жизни — я встретил в нем много интересных людей, в том числе представителей небывалого, исключительно тогдашнего, советско-сталинского сословия сановной художественной интеллигенции. Об этом своем впечатлении — это ведь особое явление в истории культуры — мне бы хотелось поговорить отдельно, прежде чем опять вернуться к этому дому. Хотя все происходило в его стенах.

Конечно, художники и до этого бывали иногда сановниками (например, Гете или Державин), но не по художественной же части. Это сословие было сформировано Сталиным лет за десять—двенадцать до этого, и во времена, о которых я пишу, еще соблюдалась какая-то видимость соответствия между некоторым — не скажу, художественным, но все же профессиональным — уровнем и саном. Пошатнулось это после идеологических постановлений 1946 года, а полностью соблюдаться перестало в эпоху «борьбы с космополитизмом». Новые задачи потребовали новых людей — тогда в сановные вышел и Анатолий Софронов.

Могут сказать: какая разница? Но все-таки разница между Анатолием Софроновым и даже Григорием Александровым, не говоря уже о, допустим, Всеволоде Вишневском, была и есть. Первые — это те, кто по страху или по идейному умопомрачению предавали то, что умели и знали, софроны же, пользуясь моментом, активно отхватывали то, с чем обращаться не умели, чего не знали, не понимали и не собирались знать или понимать. Кто больше виновен, вопрос непростой, но вторые мне более отвратительны. Однако это уже коллизия расцвета поздней сталинщины, а сейчас мы еще только в ее преддверье.

* Такое истолкование отнюдь не всегда было осознанной хитростью, но о характере такой искренности — о сознании, формируемом террором, я уже писал неоднократно. Тут важно то, что сквозь это небытие что-то пробивалось.

И однажды в этом доме я вижу Всеволода Вишневского, личность для меня тогда легендарную. За ним стояла романтика Гражданской войны, красный Балтфлот, фильм «Мы из Кронштадта», а кроме того «Знамя» — лучший журнал короткой, негромкой, а потому почти неразличимой для потомков военной и послевоенной «оттепели», главным редактором которого он тогда был. Оттепель, конечно, была бледной, но все-таки первый роман Некрасова, повести Казакевича, воспоминания Вершигоры, вообще ряд ярких произведений о войне, в том числе и признанных потом «ошибочными», — напечатать он за это время успел. Напечатал он также и стихи Юлии Друниной и других моих друзей, вовсе не тривиальные.

И вот со своей женой, художницей Софьей Вишневецкой, он пришел слушать пьесу Григория Львовича, и я сидел с ним за одним столом. Пьесу эту я не помню, она, не будучи крамольной, все же была далека от тогдашней ортодоксальности и тем задела Вишневского. Судя по всему, он яростно держался за ортодоксальность цельности ради (видимо, та же проклятая советская «искренность»), но литературу и все с ней связанное чувствовал. Он стал ходить по комнате и взволнованно говорить:

— Понимаешь, Гриша, до сих пор мне все было ясно... А теперь я буду думать... думать...

Тут я и ввернулся:

— Слава Богу! Наконец-то...

Естественно, он взглянул на меня весьма зверски, но, видимо, не рассердился. Ибо потом, когда его попросили выслушать мои стихи (пусть читатель не забывает, что я тоже был тогда сталинистом), согласился, благосклонно выслушал и пригласил прийти в журнал.

Сегодня я отношусь к этому своему выпадку не столь однозначно, как долгое время относился. Безусловно, то, что я позволил себе это хамство (а это было хамство — разница в возрасте и в заслугах не допускала таких выпадов, тем более публичных), объяснялось литературщиной, как бы следованием Маяковскому в его богемности, тем, что мешанские нормы приличия я презираю, а других не бывает. Но мой выпад не объяснялся дурным отношением к Вишневскому вообще.

Много позже я узнал о том, что С.Я.Маршак называет таких, как он, Швабриными, но для меня тогда переход гардемарина на сторону революции казался поступком естественным, благородным и только придавал ему обаяния. Не объяснялся мой выпад и молодым желанием «высунуться». Он был естественной реакцией на странные для меня слова известного писателя. Думать, конечно, тогда было о чем — тем более писателю. Так что вроде я выхожу кругом прав. Но воспоминание о том, что в тех патологических, бессмысленных обстоятельствах он все-таки что-то делал, кого-то печатал, как-то, видимо, пытался сводить концы с концами (роскошь, которую мало кто себе позволял), кое-что все-таки у моей правоты отнимает.

У меня нет никаких оснований писать воспоминания о Вишневском, ибо я никогда с ним не общался. Я не знаю душевной формулы его перехода на сторону большевиков. Знаю только по творчеству, что он был истовым. Эту истовость он потом, как Павленко и Фадеев, перенес на Сталина, что было непросто — ведь надо было не только внутренне отказаться от многих товарищей, но и примириться с идиотскими обвинениями против них. Обошлось это всем недешево. Павленко, который вовсе не был бездарью, это привело к преступлению — он написал ту «честную и искреннюю», но пренебрежительно-отрицательную характеристику творчества Мандельштама, которая и решила участь поэта. Я не знаю, как Павленко на самом деле ценил талант Мандельштама (в «записке» для «объективности» в качестве хороших стихов, которые, дескать, у Мандельштама, особенно в последнее время, тоже встречаются, он приводил плохие, сталинистские стихи), но знаю, что он ведал, куда писал и что из этого проистечет. Может быть, тоже берег цельность?

Фадеева, личной активности в чьей-либо гибели, если не обязывала должность, не проявлявшего, эта любовь к Сталину привела к пьянству и самоубийству. О чем-либо подобном в отношении Вишневского мне слышать не приходилось. После моей выходки он не только не мстил, а даже пригласил меня прийти в редакцию.

В «Знамени», однако, меня тогда не напечатали, но не по его вине. Милые интеллигентные дамы приняли меня хорошо, отнеслись ко мне с доброжелательным интересом,

но снисходительно. Говорили обычные околитературные благоглупости, выходило, что все бы хорошо, и талантливо, и содержание их не пугает, но вот художественно я пока, к сожалению, не вышел. О художественности — о том, что художественно, а что нет — я тогда думал много, и, естественно, я эти их слова долго помнил и высказывался об этих дамах неласково. Потом, после смерти Сталина, когда я вернулся из ссылки, они укоряли меня в том, что я к ним несправедлив — не печатали меня потому, что мои стихи по тогдашним условиям были непечатны, а я их за это ругаю. Но я их ругал не за это, а за буквальный смысл их слов. Ведь они не просто меня не печатали, а говорили при этом то, что могло подорвать во мне веру в свои силы, то есть с другой, с ненадлежащей стороны добавляли кое-что к тому, что мне приходилось преодолевать. Им так было удобней говорить. А может, и думать?

Впрочем, сейчас и к этому я отношусь спокойней. Ибо объяснить мне, в чем дело, им вовсе не было просто, это требовало высокой степени доверительности, а я все-таки был еще слишком юн и наивен, и это могло казаться им опасным. Тем более что стихи, которые я им приносил, я считал не крамольными, а идеологически безупречными и сверхуместными. По существу они, к сожалению, такими и были, но сталинщину не интересовало существо, если тематически стихи выходили за пределы того, что положено.

Все больше теперь моя ярость переключается с людей на наши уникальные обстоятельства — страной правил сумасшедший негодяй (оба эти слова следует понимать не как ругательства, а как определения), и в централизованном порядке распространял сумасшествие. И приспособление к этому сумасшествию, к его логике считалось и в какой-то мере даже было здравым смыслом.

С домом Рошалаев связано еще одно, на этот раз феерическое знакомство — Сергей Михайлович Эйзенштейн. С ним в отличие от Вишневского мы с Максимом некоторое время и впрямь водили знакомство. Познакомились мы с ним на именинах у Майи, его ученицы по ВГИКу. Представлять его нет необходимости. Нет такой киноведческой кафедры в мире, где бы его не изучали. К его творчеству и творческим установкам у любого компетентного читателя давно сложилось свое отношение, положительное или от-

рицательное, и я не берусь его пересилить несколькими строчками мемуаров. Я буду просто рассказывать то, что помню. И кое-что, как всегда, в связи с этим. Прежде всего о впечатлении, которое он произвел в первый раз. Оно было громадным.

Большой артист, мастер, запросто сидел в кресле, окруженный влюбленной в него молодежью, шутил и отвечал на все вопросы. Кроме того, иронически освещал положение в искусстве:

— В Большом театре готовят «Ромео и Джульетту». Джульетту танцует Уланова, она и танцует, как Джульетта. А Ромео — секретарь партбюро, он и танцует, как секретарь партбюро.

— Называть человека, интересующегося формой, формалистом, столь же последовательно, как называть человека, изучающего сифилис, сифилитиком.

— Закон диалектики для учреждений искусства: «Все течет, но ничего не меняется».

Естественно, мы с Максимом упустить такого случая не могли, завели легкий разговор, почитали стихи и кончили тем, что запросились в гости. Он согласился, но сказал, что имен наших все равно не запомнит и чтобы мы по телефону назвались кличками — «пол-испанцы» (Максим читал незаконченное стихотворение об Испании) и еще какой-то кличкой, связанной с каким-то впечатлением обо мне, кажется, с названием стихотворения (ни впечатления, ни клички не помню).

Долго мы себя ждать не заставили. «Опознав» нас по кличкам, он тут же пригласил нас в гости, и мы явились. Жил он где-то в районе «Мосфильма», кажется, на улице Пудовкина, которая еще не выглядела столь благоустроенной как потом (боюсь сказать: «сейчас»), жил один в большой квартире, увешанной фотографиями, выхватывающими моменты съемок в разных странах, где приходилось работать хозяину квартиры. В углу стоял небольшой столик, где под стеклянным колпаком сохранялся скелет ребенка. Потом я слышал, что это скелет его сына, умершего в трехлетнем возрасте.

Во время разговора произошел неприятный для меня эпизод — я вертел в руках какую-то гладкую палочку и в конце концов сломал ее — к его великому огорчению. Ока-

залось, это была дирижерская палочка, причем, по-видимому, чем-то ему особенно дорогая. Не то, чтобы он стал ко мне из-за этого плохо относиться, но не мог этого забыть и каждый раз поминал ее мне. А я — хоть мне, конечно, было неприятно его огорчить, — все же настоящую неловкость по этому поводу стал испытывать только теперь, а тогда, вполне признавая в искусстве «табель о рангах», я соглашался с тем, что, конечно, и с причудами такого мастера надо считаться, но вообще — подумаешь, палочка! А что именно эта «палочка» могла быть для него связана с каким-то важным переживанием, встречей, победой, не приходило мне в голову. Варварства во мне было еще много.

Но вот что странно. Помню общее впечатление от общения с ним — его облик, обаяние, ум, высокую культуру, а конкретных разговоров почти не помню. Были они больше полушутливым художественно-интеллектуальным проведением времени, чем серьезным разговором мэтра с неофитами. Но, может, мне мало запомнилось еще и потому, что уж очень неблизко мне было его отношение к искусству. Он был на мой взгляд слишком профессионал — не только в деле, что необходимо, но и в какой-то общей позиции.

О каких-то моих стихах он сказал мне, что воспринимает их смысловой и образный ряд, но не воспринимает музыкального (или, наоборот, воспринимает смысловой и музыкальный, но не воспринимает образного — сейчас не помню). Разговор был откровенный, тогда вообще о деле говорили откровенно, и он вполне мог сказать, что стихи ему не нравятся. В этом смысле я и попытался уточнить его слова. Но он не соглашался и настаивал на своем: два ряда воспринимаю, а третий нет. Но я уже и тогда знал, что поэзия — искусство словесное и стихи нельзя воспринимать по «рядам» — если один «ряд» не соответствует, пропадают и все остальные.

Его установки были иные — может быть, потому, что были выработаны в кинематографе. Кино — искусство синтетическое, и эти ряды до какого-то момента существуют раздельно. Режиссер, который их синтезирует, ощущает, вероятно, их раздельность острее и дольше других. Но и в кино, как мне кажется, не стоит это абсолютизировать — в синтезе, в котором воплощается замысел, все эти «ряды» растворяются.

Вот еще о гиперпрофессионализме. Максим спросил его, что случилось с его фильмом «Бежин луг», почему его запретили. Я ничего об этом не знал, потом слышал, что сюжет этого фильма связан с историей Павлика Морозова, а почему запретили — и теперь не знаю. Ответ Эйзенштейна был ошеломляющ:

— Ах, это? Да... это все из-за секретаря партбюро.

— ???

— Да, из-за него. Он знал, что фильм идеологически невыдержан, а мне специально не сказал.

Я вполне допускаю, что секретарь партбюро хотел подвести режиссера, но в то, что он «знал», — не верю. «Знать», что может прийти в голову изначально перепуганному и вечно старающемуся угадать верховную волю начальству, не мог бы и самый интриганский секретарь парткома. Но слова Эйзенштейна поразили меня не этим, а авторской позицией.

Сергей Михайлович, как человек исключительно умный, конечно, понимал, в каком царстве-государстве живет, но конформистом он не был. И трусом тоже. Да и если бы был трусом и не хотел бы раскрываться перед случайными гостями, этот вопрос вовсе не вынуждал его к опасной откровенности — он вполне мог безучастно повторить официальные обвинения. Но делать ему это было неинтересно. И он как раз был откровенен — говорил о том, что его задевало.

А задевало его то, что из-за каких-то неважных для него сюжетных подробностей пропала настоящая работа. И если бы его предупредили, он бы легко эти подробности изменил. Важна только профессиональная работа — построение кадра, монтаж и все тому подобное — через это все и выражается.

Спорить с этим непросто, ибо все это действительно очень важно. Но все же не только это. Мне кажется, что как левый художник (а художником он уж точно был левым) он слишком буквально рассматривал кино как изобразительное искусство и слишком подходил под то, что под словом «мастер», несмотря на полную противопоставленность сталинщины всякой левизне, понимал Сталин. (Помните его: «Но он мастер? мастер?»* в телефонном разговоре с Пастернаком о Мандельштаме.)

* Первым аналитически взглянул на этот общеизвестный факт Б.Сарнов.

Примитив сошелся с изыском. Поэтому Сталин столь долго и «возился» с Эйзенштейном. Но альянса не получилось. Сталинщине была противопоказана любая самостоятельность, а Эйзенштейн отказаться от самостоятельности в своем главном, сойтись с примитивом не мог — масштаб личности не позволял.

В этом была драматичность положения и других честных левых художников. Например, Бертольта Брехта и Назыма Хикмета, стремившихся к «пролетаризации», а приходивших к крайней аристократизации искусства, духа, а иногда и быта. Но к реальной примитивизации (не путать с интересом к наивному, народному примитиву) они испытывали естественное отвращение.

Тем более это относится к Эйзенштейну, который был более уязвим и зависим от этого господствующего примитивизма, чем Брехт и даже Хикмет — он не был иностранцем. На всем его облике лежала печать левого интеллигента, не политически, а духовно и эстетически левого, и изменить себе в этом он не мог. Все это было не ко двору. И мастерские его фильмы приказывали смывать. В них все равно был или грезился второй план.

Я отнюдь не поклонник этого типа культуры. И помню, что именно она, взрывая мещанские миры, поддержала «октябрьскую очистительную грозу». Помню, что именно Эйзенштейн в фильме «Октябрь» придумал штурм Зимнего — чутьем профессионала почувствовал, что большевистскому путчу, чтоб выглядеть революцией, не хватает сюжетной кульминации, и добавил ее. И мне отнюдь не чужды претензии к нему старого зэка из солженицынского «Одного дня». Но все-таки я думаю, что очень хорошо, что судьба меня ненадолго свела с этим очень незаурядным человеком. Особенно в те времена декретируемой серости. Все-таки за ним стоял колоссальный масштаб исканий, самостоятельность и определенность. И это поддерживало само по себе. Правда, не в том, чем жил он.

Я понимаю, что он внес большой вклад в развитие кино, но это меня меньше интересует. Фильмы я ценю «по-глупому», то есть по доставленной мне эстетической (она же человеческая) радости, а не «по-умному» — по вкладу их в развитие кино. Но это уже не относится к квартире и семье Рошалаев-Строевых, в связи с которыми я собственно и рассказываю все это.

Григорию Львовичу я многим обязан — он мне часто помогал, не говоря уже о том, что в трудный момент добился для меня московской прописки. С Рошалами и с их квартирой на Большой Полянке мы на этих страницах, наверное, встретимся еще не раз, но я не могу продолжать свой рассказ, не вернувшись снова к первому своему посещению этого дома, не заговорив об еще одном человеке, с которым я тогда познакомился и которого Майя представила мне как своего жениха.

Речь идет о человеке, которого в Москве знали и помнят многие — о Георгии Борисовиче Федорове, — тогда, а для меня навсегда, — Жоре Федорове, с которым меня связывали тесные отношения с тех пор всю жизнь, до самой его смерти — всего полвека. В тот вечер Жора пришел к Рошалам не один, а с кем-то из своих друзей. Потом я их знал почти всех, но с кем он был именно тогда, я никогда не помнил, не зафиксировалось, смылось другими впечатлениями этого важного для меня вечера. А Жору помню. Очень большие его глаза смотрели на меня дружески, доброжелательно, подбадривающе (хоть я и не смущался). Он уже откуда-то что-то знал обо мне и попросил прочесть какие-то конкретные стихи — кажется, «Зависть». Потом еще что-то. Был очень доволен. Но он в тот раз куда-то торопился и скоро, тепло попрощавшись, ушел. Вместе с товарищем.

В тот вечер я еще не знал, что дружба наша уже началась. В следующее мое посещение они с Майей уже были мужем и женой, и Жора стал неотъемлемой, примечательной и естественной частью этого уникального дома. Встретил он меня уже как старый друг. И это уже соответствовало реальности.

Конечно, он был мне тогда другом старшим — мне было двадцать, а ему двадцать шесть или даже двадцать семь, а в таком возрасте разница в шесть-семь лет — существенна. Но, вероятно, именно в таком друге я нуждался. Он был историком. Теперь специализировался в археологии. В момент нашего знакомства он стоял на рубеже двух свершений своей жизни: кардинального — женитьбы и просто важного — защиты кандидатской диссертации.

Тогда еще кандидатское звание не было таким ширпотребом, как сейчас, и ценилось. К тому же это было серьез-

ным жизненным успехом. Сталин после Хиросимы существенно улучшил материальное положение ученых: ощути-мо повысил им зарплату и — что тогда, при еще действующей карточной системе, было еще важнее — категорию снабжения продовольствием и промтоварами. Довольствие выдавалось соответственно ученой степени. Так что получение степени означало иной общественный и имущественный статус. В тюрьме я слышал, что для ареста доктора наук требовалось больше «компромата», чем для ареста кандидата, на кандидата больше, чем на «простого» инженера и т.д. Вот как высоко ценилась наука.

Я был очень рад за Жору. И вообще это нововведение укрепляло, как казалось, положение интеллигенции, облегчило многим хорошим и ценным людям жизнь. И помогло России стать мощной научной державой. Такое положение ученых мне всегда казалось естественным.

Но есть и обратная сторона медали — именно это породило приток в науку людей, о которых американский экономист, нобелевский лауреат Милтон Фридман сказал, что «они не интеллектуалы, а активисты». Он говорил, что во время Вьетнамской войны эти «активисты» вместо того чтобы открывать бизнесы, банки — в общем, работать по призванию, — бросились в науку (чтобы избежать мобилизации) и, как люди энергичные, быстро захватили в ней ключевые позиции. Последствия этих нескольких лет ученый воспринимает как бедствие.

Это в Америке «как бедствие»! Где такие кадры накапливались всего несколько лет. А что говорить о нас, где ни о каких банках и бизнесах и думать нельзя было, где из путей к благосостоянию существовала только партийно-государственная карьера, а теперь вдруг открылся еще один — более широкий и вроде бы независимый путь — через науку. Или — через литературу. И такое удобство, как «поддержка» партийных органов, сталинской партократии, по природе видящей своих в основном в таких «активистах», которые ни к каким банкам или бизнесам тоже способны не были, и проталкивавшей их на ключевые посты. Постоянно, а не в течение нескольких лет. Только в тех областях, которые «стреляют», иногда делались исключения. Правда, полностью подменить науку, как партию, было невозможно — там была смена фикций, а такая наука вещь реаль-

ная, она и под этим панцирем развивалась. На Западе ее достижения очень ценят. И часто используют. Ибо весь этот расцвет науки, к сожалению, покоился (что сказывается только теперь) на наследии сокрушительного начала тридцатых — на внеэкономической индустрии и ущербном сельском хозяйстве.

Как ни странно, в этом возвышении ученых, может быть, есть еще одна сторона. Разумеется, ученые в ней не виноваты. В нем стихийно или направленно сказалось сталинское стремление вогнать общество в единый ранжир, в систему сословий. Потом, как известно, работники почти всех государственных ведомств носили форму, аналогичную военной, с теми же знаками различия. Все может быть. Но это сегодняшние мои предположения. А тогда я был просто рад за Жору и потом за многих других хороших людей. Должен сказать, что серьезная интеллигенция на сословность не купилась, относилась к ней иронически, а ее особое положение помогло ей сохраниться. Привилегированные часто собирали деньги для уничижаемых. Старались помогать не только Галичу, когда он стал гонимым (это все-таки были другие времена), но и Зощенко в те самые.

У нашей интеллигенции было много грехов, но все-таки не надо забывать, что не одни грехи у нее были. И та борьба, которую она во всех условиях и при любых взглядах вела за свое духовное самосохранение, за здравый смысл, выражающиеся иногда даже в вызывающих сегодня иронию попытках свести концы с концами там, где они замыкались на кромешное по бесчеловечности безумие Сталина, — она при всей своей крайней недостаточности должна вызывать сочувствие. Страшно подумать, что было бы, если бы не было и ее. Одним из воплощений этого негромкого, но абсолютного противостояния был Жора Федоров. И широкий круг людей, который всегда бывал вовлечен в его орбиту.

Однако вернемся к диссертации. Интересовался Жора современной историей, а занялся археологией. А диссертацию защищал по еще более узкой и идеологически еще более чистой отрасли — древнерусской нумизматике. Дескать, не укусишь, не поймашь. Речь, как я помню, шла об изменении вида и веса древнерусских монет в связи с меняющимся экономическим состоянием Московского госу-

дарства. Точно, в чем было дело, я не помню, помню только антураж. Я впервые присутствовал на защите. Научным руководителем Жоры был Б.А.Рыбаков, личность сложная, но крупный ученый, впоследствии академик. Однако нисколько не нумизмат. Нумизматов, по-моему, ни тогда, ни позже в Институте археологии (до «дискуссии по вопросам языкознания», Институте истории материальной культуры им. Н.Я.Марра) не было. Да и Жора занялся потом чистой археологией — раскапывал славянские городища в Бессарабии. Но кандидатская его работа была именно о нумизматике.

Вокруг были хоть и не нумизматы, но все-таки настоящие ученые, историки, археологи (тогда шантрапа еще в археологи не перлась), и кое-что, связанное с темой, они знали, и спор возник. Кто-то на что-то возражал, Жора на это отвечал, кто-то его поддерживал, кто-то их опровергал. Как потом говорил брат Г.Л.Рошалья Моисей Львович, для полноты картины не хватало только пьяного в последнем ряду, который бы время от времени мрачно повторял: «А монеты все равно фальшивые...» Но в принципе обстановка была научной, мирной и дружественной.

После всех баталий Жоре почти единогласно присвоили ученое звание кандидата исторических наук. Но пьяного не было, хотя пьянка могла и быть — поскольку потом, как водится, был дан банкет. Таков обычай — в Средние века подмастерью, чтобы стать мастером, мало было сотворить шедевр — надо было устроить пир, где роскошно накормить и напоить весь цех, если не всю гильдию. Банкет прошел торжественно, но ни на пьянку, ни на средневековый пир не походил. Потом мне не раз случалось бывать на защитах, и кандидатских, и докторских, но эта была первой. На моих глазах мой друг был возведен в ранг ученого. И к тому же я никогда до тех пор не видел столько ученых мужей в естественной для них обстановке. Она мне понравилась, хотя желания стать ученым у меня от этого не возникло.

Через Жору я познакомился со многими интересными людьми, тогда в основном гуманитариями — в том числе с коллегой Жоры Шурой Монгайтом и его прелестной женой Валей, впоследствии прогремевшим в качестве диссидента (за книгу, изданную в официальном издательстве)

Сашей Некричем, только что вернувшимся с фронта, с химиком Пашей Бутягиным и другими (а потом, после ссылки, и с физиками). Все это была интеллигенция.

И конечно, настоящим интеллигентом был сам Жора. Взгляды? Не думаю, что они тогда были радикальнее моих, то есть, что он тогда четко отрицал всю систему. Конечно, он был сыном старого большевика. Напоминаю (не в связи с Федоровым): культ старых большевиков и вообще революционной интеллигенции в обстановке сталинской протрации был не столько культом их идей и взглядов, сколько культом людей, у которых, как предполагалось, эти идеи и взгляды были своими, культом людей, ведущих, как нам казалось, духовную жизнь. Возможно, что Жора уже тогда полностью отрицал Сталина — тогда он о нем знал больше, чем я, но точно я в этом не уверен. Знаю только, что дух сталинщины ему претил больше, чем многим. Именно это и привлекло его к моим стихам и ко мне. Отрицал он Сталина или нет, но к сталинщине, то есть к обстановке, созданной Сталиным (словом «сталинщина» тогда еще это явление никем не обозначалось), относился как к тому, что надо уметь обходить, чтобы делать свое дело.

Тогда вообще многие утешались негласным правилом: «во имя советской власти обманываем советскую власть». Как видно из этой формулы, ореол некой абстрактной советской власти тогда еще не совсем поблек, с ней связывалось все высокое и разумное, а обманывать следовало только «бюрократов», препятствующих этому высокому и разумному проявиться. Как правило, Сталина к этим бюрократам не относили, все происходило как бы помимо его воли. В эту чушь собачью верили не идиоты — идиотам она была ни к чему, — а исключительно честные и совсем неглупые люди. Сказывалось непрерывное многолетнее нахождение в закрытом обществе, сказывалась безвыходность. Но те, кто играл в такие игры, не выигрывал — обычно проигрывал или заигрывался.

Вариантом такого отношения к жизни (в основном среди части литературной молодежи) был: «сначала надо любой ценой завоевать положение, а потом уже делать что надо». Надо ли доказывать, что этот «вариант» был не только наиболее опасен для души, но и наиболее бесперспективным: в процессе достижения промежуточной цели главная испарялась.

Впрочем, последнее вообще к Жоре отношения не имеет и упомянуто здесь только к слову — для завершения мысли. Не знаю даже, занимался ли он обманом советской власти, но он умел себя вести с ее представителями и, пользуясь своим умом и обаянием, добиваться многого отнюдь не только для себя, многим он помогал, многих выручал из беды. Сострадание было ему свойственно в высшей степени.

Помню голодную осень после страшной засухи сорок шестого. В общежитии мы, в одночасье лишившиеся всех дополнительных талонов на питание (в основном каши) и всех видов подкормки в гостях, выдвинули общий лозунг: «Не погибаться!» — и держались за него. Но помню, с какой болью Жора рассказывал о крестьянском мальчике, которого они с друзьями пытались оставить в Москве и тем спасти от голодной смерти. Страдание крестьянского мальчика ему было не менее близко, чем страдания людей своего круга. Демократизм был как бы сопряжен Жоре — ему были интересны и важны люди самых разных уровней, не говоря уже об их жизнях, это был естественный демократизм русского интеллигента — качество, у многих нынешних борцов за демократию напрочь отсутствующее.

Им свалить расплату за нерентабельность индустриализации и непропорционально огромной «оборонки» — в сущности общенациональной катастрофы, — только на тех, кто там работал (как будто они сами всю эту противоестественность выдумали), — ничего не стоит: «Зарплаты не получают? Конечно, тяжело. А что делать? Продолжать платить за ненужную работу? Когда-то же надо с этим кончить и стать нормальным обществом!»

Логика вполне старосоветская. Раньше мирились со страданиями крестьян ради исторической необходимости, теперь со страданиями рабочих ради избавления от ее последствий. Так вот — такого «мужественного» отношения к людским несчастьям Г.Б.Федоров был абсолютно лишен. О нем еще, естественно, будет идти речь не раз на этих страницах.

Близко я тогда сошелся и с еще одной семьей, с Федоровыми и Рошалями никак не связанной, но тоже занявшей громадное место в моей жизни. Я говорю о замечательной женщине — Ольге Игоревне Ильинской (Ляле) и ее муже — Борисе Сергеевиче Емельянове. Познакомился я с

ними осенью 1946 года после моей первой поездки в Киев и вследствие этой поездки. Ляля была другом Тamarченко, и к ней меня послала Анка. Ляля читала во ВГИКе теорию стилей и западную литературу. Где тогда работал Борис Сергеевич (потом он работал в Министерстве культуры) — я не помню.

Знакомство мое с Лялей произошло просто. Я позвонил, представился, передал привет от Анки, договорился о встрече и пришел — благо было недалеко. Ляля жила в Мерзляковском переулке, почти на углу Поварской (тогда Воровского), район этот был нельзя центральной, у самой Арбатской площади. Но жили они вместе с Лялиной матерью Софьей Григорьевной и двоюродной сестрой Ляли, Мариной, в маленькой двенадцатиметровой комнатке, помещавшейся в самом конце многолюдной коммунальной квартиры. К тому же и комната эта принадлежала не им, а Марине, — их квартиру разбомбили, и им после эвакуации больше некуда было возвращаться. Марина была милой и обаятельной девушкой, потом (если смотреть с нынешних моих «позиций», то скоро) она вышла замуж за молодого актера Петю Глебова, тогда еще не столь знаменитого и, как у нас говорят, «выехала». Впрочем, по младости она и раньше редко бывала дома. Так что от того, что Ляля с матерью и мужем остались в ее двенадцатиметровке «только» троим, в их жизни мало что переменялось.

Конечно, жизнь их была совсем не легкой. Ибо их дом всегда был центром притяжения интеллигенции — их старых друзей и все увеличивавшегося количества настоящих и бывших Лялиных студентов, прибывших к дому. Все эти люди любили «забегать к ним на огонек», посидеть у них, поговорить и поспорить. Разговоры и споры бывали очень интересными, но Софья Григорьевна, несмотря на преклонный возраст, как почти все тогда, работавшая (пенсии ведь были условными), быстро уставала, а деваться ей было некуда. И иногда в самом интересном месте вдруг раздавался ее голос, с очаровательной старомосковской интонацией строго произносивший:

— Дорогие гости, а не надоели ли вам хозяева?

Или:

— Дорогие гости, а где ваши шапочки?

Приходилось обрывать разговор на интересном месте и расходиться. Это был не каприз и не самодурство — ведь ей

с утра надо было опять колесить по городу: она работала санитарным врачом. Потом она была даже удостоена ордена Ленина за беспорочную службу. Впрочем, суматоха, с этим связанная — необходимость шить платье, вообще суэта, — очень ее утомляли. Тогда, упоминая о каких-то событиях, происходивших до этого, она говорила:

— Это было еще до этого несчастья (то есть до награждения).

Старость, как об этом уже шла речь, сталинским социализмом во внимание не принималась. Людям полагалось не стареть, а служить — а потом уходить и не обременять собой общество. Только вот для военных пришлось сделать исключение — о военных пенсионерах я уже здесь писал. И то сказать — Сталин готовился воевать, строил военное государство, и надо было, чтобы офицеры не беспокоились о своем будущем. Ведь офицер не может быть слишком старым. А санитарные врачи, да и все прочие граждане — по логике сталинской системы, — могли. Как могли они жить при любой скученности.

Могли? Не знаю. Но жили. И редко у кого из гостей этого «дома» квартирные условия были лучше, чем у его хозяев. И, однако, чувствуя трудности, испытывая неудобства, несчастными себя ни хозяева, ни их гости не считали и не чувствовали. И не были. Как все вокруг, принимали их за естественные условия бытия.

Чем это было? Энтузиазмом? Но годы на дворе были не двадцатые, никто из нас не думал, что чуточку перетерпеть, — и начнется небывало прекрасная жизнь, по сравнению с которой все это мелочи. Но все же это были для нас мелочи. Конечно, энтузиазма не было, но гордые патернаковские строки:

Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете.
Он дома у первоисточника
Всего, чем будет цвезть столетье,

— все-таки опирались на определенное общественное настроение, которому тогда не был чужд ни я, ни большинство моих друзей. Строки эти и впрямь оказались точными, но в смысле, прямо противоположном тому, который вкладывал в них автор. Ошибались в характере того, чем представляло «цвезть столетью», и мы. И в своем настроении мы

все, хоть отдавали себе отчет о многом, все-таки несли эту странную гордыню.

А чего мы могли не знать? Про себя я уже многое рассказал. Лялин отец, адвокат Игорь Владимирович Ильинский, ни с того ни с сего исчез в 1937-м, хотя — в опровержение историософии национально-мыслящих — не был ни старым большевиком, ни евреем, а наоборот — толстовцем (о нем несколько раз упоминает в мемуарах Александра Львовна Толстая), к тому же дворянином (происходил из мелкопоместных дворян Тульской губернии) и видным адвокатом. Его однажды уже арестовывали при Дзержинском. Но этот эпизод его жизни казался трагическим только вначале, когда он полагал, что арестован в общем порядке — за социальное происхождение. Но его доставили, к его удивлению, прямо в кабинет Дзержинского. Он, по-видимому, покорно ждал неизбежного конца (а куда денешься?), как вдруг после нескольких вопросов уразумел, что его обвиняют в каких-то денежных махинациях. То есть в мошенничестве. Это его до того оскорбило, что мгновенно вывело из апатии. Он рассвирепел:

— Да как вы смеете?! — Заорал он на всесильного главу террористического ведомства. Он уже не думал, чем это может кончиться. Но кончилось благополучно. Дзержинский прослезился и обнял Лялиного отца. За то, что он оскорбился, за честность. Бывшему шляхтичу это что-то напомнило. В его нынешнем окружении элементарно честных людей, видимо, было немного. Арестованный был тут же отпущен.

Вот из такой среды происходила Ляля. Из среды, как теперь выяснилось, гораздо более аристократической, чем она показывала. Не знаю, относился ли Игорь Владимирович к этой среде по своей родословной (мне она неизвестна), но знаю, что он принадлежал к ней по своим связям. Ляля этого никогда не скрывала, но и не демонстрировала. И именно потому, что была проникнута этим «аристократизмом». Отнюдь не идеологически. Идеологически она, как и Анка, была марксисткой — из того же гнезда. Говорила о себе, о всех предметах, которые преподавала, что читает марксизм (добавляя, что это теперь подпольное мировоззрение). Мне жаль тех, кто иронически улыбнется по поводу этих ее слов — жаль, что они не слушали этих ее «марк-

систских» лекций. Дворянство ее проявлялось в ином — в глубине личной и личностной культуры, в неотрывном, ненавязчивом — естественном — чувстве собственного достоинства. Ей было вполне свойственно то, что Пастернак определил как «дворянское чувство равенства со всем живущим». Представить ее в каком-либо из сегодняшних «Союзов бывших дворян» невозможно. Уж слишком это дело показное и безвкусное — в общем, недворянское.

Впрочем, дворян и без нее теперь в Москве, по чьему-то ехидному замечанию, намного больше, чем было в 1916 году (как диссидентов в Вену прилетало гораздо больше, чем вылетало из Шереметьева).

Не ищите во мне антидворянского пафоса. Роль, прямо сыгранную многими дворянами (и дворянством в целом) в русской культуре и истории, переоценить трудно — слишком она очевидна и значительна. И я до сих пор считаю дворянское происхождение, конечно, при прочих равных, реальным преимуществом. Но именно при прочих равных. В Лялином случае это было именно так. Ее преимущество я ощущал всегда даже с некоторой радостью. И многому у нее научился, многое перенял.

А вся эта суета с «Союзами» имеет отношение к московской суете, к «тусовкам», а не к истории дворянства. Кстати, дворяне и даже аристократы — и до революции, и после нее, и в эмиграции — бывали разными. Рядом с князем Андреем Болконским кружился, плел низкие интриги и чувствовал себя вполне комфортабельно князь (тоже князь!) Василий (Basil) Курагин.

Но это уже имеет отношение не к истории русского дворянства, а к истории цивилизации. По-видимому, в ее порах при любом ее развитии на всех уровнях сохраняются не захваченные ее духом индивиды и группы. Они по-своему осваивают цивилизацию, принимают любые требуемые ею формы, остаются ей чужды и ассимилируют ее к себе. Думаю, что вся хула на цивилизацию, которую приходится слышать, происходит из-за этой ассимиляции. Возможно, неизбежной — так глубоко не заглядывал. Но это иная тема.

Что же касается дворянской культуры в России, то она, несмотря ни на каких курагиных, была очень высокой и по духу, и по мыслям, и по представлениям о должном, о чести и достоинстве. И это потом вошло в представление об

интеллигентности и, таким образом, легло в основы общенациональной культуры.

Свою причастность к этой среде, осведомленность о ней Ляля проявляла только изредка и всегда между делом, в разговоре на другие темы. Помню ее ироническое упоминание о том, что Оленины до сих пор гордятся тем, что они (то есть их предки) не выдали дочь за Пушкина, по их мнению, менее родовитого, чем они. Но это когда я завел разговор об «альтернативных» возможностях устройства пушкинской жизни (так сказать, лучше, чем он сам устроил) — тогда я еще не понимал всей недопустимости таких разговоров, такого вмешательства в чужую, тем более пушкинскую жизнь.

Расплата

*Крайнее упоение у бездны, возвышение близостью
к ее «зияющим высотам» и падение в нее на «общих
основаниях». Предарестная петля, моральная
и фактическая. Арест и Лубянка. Сталинист
в сталинской тюрьме. Допросы и абсурды.
Камера самоубийц. Лубянка вместо МУРа.
Институт Сербского*

К стыду своему должен начать завершение своего рассказа о моем студенчестве с признания, что несчастные для страны первые послевоенные годы — 1945-й, 1946-й, 1947-й (до декабря) — я прожил счастливо. Они были единственными по-настоящему студенческими годами моей жизни. Конечно, они были трудными, голодными, но счастьем это не мешало — на то и студенчество. В этом была традиция и студенчества, и — подспудно — романтизируемого еще тогда военного коммунизма.

Правда, в моем случае счастье это было слегка подпорчено большим количеством любовных неудач, перманентно сваливавшихся на мою бедную голову. Сегодня, конечно, я могу шутить над этим, но тогда я воспринимал их очень серьезно, страдал и размышлял в связи с ними о любви и о женщинах вообще не менее глубокомысленно, чем Печорин в «Княжне Мери». И писал стихи, много сти-

хов. Разных и по-разному разоблачающих тех, кто дерзал меня не любить. Большую часть этих стихов и теперь не печатаю, существенная часть их забыта даже мной, о чем я нисколько не жалею. Кстати, столь популярное среди подростков всех времен лермонтовское «Я не унижусь пред тобою...» сам автор при жизни не печатал. Претензии к предмету любви мне и теперь не кажутся ни мудрыми, ни поэтичными.

Тем более не подходят эти филиппики к тогдашним обстоятельствам. Женщин нельзя осуждать за стремление к надежности бытия, за инстинктивный поиск точки опоры. Это не корысть, речь не о богатстве, а о надежности. Она может быть на любом имущественном уровне или даже в преддверии его. Но тогда я не только не был такой точкой, но и не очень понимал, что к этому нужно стремиться. Точнее, понимал только головой, а занят был другим.

Впрочем, я думаю, что причина большинства моих «неудач» была еще в общей незавершенности моей как личности. Отсюда и ненадежность моя как точки опоры.

У меня даже теория была, что я с завершенностью своей личности несколько запаздываю неслучайно. Ибо она происходит у всех по-разному — в зависимости от величины этой личности. Как окружность завершается тем труднее и дольше, чем больше ее радиус — скромностью представлений о себе, несмотря на неудачи, как лишний раз может убедиться читатель, я тогда не отличался. Но и теперь, пройдя через жизнь и не имея потребности возвышаться над кем бы то ни было, я все равно думаю так же. «Средний» обыватель замыкался в мире своих частных забот, его задача достигнуть соответствия им — допустим, стать хорошим слесарем, портным, инженером или бухгалтером. На этом круг его обязательных отношений с жизнью в смысле определения своего места в ней — завершается. Это — он, а остальное — внешний мир, которым он тоже может интересоваться, переживать за него и т.д. Но это относится к его личным пристрастиям, а не к его месту в жизни. Конечно, и его в условиях сталинщины ущемляли, обманывали, оглупляли, он просто мог пострадать, но прямо из его деятельности, из его утверждения в жизни это не вытекало. Вернее, вытекало, но на общих основаниях — например, его или его сына могли запросто забрить в Афганистан.

Интеллектуалу же по самому роду его деятельности, чтобы чувствовать себя прочным, необходимо было прямо определить свои отношения со временем, с тем, что тогда происходило и что вело жизнь. А в годы сталинщины для искреннего ее приятия (неискреннее противней, но оно полбеда, пустяк, правило игры) представителям поколений, облученных коммунистическим мировоззрением, приходилось внутренне лавировать между правдой и бессмысленной ложью — приходилось для себя самих оправдывать не только ложность коммунизма, но и грубую бессмысленную ложь о нем. Какая уж тут прочность и завершенность при такой основе личного бытия? Когда ты чувствуешь себя «опорой трона», а «трон» к тебе относится все равно подозрительно и неодобрительно — печатают кого угодно, только не тебя. Вероятно, женщины — во всяком случае некоторые — если не понимали, то чувствовали это несоответствие и, хотя им было со мной интересно, все равно воспринимали меня как ребенка, как маленького.

В чем-то они были правы. Но в чем были взрослее меня их избранники? В способности принимать любую данность как действительность? Качество это нормальное, большинство людей в мире, особенно чиновники, им обладает, иначе бы жить было нельзя. Искреннее стремление соответствовать власти как гаранту порядка иногда может выглядеть косностью, но отнюдь не обязательно свидетельствует о карьеризме или непорядочности.

Но данности, с которыми имели дело мы, затмевали, а не проявляли действительность. Ибо не было в них и в наших днях вообще ничего нормального. И такое сотрудничество даже у тех, кому удавалось исхитриться и сделать что-нибудь разумное и полезное (тем и земля жила), все равно отнимало нечто от достоинства, а также от способности видеть и понимать. В конце концов и от мужского самоуважения. Но слава Богу, женщины этого не знали и не чувствовали, а то бы жизнь прекратилась.

Как ни странно, уверенно исполнен чувства достоинства, в том числе и мужского, был тогда именно я. Беда в том, что женщины, которых я любил, этого не видели. Конечно, я говорю о «серьезных отношениях» — к более легким я вообще, видимо, не был способен. В своей «лопуховости» я всегда наивно боялся оскорбить прекрасное суще-

ство попыткой перевести отношения на сугубо личный уровень — а когда, следуя стандарту, попытался это сделать, получилось гадко: каждому свое. Впрочем, прочитав повесть незабвенного В. Кондратьева «Отпуск по ранению», я понял, что такая «непростота» в той или иной мере была вообще свойственна многим людям еще и моего поколения. Просто в цене была бравада опытностью. Все это я говорил о существах «прекрасных» — с «непрекрасными» же, то есть совсем неблизкими, я и общаться не умел.

И все же я был счастлив. Интимность моего «понимания» наполняла меня счастьем и гордостью. Почему-то запомнил я себя на Тверской (тогда для меня улице Горького) вдруг остановившимся где-то чуть ниже Моссовета, оглянувшимся на высокие внушительные здания, на потоки машин, троллейбусов и автобусов, на всю эту кипящую, красивую, спешащую к великой цели жизнь (причастность к которой я так остро ощущал) и задохнувшимся от осознания полного счастья.

Это был апофеоз моего восторга и моей глупости. Пушкин не зря противопоставлял восторгу вдохновение. И я совершенно серьезно благодарен «нашим славным органам», что они внесли в это восторженное состояние диссонанс. Хотя полностью победить во мне это состояние им удалось совсем не сразу.

Так или иначе, в ту минуту, когда я так восторженно задыхался, где-то «в верхах» неспешно решался или был уже решен вопрос о моем аресте.

А год 1947-й как будто ничего такого не предвещал. Я закончил второй курс и впервые в жизни оказался отличником (серьезно готовился к экзаменам). Что, конечно, двойственности моего положения не отменило. В том году Союз писателей рассылал нас, малыми студенческими бригадами, в командировки по разным важным объектам — типа Запорожстроя, Днепровского пароходства и т.д. — «для изучения жизни» и работы в многотиражках. Очень хотел поехать в такую бригаду и я. Этого мне не доверили, но для утешения дали путевку в Ялтинский Дом творчества.

Это отдельная история. Месяц был июль, для Ялты не самый прекрасный — слишком жаркий. Я впервые купался в море. Правда, в первый же день кругом обгорел. Помню, как приехавший из Симферополя Александр Лесин, с которым я познакомился еще в Москве, водил меня знако-

миться с местным философом, по совместительству швейцаром гостиницы. Философия его заключалась в единственной фразе: «Я это отрываю», относимой к чему угодно. Это было забавно. Но обязанностей своих он все же не «отрывал» и посторонних гонял нещадно. В Ялте мне было очень приятно, но к характеру моих воспоминаний это относится мало. И я бы об этом вообще не упоминал, если бы не странный сон, который вдруг ни с того ни сего мне приснился там однажды ночью.

А приснилось мне, что меня арестовывают. Какая-то лестничная клетка, все говорят, что идут за мной, и я ощущаю безвыходную тоску, сродни той, какую потом испытал на самом деле. Весь клубок сложных чувств. Я, конечно, принимал и прощал несправедливые жертвы, но уж больно нелепо и безвыходно это распространилось на меня. И с чего вдруг такой сон, ведь ничто его не предвещало, ни намеков, ни предчувствий не было. В то же время я увидел, как между делом, в одном из кабинетов (на той же лестничной клетке) этот вопрос решается и, как я сказал бы сегодня, интеллектуально обосновывается. Кажется, моими же словами.

Впрочем, неправда — один намек уже был. Чтобы рассказать о нем, мне придется напомнить то, о чем я уже здесь рассказывал — что завершающая строфа моего сталинистского стихотворения «16 октября» в искаженном виде пошла гулять по Москве. Стихотворение это я и теперь печатаю, но такой «успех» мне отнюдь не льстил, ибо переделка эта не только НЕ соответствовала моему тогдашнему умонастроению и была опасной, но и выглядела, хоть и радикальнее, но грубее, бездарнее, чем подлинник. Для сравнения привожу оба варианта.

У меня было:

Там, но открытый всем, однако,
Встал воплотивший трезвый век
Суровый, жесткий человек,
Не понимавший Пастернака.

Гуляло:

А там, в Кремле, в пучине мрака,
Хотел понять двадцатый век
Сухой и жесткий человек,
Не понимавший Пастернака.

Мое «там» по ходу стихотворения означало: в Кремле, на который «заграница, замирая, «молилась», когда немцы подошли к Москве. «Гуляющий» текст со стихотворением никак не состыковывался. Кстати, этот конец мной потом был вообще переделан — я счел, что Пастернак тут не может быть мериллом вещей. Получилось (теперь я это отбросил):

Там, за текущею работой
Встал воплотивший трезвый век
Суровый, жесткий человек
В величье точного расчета.

Был еще вариант последней строки: «Апостол точного расчета», но он еще дальше от того, что мне приписывалось. А все остальное?

Короче, так я написать не мог. Я, например, никогда не воспринимал Сталина — при любом к нему отношении — как человека, способного мучиться желанием что-нибудь понять. Но сколько я ни опровергал этот текст и свое авторство, это не помогало. Меня «с пониманием» выслушивали и сообщнически просили не беспокоиться. Очень любили у нас фиги в кармане. «Догуляло» это четверостишие до конца пятидесятых, что зафиксировано «Автобиографией» Е.Евтушенко, где оно было воспроизведено с одобрением. Оно, как говорится, «вошло в легенду», и это меня огорчает до сих пор. И отнюдь не тем, что «обижает» Сталина. Этим я занимался и занимаюсь достаточно. Но мне неприятно, что такое глупое и плоское — при всей «смелости» — четверостишие приписывается мне.

«Намек», о котором я упомянул, тоже был связан с этим «гулявшим» четверостишием. Однажды в столовой ЦДЛ, к которой мы были прикреплены, проходил какой-то торжественный вечер Литинститута, точнее, его неофициальное завершение, которым Союз решил побаловать студентов. Ребята были оживлены, не только сидели за столиками, но и ходили между ними, выпивали, в том числе и за свой счет (у кого он был). Словом, обстановка была непринужденной, ведь институт был маленький, все были свои. Вдруг, проходя мимо одного из столиков, я был остановлен предложением выпить. В этом не было бы ничего необычного, если бы оно исходило от кого-нибудь другого. Но исходило

оно от двух человек, с которыми я не общался и о которых знал, что они ко мне относятся враждебно.

Это была странная пара. Одним из двух был Костя Телегин. О нем я знал, что он подавал заявление в Литинститут, но не прошел «творческого конкурса» (так это называлось, хотя самого конкурса не было, был просто отбор). Но он оказался сыном крупного военного (сам тоже был во время войны летчиком), и на нашу дирекцию стали нажимать. Отец несколько раз являлся к Ф.В.Гладкову в блеске орденов и погон, но каждый раз натыкался на железную бескомпромиссность Федора Васильевича.

— Ничем не могу помочь! — разводил он руками. — Если бы мы инженеров готовили; тогда — другое дело. Из уважения к заслугам! Из уважения к заслугам писателя сделать нельзя... Нельзя-с!

Гладков говорил чистую правду. Но человек, на глазах которого «делали» и генералов (на него самого грешить не буду — не знаю), в это поверить не мог и продолжал портить жизнь сыну. В конце концов, когда Гладков был в отпуску, его тихо приняли на заочное отделение — ни в общезнании, ни в стипендии он не нуждался. Из его произведений я читал только показания на себя (о чем позже), но тут не поймешь, где его рука, где — оперативника. Что с ним было дальше, не знаю. Отец его потом попал из фавора в опалу, а сын после моего возвращения из ссылки на горизонте не возникал.

Меня же он невзлюбил за то, что хоть я, как он слышал, махровый антисоветчик, все же являюсь полноправным студентом, между тем как он при всей его кристальности никак не выбьется из заочников. Таким было его представление о писательстве. Но речь сейчас не об этом.

Вторым был Малов (кажется, его звали Василием). Он был тоже фронтовиком. Настоящим. О ратном терпении Телегина я слышал разное. Но насчет Малова, многожды раненного и контуженного и, соответственно многожды награжденного, в этом смысле не могло быть никаких сомнений. По крайней мере одно из его ранений было очень тяжелым — в голову, что и было причиной его неуравновешенности. О творчестве его я ничего не знаю, сам не читал, а в общезнании о нем не говорили. Он потом стал душой антикосмополитской кампании в институте — во вся-

ком случае так это выглядело в тогдашней печати и в замечательной повести Владимира Тендрякова «Охота», написанной гораздо позже, в 70-е годы. Мне очень неудобно называть эту повесть замечательной, поскольку в ней с теплотой и симпатией выведен аз многогрешный. Но повесть, действительно, замечательна, и она была бы такой, даже если бы в ней не было не только меня, но и всего литинститутского фона.

Но это — другая тема. Я касаюсь сейчас этой повести не как рецензент, а как мемуарист. Мои уточнения, важные для мемуаров, никак не являются критическими замечаниями к повести. Впрочем, и с мемуарной точки зрения в повести много ценного. Несмотря на живость и свободу изложения, обстановка в нашем подвальном общежитии и его насельники описаны точно. Точно описана и сцена моего ареста. Но она смещена во времени — меня арестовали до, а не во время «борьбы с космополитами». Для повести это неважно, а для этой моей работы важно. И только образ Василия Малова, по-моему, не совсем соответствует прототипу. Например, в повести он действует как секретарь партбюро — при мне он такой должности не занимал. Не припомню я и его тайной любви ко мне и к моему творчеству — в повести он даже плачет, узнав о моем аресте. Мне кажется, что реальный Малов был не столь сложен и противоречив. Впрочем, может быть, я ошибаюсь — Тендряков мог знать его дольше и лучше, чем я. Но подозреваю, что у созданного под этим именем образа было два прототипа — реальный Малов и еще один человек.

И опять это не критические замечания — художественное произведение оценивается не по степени соответствия его героев своим прототипам, а образ, созданный Тендряковым, точен, выразителен и значим. Да и многие черты реального Малова чувствуются в этом образе. Почему-то мы в наших разговорах с Тендряковым — а их было немало — никогда не упоминали этого имени. Может быть, и зря — ведь кончил этот человек как-то страшно — сказалось ранение. Череп Малова частично или полностью был заменен стальной пластиной, в которой была предусмотрена щель для доступа воздуха. Ему ни в коем случае нельзя было погружать голову в воду. Но, принимая ванну, он ударился или поскользнулся и не избежал этого погружения. Нашли

его, когда труп начал разлагаться. Царствие Небесное этому увечному воину — видит Бог, я ему никогда зла не желал. Впрочем, я ведь и не знал его почти. Как и он меня.

Но вот именно он и Телегин неожиданно предложили мне с ними выпить. Обстановка была вполне к тому располагающей, реальных причин, да и желания отказываться у меня не было. Между нами ничего худого (как и хорошего) не происходило — а слухи не основание отказываться говорить с теми, кто желает с тобой поговорить. Я согласился. За столом сидело еще два человека. Кто-то из студентов (кажется, Сорин) и один очень невзрачный и маловыразительный молодой человек, весь в сером, на которого я сначала не обратил особого внимания. Меня попросили прочесть какое-то свое стихотворение, кажется вовсе не крамольное, но какое именно, теперь уже не помню. По своему тогдашнему обыкновению я эту просьбу тут же удовлетворил. Завязался оживленный разговор или, скорее, подобие его. И тут вдруг вступил в беседу невзрачный, с ходу заговорив как-то одновременно обиженно и агрессивно:

— А вот это, — он прочел «гулявшее» четверостишие, — ты написал?

«Ты», в данном случае, не было хамством. Мы, как это часто бывает в России и особенно бывало тогда, сразу после войны, «по-свойски» быстро перешли на «ты». Но невзрачный не спрашивал, он утверждал, как бы требуя моего согласия, практически признания. Но я возражал, даже прочел стихотворение полностью, но на невзрачного это не действовало.

И мне впервые стало страшно. Нет, я вовсе не «все понял», я даже не догадался, из какого учреждения мой собеседник (а он был именно из «того», я «там» потом с ним встретился), но в этом напористом стремлении выдать искаженное четверостишие за подлинное я почувствовал чью-то жестокую и подлую волю, безжалостную интригу, стремящуюся все и всех запутать — угрозу.

— Ребята, это кто-то копает против меня! — воскликнул я, услышав эту злосчастную переделку.

«Кто-то» копал. Забегая вперед, скажу, что в моем деле это четверостишие не сыграло никакой роли. Но как повод для ареста, может, и сыграло. Как повод. А что было причиной и была ли она вообще? Этого я до сих пор не знаю. В те

времена причинно-следственная связь если не совсем отсутствовала (как в середине тридцатых), то с легкостью и не без некоторой государственной респектабельности (состоящей в улавливании логики сумасшедшего властелина) нарушалась и игнорировалась.

Короче, «серый и невзрачный» явился на этот вечер специально познакомиться со мной. Зачем это понадобилось МГБ, не знаю. Видимо, соответствующему подразделению нужна была для отчета соответствующая деятельность — в этом МГБ не отличалось от других советских учреждений.

Но какую все же роль сыграли эти двое, Телегин и Малов? Роль, конечно, неблагоприятную — наводили на меня этого «серого», прикрывали его. Вряд ли по собственной инициативе. Но как он вышел на них, как узнал, что может рассчитывать на их помощь? Похоже, действовал отбор по принципу бездарности — тогда бездарность начинала становиться критерием социальной стратиграфии. Певцом этой «страты бездарных», выразителем ее чаяний и претензий потом сделался Всеволод Кочетов («Братья Ершовы», «Секретарь обкома»). Были ли Телегин и Малов сексотами? Не думаю. В моем деле есть показания Телегина — а донесения сексотов оставались только в агентурном деле, и подследственным они не предъявлялись. Показания Малова мне, правда, не предъявлялись, но думаю, что не было и донесений. Он был слишком неуправляем, чтобы ему могли доверить сексотство. Показаний же против меня он дать не мог — мы с ним ни разу не разговаривали. Он мог бы разразиться какой угодно филиппикой на мой счет, но выдумывать не мог.

Так или иначе этот разговор и опять возникшая искаженная строфа меня взволновали. Ялтинский сон всколыхнул притихшую было смуту. Но и это отошло. Из Ялты я через Харьков поехал в Киев. В Харькове ночевал у Пожениана, он показывал мне город. В Киеве тоже мне было не до снов и предчувствий, но вот я вернулся в Москву. И тут со мной скоро стало твориться неладное. Начались странности с друзьями. Чем дальше, тем чаще они как раз, когда я к ним обращался, оказывались невероятно заняты, любой разговор пресекали в самом начале.

→ Прости, старик, но времени совсем нет! Потом... Потом... Бегу!.

И человек убегал. И второй так же. И третий. Все эти сцены происходили во дворе или в районе Литинститута. Вызывали в основном тех моих друзей, чья жизнь вертелась вокруг нашей alma mater. Остальных, видимо, не тревожили. Круг сужался, меня это подавляло, но серьезности своего положения я все-таки до конца не сознавал. Ведь я же был свой, даже самый свой. Настолько свой, что «диалектика» приводила меня к тому, что честно верящие, неспособные подняться над мелкой правдой (сиречь, над естественными человеческими чувствами, в том числе над элементарной справедливостью), более вредны и менее полезны, чем жулики и карьеристы. Но себя я, правда, относил к способным подняться «над». Возможность моего ареста опрокидывало и это «буйволиное» (от «причастия буйволу» по Генриху Беллю) представление о себе. Оно, конечно, диалектика — но стреноженный буйвол — это явно не то... Через несколько лет я был счастлив, что все это мироощущение полетело, и не устану повторять, что благодарен нашим славным органам за арест, в конце концов вернувший меня к самому себе и к живущим рядом людям (от коих я «уходил» больше теоретически).

Но все это пришло ко мне не в одночасье, а постепенно и много позже. Но сейчас я пишу о том, что было тогда. А тогда я чувствовал за спиной чью-то планомерную враждебную работу, одновременно грубую и хитрую. Позвонил Жигалову. Василий Михайлович, когда я рассказал о своих переживаниях, не стал меня обманывать, а высказался в том смысле, что думать надо было раньше. Говорил он со мной таким же тоном, как всегда, скорее дружественным, чем отчужденным, но встретиться отказался. Конечно, можно тут распустить хвост и разразиться каскадом филиппик. Тем более, о каком «раньше» могла идти речь, если я был суперверноподданным? Но арест явно был инспирирован не им. И сделал он единственное, что мог сделать — не соврал. Разговор этот был за пару дней до ареста. Разговор достаточно ясный. Но мне все равно было трудно поверить в его страшный смысл.

Впрочем, многое отвлекало. Прежде всего случившаяся в те же дни отмена карточной системы и денежная рефор-

ма. Многие люди от нее пострадали. В том числе и вполне честные — допустим, получившие гонорар за многолетнюю научную работу или техническую разработку (я таких встречал). Но в нашем общежитии таких не было. Для нас открывался рай — нормальная жизнь, когда можно будет купить, что захочешь — по собственному выбору, лимитированному только количеством наличных. Мы от реформы явно выигрывали и в общем ликовали.

Помню, что реформа официально начала действовать с 16 декабря, но первые два—три дня магазины (кроме кажется, хлебных) были закрыты на переучет. И только числа 19-го, а то и 20-го я смог реализовать свою «мечту идиота» — купил стеклянную банку баклажанной икры. Когда-то где-то я ее откушал из такой же банки, она мне очень понравилась, но была недоступна. И вот теперь она была у меня в руках! Я принес ее в общежитие и тут же споловинил ее содержимое, причем — с достаточным количеством хлеба. В общем, насладился. Вторую половину я оставил на позже, чтоб продлить блаженство, а банку с ней бережно поставил на высокий подоконник рядом с моей кроватью. Там она и осталась, когда меня увели. В камере я потом не раз вспоминал об этой оставшейся пол-банке с огорчением и досадой — очень мне было жалко, что не доел. Кстати, то, что мой арест совпал с отменой карточной системы, ложилось на мою душу дополнительной тяжестью — усиливало впечатление, что уводят меня непосредственно от ворот рая, до которых все мы с таким трудом добрались.

Но это было в тюрьме, а пока я еще на воле. Я еще хожу по улицам, сижу на лекциях. И даже участвую в «общественной жизни». Недавно меня очередной (и последний) раз приняли в комсомол. Как, может быть, помнит читатель, в Киеве я получить билет не успел, а билет, полученный в Симу, я потерял, когда не состоял нигде на учете. Меня сразу же ввели в агитколлектив при нашем избирательном участке. Только потом я понял, что это Саша Парфенов, зам секретаря парткома, и другие ребята таким путем пытались меня спасти, прикрыть. Были и более прямые предупреждения. На каком-то институтском вечере Гриша Поженян и Миша Годенко отвели меня в сторону и стали мне внушать, что их вызывали, беседовали обо мне и что поэтому мне следует быть осторожной. Мол, сам я ничего

такого не думаю, но там истолковывают... Более того сам полковник Львов-Иванов, секретарь парткома, встретив меня у памятника Пушкину (на старом месте, в начале Тверского бульвара), остановил и ни с того, ни с сего стал ободрять. Словно речь шла о чем-то всем — и уж во всяком случае мне — хорошо известном.

— Ничего, товарищ Мандель, мы за вас боремся. Только вам надо ошибки осознать.

Да, тот самый, Львов-Иванов, о котором я уже писал, в Гражданскую командир легендарного партизанского «Полка Красных Орлов» в Сибири (соединения отнюдь не благостного), волей судьбы (заблудившейся судьбы России) ставший секретарем партбюро, идеологическим руководителем идеологического учреждения, да еще на пике псевдоидеологического бума, и одновременно герой многих литинститутских анекдотов. Помните: «Василь Семеныч, ты б хоть сказал мне, кто такой этот Декаданс. А то неудобно — кругом только о нем и речь, а я, секретарь партбюро, даже не знаю, когда он родился и когда помер» И вот этот человек явно не хотел, чтоб меня арестовали, и готов был сделать все от него зависящее, чтобы этого не произошло. Так кому надо было, чтоб меня арестовали?

Впрочем, я и тут еще не до конца понял, что обречен. Тем более что все как бы сводилось к каким-то моим ошибкам. А раз речь шла об ошибках, то тут я был во всеоружии. Какие ошибки? Я готов был защищать любые свои стихи и взгляды, и с самых ортодоксальных позиций. На них ведь и стоял. И я защищал свою правоту, когда меня вызвали на партбюро — обсуждать эти ошибки. Конечно, обвинения были невнятные — обвиняющие сами не знали, в чем меня обвинять, и я никак не мог с ними согласиться, защищался.

И никак не мог взять в толк, что позиции тут ни при чем, что ребята и полковник делают все от них зависящее, чтобы меня спасти, используя для этого универсальный для советского обихода метод — товарищеская критика и признание ошибок. А я по дурости портил им всю игру.

Но ни я, ни они не понимали главного в этой ситуации — что, если в дело замешано МГБ, никакая игра, никакие методы и никакая логика — даже большая советская — не действуют, что зверская эта машина, если уж наметила жертву, то — так уже было устроено автоматическое взаи-

модействие ее частей — выпустить ее она просто не в состоянии. Независимо от личных качеств и желания людей, которые в ней были задействованы. Это отнюдь не отменяет «заслуг» ее «первых учеников» (по Шварцу), но они ведь были во всех сферах той противоестественной жизни. Я и говорю, что всей глубины этой противоестественности не знали ни я, ни ребята, ни полковник Львов-Иванов. Да и работники тогдашнего МГБ тоже плохо понимали, что и зачем они делали. Считалось, что знает Сталин. Но знала только его болезнь, которая по определению знать ничего не могла. Царила дьявольщина. И как видел читатель, нечистый ее дух проникал и в меня.

О том, каким я был агитатором, рассказывать нечего. При всей моей истовости агитировать мне было некогда: контингент агитируемых (жители Большой Бронной) были народом грамотным и сами все знали, за кого, когда и где надо голосовать. Все обещали прийти вовремя, утром. К этому собственно и сводилась задача агитатора. Как я ее выполнил, мне неизвестно, ибо утро 21 декабря, дня «всенародных выборов» (куда выбирали, не помню), я уже проходил «председательственную подготовку» на Лубянке, о чем чуть ниже...

Последний день моей свободы, 20 декабря, мало чем отличался от всех остальных. Помню, что днем мы с моим приятелем Юрием Уваровым, тогда студентом-филологом МГУ и его приятелем (о котором он потом говорил, что это был Андрей Синявский, но тот это отрицал, и у меня нет ощущения, что я был с ним знаком до эмиграции) забрели в какую-то забегаловку на Тверской, рядом с бывшим «Националем» (ее теперь нет).

Через некоторое время туда забрел (тоже в компании с кем-то) мой товарищ по институту поэт и скульптор Виктор Гончаров, человек талантливый, болезненно и остро — пусть без потребности в теоретическом обобщении — реагирующий на всякое проявление бесчеловечности. Как известно, советскому человеку это жить никак не помогало. Поэтому творчески Виктор Гончаров смог сделать гораздо меньше, чем позволял его несомненный талант. При всем его богатом жизненном опыте (он был на фронте, едва не умер от ран и контузий, перенес много операций и вообще — «видел жизнь») он в чем-то был очень наивен. Например, однажды — уже после смерти Сталина — из ка-

кой-то творческой командировки он вернулся с очерком о забастовке в Витебске (названной «коллективным простом станков») и о том, как потом местные власти превратили одну из ткачих в символ этого прегрешения и стали тотально травить эту женщину. «Символ ведь не жалко», — объяснял Витя их психологию, принеся этот очерк в либеральную тогда «Литературку». И простодушно надеялся его напечатать. В конце пятидесятых, во времена, когда «все знали», что забастовок у нас не бывает, потому что для них нет почвы.

В этот раз, в забегаловке, Виктор был почему-то очень грустен и повел странные речи:

— С человеком все можно сделать. Вот, например, возьми волка. Или другого зверя. Если его запереть в клетку, он будет на стены бросаться, ходить целыми днями из угла в угол, искать выхода. Не успокоится. А человек! Загони в любой грязный, сырой подвал, в сарай, в яму, где темно, скользко, воняет — что он будет делать? Он как только осмотрится и придет в себя, подойдет к кому-нибудь, начнет расспрашивать, как тут что, когда жрать дают, — начнет обживать...

В этих словах чувствовалось не осуждение этого человека и его поведения, а болезненное сочувствие его безвыходному положению. Подозреваю, что он что-то слышал о тучах надо мной (ведь достаточно для нашего маленького заведения людей знало про это — кто-то мог поделиться и с Витей), и слова эти — реакция на это, усиленная встречей. Но не исключено, что трагическое самоощущение, проявившееся в этих его словах, было связано с другими, более давними, переживаниями — все-таки он был с много-страдальной Кубани.

Вечером этого дня (потом я узнал, что это был еще и «День чекиста») я вместе с упоминавшимся уже Максимом Толмачевым читал стихи в каком-то клубе. Вернулись домой. Помню, когда я уже ложился спать, явился откуда-то спавший рядом со мной Расул Гамзатов, сильно подшофе, и завалился спать. Я тоже заснул. И очень скоро, как мне показалось, был разбужен. Надо мной стоял «лазоровый» (выражение А.К.Толстого) подполковник и требовал документы. После того как я предъявил паспорт, он сунул мне в глаза какую-то бумагу: «ОРДЕР» запрыгали у меня

перед глазами буквы. Я вгляделся внимательней, несмотря ни на что не в силах поверить в реальность происходящего. Но это действительно был ордер на мой арест, подписанный каким-то замминистра ГБ и, кажется, заместителем генпрокурора СССР. А, может, и самим генеральным — мне было не до подробностей.

Начиная описывать сцену своего ареста, я не собираюсь вступать в какое бы то ни было соревнование с другими, часто очень талантливыми писателями, в том числе с Тендряковым, описавшими это событие задолго до меня. И описавшими его в общем верно. Некоторые из них увидели эту сцену раньше, чем я — я был не первый, кого разбудил лазоревый подполковник. Как мне потом рассказали, для того, чтоб найти меня, будили всех подряд и спрашивали документы, даже другое, недавно заселенное помещение разбудили. Но я буду строго придерживаться мемуарного жанра — буду говорить лишь о том, что видел, слышал, чувствовал и запомнил лично. Как всегда, не отказываясь и от сегодняшнего осмысления, но отделяя его от тогдашнего.

Могу обрадовать современных умников. Я и тут, особенно спросонок, не сразу до конца мог понять, что происходит — уж слишком невероятно это было. Но мне предложили одеться, и тут же прозвучал идиотский вопрос:

— Оружие есть?

И спросонок, реагируя не столько на ситуацию, которую все еще только осознавал, сколько на буквальный идиотизм вопроса, я буркнул:

— Пулемет под кроватью.

И тут же услышал в ответ резкое:

— Не острите. Отвечайте на вопрос.

Лазоревый как будто даже несколько обиделся. Ведь он и сам понимал, что вопрос этот нелеп: какое оружие может быть в общежитии, где рядом, друг у друга на глазах, живут десять человек, в основном фронтовиков, знающих в этом толк. Да и вообще зачем задавать его человеку, привлекаемому по делу, весьма далекому от всякого оружия. Но по инструкции он обязан был его задать и требовал уважения к своей роли.

Моя реплика не была ни сознательной дерзостью, ни потугой на героизм. Мне было не до героизма. Не потому,

что я был трусом, и даже не из-за состояния потрясенности, в котором находился, а потому, что какой же героизм против своих? А «свои» демонстрировали высокий класс отчужденности. И этот идиотский вопрос воочию был первым наглядным ее проявлением — со мной разговаривали так, словно я уже был не я, а некто абстрактный, изначально находящийся по ту сторону баррикады, тогда для меня — добра и зла. Чьим-то решением я становился чужим. В том числе и самому себе. Я не рисуюсь — тяжесть реальных перспектив меня угнетала страшно, я был убежден, что лагеря мне не пережить. Но эта навалившаяся на меня в тот момент и давившая меня тяжесть отчуждения — превосходила тяжесть реальных обстоятельств и перспектив.

Именно поэтому поведение мое (как и внутреннее состояние) было глупым и жалким. Я все пытался объяснить арестовывавшим, кто я такой и как это несправедливо. А они ведь вообще не знали и не обязаны были знать (скорее обязаны были не знать), в чем дело и зачем они меня арестовывают. Только однажды (и, по-моему, когда мы уже были на улице, лазоревый в ответ на мои сетования «резонно» (и интеллектуально) заметил:

— Может, вы и не виноваты, но ведь есть еще и репрессии.

Он не был злодеем, он был франтом (насколько позволяла униформа) и бонвиваном, этот подполковник, обязанность которого состояла в том, чтобы рыскать по ночам по городу и вносить в дома несчастье. И очень его успокаивало это иностранное слово.

Кроме него, орудовало в комнате еще два его товарища. Один, в офицерской форме, был такого же типа, как его начальник, только менее вальяжным, и один, какой-то весь ночной, бледный, молчаливый, какая-то смесь канцеляриста с бандитом. Это описывая его прообраз в «Тишине», Ю.Бондарев употребил выражение, похожее на «закашлялся, совсем как человек» — этот ведал бумагами и книгами. Судя по всему, подполковник его еле терпел — как историческую необходимость.

Конечно, все общежитие проснулось. Впрочем, кроме Расула, по пьяни проспавшего всю «историческую» сцену. Остальные, лежа и полулежа в своих постелях, молча наблюдали за происходящим. У двери стоял понятой — наш

дворник Василий Тарасович, многожды описанный многими, не имевшими отношения к делу мемуаристами в качестве Андрея Платонова — худощавый, стройный, с красивой, уже седоватой бородой. Андреем Платоновым он не был, но был хорошим, добрым, порядочным, православным человеком. Могу поручиться, что в этот момент в его душе никакой сумятицы, подобно моей, не было — он просто и недвусмысленно сочувствовал мне, ставшему жертвой душегубства. Я разговаривал с ним и после возвращения из ссылки. Теперь его уже наверняка нет в живых. На таких людях, Царствие ему Небесное, и держалась Россия...

Кроме того, понятой была еще комендантша нашего общежития, имя-отчество которой я забыл, тоже простая добрая женщина. В отношениях с ней у меня были некоторые мелкие сложности. Дело в том, что Мишка Ларин, покидая институт навсегда, пропил мое (казенное) одеяло. В бытовом смысле это обошлось — у меня было еще ватное одеяло из дому, которым я и укрывался. Но комендантша считала пропитое Мишкой одеяло числящимся на мне. Это было не совсем справедливо, ведь не я его пропил, но если бы одеяло это числилось на ней, это не было бы справедливой. Впрочем, ни меня, ни ее эта проблема особенно не тревожила. Я полагал, что в крайнем случае потом вычтут из стипендии — как-нибудь перебыюсь. Наверное, нечто подобное думала и она. Но тут случился мой неожиданный отъезд.

Судя по тому, как она выглядела, ей тоже меня было жалко, но при этом она, видимо, запрограммировала себя на то, чтоб не забыть про одеяло. И когда я стал собирать свои вещи, запрограммированность сработала — она стала поспешно заявлять свои права на мое ватное. С нами, с людьми, такое бывает.

И тут я на минуту вышел из оцепенения. Может быть, потому, что одеяло было ватное и напомнило мне о том, что я скоро окажусь там, где холодно, а теплых вещей у меня почти нет. Не знаю. Но не вступая в спор об ответственности за Мишкин пропой, я просто напомнил ей о том, о чем сам только что вспомнил — что там, где я могу оказаться, мне без этого одеяла может быть очень плохо. И всю ее запрограммированность как рукой сняло.

— Да-да, конечно, — смущенно запричитала она, махнув рукой на материальную ценность. — Конечно, — и сама стала запихивать это одеяло в плетеную корзину, служившую мне чемоданом. Для нее, как и для меня, вдруг абсолютная ценность теплого одеяла затмила все остальное — в данном случае меновую.

Когда ночные визитеры решили, что они свое дело здесь уже сделали и можно дальше не мешать ребятам спать, они вызвали машину. Разрешили проститься. И я стал обходить кровати своих товарищей, со всеми обнимаясь. Из ряда вон были три прощания. С Володей Солоухиным (Господи, теперь уже и он покойный), который обнял меня как-то очень независимо и сказал:

— Эмка, возвращайся скорее.

С Расулом Гамзатовым, которого я с трудом разбудил, обнял и который, осоловевшими и заспанными глазами увидев меня среди ночи одетого и в пальто, задал свой вошедший в анналы тогдашнего Литинститута вопрос с ясно оттененным гортанным «к»:

— Эмка, ты куда?

Наиболее пронизательные умы в годы перестройки «пресекали», что он только притворился пьяным, ибо все знал наперед. Но помимо того, что это вообще чушь и никак не вяжется с его обликом (он потом всегда справлялся обо мне у моего киевского друга Ритика Заславского, когда тот приезжал сдавать экзамены), запах коньяка, выходявший из каждой поры его тела, был вполне непритворен. Пахло отнюдь не слегка.

И третье исключение связано было с Владимиром Тендряковым. Потом, когда я вернулся, мы были друзьями, я всегда его любил и как человека, и как писателя (о чем здесь уже говорилось), но тогда мы были весьма далеки друг от друга, может быть, он был от меня дальше, чем все остальные насельники нашего общежития. Я просто не знал, что он пишет и думает. Но, прощаясь со всеми, я попытался обнять и его. Однако он, в отличие от всех остальных, стал меня от себя отталкивать.

Тогда мне вообще было не до обид. Но у меня не было по отношению к нему никаких дурных чувств ни в тюрьме, ни в ссылке, когда вспоминал Литинститут. Подсознательно я не видел в этом никакой подлости. Кажется, он напи-

сал где-то, что он так поступил от страха. Но это был тот же знакомый мне особый страх — страх потери идеологической причастности и цельности. Его кержацкая одержимость (тогда) не терпела противоречий и была мне в чем-то сродни. Оба мы с ним заблуждались, когда поддавались общей патологии, и оба мы с ним, перестав ей поддаваться, постепенно (это ведь никогда и никому легко не дается) стали свободными ответственными людьми.

Кстати, из-за этой боязни отпасть мое поведение в ту страшную ночь для нескольких человек могло обернуться бедой много более страшной, чем для меня отказ Тендрякова проститься.

Дело в том, что свои стихи я в основном хранил у знакомых. Отнюдь не из соображений конспирации, а ввиду того, что мне негде было их держать. Более упорядоченные товарищи с этим как-то справлялись, а у меня бумаги и тетради валялись по всему общежитию, мялись на кровати, терялись, приходили в негодность. Из этих соображений я и разнес их по друзьям и знакомым. Об этом все знали, все, кто со мной жил и кто меня знал. Я их не прятал — зачем было что-то прятать «своему в доску»? — а только хранил.

И вот представьте мое положение — приходят меня арестовывать за стихи, а стихов нет. Возникает естественное предположение, что я их прячу. Я и сказал, что не прячу, просто храню у знакомых. Вот меня и стали возить по этим знакомым — собирать мои сочинения. А «ночной книголюб» уже при этом рыскал и по их библиотекам, хотя никаких ордеров на обыск не имел. Права у него не было, но кто тогда думал о праве. Однако речь не о нем, а обо мне. Для меня это была возможность избежать путаницы, доказать, что я ничего не скрываю (а то получалось, что я лгун), что действительно после ранее описанных встреч у меня крамольных стихов не было. Старые мне хранить разрешалось, но чтоб больше не читал их публично.

Я не считал, что подвожу людей. И, действительно, не подвел. Но сегодня меня оторопь берет, когда думаю об этом — ибо, как я скоро понял, подвести их или не подвести уже от меня не зависело. Моя открытость в данном случае почему-то сработала, но могла и не сработать. Ведь служба в МГБ располагала сотрудников интересоваться не су-

ществом дела, а возможностью его оформления. И многие из них не преминули бы возможностью это сделать, если бы набрали на это.

Вывод отсюда один — не надо входить в психологические коллизии с тираниями. Если бы я относился к этой сумасшедшей организации как к враждебному или просто неприятному, но внешнему для меня обстоятельству, я бы никогда этого не сделал. Впрочем, я тогда бы иначе думал и иначе жил. Но я жил там, где я жил, и думал то, что тогда думал, пытался связать концы с концами и чуть не связал их в удавку. Никогда не устану благодарить Господа за то, что из-за моей дурости не произошло душегубства. Как и вообще за арест, приведший меня к свободе.

К Лубянке мы подъехали только утром, часов примерно в восемь, когда люди шли уже на работу. Остановились мы в устье улицы Дзержинского (Лубянки), напротив главного входа в здание, бывшее «целью нашего путешествия». Помню, когда меня с корзиной выводили из машины, случайно проходили рядом по тротуару двое мужчин интеллигентного вида — глаза их и головы устремились прямо вперед, чтобы не выказать интереса или даже любопытства, чтобы не видеть того, что они уже увидели. Я их отнюдь не осуждаю, но как мы привыкли к тому, что нас кушали — сами обставляли сервировку согласно усвоенному, хоть и неписаному этикету.

Но граждан мной смущали недолго, перевели через улицу и ввели в здание, где я уже несколько раз бывал. Дежурный тут же преградил мне дорогу и повернул куда-то влево — «Сюда, сюда!» Лазоревый с компанией постепенно, но довольно быстро исчезли, и я оказался в другом мире. Меня принялись обрабатывать приемные механизмы Лубянки.

Как они действуют и как воздействуют, во всех подробностях, со скрупулезной точностью рассказал Солженицын в «Круге первом». Конкурировать с ним в памяти на детали и в мастерстве изложения я не в состоянии, да и нет нужды. Вся эта обработка рассчитана на то, чтоб ошарашить человека, и в основном человека ни в чем неповинного, горящего жадной поскорее все выяснить и объясниться. Ему ничего не объясняют, он вообще плохо понимает, на каком этапе что происходит. Первого же офицера, заполняющего какие-то карточки, он принимает за искомый объект

и пытается что-то объяснить, а тот вообще ни при чем. Кончает выяснять что ему нужно и, опять-таки ничего не объясняя, передает следующему, к которому тебя уводят, а ты опять не знаешь, куда и зачем.

В промежутках тебя помещают в «боксы» — небольшие незаконные камеры разной величины — и без всяких причин перемещают из одного в другой. В одних есть то ли скамейка, то ли лежанка в виде приступочки у стены, в других — ничего, напоминающего лежанку. В одних есть подобие стола или столика, в других — ничего, кроме табуретки на крашеном полу. Но делать нечего — в каждом ты начинаешь мысленно обживать, привыкать к мысли, что здесь ты останешься на некий продолжительный срок. И тут тебя опять переводят. В промежутках водили фотографироваться, а также в парикмахерскую и в баню. В бане излил переполнявшую меня боль двум служившим при ней надзирателям. Слушали молча, но сочувственно. Ведь они и впрямь были ни при чем. Живые души на Руси можно было и тогда встретить и в самом неожиданном месте.

Были и другие осмотры — на предмет обнаружения конспирации — с заглядыванием в рот и в задницу — при команде: «Раздвиньте ягодицы!» У моего друга Люсика Шерешевского во время этого последнего заглядывания непроизвольно вырвался вопрос: «Сколько вам за это платят?», за что он получил хорошего тумака. У меня никакие вопросы не возникали, ибо фантазмагорией было не только это, а все, что происходило, — реакции были притуплены.

А в это время за стенами Лубянки проходили очередные самые демократические на свете выборы, от активного участия в которых меня насильно оторвали. Впрочем, я смутно представлял, сколько сейчас времени. Но думаю, что часа в два пополудни меня из бокса взяли на первый допрос.

Но «взяли на допрос» — для Лубянки это слишком просто сказано. Получается, что вас просто взяли из бокса, повели и привели. Не тут-то было! Лубянка не терпела примитива. Дорога на допрос и вообще передвижение арестантов в ее пределах — дело гораздо более усложненное, чтоб не сказать — театральное. По всему пути всех возможных следований понастроены маленькие боксы-закутки, куда препровождаемого запикивают, чтобы он ненароком не увидел арестанта, препровождаемого на встречу. В случае

отсутствия бокса одного из арестантов ставят лицом к стенке, а встречного проводят за его спиной. Но поскольку, чтобы принять такие меры, о ведомом надо знать заранее, налажена особая сигнализация. Каждый надзиратель (слова «вертухай» я употреблять почему-то не хочу) при приближении к любому повороту или «колену» коридора (а их там почему-то было много) сигнализирует о себе постукиванием ключа о пряжку (что еще куда ни шло) или цоканьем, при помощи языка, неба и зубов. Так и договариваются, кому своего вести, а кому в бокс заталкивать.

Вот и получается — идет здоровый мужик, ведет тебя за локоть, чтоб ты не вырвался и не убежал (куда?), и цокает, как дите или с дитем. А что бы ему по-человечески не сказать: «веду» и не договориться со встречным надзирателем по-человечески — ни они, ни их голоса от арестантов ведь не засекречены. Но так таинственной. Любил баловаться товарищ Сталин!

Так это выглядит, если принимать смысл этой игры всерьез — допускать, что сидящие в камерах организованные, связанные между собой опасные враги, которые, случайно встретившись, могут передать друг другу важнейшую информацию. Но ведь этого не было. Ведь и это игрушки. Ведь реальных групповых дел (кроме компаний, где трепались, или романтических юношеских «заговоров») не существовало. Только липовые — кто бы кому что мог передать? Разве что отматерить невыдержавшего и «заложившего».

Против кого же были разработаны столь хитроумные мероприятия? Считалось, что против врагов. Но ведь против врагов сталинская мышеловка была вообще бессильна. Вспомним хотя бы случай с Г.С.Околовичем. В наиболее «бдительном» 1938 году он вместе с товарищем перешел границу под Негорелым, бывшим символом «нерушимости наших границ». И потом, хотя славные органы знали, что он в стране (он допустил оплошность — в Ленинграде позвонил по автомату сестре, а та в ужасе донесла), пересек с тем же товарищем всю страну с севера на юг, после чего они прожили в ней сколько сочли нужным и свободно ушли обратно тем же путем. И представить, чтоб такого человека можно было каким-то цоканьем-чоканьем деморализовать — невозможно. Он ведь знал, на что шел.

А мы ни на что вообще не шли и идти не собирались, и скрывать нам было нечего, и именно поэтому бывали деморализованы. Но не цоканьем, а самим фактом ареста. Конечно, излишества вносили свою лепту, помогали подавлять, но и без их помощи вполне бы обошлось. Просто товарищ Сталин вел борьбу, а борьба требовала аксессуаров. Лубянка, как я потом понял, была довольно слаженной и четкой системой, но меньше всего она была приспособлена для борьбы с теми, кто ей противостоит. Короче — вся лубянская система была рассчитана не на раскрытие чьих-то козней, а на добывание ложных показаний, оговоров и самооговоров.

И я сейчас с этим столкнусь прямо. Ибо меня уже под щелк и свист — отнюдь не соловьиные — ведут на первый допрос. Правда, по пути вдобавок ко всему меня еще старательно запутывают — поднимают на лифте вверх, опускают вниз, ведут вперед, ведут назад. Видимо, действуют по специально разработанной каким-то дармоедом методе. Но в конце концов надзиратель стучится в одну из многочисленных дверей на одном из этажей и, получив разрешение, вводит меня в просторное помещение с большими окнами — кабинет следователя.

В нем перпендикулярно друг к другу два стола. Один против входа перед окнами, другой у стены по диагонали от входа. За этим столом сидит офицер, это, как почти сразу выясняется, мой следователь капитан Николай Бритцов. Стул за вторым столом пока пуст. Но вскоре появится и его хозяин, начальник одной из следственных групп подполковник Братьяков.

Все это в моем изложении выглядит как диспозиция перед схваткой, описание позиции противников. Но противников не будет и схватки тоже. Даже драма не начнется. Будет продолжаться фарс.

Итак, участники этого фарса эти два офицера — Братьяков и Бритцов. Они, безусловно, сталинские гэбисты, оформители фальшивых дел, многим людям они испортили жизнь. Но, забегая вперед, предупреждаю, что, несмотря на это, обоих этих офицеров я вспоминаю без всякой враждебности. И еще — что фарс начинается не с них, а с меня. С того, что я всю дорогу жаждал этого момента, чтобы объясниться.

Надзиратель получил расписку и ушел. Я сделал шаг к столу следователя, у которого с другой, с моей стороны, тоже стояли стулья. Естественно, раз тебя вызвали разговаривать, то ты садишься к столу вызвавшего. Оказалось, что здесь это неестественно. Мне было указано на другой стул, стоящий у противоположной столу стены, неподалеку от входа. Странно, но в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Потом я узнал, что так учили опыт тех следователей, которые получили от своих подследственных графином по голове — во избежание, значит, подобных инцидентов. Кстати, такой инцидент — результат возмущения. И возможен он только при вымогательстве ложных показаний или при попытке оформить обычное высказывание как целенаправленную политическую деятельность. Околович, если бы даже его, сохрани Господь, поймали и обвинили в антисоветской деятельности, графинами головы бы не разбивал. Сожалел бы, что попался, и винил бы себя. Но не обиделся бы. А вот какой-нибудь красный партизан, которому бы объявили, что он был белым офицером (и такое бывало), — вполне бы мог. Это я опять о том же — о том, от реакции на что защищало своих работников это учреждение и, следовательно, об его подлинном назначении.

Но это мысли более поздние, а тогда мне было не до таких размышлений — я просто сел на указанный мне стул. Допрос начался с фиксации (который раз за этот страшный день!) установочных данных: имени, фамилии, года рождения и т.д. На мое возражение, что на эти вопросы я уже сегодня ответил, мне было сказано, что это не мое дело. И довольно скоро мне без всяких обиняков и подготовки был задан сакраментальный и стандартный для этих стен вопрос, точнее, сделано предложение: «Расскажите о вашей преступной антисоветской деятельности». Вот так, за здорово живешь, как бы между делом — мне! — такое приглашение. Приглашение, конечно, по тем временам суперопасное. Сама эта деятельность выглядит установленным фактом, остается только «честно» о ней рассказать. Кстати, это метод, которым работало не только МГБ, но и вся советская пропаганда. И даже дипломатия — на международных форумах. И даже успешно работала — демонстрировала, что СССР в мире хозяин. Правда, когда пришел Рейган и пару раз рыкнул Хейг, все это рассыпалось, как всякая эфемерность.

Однако вернемся к сделанному стандартному и все же дикому предложению. Прежде всего я ощутил не его опасность, а другую его сторону, которую следователь отнюдь не имел в виду — оскорбление. Он спокойно и официально отторгал меня от всего, чем я жил, от меня самого, и выдавал за кого-то другого. И я взвыл от обиды. И взволнованно стал возражать.

Все это было смешно. Сегодня я бы тоже это отрицал, но совершенно иначе — не как позор, а как незаслуженную честь. Жаль, что я не вел тогда такую — антипреступную — деятельность, но чего не было, того не было — не вел. И мало сказать «не вел», само предположение о подобном меня оскорбляло. И я стал не оправдываться, а что-то очень горячо доказывать следователю, развивать свои мысли, разговаривать с ним как с человеком и товарищем. Он несколько ошалел от неожиданности.

К этому времени в комнате появился подполковник Братьяков и стал прислушиваться к разговору. И вдруг в ответ на сложные мои сентенции неожиданно изрек:

— У тебя голова полна говна!

Он, как и я, не знал, как он тогда был близок к истине (не меньше, чем ко мне, относившейся и к нему), но отнюдь не истину он имел в виду. Фраза его была чисто профессиональной — она стремилась не определить ценность содержимого моей головы, а подавить меня, сбить с привычного хода мыслей и представления о себе, чтоб сделать податливой для оформления дела. Это был рабочий прием.

Но я этого еще не понимал и отнесся к его словам со всей серьезностью. А поскольку я очень хотел понять, что произошло (вдруг я и впрямь в чем-то ошибся, и этот человек знает, в чем), то я вовсе не смешался, а попытался понять смысл его слов, попытался вступить с ним в беседу на эту тему. Сказал, что, возможно, он и прав, и стал ждать, что он сейчас выложит мне все свои мысли, обоснования и аргументы. Тогда смешался он сам. Так я выиграл это состязание идиотизмов. Выработанный мной искренний идиотизм пересилил идиотизм его профессиональной выучки.

Разумеется, это мое сегодняшнее осмысление — тогда я ничего этого не понимал, только увидел удивление в глазах подполковника, на которое, впрочем, не обратил внимания. Мне хотелось, чтобы он знал, в чем дело, и я действительно ждал ответа — сцена осталась для меня незаконченной.

Конечно, значение этого замешательства не стоит преувеличивать — я просто рассказываю о возникшей психологической коллизии, как я теперь ее вспоминаю. Тогда она зафиксировалась, не будучи осознанной, как часто бывает в юности и детстве, особенно в эпохи принудительной инфантилизации сознания. На течение и исход дела это мгновенное замешательство никак бы не повлияло. Давление на меня не ослабло бы, меня бы все равно запузырили, куда бы велели. Но поражены оба моих следователя были. Кстати, теперь, начав писать об этом, я осознал, что, получив мое дело, следствие не получило достаточной информации обо мне. В частности, о моем «романе с МГБ» мои следователи никакого представления не имели. Эта тема возникла только из-за моего утверждения, что после этих встреч ничего крамольного я не писал. Пришлось им делать вид, что они понимают, о чем речь, и искать выхода из этого, отнюдь не великого для них, затруднения. Встает вопрос: почему их не информировали полностью? Отчасти, наверное, потому, что МГБ тоже было советским учреждением и общее представление о необыкновенной, хотя и зловещей, слаженности его работы несколько преувеличено. А во-вторых, потому, что оформлению ложного дела эти сведения только мешали бы. Ведь стихи были, компромат, значит, какой-никакой был (у большинства его ведь вообще не было, и то ничего), зачем же уменьшать его убойную силу? Я тогда этого не понимал, видимо, и в жизни следователей этот случай был нетривиальным. Нормой для них было иметь возможность обвинять и не давать возможности оправдываться.

Это проявлялось и в том, что собственноручные показания подследственных исключались — записывать все с моих слов должен был следователь. А он любым показаниям придавал форму признания в антисоветской деятельности, что в первый же день вызвало мое возмущение и сопротивление. И почти сразу это превратилось в «мелочную торговлю» по каждому пункту, что очень меня смущало (это ли не доказательство установки МГБ на ложные показания?), эта «торговля» продолжалась до самого конца допроса. И продолжалась еще на нескольких. О первом своем допросе могу сказать одно — что он прошел в обстановке острого взаи-

монепонимания. В конце концов следователь вызвал конвой, и меня увели.

Опять посадили в какой-то бокс. Не помню, таскали ли меня по другим, но вскоре после допроса за одной из дверей (а там везде запертые двери, открываемые, а потом запираемые надзирателями по мере следования) оказались люди. Люди эти встали при нашем появлении — тюремные правила требовали, чтоб арестованные вставали при появлении надзоростава.

Началась моя тюремная жизнь.

В таких случаях пишут: «Я огляделся, и...» Но тут оглядываться не надо было. Камера была похожа на гостиничный номер, только окно было зарешечено и с «намордником» да в углу при входе стоял бак с крышкой — знаменитая «параша». Стены были покрашены масляной краской — голубой снизу и белой сверху. У стен стояли кровати — у каждой по три, в середине — стол со стульями. Впрочем, как мне скоро объяснили сокамерники, это и был в прошлом номер гостиницы. Гостиница эта принадлежала тому же страховому обществу «Россия», что и само здание, облюбованное ЧК для своего функционирования (и переходившее по наследству к ГПУ, НКВД, МГБ и т.д.). В самом здании разместились его официальные службы, а в гостинице — внутренняя тюрьма. Потом здание тюрьмы надстроили, добавили два или три этажа, но чертеж остался прежним.

Мне пришлось сидеть в камерах, расположенных на разных — как первоначальных, так и надстроенных этажах этого здания, различия я не заметил. Еще одна деталь — тюрьма эта в мое время была внутренней во всех смыслах. Она была со всех сторон окружена разросшимся главным зданием. Так что «намордники» на окна были надвинуты не для того, чтоб скрыть нас или что-то от нас, а также не для предупреждения тайной переписки или сигнализации (при отсутствии организаций, кому и о чем было сигнализировать?), а чтоб изолировать нас от неба. То есть опять-таки для пушего угнетения и подавления духа с целью более легкого получения показаний, в основном таких, которые выжимают — ложных. Понятно, что и это не тогдашние мои мысли.

А тогда, уже привыкнув к мысли, что буду сидеть только в одиночках (боксах), и неожиданно для себя оказавшись

опять среди людей, я во все глаза, хоть и не без некоторого отчуждения, смотрел на своих новых товарищей. Мне очень не хотелось переводить себя в их категорию, становиться «таким, как они» — пусть не врагом, а просто неизбежной издержкой прогресса. Я фиксирую только некое мимолетное психологическое движение, практически оно ни в чем не проявилось — не в чем было, да и на отчуждение от реальных людей я никогда не был способен. Но задним числом должен сказать, что именно по отношению к этой камере некоторое отчуждение мне бы вовсе не помешало. Ибо камера эта (единственная из трех, в которых я сидел) была инспирированным сумасшедшим домом.

Клинических сумасшедших в ней не было ни одного, но всем (или почти всем — допускаю, что некоторые притворялись) находившимся в ней здоровым людям был привит микроб или вирус настоящего безумия, превосходящего мое. Выслушав, в чем меня обвиняют и как я к этому отношусь, один из них (кажется, математик из МАИ Минухин) вдруг трагическим голосом обратился к сокамерникам:

— Вот увидите, он сильно затруднит работу следователю.

Я не уверен, что фраза эта принадлежала именно Минухину, но отражала она настроение всей камеры. Я опешил. «Издержки истории» оказывались, говоря сегодняшним моим языком, еще более самоотверженными мазохистами, чем я.

Заботиться о том, чтобы облегчать работу следователю и тем самым повышать производительность его труда, — такое даже и мне в голову не приходило! Сокамерники поддержали высказавшего это опасение. Помощь следователю в его трудной работе выглядела в их устах высшей гражданской и человеческой добродетелью. Сознаться надо было не только в том, что было (допустим, в реальном разговоре с приятелем), но и в том, что приписывают. Парадокс заключался еще и в том, что в этой камере, уверяю вас, не было ни одного фанатика, подобного мне. Это болезненное состояние было вызвано чем-то другим.

Кто в ней сидел? Фамилий я почти не запомнил, помню по «делам». Сидел сын какого-то меньшевика (за то и сидел), человек, видимо, не очень интеллигентный. Он очень сердился на меня за непонятливость, (или из-за склонность рассуждать — точно не понял), из-за которой люди страда-

ют. Какой-то бухгалтер из давно обрусевших немцев, человек одновременно и трезво мыслящий, и законопослушный. Трезвость своего мышления он выражал в дневнике, который он при всей своей законопослушности вел и куда записывал свои сокровенные трезвые мысли. Много лет он этот дневник никому не показывал, но вечно жить в скорлупе тошно. Сокровенным хочется поделиться. Недавно он прочел выдержки из него своему лучшему приятелю. И... оказался здесь. Ненавидел он сейчас не приятеля, а свой дневник и себя — за такое несоответствие порядку. На все попытки успокоить его, что, мол, дневник есть дневник, что в нем может быть страшного, отвечал:

— Не говорите... Там ужасные вещи...

Потом вспоминал какое-нибудь особо страшное место, хватался за голову и вскрикивал:

— Ой!

Ему, конечно, сочувствовали (я тоже, хоть считал его мещанином), но все происшедшее после доноса считали естественным. А ведь речь шла не о прокламации, не о публичном выступлении даже, а о личном дневнике. У меня тогда никакого понятия о святости частной жизни не было, но все же я понимал, что мучить такого человека не было необходимости. Но у меня создалось впечатление, что этого человека грызло нечто вроде раскаяния. В чем? И он искренне осуждал меня за непонимание мной моей вины (какой? что он обо мне знал?).

Сидел еще крупный инженер-путеец, видимо, большой начальник, очень обрусевший армянин. Он тоже придерживался общей линии в камере, но о своем деле рассказывал так.

— Я уволил двух жуликов, а они оказались коммунистами, и партком их восстановил. Тогда я сказал: «Что ж это получается? — я жуликов увольняю, а партия их восстанавливает!» Вот и посадили. — Покаяния в этой фразе не чувствуется, но и он подался общей волне.

Трудно такое высказывание, выдать за антисоветское, но партком, защищая себя, все мог. Он обратился куда надо, и там защитили «авторитет партии». Тогда ведь и служебные интриги могли кончаться усекновением головы.

Но причин эти пожилые люди не доискивались, правды не искали, им примитивно и естественно хотелось домой.

— Я бы предложил такое, — сказал этот инженер-путеец, — чтобы нас всех выпороли на Красной площади за сказанные глупости и отпустили по домам.

Чувствовалось, что слова его пришлись по вкусу всем, но в целом в камере при разговорах о «делах» господствовал высокий штиль. И люди проникались этим чуждым для них штилем. Минухин (теперь уже наверняка Минухин) клюнул на эту удочку больше всех.

Что это была за «удочка»? В сущности она была очень незамысловата, не уходила даже под воду и вообще имела имя, отчество и фамилию (или кличку), часто уважительно поминавшиеся в этой камере. Но из моей памяти они начисто стерлись — я ведь никогда не видел этого человека (незадолго перед моим появлением в камере его куда-то перевели), да и пробыл я в этой камере сравнительно недолго, дней десять. Скорее всего, он был тем, что называется «наседкой», посаженным в камеру агентом, обычно, стукачом. Но в данном случае это была насадка особого рода — так сказать, агент влияния. Обычно эти функции совмещались, но здесь вторая явно затмевала первую. И вообще случай был из ряда вон выходящий, хотя в принципе Лубянка создавала благоприятную почву для такой деятельности.

Ведь лубянская камера — не только замкнутое, как во всякой тюрьме, но и герметически изолированное от всего мира пространство: ни газет, ни радио, ни свиданий с родными и близкими, ни, пардон, телефонов не полагалось — никакой информации о внешнем мире, никакой связи с ним. В это пространство затолканы совершенно разные, совершенно непричастные ни к чему, что могло их сюда привести, люди. Факты, которые им инкриминируют, если даже имели место, никогда не воспринимались ими как деятельность, чреватая тюрьмой и такими страшными обвинениями. Попав ни с того ни с сего в тюрьму и услышав такие (фантастические) обвинения, они теряются и становятся легкой добычей внушения. Они с готовностью верят во все, что хотя бы внешне кажется осмысленным порядком. Если есть порядок, все не так страшно.

Им можно легко внушить, что их политическая индифферентность была вредна обществу и что их теперешняя растерянность есть просветление, превратившееся в горячую преданность «партии, правительству и лично товари-

щу Сталину». Это не имеет никакого значения при решении участи этих людей, но психологически как бы облегчает им защиту и вселяет надежду — надо только поверить, что смысл тут есть. А раз он есть, надо к нему приспособиться, начать — лучше поздно, чем никогда — как все «пребывать в рядах» и даже «понимать» заботы и тревожения начальства и — будучи отверженными и отторгнутыми — жить. Их искуситель талантливо использовал их иррациональное положение и парализовал всякое сопротивление. Внешне это похоже на то, что переживал я, но я это умонастроение приобрел не в тюрьме, а с ним, как знает читатель, туда пришел, оно определялось общим пониманием жизни, а не внушением или истерикой.

Впрочем, не следует думать, что такая атмосфера была всеобщей. Больше я нигде — ни в других камерах, ни на пересылках, ни в ссылке — с ней не встречался, о ней не слышал. Это ведь только одна из нот в гамме переживаний насельника внутренней тюрьмы, и до такого абсурда она доводится редко. Если громадной стране, отделив ее от мира и информации, можно было внушить перевернутое сознание, то что говорить о маленькой камере, населенной людьми, потерявшими голову? В ней такая «наседка», единственно знающая, чего ей надо, вполне способна стать очагом кристаллизации этой растерянности, даже эйфории растерянности. И стала. Ведь она одна говорит уверенно. Она действует не на всех, в этой камере тоже (о чем чуть ниже), но в такой атмосфере те, на кого она не действует, обычно помалкивают.

Кем был этот страшный человек? Я сказал уже, что, скорее всего, подсаженным агентом, «наседкой». Конечно, не исключено, что эту эйфорию самопредательства он изобрел самостоятельно и добровольно, то есть честно сошел с ума. Но вряд ли. Уж больно она прагматически нужна была «следствию» (то есть оформителям дел). И уж больно целеустремленно он действовал. И, главное, действовал на других, занимался другими. Обычно в случаях такой «чистоты» спасают только свою душу, от других в таких случаях хоть и неявно, но внутренне отчуждаются — как от «нечистых», а не работают над ними.

Конечно, он не был кадровым работником МГБ, не такие птицы здесь сидели (да и не годились его ловушки

для «птиц», только для кроликов). Скорее всего он был арестантом, которому обещали спасение, может быть, бывший партработник, нагрешивший в плену и теперь таким образом отодвигавший «вышку». Что с ним стало потом, не знаю. Может быть, его «бросили» на обработку другой камеры. Может, выполнили обещание и совсем отпустили за заслуги или заменили «вышку» лагерем — с тем, чтоб он и дальше губил людей на воле или в лагере. А может, обещания не выполнили и обманули — отправили в лагерь или расстреляли — они могли сделать все, а уж нарушить обещание тем более. Но я сейчас говорю не о нем, которого не знал и не видел, а об атмосфере этой губительной эйфории, которую он создал и в которую я попал. Кем бы ни был этот «наседка», был он человеком явно умным и знавшим свою перепуганную паству.

Должен сказать, что я лично этой эйфории поддавался туго. Прежде всего из-за слишком серьезного отношения к этим материям и к сталинщине. Кроме того, я человек словесный, и добровольно говорить о себе неправду было против моего существа, выше моих сил. Для этого надо было, чтоб разорвалась та мнимая внутренняя связь, которая в моем воображении существовала между мной и следствием. А когда она развалилась (о чем чуть ниже), основания для суперправдивости вообще отпали. Хотя это не значит, что я стал врать. Совсем нет, да и причин у меня не было. Я просто больше не видел причин терзаться тем, что не хочу участвовать в их кознях против меня же.

Но речь пока не обо мне, а о камере. Конечно, я не знаю, как все эти люди вели себя в кабинете следователя. При мне впечатлениями делился только математик Минухин, тот, кто, как мне кажется, ужаснулся по поводу трудностей, которые я могу доставить следователю. Судя по всему, программу помощи следователю он выполнил и перевыполнил. Кстати, следователь у нас с ним был общий — капитан Бритцов.

Какое именно некондиционное высказывание Минухина в частном разговоре (больше он ничем не занимался) послужило причиной его ареста, я не знаю. И судя по всему, он тоже не знал. Но следователь стал прохаживаться по его биографии — естественно, с целью выудить из нее что-нибудь «ценное». Советской власти было всего тридцать лет,

с окончания Гражданской войны прошло еще меньше, а со времени разгрома оппозиций — всего ничего (хотя мне казалось, что все это «дела давно минувших дней»). Так что биография почти каждого сорокапяти—пятидесятилетнего советского человека представляла большие возможности для оформления дела. Набрели на период от Февраля до Октября 1917-го. В этот период подследственный кончил гимназию и готовился в университет. Поживы вроде для «следствия» никакой. Но это если смотреть на вещи обывательски. А если твоя профессия состоит в том, что ты обязан сострять из чего угодно обвинение, все-таки, хотя бы на первый взгляд, не лишенное правдоподобия, то эта простая картина становится не столь простой, и у тебя «возникает» догадливый вопрос:

— На каких позициях вы стояли в период между Февралем и Октябрем?

Вопрос почти беспроегрышный. Если кролик тогда склонялся к большевикам, то наверняка завел связи с ныне разоблаченными «врагами народа», и тут уж «есть разгуляться где на воле». Если же нет — следователь из «Краткого курса» знает, что во время Февральской революции в России было всего двадцать тысяч большевиков (на самом деле всего несколько сот, а в Петрограде всего человек сто пятьдесят), так что у большей части интеллигенции и даже всего населения рыльце в пушку — про любого можно написать, что «стоял на небольшевистских позициях». Большевики 17-го «оказались» к тому времени почти поголовно «врагами народа», но по законам господствующей шизофрении это обвинение все равно звучало грозно.

Минухин ответил, что ни на каких позициях не стоял, ибо политикой не занимался, а готовился к университету.

— Но неужели вы ни с кем не встречались, не бывали в молодежных компаниях, — тянет свое, задает невинный вопрос Бритцов.

— Как же, бывал... Но мы там танцевали, ухаживали за девушками.

— Но неужели совсем, да еще в такое время, не разговаривали о политике? — гнет свое следователь, пардон, оформитель дела. И Минухин теряется. «Совсем» — это выглядит неправдоподобно.

— Почему совсем... иногда разговаривали... Но редко... Мы не этим интересовались, — правдиво исповедуется неизвестно в чем Минухин.

— А к какой партии вы в этих разговорах склонялись? — дожимает Бритцов.

— Да ни к какой...

— Ну а все-таки — чаще все-таки к какой? — не удовлетворяется Бритцов. И верный заветам «наседки», Минухин предается излишним уточнениям.

— Чаще, как мне теперь помнится, к меньшевикам... Но мы вообще редко говорили об этом... Я хотел быть математиком.

Но все это уже неважно. Ответ Минухина записан Бритцовым четко и ясно: «В период между Февралем и Октябрем я стоял на меньшевистских позициях и посещал молодежные меньшевистские собрания». Это соответствует советскому мифу. Сам Бритцов и все, кого он встречал и встречается, ни на каких «позициях» сроду не стояли. Стандартная фраза из характеристики «Делу партии Ленина—Сталина предан» определяет все их мировоззрение и представление о том, что это такое. Но согласно мифу раньше какую-либо «позицию» занимал каждый, а Бритцов был поставлен охранять этот миф. И, конечно, работать на него. И — негласно, но явно — подгонять под него. Думаю, он мог не понимать, что смешно и патологично привлекать человека к ответственности за то, что он думал тридцать лет назад (понимания того, что человека вообще нельзя привлекать за мысли, я у него, тогдашнего, не требую), но что Минухин действительно в 1917-м не стоял ни на каких позициях, он, наверное, понимал. Но понимал он и то, что ему необходимо закончить дело, поместить Минухина в миф на надлежащее место. И соответственно действовал. А верный духу своей камеры, Минухин подписал и этот вариант своих воспоминаний. И уж конечно, признался во всех реальных и приписанных высказываниях, а также согласился с их фантастическим истолкованием. Но следовательно на этом не останавливается, он развивает успех: «А кроме того, я лелеял террористические замыслы против наших вождей», — вносит он в протокол уж совсем от себя. Тут в оглушенном сознании подследственного просыпается слабое ощущение реальности, и он начинает протестовать:

— Но я ведь я этого не говорил...

— Да это чепуха... Для проформы...

И Минухин, чтоб не доставлять затруднений следствию, подписывает и эту глупую и опасную клевету на себя.

На следующем допросе Бритцов как бы между делом роняет:

— Да ты ведь, гад, еще и террорист!

— Как террорист?

— Ты ведь сам подписал.

— Вы ведь говорили, что неважно,

— Я тебе покажу «неважно», вражина! Террорист! — и «неважно».

Вот так и получился у Бритцова «трудовой успех» — обезвредил меньшевика и террориста. Правда, это несовместимо — меньшевики никогда не были террористами, но кого это интересовало? По советской мифологии оба эти слова — знаки дьявола, доказательство преступности индивидуума. Да и мелочь это по сравнению с тем, что Минухин вообще не имел отношения ни к тем, ни к другим, но сознался. Как он грустно и все же не без некоторой гордости говорил в камере: «Я сознался на 180 процентов».

Капитан Бритцов не производил впечатление ни подлеца, ни злодея, но ведь совершал преступление — намеренно и обдуманно совершил подлог, заставил себя оболгать ни в чем не повинного человека. Я уже говорил, что вспоминаю обоих следователей без всякой антипатии, хотя деятельность их была преступной и страшной. Многим людям, путем угроз и обманов выжав из них показания, они — в том и состояла их профессия — «оформили», как Минухину и как собирались мне, внушительные сроки. А ведь оба эти офицера были людьми неглупыми, с высшим образованием (Братяков — с педагогическим, Бритцов — с юридическим) и должны были понимать, что делали. Но я думаю, что не понимали. Им поручались «дела», и они их оформляли. Может, в их кулуарах «по-умному» между собой говорили (как «лазорева» о репрессиях) о том, что ничего не поделаешь, фиктивные дела необходимы.

Я помню происшедший при мне разговор Братякова с приятелями о возможном перемещении Братякова в Свердловск на должность начальника облуправления (или только следственного отдела — не помню).

— Это интересный город, — творчески произнес Братьяков.

Что могло в любом городе быть «интересного» или творческого — в плане их фиктивной и вредной деятельности? Однако находили, различали, воображали. Возможно, как интересно будет вылавливать настоящих шпионов, которых должно быть навалом в этом промышленном центре. Не то, что здесь «репрессиями» заниматься. Советский человек всегда мечтал дорасти бюрократическим путем до творческого уровня. А они и были обычными советскими людьми. Конечно, не каждый выдержал бы их работу, но многим просто повезло на нее не попасть. Все мы ухитрились мириться с созданной при участии МГБ обстановкой и даже успешно в ней работать, в том числе и на секретных работах. Им просто не повезло.

Они, конечно, не были нравственными гигантами и не были подготовлены к духовной самостоятельности и ответственности, достаточной, чтобы самостоятельно вырваться из той проруби, куда их затянуло. Может, не могли и осознать, что из нее надо вырваться. Но одни ли они были такие?

Но они не сознавали, что аппарат, особенно аппарат подавления, стал функциональным выразителем сталинской хвори, а они сами — являются кистенем и удавкой в руках преступника.

Но до таких обобщений и мне было еще далеко. Да мне тогда вообще было не до обобщений — прежде всего в камере мне ясно объяснили, что в любом случае сразу объясниться и очиститься мне не удастся — следствие как минимум длится четыре месяца, вызывают, в основном, не так уж часто. Это показалось мне невыносимым и было для меня тогда страшным ударом. Ведь я так хотел объясниться со «своими» — я ведь считал следователей своими. А весь этот обрушившийся на меня кошмар, отчасти уже описанный мной, усиленный патологической эйфорией этой камеры, — я признать ни заслуженным, ни соприродным себе не мог.

Ирреальности происходящего противостояла только ирреальность снов. Правда, спать можно было только от отбоя до побудки — с десяти вечера до пяти утра. Если кто-то засыпал днем, надзиратели его будили — иногда встряхи-

вая за плечи, чаще шелкая замком, очень там громким. Все это описано многими. Этот режим использовался и как пытка: человека всю ночь держали на допросе, иногда и не допрашивая, просто не давая спать, а утром его возвращали в камеру, где не давали спать на общих основаниях. Ко мне это не применяли. Ночью меня вызвали только один раз, а потом дали отоспаться — это было во власти следователя. Так что в принципе я от недосыпа потом не страдал. Но в первые дни меня все время тянуло в сон, точнее, к снам, как, вероятно, наркомана к наркотикам. Во сне я опять оказывался в общежитии, в нашем подвале и рассказывал ребятам, какой бред мне приснился. Но потом я просыпался, и бред оказывался явью. Часто сны были многослойными. Из камеры я попадал в общежитие, а оттуда опять в камеру. Но и это оказывалось сном, я вздыхал с облегчением, но в конце концов, естественно, опять просыпался в камере. Иногда меня будил надзиратель — вышеобозначенным способом, но скоро я опять засыпал. Потом прошло. Сны утешали, но не помогали — уводили меня оттуда, откуда увести не могли, манили невозможным.

Иную роль играли книги. Слава Богу, на Лубянке была большая библиотека из конфискованных книг. Библиотеки этой мы никогда в глаза не видели, но оттуда нам приносили книги — иногда хаотично, но часто и по нашим просьбам. Давали нам все, кроме, как ни странно, произведений классиков марксизма-ленинизма, в том числе и самого Сталина — во избежание, как мне объяснил капитан Бритцов, провокационных толкований. Там я прочел много из Достоевского, полностью «Дневник писателя», «Жан Кристофа» и многое другое. Когда я пришел в эту камеру, я застал там тома «Войны и мира». Меня по понятным причинам читать не тянуло. Но однажды я совершенно машинально взял в руки один из томов и открыл его на случайной странице. И тут же полностью погрузился в мир этого романа. И дело даже не в том, что я не мог уже от него оторваться — просто я опять начал жить. Следуя за Львом Толстым и героями романа, понимая их и сочувствуя их переживаниям, я постепенно тоже стал чувствовать себя и — если не мыслительно, то чувственно — осознавать себя таким же человеком, а не бессмысленной щепкой, издержкой истории. Нечто подобное пережила и Оль-

га Львовна Адамова-Слиозберг, с которой — теперь она уже, к сожалению, умерла — меня связывала многолетняя дружба. Она описала это в одном из своих стихотворений. Слава Богу, что наши мучители не понимали этого исцеляющего воздействия хороших книг.

Но сны были снами, книги книгами, а жизнь текла своим чередом — повторять бессмыслицу, брать на себя несуществующие вины я все равно не хотел и не мог. Тем более что в моем отношении к следствию произошел переворот. Случилось это на одном из ближайших допросов.

Я уже писал, что следователей ставил в тупик мой «роман с МГБ» — ведь я утверждал, что после этого не писал ничего крамольного. Запугивания на меня не действовали. Не потому, что я был храбр, а потому, что глуп. Я всерьез старался выяснить, что произошло, а этого, во-первых, они сами не знали, а во-вторых, это не имело отношения к их задаче. Но все же разговоры со мной о моей антисоветской деятельности не получались, а вести спор по существу им было не по силам и ни к чему. Конечно, иногда они (а может, не они, а только сотрудники отдела по особо важным делам) спрашивали и получали разрешения на применение «специальных мер воздействия» (избиения и пытки). Но ни к какому сенсационному процессу или просто громкому «делу» (вроде дела Еврейского антифашистского комитета) меня не готовили, и мой случай был для этого слишком мелким и маловажным, рутинным. По их иерархии ценностей, которая в этом застенке, как ни странно, соблюдалась, мне вряд ли такое тогда грозило. Мне вообще кажется, что я был арестован до второй волны массовых репрессий, в пору, когда абсолютное беззаконие придерживалось определенных, ничуть его не стеснявших рамок. Короче, «стали люди искать выхода из безвыходной ситуации» (А.Галич). Был собран целый консилиум из следователей группы. Отличался он от врачебного только одним — решали не как лучше спасти «пациента», а как верней его погубить. Но все было зря — убедить меня так истолковывать свою деятельность, как им хотелось, было невозможно. Но и возражая им, я думал, что они в самом деле хотят разобраться. И вдруг один из них, кстати еврей (это я для тех, кто верит в тотальную еврейскую солидарность), спросил меня:

— А старые, неправильные стихи ты после этих встреч когда-нибудь кому-нибудь читал?

Поскольку я иногда их читал (допустим, для демонстрации пройденного пути), я и сказал, что да, иногда кой-кому читал, но с соответствующими объяснениями. И тут этот шибко находчивый живчик как-то особенно самодовольно подмигнул Бритцову: дескать, что же ты смотришь — разрабатывай жилу, и этим открыл гораздо больше мне, чем кому бы то ни было.

После этого нужные им «признания» из меня можно было бы вытащить только пытками. Вопреки всем своим взглядам я ясно увидел, где нахожусь. Увидел, что они хотят не разобраться, а найти зацепку для обвинения, для порученного им «оформления дела». Увидел то, что большинство людей страны при любых взглядах понимало изначально. Я еще не осознал, но почувствовал, что ни я сам, ни мои взгляды, ни польза от меня, ни вред их не интересуют — только возможность оформить дело, дабы не допустить брака в работе. Не эти люди организовали мой арест, но они приняли эстафету и теперь должны были любой ценой запутать меня и довести до кондиции. Так что на этом этапе речь шла не о государстве, коммунизме или даже о товарище Сталине (то, что он запустил всю эту дьявольскую машину — другая тема), а только о них и обо мне. Им надо погубить меня только для себя самих, а меня это никак не устраивало. Я понял, что, сказав им, что иногда читал знакомым и старые стихи, я совершил оплошность, и это был первый шаг к просветлению — я решил себя от них защищать.

Я не хочу поносить сегодня этих людей. Кстати, у некоторых из них я замечал не только интерес ко мне, но даже и симпатию. Как я теперь думаю, объяснялось это еще и тем, что я видел в них людей, собеседников, и так с ними разговаривал — всерьез спорил, доказывал, — а они к этому не привыкли. Конечно, это объяснялось и моим мировоззрением, но и характером тоже. Это, с одной стороны, и создавало для них те затруднения, о которых только что шла речь, но, с другой, располагало их ко мне. Конечно, симпатиями они руководствоваться не могли и делали что положено, но, ничуть их не оправдывая, ненавижу я все-таки не их, а тот ад, в обслугу которого их взяли.

Итак, протокол о том, что иногда читал старые стихи, я по инерции подписал (слово не воробей), о чем тут же пожалел. Но потом я взял это признание назад — дескать, вспомнил, что такого никогда не было. Правда, я вообще заявил, что отказываюсь от показаний. Бритцов сказал, что я собственно ничего и не показал, насчет чтения старых стихов как-то странно добавил, что мне этого никто и не предъявляет. Видимо, он тогда уже знал, что лагеря я избежал.

Но произошло это не благодаря его симпатии ко мне или правильности моего поведения, а пришло сверху, благодаря заступничеству Ф.Е.Медведева, о котором я уже писал и которое удалось только из-за редкого стечения обстоятельств. Поэтому я сейчас рассказываю не о своей героической борьбе со следствием, которой не было, а о своих психологических реакциях на дичайшие обстоятельства.

Я уже говорил, что большинство встреченных мной следователей, творивших подлости по долгу службы, природными подлецами не были. Но однажды я видел и настоящего подлеца. Правда, он не был следователем.

Прежде чем рассказать о нем, я считаю, что надо, наконец, рассказать о спасительном для меня демарше Медведева. Я узнал о нем только в 1989 году, когда впервые приехал из эмиграции в Москву. На одном из своих вечеров я сказал между прочим, что благодарен следователям, которые устроили так, что я попал не в лагерь, а в ссылку. Кому-нибудь это покажется смешной малостью, а мне это спасло жизнь. Эти слова были приведены в репортаже, на следующее утро напечатанном в «Советской России», а днем, прочтя этот репортаж, меня разыскал Федор и по телефону сказал, что я ошибаюсь, что спас меня он и что надо встретиться. Я был рад его звонку, поскольку он за пятнадцать лет моего отсутствия сменил и квартиру, и телефон, и мне теперь никак не удавалось его найти. И, кроме того, я был заинтригован. Вот эта история.

Моя мать приехала в Москву хлопотать обо мне. Кто-то из моих друзей сказал ей, что у меня есть в МК такой влиятельный приятель, и она к нему пошла. У меня с Федором, действительно, были хорошие, дружеские отношения. Он меня выручал из нелепых ситуаций, в которые я часто попадал. Я его любил, но всегда относился как к старшему. Мы любили встречаться на его службе и дома и разговари-

вать, но это случалось хоть и регулярно, но не слишком часто — ведь он был человек занятой, да и меня многое увлекало. Иногда я ему звонил, но если ничего не случилось, это тоже бывало не каждый день. Так что отсутствие звонков в течение некоторого времени не могло его насторожить — он долго ничего не знал о моем аресте. И когда моя мать позвонила ему снизу, из бюро пропусков, он удивился. Дальше его рассказ:

— Я спустился к ней, поздоровался. Она сказала: «Я мать Наума». Я сразу понял, в чем дело, потому что — зачем бы она ко мне пришла? Но спрашиваю: «Что с ним?» Она говорит: «Плохо». И рассказывает, что случилось. Я ей сказал: «Поймите меня правильно. Я тут ничем, ну совсем ничем не могу помочь. Я его знаю, люблю его, ему верю, но ничего не могу сделать».

От себя добавлю, что он говорил чистую правду. К Сталину вход он не был, а любой другой тут был бессилён. Но вмешалось Провидение.

— Ты будешь, Наум, смеяться, но я не знал, что за нами (работниками МК КПСС. — *Н.К.*) тоже следят. Однако следили и засекли. На следующий день прихожу я на работу, звонит мне Олимпиада Васильевна Козлова, секретарь МК по пропаганде, у которой я работал помощником. Женщина она была хорошая, образованная и умная, потом она была ректором Инженерно-экономического института им. Орджоникидзе. Так вот звонит она мне и говорит:

— Федор Елисеевич, зайди ко мне, пожалуйста.

Захожу, а она:

— Вот, Федор Елисеевич, товарищ хочет с тобой поговорить.

А товарищ этот — начальник Управления МГБ по Москве и Московской области генерал Горгонов — спрашивает:

— Вы знаете такого — Манделя?

Я отвечаю:

— Да.

— Что вы можете о нем сказать?

— Что он честный, идейный, преданный нашему делу, талантливый человек. В общем, только хорошее.

— Вот как! — говорит Горгонов. — А что вы можете сказать об этом? — и сует мне листок с твоим стихотворением, забыл каким. Я прочел и спрашиваю:

— А конец где?

— Какой конец? — он даже опешил.

— А тут еще конец есть. Не знаете? Сейчас принесу. У меня есть папка с его стихами.

Пошел, принес папку, достаю эти стихи, показываю: «Вот эти стихи полностью, а не урезанные!» Видите! Тот прочел, молчит. Ну, тут я разошелся:

— Что ж это вы делаете! — кричу. — Клеветникам, завистникам всяким, подлецам верите, а талантливого честного человека в тюрьму сажаете. Если так пойдет, кого вы тогда охранять будете? И пошел — возмутило меня это.

— Ну ладно, ладно... Посмотрим... Папочку вашу я заберу с собой...

А я ему:

— Расписку давайте!

— Расписку? Зачем?

— Ну как же. Раз у вас там концы у стихов пропадают.

Тут уж и Козлова вмешалась:

— Ну что ты, Федор Елисеевич, какие расписки.

В общем, расписки он мне, конечно, не дал, а папку унес. Остались мы вдвоем с Олимпиадой Васильевной.

— Никогда не знала, что ты такой, Федор Елисеевич! Здорово ты ему выдал! Но разве можно с ними так разговаривать? Ну, ладно, теперь иди в свой кабинет и самообыщись! Чтоб у тебя ни бумажки сомнительной не осталось.

Дня через два меня встретил в коридоре Горгонов и сказал:

— Ну уж не такой твой Мандель ангел, как ты рисуешь, но в лагерь он не поедет — поедет в ссылку.

Вот и все, что рассказал Ф.Е.Медведев, в прошлом партийный работник и всегда замечательный и достойный человек. Те, кто думает, что в тех условиях они сами легко вели бы себя так же или даже лучше, не понимают, что произошло с нашей страной и, следовательно, в каком мире они живут. А история эта говорит о многом. В частности о том, что все в России, даже исполнявшие роль угнетателей, были угнетенными.

Ведь разговор о необходимости самообыскаться происходил, между прочим, не на диссидентской квартире, а МК КПСС, в идеологическом центре. Между людьми, всецело преданными строю и лично товарищу Сталину. Чего

им было бояться? Однако боялись. Ведь и я тогда был таким же или почти таким же.

Этот разговор Федора с Горгоновым имел колоссальное значение для моего дела. Но перед своей встречей с упомянутым выше настоящим подлецом я о нем (о разговоре) ничего не знал. Произошла эта встреча так. Во время одного из допросов открылась дверь, и появился он — ни его имени, ни звания я так и не узнал. Появился он в сопровождении еще одного человека, показавшегося мне знакомым. Тем не менее этот моего внимания к себе не привлек. Оба прошли и уселись с внешней стороны приоконного стола, как раз против входа. Главный был одет с иголки: дорогой черный костюм, белая рубашка с расстегнутым воротом, был он широкоплечим, крепким. Лицо его тоже было красивым, портило его только какое-то порочно-жестокое выражение наглости. Он с ходу и сразу напористо потребовал, чтобы я ему назвал всех своих друзей. Когда их оказалось слишком много, перестал записывать и потребовал, чтоб я назвал наиболее близких. На что я ответил, что они все мне близки, что их у меня гораздо больше и что все они настоящие советские люди. Как и я сам. Это его взорвало. Но он стал не столько опровергать меня, сколько уверенно обещать мне лагерь. Ему это было приятно.

Он только упорно не вдавался в рассмотрение вопроса «За что?». А его, как я понял, ведавшего агентурным отделом, это касалось больше, чем всех — это именно через него кто-то, до сих пор мне неизвестный, устроил мне это приключение. Он явно злился, что с этим его делом не все клеится. По-видимому, эта встреча имела место уже после заступничества Медведева. И поведение его было реакцией на то, что он получил втык из-за Горгонова, попавшего из-за него в глупое положение. Предоставление начальству стихотворения с отрезанным окончанием в этом случае становилось браком в работе. И теперь он брал реванш. Он желал мне зла, но не из личной ненависти, а как-то безлично, холодно, самолюбиво, мстительно. Я почему-то (а, может, и поэтому) совсем его не боялся и разговаривал тоже резко. Конечно, я теперь зависел только от следствия, а он свое дело в отношении меня уже сделал и теперь был как бы мне не опасен. Но вряд ли я четко тогда это понимал. Просто я не мог согласиться с тем, что он говорил обо мне. Да и глупо было бы соглашаться.

И вдруг в эту перепалку вмешался второй, стал меня обличать — что-то промямлил про то же «гулявшее» четверостишие, теперь уже и вовсе опровергнутое многими копиями стихотворения «16 октября». И я сразу узнал эту обиженно-агрессивную интонацию. Да, это был тот самый серый невзрачный из ЦДЛ. Он и здесь оставался невзрачным. И глупым — при случае он еще уличал меня стихами, написанными во славу Лубянки во время моего «романа с МГБ» (я их приводил раньше, рассказывая об этом «романе»). Я этих стихов до сих пор стыжусь, а этот дурак усмотрел в них крамолу. Впрочем, он только иногда подавал голос, беседу вел его начальник. Надо сказать, что во время этих препирательств следователи молчаливо сочувствовали мне. И когда после его ухода я выразился о нем вполне откровенно, мне, конечно, возражали (положение обязывает), но очень вяло. Наверное, не только в их кругу, но и среди прямых уголовников есть люди, воспринимаемые остальными как подлецы и подонки. Это был подлец, упивавшийся своей подлостью и ее могуществом. Такими и при Сталине бывали не все функционеры, но именно такие чувствовали себя в созданной им обстановке наиболее вольготно, именно от таких в конечном счете все зависели.

Но следствие следствием, подлец подлецом, а сумасшедший дом в камере продолжался. Все твердили: «надо сознаться». Это означало: «соглашаться со следователем». Особенно приставали с этим ко мне. При этом они мало что обо мне знали, но дело для них было не во мне, а в принципе. Голова у меня шла кругом.

И однажды я подсел на кровать к одному из сокамерников, который мне казался спокойней и доброжелательней других, и тихо спросил его, что же мне делать? Я вполне предан строю, но как же мне сознаваться в том, чего нет и не было? И он мне так же тихо и осторожно (а как еще ему было разговаривать с таким идиотом, каким был тогда я, да еще в такой камере?) ответил: «Конечно, скрывать ничего не надо, но если не было, то, конечно, говорить неправды тоже не надо». Эта не только банальная, эта самоочевидная сентенция тогда много для меня значила. Как минимум, сберегла мне много душевных сил.

Но какова была обстановка вокруг, в которой этот разговор надо было вести тихо! Ведь сами следователи никогда

открыто не призывали клепать на себя — они, так сказать, требовали правды. Конечно, это означало требование признавать правдой все, что ими навязывается, но камерные мудрецы обходились и без этого камуфляжа — требовали признать и ложь. Думаю, что к этим мудрецам относились не все, кто жил в этой камере. И, конечно, человек, вызвавший мое доверие и возвративший мне тогда чувство реальности, к ним не относился. Правда, с ними он не спорил — нельзя спорить с эйфорией. Но этот человек вообще выделялся из общего фона.

Фамилия его была Богданов, имя и отчество его я, к сожалению, забыл. Он был братом знаменитого марксистского философа, обруганного Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме», и — что было еще опасней для его брата — в «Кратком курсе истории ВКП(б)», который следователи читали наверняка (впрочем, второй источник ссылался на первый). Сам философ не считался преступником. Он, правда, после революции отошел от партии (поскольку был несогласен с ее политикой), но не боролся с ней, а ушел от политики вообще — жил до смерти в СССР и работал врачом. Так что вроде быть его братом хоть не считалось честью, но все же не было и преступлением. Тем более что этот второй брат вообще был не философом, а ученым-виноделом.

Но это принималось во внимание только до сталинщины. А потом его положение стало весьма тяжелым — по чисто ритуальным причинам прежде всего. Любой, кого ругал Ленин или Сталин, а тем более кто еще дерзал с ними не соглашаться, попахивал нечистой силой и подлежал искоренению вместе со всей родней. Так что о виноделе, брате философа-врача, в 1937 году не вспомнили только случайно. Теперь ошибку исправили.

Но были трудности с оформлением. Философ отошел от партии до внутрипартийных драк. Поэтому троцкистом, бухаринцем и т.п. он быть не мог, и гениальную статью «ЧСИР» (член семьи изменника родины) к его брату применить нельзя было. Был он к тому же беспартийным, следовательно, в оппозициях не участвовал. К моему появлению от всего, в чем его обвиняли, осталось только «хранение антисоветской литературы». Никакой литературы он не «хранил», просто плохо самообискался в середине тридца-

тых, из-за чего у него где-то завалился один-единственный экземпляр газеты «Правды» за двадцать седьмой, кажется, год, где были имена, а может, и статьи тех тогдашних вождей, чьи имена теперь были непроизносимы. Его и нашли при обыске, на нем теперь строилось все обвинение.

Он, естественно, этого не отрицал (что тут будешь отрицать?), только спросил у следователя:

— Неужели из-за этого случайно сохранившегося номера газеты вы стали бы меня арестовывать?

— Нет, — ответил следователь. — Из-за одного этого мы бы к вам не пришли. Но раз пришли и нашли...

Но пришли не из-за этого, а потому, что — ТАКИХ не надо...

Вот один забавный (для чтения) эпизод следствия. Откуда-то (может, сам сказал) им стало известно, что он в каком-то году присутствовал на дне рождения А.И. Рыкова у него на даче. А как было «точно установлено» на одном из московских процессов (от начала до конца фиктивных, но этого следователь и в самом деле мог не знать), именно на этом дне рождения состоялось окончательное оформление право-троцкистского блока.

— Что вы можете об этом рассказать?

— Я ничего такого не заметил.

— Как так, не заметили?

— Видимо, от меня скрывали... Я ведь не был в оппозиции.

— Да, но ведь они должны были куда-то удаляться для совещаний. Вы должны были это заметить.

— Но я не заметил... Видимо, очень хорошо конспировались. А таких, как я, использовали для камуфляжа...

Несмотря на мое положение и состояние, мне было смешно. Да, я принимал Сталина и, как это ни противно, соглашался с необходимостью его лжи. Но, веря в эту необходимость, я всегда знал, что это ложь. И сам ни в какие сложные заговоры, сотрудничества левых с гестапо и прочее не верил. Поэтому я прекрасно понимал, что на именинах ничего, кроме именин, не было. И очень сочувствовал положению Богданова, вынужденного валять дурака. Ведь и в этой камере «политиков» только мы вдвоем и знали, что это чужь.

Но ведь и положение следователя было нелепым: Богданов хотя бы знал, что там ничего не было, а ведь следователь искренне не знал. Установленный факт, а этот фрукт там был, но не заметил. И ведь не привлекли его по этому делу. Вряд ли этот следователь имел полномочия ревизовать канонические тексты на шумевших процессов, эту библию сталинщины. Так что обвинение в «хранении антисоветчины» для следователя было спасительным выходом — и никуда не вторгался, и изъясил нежелательного человека, у которого не то родство и не те связи.

Мне очень жаль, что после тюрьмы я нигде и никогда не встречал этого хорошего человека. Я помню его, высокого и стройного, красивого, всегда спокойного, уравновешенного и доброжелательного, с добрым интеллигентным лицом, окруженным мягкой бородой, сильно уже тронутой сединой. Вряд ли на воле он носил бороду, но на Лубянке иметь бритвы не полагалось, а стригли — голову и бороду одинаково машинкой — не то раз, не то два в месяц. Поневоле все обрастали. Помню и такой разговор. Как после бурного спора с другими сижу я, расстроенный, рядом с ним на кровати и изливаю свою, внезапно оставшуюся одинокой душу, а он временами подбадривает меня своим теплым понимающим взглядом.

А было мне худо. Патология моих взглядов наткнулась на патологию действительности и стирала меня в порошок. Несчастные люди, мои сокамерники, мечтали только об одном — вернуться домой. Инженер-путеец предлагал всех нас выпороть на Красной площади и отпустить по домам. Если бы это зависело от населения нашей камеры, предложение прошло бы.

Не помню, в этой ли камере или в той, куда меня скоро перевели, я впервые столкнулся с мифом о подготавливающейся амнистии. О ней говорили не предположительно, а уверенно — она готовится. Это тоже была форма эйфории.

Как я уже сказал, в этой камере я пробыл недолго. Однажды меня вызвали. Кстати, на Лубянке вызывали как-то по-чуждому. Надзиратель никого не выкликал по фамилии — видимо, чтобы в соседней камере не догадались, кто сидит в этой. Детская игра в войну, пардон, в борьбу, обставлялась вполне серьезно, надзиратель заходил в камеру и спрашивал: «Кто на «М»? Все, чьи фамилии начина-

лись произнесенной буквой, по очереди отзывались. Пока не называлась нужная фамилия. Ее носителя уводили. Чаще объявляли куда. Допустим, на допрос. Тут не объявили, вывели, посадили в бокс, куда скоро принесли и собранные сокамерниками мои вещи. Потом меня опять повели сложными путями и ввели в другую камеру.

Об этой камере тоже можно рассказывать много. Хотя и она не была главной в моей эпопее. Колорита в ней хватало. Здесь, кроме меня, сидело четыре абсолютно непохожих друг на друга человека. Был в ней потомственный и рафинированный интеллигент, искусствовед, специалист по народному орнаменту, доцент МГУ Василенко (к сожалению, я забыл его имя и отчество), арестованный за слушание «террористической» повести Даниила Андреева (по этому делу схватили многих), а рядом — сионист из Западной Украины, во время войны капитан Советской Армии, командир батареи. Сидел он за то, что занимался переправкой евреев, в основном, как и он сам, из западных, бывших польских областей нашей страны, через границу — в Польшу, тогда еще не совсем «народную», откуда они могли ехать в Палестину (Израиля еще не было). Можно, конечно, спорить, что более преступно — не пускать людей или их переправлять, — но это был единственный из встреченных мной людей, которому инкриминировали то, что он действительно делал, (если не считать «лиц, сотрудничавших с оккупантами» (впрочем, и о них сочиняли много).

Сидел в этой камере еще московский инженер Алексей Яковлевич Иванов — «за язык», о нем после. Но самой колоритной фигурой был управдом (как его звали, я не помню), арестованный за «дачу взятки милиции». Дело было чисто уголовным, но поскольку милиция тогда была подчинена МГБ, а МГБ делами своих работников занималось всегда само, он и был арестован органами МГБ по всем их правилам. Захватили письма, фотографии и прочий материал для компромата и доставили его со всем этим на Лубянку.

Но дело-то было не лубянское, совсем другое. И возникали комические ситуации.

— Это кто? — грозно вопрошал следователь, предъявляя подследственному «обнаруженную» на его квартире фотографию женщины.

— Это? — притворно напрягал зрение управдом. — Это б...дь.

— А это кто? — следователь предлагал следующую.

— А это вторая, — следовал спокойный ответ.

Сотрудник МГБ вести нормального следствия не умели и просто не знали, что с ним делать. Пробовали запугивать, но обвиняемые по таким делам были менее бесправны, чем мы, и управдом грозил написать жалобу прокурору. Конечно, просто было бы доказать, что он враг народа, и дело с концом, а уж к этому они бы его вынудили. Но, во-первых, тут надо было не вынудить, а узнать, а во-вторых, кто бы им дал раскрывать антисоветчину в самом МГБ?

Если бы сегодня еще нужны были доказательства того, что МГБ было учреждением, никак не руководствовавшимся законом, то выявившаяся на этом деле полное незнакомство его работников даже с советской, ограниченно-юридической практикой могло бы быть достаточным доказательством.

Но вернемся к сокамерникам. Душой камеры был Алексей Яковлевич Иванов, московский инженер. Человек уже лет пятидесяти, невысокий, коренастый, он умел совершенно естественно создавать вокруг себя ощущение уюта и прочности. Даже здесь, в камере.

Сел он за разговоры. Он тоже считал, что надо в чем-то сознаваться, но не из истерической верности, а просто потому, что иначе не отделаешься. Только делать это надо по-умному — чтоб признаться добровольно, но как можно меньше на себя наговорить и других не затянуть. Так он и вел себя. Кстати, это не так просто: раз сознаешься, что говорил, то — кому? Теперь его дело было уже закончено. От многих приписываемых ему высказываний он сумел отбиться. «Чистосердечно сознался» он только в том, что сказал в разговоре: «Черчилль умный человек» и что он «восхвалял зарубежную технику». Тем не менее статья 58, пункт 10 (антисоветская агитация) осталась и при закрытии дела. Но он был доволен, считал, что все свел к минимуму, и радовался, что никого не погубил. Алексей Яковлевич добровольно назвал и тех, с кем он вел свои недозволенные разговоры — двух стукачей (которых определил по ходу допроса) и двух покойников.

Политикой он, естественно, никогда не занимался, но при всех властях трепался. При всех властях сходило, при Сталине — не сошло. Но «трепаться» он продолжал и в камере:

— У них на знамени написано: «Борьба!» — вот и борются с ветряными мельницами, — сказал он мне однажды (фраза эта «весила» гораздо больше, чем то, в чем он «чистосердечно сознался»). Вообще обстановка в этой камере была прозаичней и легче, чем в предыдущей.

А зять его служил в МГБ.

— Что ж это вы, Алексей Яковлевич, зятя подвели? — спросила его секретарша какого-то начальника, к которому его водили.

— А я к зятю не имею никакого отношения, — отвечал Алексей Яковлевич. — Мы с ним и не видимся почти.

Вряд ли это помогло зятю.

Насчет меня он был убежден, что я посажен потому, что я еврей и при этом занимаюсь литературой. Ибо теперь «они» этого не хотят.

— Вы напишите им, что поэтом быть больше не хотите, вас и отпустят.

Конечно, насчет «отпустят» — это он в любом случае хватил, даже если бы меня и впрямь посадили из-за этого. Но не думаю, чтобы он был прав и насчет причин ареста. Хотя в книге Костырченко «Под пятой красного фараона», посвященной преследованию евреев в СССР, автор мимоходом включает и мой арест в список антиеврейских преследований. Скорее всего, это просто совпадение во времени — в моем деле мое этническое происхождение никак не фигурировало. Но не думаю, что Алексей Яковлевич все это просто выдумал. Видимо, нет дыма без огня, и нечто подобное (не обо мне, конечно) он и впрямь слышал и от зятя, с которым «почти не встречался». Во всяком случае, когда я после смерти Сталина вернулся, я узнал, что существовал подпольный государственный термин «активный еврей» — в смысле категории, представителей которой следовало устранять. Но повторяю, в моем деле этого не было и в мемуарах тоже не будет. А насчет посадки — гораздо удивительней, что меня не посадили в 1944-м, чем то, что посадили в 1947-м (при всех моих просталинских взглядах).

Но вернемся к Алексею Яковлевичу. Человек он был не только складный и уютный, но и вообще жизнелюб. И, кроме того, любил дурака валять — оттого и трепался при всех режимах. Любопытен, например, такой его рассказ, относящийся к временам Первой мировой, когда он был вольноопределяющимся в Москве. Однажды, находясь в увольнительной, он не отдал чести шедшему навстречу жандармскому генералу. Сделал он это вовсе не из принципа (лишних приключений он никогда не искал), а потому, что одет был не по форме. Вечер был дождливый, и он — была не была — натянул на сапоги галоши. А тут генерал. Он вовсе не бунтовал — просто хотел прошмыгнуть незамеченным. Не вышло. Генерал его заметил, и именно из-за неотданной чести.

— Господин вольноопределяющийся! Попрошу вас подойти ко мне.

Тот повинился, по пути, кажется, незаметно сбросив галоши.

— Почему не отдаете чести?

— А я, — рассказывал Алексей Яковлевич, — возьми да и бухни: «А вам не полагается».

— То есть как не полагается? — опешил генерал. — Да вы устав знаете?

— Так точно! — глядя честными глупыми глазами, доложил вольноопределяющийся. — В уставе сказано, что нижние чины при встрече обязаны отдавать честь всем офицерам и генералам армии и флота Его Императорского Величества. А вы ни к армии, ни к флоту не относитесь

— Ах вот как! По возвращении в часть доложите вашему фельдфебелю, что я вам дал трое суток гауптвахты.

— Есть! — отрапортовал наказанный. И по возвращении в часть доложил. Но как?

— У нас был порядок, — рассказывает Алексей Яковлевич, — всех, кто был в увольнении, на другое утро выстраивали, и фельдфебель (а он меня любил) выяснял, не было ли у кого каких происшествий и нет ли вопросов. И тут я полез с вопросом.

— Господин фельдфебель, мы обязаны отдавать честь только офицерам и генералам армии и флота, а не, допустим, полиции?

— Полиции? — возмутился фельдфебель. — Ни в коем случае.

— А мне вчера встретился жандармский генерал... Я ему натурально чести не отдаю. Спрашивает: почему? Я объясняю: мол, вам не полагается. А он рассвирепел. Скажите фельдфебелю, что я дал вам трое суток. А за что, господин фельдфебель! Я ж не могу против устава...

Фельдфебель задумался, сказал, что вообще-то я прав, но случай сложный. Потом все вместе обсудили этот казус, пришли к мудрому решению, что хоть я и прав, но лучше на всякий случай в такой ситуации честь отдавать. А вопрос о том, чтоб мне сидеть на гауптвахте, даже не возник. Хоть я обо всем доложил.

Однажды ночью его вызвали. Он понимал, что для зачтения приговора и отправки.

— Прощайте, ребята, мучиться поехал — были последние его слова. Таков был Алексей Яковлевич Иванов. Он был нормальным человеком, сохранявшим свою нормальность в любых обстоятельствах. В нашем веке это редко кому удавалось.

Полной противоположностью ему, а тем более оправдому, был доцент Василенко — мягкий, интеллигентный, тонкий, добрый, деликатный, беззащитный человек. Следователи быстро нащупали эту его слабость и на ней играли.

— Ты кто такой? — спрашивали они его. От одного этого «ты» он терялся.

— Я доцент... — начинал он лепетать очевидное, но его грубо обрывали:

— Ты говно, а не доцент! — и хохотали.

Он совсем терялся. И подписывал все, что ему совали. В конце концов он понаподписывал на себя черт-те что. Спас его от этого (от чего, не знаю, но от более страшного, чем случилось) тот же Алексей Яковлевич Иванов:

— Что ж это вы! Умный, образованный человек, а что делаете? Немедленно пишите заявление следователю и откажитесь от всех этих показаний. Скажите, что были не в себе. Ну посадят вас в карцер (за отказ от показаний сажали в карцер. — *Н.К.*), надо вынести. А то ведь всю жизнь погубите.

Это внушалось ему не раз, не два, и Василенко в конце концов решился. Он вернулся с допроса, уже зная, что его

скоро заберут в карцер. Сокамерники старались его подбодрить и подкормить. Как могли. И его забрали. Мы все очень беспокоились за него. Но, слава Богу, на следующий день он вернулся — следствие сдалось.

Советский карцер — это откровенно и подло задуманное мучительство. Холодные мокрые стены, капает с потолка. С человека, которого туда вводят, снимают пиджак и сажают на стул. Ходить там негде. Горячее дают раз в два дня. Он рассказывал, что, когда ему совсем становилось невмоготу, он начинал молить Бога:

— Боженька милый, дорогой, спаси меня, возьми меня отсюда.

И его взяли. Возможно, кто-то, прочитав, от чего он отказался, понял, что они хватили лишку — не знаю. Но допросы его стали проходить иначе, и обвинять его тоже стали умеренней.

Мне, дураку, конечно, было смешно, что такой образованный и разумный человек может всерьез верить в Бога. И вообще он мне казался слабаком, буржуазным интеллигентом (чего-чего, а буржуазного в нем не было ничего), не понимающим эпохи. На это представление работали и его воспоминания о романтических для меня тогда годах военного коммунизма. Тогда ему пришлось перейти из Императорского университета (МГУ) в университет Шаняевского, потому что там топили. «И это все, что он запомнил!» — саркастически думал я.

Как он относился ко мне? Не знаю. Может, немного побаивался — ведь я своих идиотских взглядов не скрывал, — но очень немного. Раз поддакнул какой-то моей глупости. А в общем всегда был откровенен. Однажды это стало причиной забавного диалога.

— Всегда, когда я проходил мимо Лубянки, — сказал он, — у меня сердце екало от страха.

— А у меня совсем нет, — удивлялся управдом, — с чего вдруг? Я понимаю, мимо МУРа.

Мне сегодня не только стыдно той чуши, которую я думал и говорил, но и жаль, что я упустил возможность сблизиться со столь образованным и столько пережившим, несомненно, очень интересным человеком. Ведь знал он бездну, и бездну именно того, что мне было потом так необходимо.

Безусловно, он относился к той интеллигенции, которую советская власть преследовала всегда. Наверняка мартиролог жертв среди его родных и близких велик неимоверно. И восклицание, которое вырвалось у кого-то из его компании во время немецких бомбежек Москвы в 1941-м: «Ах, хоть бы одна бомба попала в Кремль!» — восклицание, на мой взгляд, для той ситуации совершенно неуместное, в устах людей его судьбы эмоционально понятно. Я ведь и сам потом написал: «К позору всех людей \ Вождь умер собственной смертью». Но это потом. А то, что он боялся следователей и прочее — так ведь он и не готовил себя в борцы, что — как теперь понимает читатель и не умел тогда понимать я — вовсе не доказательство человеческой ничтожности. Да он ведь не был и политиком — просто порядочным интеллигентным человеком.

Думаю, что в этой камере стукачей не было. Ибо советскую власть в ней никто, кроме меня, не любил и, в общем, выражал это довольно открыто. Но при всей трезвости камера эта пребывала в уверенности, что ведется колоссальная работа по подготовке амнистии. На мои уверения, что Москва вовсе не переполнена слухами об этой работе, не обращали внимания. Старались обнаружить намеки на эту работу в продуктовых передачах, которые получали некоторые из нас. Вспоминается такой, например, эпизод. Василенко получил передачу. Его жена среди прочего прислала мужу половину копченого языка. И никто другой, как сам Алексей Яковлевич, отличавшийся спокойной трезвостью, истолковал это как тайное сообщение: «Скоро будет амнистия — укороти язык и дождись ее». И все заулыбались. Дескать, а что, вполне может быть.

Так сегодня, в 1997 году многие демократы реагируют на непрерывный рост влияния «левых» сил (коммунистов и нацистов). Дескать, все это не имеет значения. А это в любом случае имеет разрушительное значение. За долгую жизнь я убедился, что люди, если не хотят чего-нибудь понимать, то не понимают, причем интеллектуалы (кроме немногих) делают это очень респектабельно. А что взять с моих сокамерников — у них ведь действительно не было никакой другой надежды.

Мне жается, что меня перевели в эту камеру уже после нового года. Обвинение, которое согласно закону полагает-

ся предъявлять через две недели после ареста, мне предъявили в срок, уже в 1948 году — статья 58 пункт 10 — анти-советская агитация («писал и читал среди знакомых стихи антисоветского содержания»). Сообщаю это для порядка, ибо в том же обвиняли меня с первого дня. Я себя, естественно, виновным не признал, что тоже ясно из всего, что я рассказал уже о себе. К жизни камеры, к ее атмосфере, это отношения не имеет. Рутиня.

После того, как увели Алексея Яковлевича, в камере стало тусклее. Жизнь в ней протекала вполне мирно, но атмосфера округленности и уюта, которой веяло от него, исчезла. Впрочем, жил я в этой атмосфере недолго — через пару дней вызвали и меня.

Естественно, я подумал, что на допрос — время было вполне подходящее, дневное. Но отвели меня не на допрос, а в бокс. В боксе повели себя как-то странно. Туда ко мне принесли все мои вещи — и то, что было со мной в камере, и мою корзину со склада. Кажется, даже вернули под расписку отобранные у меня при аресте деньги. Я боялся поверить в это, но, судя по всему, меня выписывали из тюрьмы. Тем более работник тюрьмы, отвечая на мой вопрос, сказал мне улыбаясь: «Поедете в институт». Никакого другого связанного со мной института, кроме нашего Литинститута, просто не было, и у меня отлегло от сердца. Наконец, этот кошмар кончился! Сейчас меня повезут к своим, назад! Что-то такое я, видимо, и высказал, кажется: «Слава Богу... Кончилось!» Тогда человек, сообщивший мне об этом, уточнил мои перспективы: «Да нет, это в другой институт, на экспертизу».

Оказалось, что речь идет об Институте Сербского — сработала статья из военного билета. Я не знал, что это за институт, но понял, что везут не на свободу. Он огорчился. Он ведь и впрямь был за меня рад — молодому парню, почти мальчику, немного пофартило. Все-таки Институт Сербского — это и возможность освободиться по болезни. И в любом случае это отдых, перерыв. Тогда ведь еще не было «казнимых сумасшествием», и с этим институтом не было связано ничего дурного. Потому он и улыбался. Ему было приятно это мне сообщить. И неприятно возвращать меня к реальности. Но что делать, если я вон что возомнил!

И, действительно, тяжесть, которая не спадала с моей души со дня ареста, после минутного перерыва навалилась на меня с новой силой и остротой. Потом эта тяжесть привычно, тупо и незаметно лежала на моей душе до самого конца моей ссылки. Я мог шутить, смеяться, по временам даже чувствовать себя счастливым. Но все это как бы пробивалось, как ростки через асфальт, сквозь эту тяжесть, которая все равно неотступным соглядатаем присутствовала при этом. И — в несколько разбавленном виде все это продолжалось до самой смерти Сталина. Да и с ней дело не кончилось.

Эту тяжесть — особую тяжесть несвободы — несло на своих плечах (пусть в еще более разбавленном виде, но во все еще достаточной концентрации) население не только всего СССР, но и всего соцлагеря.

В этом я убедился в один из июньских дней 1977 года, когда я стоял на высокой смотровой башне в конце Бернауэрштрассе в Западном Берлине и смотрел за стену на жителей Восточного Берлина. Рядом со мной молодые немцы что-то кричали своим соотечественникам за стену, а те проходили, сворачивали за угол и... не обращали на нас никакого внимания. Все бы ничего, но они были заняты этим — тем, что не обращали на нас внимания. И каждый думал, что он ответит, если спросят. И это отражалось во всем их облике, в посадке головы, в фигурах, в походке — во всем. И я, увидев их, вспомнил себя, еще недавнего, и физически ощутил эту тяжесть — тяжесть несвободы, лежавшую на всех нас.

Впрочем, тогда в боксе, как и вообще на Лубянке, в следственной тюрьме сталинского МГБ я не размышлял о свободе и несвободе. Здесь было открытое и демонстративное царство несвободы. Просто мне на секунду показалось, что я из него вырвался, недоразумение тут же рассеялось, и я еще острее почувствовал несвободу. С этим чувством я и сел в «воронку» (в Питере это называлось «черная Маруся», в старину — «тюремная карета»).

Я не помню, что было написано на этом «воронке» — «Мясо», «Молоко», «Мебель» или «Хлеб», — так расцвечивало МГБ свои фургоны. Помню, мазнуло по глазам чем-то неподходящим к случаю и как-то не зафиксировалось, не

связалось с его содержимым. И так все три раза, когда мне пришлось быть его пассажиром. Не до того было. Да и заводили с торца — и надпись не очень бросалась в глаза.

Внутри «воронок» (так трансформировалось первоначальное прозвище этого фургона) был устроен так. При входе по обеим сторонам двери две маленькие кабинки-боксы — для особо секретных пассажиров (в одну из них посадили меня), а дальше общее помещение с тремя скамейками вдоль стен — для менее секретных. Фургон долго колесил по Москве, по разным учреждениям тюремного ведомства — кого-то забирал, кого-то высаживал, — пока не оказался в центре какого-то большого двора, по виду больничного, у одноэтажного строения с крыльцом. По этому крыльцу меня ввели в помещение, напоминающее приемную районной поликлиники (помещение, где больные ждут приема). С той только разницей, что там обычно народу много, а тут я был один — если не считать еще двух конвойных солдат, по-моему, срочной службы. Может быть, там была еще одна или две такие же живописные группы (меня вызвали не сразу, значит, занимались кем-то другим), но память моя этого не зафиксировала. Кажется, рядом с крыльцом была вывеска с названием института. Во всяком случае я вполне понимал, где нахожусь и зачем меня привезли.

Я к тому времени неплохо знал Москву, но никак не мог понять, где, в какой ее части мы находимся. Потом я узнал адрес этого учреждения (никто его от меня не скрывал) — Кропоткинский пер, 23 — и понял, что переулок этот находится в районе Кропоткинской улицы (Пречистенки). Но все равно плохо представлял его местоположение. Только в феврале 1951-го, полулегально приехав после ссылки в Москву, где я не имел права жить, я разыскал его на Пречистенке, что было нетрудно, а там с трудом нашел дом 23. Как ни странно, в этом переулке я никогда до этого (да и после этого) не бывал. Он вливается в Пречистенку с арбатской стороны почти у самого Садового и расположен как бы у него в тылу. Дом 23 разыскать было труднее, потому что ни номера, ни вывески института на нем не было, во всяком случае, я не обнаружил. Впрочем, может, я просто их не разглядел — останавливаться или пристально вглядываться там было для меня небезопасно — могли проверить документы, и тогда могло случиться что

угодно. Но кое-что я увидел: массивные ворота с сигнализацией, проходную... — все атрибуты тюрьмы. Я думаю, что так это выглядело и в 1948-м. Но тогда я не мог знать, как это выглядит извне.

Меня усадили на скамейку. Я стал ждать. Казалось, просто я записался на прием к врачу и жду своей очереди. Мимо сновали люди в белых халатах. Правда, быстро прошмыгнул, не поздоровавшись, мой следователь капитан Бритцов, прошел мимо нас и свернул направо в коридор. Я его увидел, узнал, но все же не успел осознать, что это действительно он.

Ждал я сравнительно долго. Наконец меня вызвали, и конвоиры ввели меня в коридор, где скрылся Бритцов, и в нем уже — в первую дверь направо. Мы оказались в небольшом кабинете, где, тем не менее, было полно врачей, много интеллигентных лиц — из тех, какие составляли публику на вечерах «Молодой гвардии». И среди них — мой следователь, в форме он как-то плохо монтировался с окружающим. Впрочем, в возникшем там разговоре (допросе? сборе анамнеза?) он никакого участия не принимал.

Мне стали задавать вопросы. Последовательности их я не помню. Но помню, что мне был задан «профессиональный» вопрос: не замечал ли я, чтобы со мной или вокруг меня творилось что-либо странное? На это я с готовностью отвечал, что да, конечно, замечал, что в последнее время со мной стало твориться много странного. Лица присутствующих оживились профессиональным интересом. Ждали то ли симптомов болезни, то ли того, что я начну «косить», а они (были ведь, наверное, и такие) меня разоблачат. Но не дождались ни того, ни другого. Я стал просто рассказывать, что со мной произошло.

— Конечно, много странного, — начал я. — В одну прекрасную ночь, пришли люди, предъявили ордер и арестовали. После этого я сижу в тюрьме, меня таскают на допросы, задают странные вопросы о моей антисоветской деятельности, которой я не занимался, ибо всей душой уже давно стою за товарища Сталина. Все это очень странно.

Какие вопросы мне задавали еще, я не помню, но отвечал я на них очень охотно — я чувствовал себя опять среди нормальных интеллигентных людей и был рад высказаться. Они тоже ко мне расположились. Я их, видимо, заинтере-

совал (и боюсь, отнюдь не с профессиональной точки зрения), да и просто расположил к себе. Но долго проявлять свой интерес они не могли, и конвоиры вывели меня в приемную. Через некоторое время опять прошмыгнул, не прощаясь, Бритцов, потом вроде и конвоиры исчезли.

Ко мне подошла женщина в халате, медсестра или нянечка. Я узнал, что решено было меня оставить на стационарное обследование, но льщу себя надеждой (сужу по людям, с которыми я имел дело), просто, чтобы дать мне возможность прийти в себя. Женщина повела меня в палату. Мы вышли во двор, большой, на вид обыкновенный больничный двор, и направились к четырех- или пятиэтажному, тоже обыкновенному больничному корпусу. Все было как-то радостно-обыденно. Так же эта женщина вела бы меня по двору самой обыкновенной больницы. И сама она тоже была обыкновенной, больничной, совсем не тюремной. И душа моя как-то воспряла от всего этого. И хотя, оказавшись на нашем этаже, она отперла, а когда мы прошли, совсем по-тюремному заперла дверь отделения (не то четвертого, не то пятого), настроение мое не переменилось. Это было больничное отделение, а не тюремная камера.

Этот институт и это отделение теперь известны всему миру как одно из самых страшных мест на земле. Таким оно и стало при Хрущеве — после того как было объявлено, что у нас нет политических заключенных. Поскольку психически больные у нас все же были, решено было всех особо неугодных объявлять больными. При Брежневэ эта практика расцвела еще больше, хотя Брежнев об отсутствии политзаключенных и не заикался. Видимо, это просто было включено в систему подавления. Тогда Институт им. Сербского стал головным научно-практическим учреждением этого мероприятия.

Здесь здоровых людей признавали сумасшедшими и отправляли «лечить» — отнимали душу. Отсюда и его дурная слава. Но она не должна распространяться на всю историю этого Института. Я пробыл в этом отделении (в основном для политических) около двух месяцев и считаю долгом засвидетельствовать, что люди, которые там тогда работали — врачи, сестры и санитарки, — не только не имеют к этому никакого отношения, но и просто были честны, гуманны и добры, как и надлежит медицинским работни-

кам, вполне соответствовали духу и традициям русской медицины.

За одним, но, правда, громким исключением. Им был доктор Даниил Романович Лунц — тот самый, что потом прославился на весь мир своей выдающейся ролью в осуществлении психиатрического террора. Теперь его уже давно нет в живых — подлецы тоже умирают, — а тогда все его подвиги были еще впереди. Но впечатление он и тогда производил такое, что, когда имя Лунц всплыло в связи с преступной деятельностью Института им. Сербского, я сразу спросил: «А не зовут ли его Даниил Романович?» Я не знал его фамилии, только имя-отчество, но безошибочно догадался, что это он. С тем, кого я знал в 1948 году, это вполне вязалось.

Как он вел себя? По отношению к нам, обследуемым, он был неизменно агрессивен и враждебен и всем своим видом демонстрировал начальственную отчужденность. А вообще он был похож на загнанную, злобную крысу, готовую в любой момент огрызнуться. Так он и разговаривал — как бы огрызаясь. Я слышал, что на пике своей преступной карьеры он был в частной жизни бонвиваном и душой общества. Мне трудно в это поверить — не могу представить, что злая крыса способна быть душой общества. Но все бывает.

Говорят еще, что он уже при мне был штатным сотрудником ГБ, имел чин и форму. Если это так, то, может, он и появился здесь (чуть ли не одновременно со мной), будучи прислан «на укрепление» — «исправить ошибки» и «возглавить». Может, это произошло после ревизии, проведенной под руководством уцелевшей революционерки Р.С.Землячки, обвинившей институт в том, что в нем для обследуемых созданы курортные условия.

Впрочем, это только предположение. Эти факты могли и не быть связаны друг с другом, но Лунц жил в отделении особняком, и коллеги то ли его побаивались, то ли брезговали им. Впрочем, касаюсь я его только как в некотором роде исторической личности. Никаких отношений с ним у меня не было — раза два он на меня огрызнулся по каким-то незначашим поводам из глубины своей крысиной настороженности, и все. Но его не любили все — и «пациенты», и врачи. Он тогда был исключением.

Двух врачей этого отделения я вспоминаю с большой теплотой как людей особенно благородных: главу отделения профессора Хаецкого и врача, кажется, его заместителя, Пашу Ильиничну. Фамилия ее, кажется, была Борецкая. Именно в разговоре с ней я однажды коснулся Даниила Романовича. Она сказала, что врачи отделения стараются быть гуманными. Я согласился, но отметил, что не все — вот Даниил Романыч выглядит иначе.

— А... Лунц.

Фамилию эту я тут же забыл, а теперь реконструирую по контексту.

Она произнесла ее и не стала возражать. Правда, она ничего и не добавила. Но чувствовалось, что она не ощущала его своим коллегой. Этот разговор был случайным, тема была задета мимоходом. Больше я о нем ни с кем из персонала не говорил. Не было ни нужды, ни интереса. Мне вообще кажется, что он тогда еще только присматривался ко всему. У товарищей по палате отношение к нему было иронически-настороженным — он был неприятен, и чувствовалось, что он опасен. Но непосредственно меня он не касался и сильно наше внимание не занимал, хотя к врачам, сестрам и санитаркам все мы относились вполне дружелюбно. Особенно мне запомнилась медсестра Сашенька, добрая и строгая, да и весь остальной персонал был вполне человечен. Тогда еще сталинский разврат до медицины не дошел.

А что касается меня, то светлые образы профессора Хаецкого и Пашы Ильиничны, сколько я буду жив (теперь уже, наверное, недолго, но все же...), всегда будут стоять передо мной. И никогда не иссякнет во мне живое чувство благодарности к ним. Они были настоящими врачами, докторами в традиционном смысле этого слова. Я думаю, что благодаря им и таким, как они, меня и оставили в институте, дали прийти в себя и оглядеться. Мне даже кажется (хоть они мне об этом не говорили), что они пытались спасти меня от Лубянки и ее последствий, но им это не удалось.

Помню свой разговор с Пашей Ильиничной сразу после того, как было принято судьбоносное решение считать меня вменяемым, то есть вернуть на Лубянку. Она вызвала меня в свой кабинет, сообщила мне о нем (что тоже вроде не полагалось) и начала меня утешать — убеждать, что это,

если и не к лучшему, то и не к худшему. Она говорила, что в психбольнице, рядом с подлинно больными, при отношении ко мне как к одному из них (что так или иначе отразилось бы на отношении к моим мыслям, стихам и высказываниям) мне было бы совсем не так легко. И этот хвост тянулся бы за мной повсюду, ибо «наш приговор неотменимой судебной, он — навсегда». Держалась она очень хорошо, но чувствовалось, что она тоже подавлена. Естественно, это была не первая, а последняя беседа с ней.

Конечно, и с Хаецким, и с ней я разговаривал не раз и до этого. Это входило в круг их обязанностей — она была моим лечащим врачом, а он главврачом отделения. Но для меня было важно, что я опять говорю с интеллигентными, умными людьми, которые меня понимают, которым со мной интересно — как было бы интересно, если бы мы встретились где-нибудь в гостях. И значит, все остается.

Я не был тогда антисоветчиком, да ведь и они не были. Но они понимали ценность моих исканий, ощущали меня человеком, личностью. И это мне тогда нужно было больше всего. Без этого трудно было выполнять свое решение — решиться, плюнув на историческую необходимость (отложив выяснение своих отношений с ней на потом), противостоять ухищрениям следствия. Ведь для меня это было и духовно-психологическое решение.

Однако я уже заговорил о том, что было в конце и после моего пребывания в институте, а изложение событий только в его начале. Мы прервались на том, что милая женщина (сестра или санитарка) впервые привела меня в отделение.

Мне здесь сразу понравилось. В отличие от тюремных камер двери палат были всегда открыты, и можно было свободно передвигаться по всему отделению, разговаривать с кем угодно. В палате, где меня поселили, кроме меня, жило еще три человека. Как ни странно, я не запомнил почти никого из них по имени. Я вообще многое помню смутно. Об одном из них не могу сейчас сказать почти ничего конкретного, хоть вижу его перед глазами. Он худощав, лицо у него умное, доброе, простое, вызывающее доверие. Мы сидим с ним на его кровати и разговариваем о чем-то серьезном. Помню, что он был чуть старше меня, что был мне приятен. Но как звали, за что арестовали, о чем мы с ним говорили — испарилось.

Вторым моим соседом был почти мальчик по имени Казимир. Жил он в литовской деревне на границе с Польшей. Пас коров, одна перешла границу, погнался за ней, и... «незаконный переход государственной границы СССР». Мальчик учился в школе, хотел учиться дальше. Что его ждало — не знаю.

Третий запомнился лучше — уж больно был колоритен. Прибыл он не из Лубянки, а из Бутырок, и не из политического корпуса (там был такой корпус — филиал Внутренней), а из общей камеры. О нем я помню все, кроме имени. Разумеется, все, что он рассказывал о себе сам. Было ему уже лет 35—40. Фронтвик, человек энергичный, веселый, «шебутной», на воле он, по его словам, работал директором ресторана. Обвинялся он в чем-то вроде растраты. Сюда его привезли — так он утверждал, — чтобы проверить, действительно ли он способен выпить столь невероятное количество водки, как утверждает. Почему-то следствию это было важно знать. С этой целью над ним производили болезненные эксперименты — вводили что-то в позвоночник. Он выдерживал. Из Бутырок он вывез бездну диковинных историй о похождениях разных ловких людей. Сюжеты его были всякие: головокружительные, романтические, плутовские, но конец был всегда одинаково эпичен:

— А потом его за жопу, и в Бутырку.

Морально-идеологическая сторона деятельности его героев его не занимала совсем. Каждый вертится, как может. А попал в Бутырку — пеняй на себя. При всей моей ригористичности мне этот бесшабашный человек был симпатичен.

В одной из палат обитал бородатый человек, на счет которого все обитатели отделения были уверены, что он «косит». Почему они так решили, я не знаю. Просто он один в этой психбольнице вел себя как сумасшедший. Все звали его «Тонечка» — по имени жены. Потому что, когда ему приносили передачу, он бежал по коридору к двери, откуда выносили передачи, и кричал: Тонечка! Тонечка!

Полагали так же, что он чует стукачей. В общих местах, в курилке например, он вел себя вполне спокойно, но вдруг появлялся кто-то, кого он начинал гнать: «Пошел! Пошел!»

Бывали и такие сцены. Среди ночи «Тонечка» сидит на своей постели. Появляется нянечка:

— Тонечка, ты что не спишь?

— Суп жду.

— Так суп ведь будет в час дня, а теперь час ночи, — вразумляет няня.

— Ничего, я подожду, — успокаивает ее «Тонечка».

Даже если этот «Тонечка» и впрямь «косил», то есть симулировал сумасшествие, все равно он мне был симпатичен. Это тоже противоречило моему мировоззрению, но так было. Больше никого в симуляции не подозревали и как будто относились к ней отрицательно, почти как к попытке уклониться от фронта. Но при этом ни один «пациент» отделения не скрывал, что и сам был бы не прочь оказаться по документам невменяемым, хотя «тронутым» никто себя не считал. То есть «косить» не хотели, но были бы рады, если б оно как-то само «закосилось». И это понятно: сидели же все в основном ни за что, и любое освобождение любого из них было бы актом справедливости, избавлением от несправедливой кары. А невменяемость была бы тут тоже выходом, не худшим, чем любой другой.

Потом я узнал, что это было иллюзией. От лагеря невменяемость могла и избавить, но вернуть утраченную свободу — не могла. Во-первых, «невменяемых» направляли на лечение не в открытые «минздравовские» психбольницы (как мы думали), а в специальные тюремные изоляторы закрытого типа. Оттуда их со временем действительно отпускали, но не на свободу, а в ссылку. Так что не все и тут было столь радужно. Тем более, что в самой психушке можно было проторчать (пролечиться) несколько лет. Конечно, тогда эти учреждения были не столь страшными, как стали потом, но — на этом настаивала и Паша Ильинична — радости в них и тогда было мало.

Но закончим с институтом. О своей жизни в нем я помню очень мало конкретного, внешне это была обыкновенная больничная жизнь — с отчужденностью от всего, тоже почти больничной. Но отчужденность эта была обострена тяжелой неизвестностью, напряженным ожиданием решения своей судьбы.

Желающих водили на трудотерапию, в мастерскую, которая помещалась двумя, кажется, этажами ниже. Это вносило некоторое разнообразие в больничный быт. Там под руководством мастера мы занимались переплетным рукоделием — делали блокноты, тетради и тому подобное. Отту-

да мы приносили чистую бумагу, которая нам очень была нужна и которой здесь разрешали пользоваться. У всех открылась страсть к календарям, мы их расчерчивали, вставляли дни недели и месяцы — отмечали течение времени, чего-то ждали.

Я там все время писал стихи — это тоже здесь не возбранялось. Просто потом все бумаги поступали к следователю. И все-таки тогдашний Институт имени Сербского я воспринимаю как оазис нормальности в безумной пустыне ГУЛАГа.

Там я продолжил и закончил юношескую поэму «Утверждение», если можно сказать «закончил» о внутренне незавершенном произведении. Поэму эту я писал все годы студенчества и вот, наконец, «нашел время и место» ее закончить. Потом, уже в ссылке, я в целом ее восстановил по памяти, но кое-что и пропало. Огорчает ли это меня? Не знаю. Печатать ее я все равно не собираюсь, а для того чтобы вспомнить о себе тогдашнем — от близости к нему автор не отрекается и теперь, — сохранилось достаточно. В моей внутренней истории поэма занимает значительное место.

Героem, прототипом или поводом этой поэмы был погибший на фронте ифлийский поэт Павел Коган. Но на жизнеописание и даже на воспевание его поэма не претендовала. О чем автор с наивной прямоотой и самоуверенностью сообщал в первой же строфе вступления.

Я не искал ни разу тем,
Всегда во мне рождалась тема.
Он просто оказался тем,
Кого ждала моя поэма.

Дальше он прямо говорит о своем сходстве с героем:

Был беспощадный, трудный век,
И века этого моложе,
Жил беспокойный человек,
Во многом на меня похожий.

Но суть замысла проявляется в конце вступления. Говоря о продолжающейся духовной близости его к этому образу, автор отмечает, что это происходит в условиях, когда

.....с грохотом зловещим
Прут в дверь по-новому теперь
Переосмысленные вещи.

Вот именно с высоты этого переосмысления и рассматривается все в поэме: по-новому — это в сторону приятия еще более неуклонного идеократического этатизма.

Страна идет сквозь мрак и дым
И быть должна непобедимой.
И значит, мало быть своим,
А надо быть необходимым.

Такое вот, значит, отношение к вещам, такое вот, значит, переосмысление по-новому. Если разобраться в смысле этих строк, то я вполне был достоин того места, где они писаны — палаты Института имени Сербского и всех «точек», куда оттуда направляли.

Ведь это значит, что если в человеке нет крайней государственной необходимости, то в наших исторически важных обстоятельствах им (например, мной) можно вполне спокойно пренебречь. Я и сам старался думать про себя, что раз со мной такое произошло, то значит, я просто не сумел или не успел стать необходимым, другими словами — пусть как-то навыворот — сам виноват (хоть и без вины).

Как это сосуществовало с тем изменением отношения к следствию, о котором я говорил выше? А никак. Я ведь отложил разрешение всех обрушивавшихся на меня противоречий до лучших времен, когда буду на свободе. Наверное, так бессознательно угадывалось мной и из жажды «устоять в истине и духе» оправдывалось отношение Сталина к людям. Но эта фанатическая, изуверская экзальтация была наивной и ложной даже в самом примитивном смысле — необходимых товарищ Сталин часто только терпел поневоле и с удовольствием расставался с ними, как только ему казалось, что можно без них обойтись (вспомним Г.К.Жукова). Но этого я еще о нем не знал. Слишком это было страшно и слишком прямо вытекало из фактов, чтобы в это поверить. Нет, я не был сумасшедшим, а был человеком сумасшедшего времени, но пытавшимся все домыслить до конца. А большинство тех, кто ощущал себя мыслящим, но не пытались это сделать, изменяли своему назначению и теряли себя — как бы rispetабельно при этом ни выглядели.

Все мы жили внутри бреда. И уж, конечно, не был я конформистом. Я пытался отыскать в основе этого бреда зерно истины, но не пытался приспособиться к самому бреду

как к чему-то естественному, само собой разумеющемуся. Я пытался примириться с противоречиями, но не отказывался их видеть, видеть правду жизни, которая всегда противоречива. Но как раз обнаружения этой правды Сталин не терпел. Он лучше знал, а если не знал, то чувствовал, какова она и какое должна производить впечатление. Он ее душил при любом согласии с ним.

Он явно нас переоценивал — думал, что мы тоже это понимали. Как, зная, что он вполне заслуживает теракта, полагал, что мы тоже это знали. А мы не понимали и не знали. Потому гэбисты и превращали в террористов Минухиных. Именно поэтому я все равно остался в глазах тех сверстников, которые знали меня, мои стихи и мои мысли, человеком, противостоящим сталинщине. И, действительно, ее атмосфере я, сам того не желая — противостоял. Даже в этой поэме о приятии. Но сумасшедшим меня все равно не признали.

И когда в один прекрасный день меня вызвали в ординаторскую, я уже знал, для чего. Там меня приветствовал веселый и вполне доброжелательно настроенный сержант, начальник «воронка» (нормальный русский служивый), и мы поехали. Опять мы колесили по Москве, и часа через два я опять оказался на Лубянке. На этот раз мое воображение не поражали сменой «боксов», и довольно скоро я оказался в новой для меня тюремной камере №60, которую я собственно и считаю «своей», ибо просидел в ней около полугода — до объявления мне приговора, точнее, вполне заменявшего его Постановления Особого совещания при министре госбезопасности.

Камера № 60

Камера №60 встретила меня приветливо и дружелюбно. Может быть, это отчасти и скрасило сам факт моего возвращения в тюрьму. Второе мое водворение в нее вообще травмировало меня не так сильно, как первое. Тогда меня с кровью выдрали из самой жизни, моей и общей, теперь оторвали только от вспыхнувшей надежды вернуться в эту жизнь. Конечно, по-прежнему нависало будущее, которое абсолютно от меня не зависело и, судя по всему,

обещало быть беспросветным и гибельным. Но этот камень неподвижно лежал на моей душе со дня ареста, под его тяжестью происходило теперь все в моей жизни, в том числе и любые частные изменения к лучшему. Но тем не менее спокойная обстановка этой камеры помогла мне пережить шок возвращения и несколько долгих месяцев жить относительно спокойно. Насколько можно быть спокойным, зная, что с тобой в любой момент могут сделать все, что угодно. И я, хоть ни с кем не советовался, укрепился в своем решении обвинению противостоять.

Я не помню, когда меня впервые после возвращения вызвали к следователю. Но помню, что эпизод с моим заявлением о «старых стихах» (что я их никому не читал) и об отказе от показаний, а также объяснение по этому поводу с Бритцовым (обо всем этом я уже рассказывал) произошли на этом допросе. В результате этого тогда, как помнит читатель, ничего драматического не случилось. Кстати, вызвали меня отнюдь не сразу по прибытии и после этого тоже вызывали уже не очень часто. А потом более двух месяцев и вовсе не вызывали.

Отношения со следствием у меня после этого эпизода не испортились, но на допросах я стал вести себя осторожней. По существу мне по-прежнему нечего было скрывать, но я понял, что существо не имеет значения, что любая зацепка может перевесить любое существо. Как чуть не случилось с чтением старых стихов. Следователь-еврей из «консилиума» своим подмигиванием открыл мне на это глаза. Так подмигнуть можно только в кругу, где все к этому привыкли, где все ищут зацепок. Причем это не зависело от личного отношения и желания следователя. Ему всегда могли ткнуть в нос эту пропущенную зацепку и сказать, что он тормозит дело, а то и просто покрывает врагов. Они и консилиум собрали потому, что как бы лишились зацепок, и этот — выручил!

Все это я понял. Это открытие — отнюдь не интеллектуальное достижение. Но оно было этапом на пути к моему освобождению от задуренности и самозадуренности.

Это освобождение тогда было важным прежде всего прагматически — помогало не топить себя и других. Собственно насчет других у меня ничего не вымогали. Ситуация с другими была чисто внутренней. Я ведь дружил со многими

людьми, они вели разные разговоры, да и у меня иной раз могло сорваться нечто вроде шутки, приведенной Тендряковым:

А страна моя родная
Вот уже который год
Расцветает, расцветает
И никак не расцветет.

Я ее воспринимал как издевательство над халтурной пропагандой, особенно в стихах, и все ребята воспринимали так же, смеялись. А как бы это выглядело на столе у следователя? Могли быть случайные разговоры, где мог мимоходом что-то сказать или сострить, и неслучайные споры, где — того хуже — недозволенное говорили другие. И в самый неподходящий момент, на допросе, это возникало в памяти. И я боялся выдать себя, выдать то, что вертится сейчас у меня в голове. Боялся за себя. И особенно за других. Когда я представлял, как их вырывают из дому и проводят по тем кругам ада, по которым провели уже меня, и все из-за моей оплошности, я покрывался холодным потом — лучше было умереть. Иногда следователь случайно касался связанных с этим людей и событий. Он и в виду того не имел, о чем я думал, но у меня перехватывало дыхание. И при этом надо было себя не выдать, чтобы следователь не понял, что той или другой темы я боюсь. Такая ситуация возникала неожиданно, и я чувствовал, как мое лицо начинает жить отдельной от меня жизнью. Звучит вопрос, все во мне опускается, чуть ли не останавливается сердце, а на лице не отражается ничего, оно сохраняет то выражение, на котором его застал неприятный вопрос. А я ведь не притворщик. Обычно на моем лице все прочитывается — во всяком случае все, что меня волнует. А тут — ничего.

А мне ведь всерьез и скрывать нечего. Я искренне чту товарища Сталина. И даже к следователю отношусь неплохо.

К счастью, все мои тревоги были ложными. Допросы ничего страшного мне не приносили, а друзей, слава Богу, они обошли вообще. Шли они вяло, а потом и совсем прекратились. Видимо, «в верхах» что-то происходило. Но я об этом не знал и каждый день напряженно ждал допроса. Иногда то, что меня не вызывали, казалось мне признаком перемены к лучшему, а иногда — что просто руки до меня не доходят, а потом дойдут — и конец. И часто, отрываясь

от книг и разговоров, я подолгу оставался один на один с ледящей душу неизбежностью. Впрочем, я упрямо не хотел в нее верить. И сидя на кровати, в тюремной камере я разыгрывал в мечтах разнообразные варианты своего спасения, реально представлял и смаковал детали — то своего предстоящего возвращения, то какой-то сладостной ссылки. И — был счастлив. Но вдруг это состояние ликующего счастья пронзало, как стрела, сознание реальности. Ведь пока что неуклонно и буднично дело шло не к этим сценам, а к тому, что их исключало, — к страшному и, как я считал, к гибельному для меня лагерю — и иного выхода мне ведь никто не обещал. Но я запретил себе считаться с этой реальной перспективой и твердо решил про себя, что такого не может случиться. И держался этого решения, ибо остальное было неприемлемо, не было жизнью.

В лагерь я, действительно, не попал, но не благодаря моим заклинаниям или твердости, а, как знает читатель, из-за сочетания счастливых для меня случайностей и мужеству моего друга Ф.Е.Медведева. Но так — фантастически — я боролся за свою жизнь с обступавшим меня ужасом. И атмосфера этой камеры помогала мне в этой борьбе. С камерой мне повезло.

А неутомимым творцом этой атмосферы и вообще душой этой камеры был человек, фамилию которого я не запомнил, но зато помню целых два его имени-отчества, русское — Алексей Михайлович и татарское — Амир Шакирович. Был он военным не очень малого, по-видимому, ранга, но, как и миллионы других, в начале войны попал в плен и на родину, кажется, вернулся недобровольно — тоже как миллионы других... Нежелание вернуться совсем не обязательно означало «страх расплаты за совершенные преступления», как писали в наших тогдашних газетах. Оно могло быть вызвано и страхом, что эти преступления припишут, то есть что сначала отрежут голову, а потом будут разбираться. Не возвращались часто родственники репрессированных, уверенные в том, что их «преступное родство» будет обязательно поставлено в связь с тем, что они во время войны оказались в Германии — пусть даже на положении военнопленного или «остарбайтера». Но советские невозвращенцы Второй мировой — особая тема, и речь о них, вероятно, еще пойдет особо. С ними я соприкасался на Лу-

бянке, на пересылках и особенно в эмиграции. Но Алексей Михайлович был первым из таких, кого я встретил.

Для меня это было испытанием. К кому, к кому, а к тем, кто сотрудничал с врагом, я, как и все мои товарищи, в основном фронтовики, относился непримиримо. И вот передо мной человек, который все-таки как-то, по видимому, ладил с врагом (таким врагом) и после такой войны не кается, не хочет возвращаться к нашей «сплошной лихорадке буден», а мне он вполне симпатичен и даже вызывает доверие. Оказалось, что одно дело — ригористическое отрицание «изменника», а другое — когда ты видишь его глаза, слышишь его голос, чувствуешь его жизнь и судьбу. Особенно, когда эта судьба находится в причудливой ситуации, в которую ее поставила сталинщина.

Я не хотел этого понимать, более того, хотел не понимать, но когда это касалось живых людей, это было слишком очевидно. И обобщения отступали, тем более что приведение их в порядок, как и разбирательство во всех остальных идеологических несоответствиях, я решил отложить на позже. В чем обвинялся Алексей Михайлович и что делал за границей, я не знаю — он об этом не распространялся. Но сидел он давно, все здесь знал, и одно время я даже подозревал в нем «наседку», о чем, слава Богу, никому не говорил. Но это чушь. В обстановку он вносил спокойствие и успокоение, в чем «фирма» отнюдь не была заинтересована. В дела сокамерников, как человек более опытный, вникал, но именно в «дела», в ход следствия, а не стремился что-нибудь выведать дополнительно. Давал иногда дельные советы, но никогда и никого не уговаривал клеветать на себя, а именно в этом нуждалась «фирма». Кроме того, среди его сокамерников не было людей, которым надо было что-то скрывать: или за ними вообще ничего не было, или о них все было известно. Вреда он никому не принес и не стремился принести. И если он даже взял на себя такое обязательство (это даже не предположение, на которое у меня нет оснований, а допущение при рассуждении), то все время как-то увиливал от его выполнения. Полагаю, что каково бы ни было его политическое поведение на той стороне (может, оно и не было безупречным), человеческих подлостей он избегал, а если избегал, то избег — достаточно был дипломатичен для этого. В нем были качества

подлинного вожака, руководителя, хотя никого он никуда не вел и никем не руководил. Просто чувствовал и понимал людей, находил к каждому свой уважительный подход, и это как-то успокаивало людей, создавало условия для общежития. Это была ежедневная и трудная работа.

Изредка его вызывали на допросы, возвращался он с них взволнованный и возмущенно рассказывал о них, и тут минуя реальный смысл того, в чем его обвиняли, и доводя до нас лишь формальную коллизию своих взаимоотношений со следователем — так сказать, «в чистом виде». Раздражало его то, что его доводы не принимались во внимание. Особенно запомнилась мне одна его фраза:

— А я ему говорю: «Все это так, гражданин следователь, но примите во внимание и истину...»

Иногда мне казалось, что отвечал он так, когда добивались от него сведений не о нем самом, а о нас.

Но фраза эта, по форме наивная и смешная, в любом варианте знаменательна. Сколько людей во всех внутренних тюрьмах МГБ могли бы тогда повторить за ним с мольбой и безнадежностью: «...примите во внимание и истину». Хотя бы «и»! Но как раз этого следователи не делали и не могли делать — от них требовалось другое, и они не могли не только преступить это требование, но даже признаться, что оно есть. Так или иначе, я до сих пор благодарен этому человеку за непрерывно создававшуюся им атмосферу, в которой я успокоился и пришел в себя.

Эта камера необычайно расширила мое представление о мире. Поначалу в ней, по-моему, не было ни одного перманентно советского гражданина. Кроме наиболее близкого к этой категории Алексея Михайловича, в ней сидели только несоветские: два старых эмигранта — адвокат из Будапешта (как его звали, не помню) и Константин Иосифович Коновалов, инженер-пищевик из Болгарии, и итальянец Филиппо Нери, облицовщик мрамора из Сицилии. Общее у этих людей (впрочем, как почти у всех, кого я там встречал) было одно: ни один из них не должен был сидеть в тюрьме, а следовательно, вызываться на допросы, выслушивать идиотские обвинения, находить на них наиболее безопасные ответы, говорить и думать об этом.

Обвинения у них были самые нелепые. Эмигранты — Константин Иосифович Коновалов и будапештский адво-

кат — обвинялись в «связи с мировой буржуазией». Похоже, в этом обвинялись все насильно репатриированные эмигранты «первой волны» (тогда еще такого термина не было). Формула эта, извлеченная из «юридического» обихода двадцатых годов, когда она тоже не имела смысла, но отвечала барабанному стилю эпохи, теперь была чистым анахронизмом. Притянута она была за уши, но не лишена людоедского остроумия — под эту формулу подходил любой тогдашний эмигрант. Как мог быть не связан с этим мистическим чудовищем юрисконсульт, работавший в крупных фирмах или главный инженер пивзавода? Или даже рабочий, трудившийся на капиталистическом предприятии (других не было)?

Кстати, строго говоря, будапештский юрисконсульт к «белой» эмиграции не относился. Он не воевал против красных и даже не бежал от них. Он вообще выехал до революции, в 1916 году, в самый разгар Первой мировой войны. Просто потом, когда «все перевернулось», он счел за благо не возвращаться. Цель поездки была деловая, он сопровождал своего шефа, купца первой гильдии Сергея Ивановича Р-ва. Правда, маршрут этой поездки — из Петербурга, через Швецию в Германию — выглядит несколько странно на фоне военного времени, когда Германия все же была военным врагом России. Но неблагоприятность этой поездки не смущала его и теперь — поездка было деловой. Кажется, ему ее и не инкриминировали. А ведь могли бы — Лев Копелев рассказывает, как одному солдату, дезертировавшему году в девятьсот десятом в Германию и осевшему там, впаляли за это в 1945-м измену родине.

Впрочем, не церемонились и с ним. Еще недавно он работал юрисконсультом Союзной контрольной комиссии по Венгрии, осуществлявшей союзный (на самом деле наш) контроль над побежденной Венгрией. Кажется, он даже знал ее председателя, К.Е.Ворошилова. Однако, Венгрия стала «страной народной демократии», комиссия закрылась, приобретенные знакомые уехали в Союз. И в один из ближайших дней после прекращения работы этой комиссии он, выходя из какого-то банка, не обнаружил машины, которая должна была его ждать. Сидевшие в другой машине сказали ему, что его шофера куда-то срочно вызвали, а им поручено его заменить. Он сел в эту машину и тут же по-

чувствовал во рту кляп. Его связали, и машина на большой скорости устремилась к Ужгороду, где по прибытии его развязали и предъявили ордер на арест.

Всей тяжести своего положения при всей своей приземленности он, несмотря на приключение с кляпом, не сознавал. Он уже понимал, что теперь вернуться обратно в Будапешт ему не удастся, но наивно примерялся к жизни в Москве, соглашался на то, что придется с женой (которая к нему, конечно, придет) жить в двухкомнатной квартире. Тесновато, но — что поделаешь? — придется. Это в Москве 1948 года, где и снять комнату при наличии прописки и советской полноценности было непросто. Не говоря уже о том, что не видать ему было Москвы как своих ушей. Он и после кляпа никак не мог отрешиться от представления о торжестве логики и каких-то нормах. После кляпа осознать тотальное отсутствие всего этого, вероятно, было еще страшнее.

Но в наивности его иногда сказывался и отпечаток иного воспитания. Помню, одну на вид забавную, а по существу знаменательную психологическую деталь. Однажды он поделился с нами тем, что на следствии попал в трудное положение. Состояло оно вот в чем. Почему-то у всех недобровольных (а часто и у добровольных) реэмигрантов следователи подробно выспрашивали, так сказать, географию их биографии — где, когда и почему был и жил. Не обошла эта судьба и нашего юрисконсульта. Ответы на эти вопросы обычно ни ему, ни другим не доставляли затруднений. Но он никак не мог объяснить следователю, почему он в таком-то году проторчал три месяца в каком-то европейском городе, допустим в Вене. Это доставляло ему много неприятных минут, стимулировало «прозорливость» следователя: вот где настоящие конспиративные связи. А этот более чем земной человек, отнюдь не стремившийся к осложнениям, упорно запирался, что его самого очень расстраивало.

— Но понимаете, — говорил он мне, — в это время у меня был роман с женой Р-ва. Не могу же я компрометировать женщину.

Подумать только. Столько лет прошло (впрочем, по нынешнему моему ощущению, не так уж много — года двадцать три), столько событий прогремело, какие метаморфозы претерпели его жизнь и все жизни вокруг него, а он в

трудную для себя минуту, по-прежнему, думает о том, чтобы не скомпрометировать доверившуюся ему женщину (где? перед кем?). Из уважения к этой его озабоченности я и не назвал полностью фамилию его патрона, хотя какое это сегодня имело бы значение!

Но другой «нахально репатриированный» эмигрант, Константин Иосифович Коновалов, относился к своему товарищу по несчастью без всякого умиления:

— Я таких знаю, — говорил он, — у них на нуждающихся русских копейки было не выпросить. Только о себе заботились.

Думаю, что впечатление Константина Иосифовича было верным, оно не расходилось с моим. Ему, хлебнувшему лагеря (об этом чуть ниже), были, как и мне, смешны все «трезвые» расчеты юрисконсульта на устройство в московской жизни. Но все же мне было жаль этого юрисконсульта. Человек он был, конечно, грешный, но в элементарном смысле порядочный и упорядоченный, нормальный. И неминуемое для него еще более тесное (в обстановке лагеря) соприкосновение с миром, где нормы играли только декоративную роль, было гораздо страшней, чем для многих. Да он еще и старше был, чем все мы.

Сам Константин Иосифович, безусловно, от помощи собратьям не уворачивался никогда. Но при этом говорил о себе, что всегда сторонился русских колоний.

— Там сколько людей, столько и партий, и все грызутся между собой.

Мне он очень нравился, Константин Иосифович, и я всегда вспоминаю о нем с удовольствием. Учился он в Льеже, в колледже, на средства и под руководством отцов-иезуитов, которые требовали дисциплины, но вовсе не пытались перетянуть его в католичество. Кстати, там же с ним учился и мой бостонский друг, выдающийся физик-оптик Олег Борисович Померанцев, один из самых благородных людей в моей жизни, богатой хорошими людьми. Он помнил «Костю» и даже показывал мне фотографию студенческой компании, на которой они были оба запечатлены. Потом Константин Иосифович стал «инженером-агрономом» — по-нашему инженером-пищевиком — и специализировался как инженер-пивовар.

Был он, как и Олег Померанцев, человеком глубоко русским — в эмиграции это ходячее определение обретает смысл. Он мне рассказывал, как присутствовал на лекции выдающегося специалиста в их области, носившего русскую фамилию. После лекции К.И. подошел к нему и заговорил. Лицо докладчика выразило крайнее недоумение, лоб наморщился. И вдруг оно осветилось улыбкой — догадался:

— Фи русски? — спросил он и еще шире заулыбался. — Я тоше русски...

Ирония и чувство превосходства тут неуместны. Кто знает, через какие испытания пришлось пройти этому человеку, какими обстоятельствами его отрывало от своих, от своего языка.

Правда, и самому К.И. пришлось пережить достаточно. Я очень любил слушать его рассказы о себе, о Гражданской войне, о жизни на Западе — всего этого я ведь тогда не знал.

По происхождению донской казак, он во время Гражданской войны учился в кадетском корпусе где-то в Крыму, куда корпус эвакуировался вместе с Белой армией. О корпусе помню только, что там был очень хороший преподаватель Закона Божия. Иноверцы на его занятия не приглашались. Но один кадет, калмык по национальности, очень любил эти занятия. Он неизменно приходил на каждое из них и докладывал:

— Батюшка, разрешите присутствовать.

— Что ж, давай присутствуй — так же неизменно соглашался батюшка, и занятия начинались. Это для меня было ново. Гимназические преподаватели Закона Божия в советских книгах изображались тупыми реакционерами, мишенью ученических проделок и шалостей. Что это может быть интересно, мне тогда и в голову не приходило.

Потом была знаменитая врангелевская эвакуация, о которой я знал только по сатирическому описанию Маяковского из поэмы «Хорошо!», мало соответствовавшему реальности. Корпус в полном строевом порядке погрузился на указанный ему корабль, и вскоре вся эскадра двинулась к анатолийским берегам. Утром подошли к Босфору, где их ждала эскадра союзной Англии, ради выполнения союзнического долга перед которой многие эвакуирующиеся и вступили в Гражданскую войну. И сразу началась для них драма эмиграции. На английском флагмане был поднят при-

каз: «Спустить русские флаги». Положение казалось уни- зительным и безвыходным: выходило, что боевой эскадре противостояла эскадра транспортов. Но это было не так. Вперед вышел хорошо вооруженный модернизированный русский крейсер (название которого я забыл) и направил свои дула на англичан. Русская эскадра не сбавляла ходу. Драматизм нарастал. И тогда на английском флагмане был поднят другой сигнал: «Поздравляю с благополучным при- бытием», и англичане расступились, давая проход. Инци- дент был исчерпан, но солидарность с теми, кто и в несча- стье оставался до конца верен своим обязательствам, — обнаружена.

Потом корпус был дислоцирован в разных местах. Ка- кая-то часть кадетов окончила его потом в Марокко или Алжире. Но до этого корпус одно время разместили под Хайфой, в Палестине, бывшей тогда подмандатным владе- нием Англии. Там однажды вместе с горячо любимым ба- тей» (полковником, начальником корпуса) перед строем кадетов появился английский генерал.

— Good morning, cadets! — приветствовал он строй. По- видимому, из кадетов собирались готовить офицеров бри- танских колониальных войск. Ведь у бездомных не было выхода, а этот выход был почти почетным. Но кадеты — основательно или нет — думали о себе иначе. Ледяное мол- чание было ответом на это приветствие. Генерал два раза повторил его, результат был тот же.

— Что они у вас, глухие? — спросил он полковника.

— Да нет, — ответил тот и в свою очередь обратился к строю:

— Здорово, кадеты!

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие! — дружно гаркнул строй.

Англичанин удалился. Корпус стали расформировывать. Как и всю русскую армию, дислоцированную на полуост- рове Галлиполи в Дарданеллах. Какая-то часть кадетов, как уже говорилось, уцелела до его окончания в Северной Аф- рике (это я знаю из других источников, но как это проис- ходило, не знаю), но К.И. пошел ковать свою судьбу само- стоятельно. Через Софию и, кажется, Белград он как-то — собственным трудом и с помощью благотворительных орга- низаций — добрался до колледжа. Потом работал много в

Бельгии. Рассказывал о валлонско-фламандской распре. Во Фландрии на почте с ним не хотели говорить по-французски, заговорили — и очень хорошо — только, когда узнали, что он не из принципа, а иностранец. Культура не освобождала от националистического бреда. Нечто подобное переживает сегодня Квебек, но тогда для меня это было первое впечатление об этой болезни.

Интересны были рассказы К.И. о русской политической жизни в эмиграции, об ее многоликости. Политикой он не занимался, не верил в перспективность этих занятий, но политическими движениями и политической мыслью эмиграции интересовался очень. Оказалось, что существует великое разнообразие групп и партий. Одна, вполне монархическая, называлась даже Вторая Советская — советская власть под эгидой дома Романовых. В эмиграции я узнал, что у этой партии было еще одно название — младороссы... Вождем этого движения был Кязим-бек. Был «Союз возвращенцев», рядом «Союз невозвращенцев». За этим кипением умов и страстей К.И. предпочитал наблюдать издали.

Во время войны он переехал на родину жены — в Болгарию. Рассказывал он о Болгарии не так много, но между делом упомянул о странном для меня факте. Оказывается, во время войны фирмы, выпускавшие молочные и некоторые иные продукты, выпускали свои товары и специально для детей, которые продавались по более низким ценам. Они продавались в обыкновенных магазинах, но в специальных упаковках и — в чем собственно и странность — они и покупались только для детей. Большая часть нации разделяла эту заботу о подрастающем поколении и не раскупала их на другие, тоже насущные нужды. Меня это до сих пор восхищает.

В Болгарии К.И. тоже работал по специальности — варил пиво. Боюсь, что это его и погубило. Когда в Болгарию пришли его соотечественники, многие из них проявили глубокий интерес к его продукции, и он из-за этого стал для них в своем городке заметной фигурой. Сначала для солдат и офицеров, которых он охотно потчевал, а потом и для органов бдительного СМЕРШа. И когда (я так думаю) пришла разнарядка на эмигрантов, его и искать не надо было — он был на виду. Во всяком случае через несколько месяцев после «освобождения» его схватили и привезли в

Москву. Здесь он получил свои восемь лет и уехал в лагерь. Теперь он был привезен из лагеря на переследствие — вряд ли для того, чтоб смягчить его участь, скорее всего, появилась зацепка и забрезжила возможность добавить срок.

Чувствовать себя во власти бесчеловечной и бессмысленной силы, так искажившей и продолжающей исказить всю его сугубо частную жизнь, — тяжело. У него ведь не было упований на диалектику и других возможностей обманывать себя — патологичность этой силы он видел ясно. В свете этого его дальнейшая судьба выглядела для него безотраднo, а возможность вернуться к своей семье, к своей частной жизни — фантастикой. И он не мог об этом не думать. Но я помню его всегда сдержанным, спокойным, доброжелательным, умным, и — благородным. Какое-то доброе достоинство исходило от всей его личности. Надеюсь, что он дожил до времен, о которых А. Галич сказал: «грязнули впоследствии всякие хренации», и все-таки увидел свою семью. И мне очень жалко, что мне так и не привелось больше встретиться с ним — ни в неволе, ни на воле, ни в России, ни за границей.

Четвертым и последним, кого я застал в камере, был живой и смуглый человек, очень активно и заботливо помогавший мне устраиваться. И только когда принесли ужин, и мы уселись за столом, я увидел, что он плохо говорит по-русски. Встал вопрос: кто он? За него словоохотливо ответил юрисконсульт:

— Филиппо — итальянец. У итальянцев свой способ ведения войны — они сдаются в плен. Когда они были союзниками немцев, они сдавались их врагам, когда они перешли на другую сторону, они стали сдаваться немцам. Филиппо относится ко второй категории, он сдался немцам, а русские его освободили.

В этом смысле ему очень не повезло. Ибо, будучи человеком естественным, он попал в мир, где естественного оставалось мало. И понять этого по неграмотности он не мог. А неграмотен он был чудовищно. Он не знал ни одного языка, даже итальянского, только *dialetto siciliano* (диалект чичильяно) — сицилийский диалект. А волей судьбы ему приходилось говорить на всех европейских. Иногда сразу. Например, обычно после обеда он объявлял:

— Сейчас я буду немного spatsiren (шпацирен, нем. — гулять), а потом я буду немного dormir (дормир, фр. — спать).

О смысле и взаимодействии этого объявления с лубянским распорядком я еще буду говорить, а сейчас я говорил только о языке Филиппо и расскажу об его истории. История весьма удивительная. У себя дома он был облицовщиком мрамора. Потом его взяли на войну, и, действительно, он попал в плен к немцам и был освобожден нашими. Была создана целая итальянская часть, дожидавшаяся отправки на родину, ее разместили в Черновцах. И все должно было быть хорошо. Но Филиппо нашел себе в Черновцах «девочка-абреечка» и, когда часть отправили на родину, остался с этой девочкой в Черновцах, естественно, не поставив в известность никакие власти. При чем тут власти, если есть «девочка-абреечка», и она согласна. Я его за это назвал «Romeo di cento vente» (Ромео двадцатого века), и он был польщен — все-таки знал, кто такой Ромео. Но потом то ли девочка ему надоела, то ли он ей, то ли ностальгия заела, но он решил возвращаться домой. Решение в его глазах совершенно естественное, личное, никого, кроме него, не касающееся. Как человек бывалый, он знал, что для въезда в Италию нужна виза, виза дается в посольстве, а посольство находится в Москве. Он и отправился в Москву, узнал откуда-то, что *ambasado italiano* (итальянский посол) с посольством временно размещается в Гранд-отеле. Приехав в Москву, он каким-то образом разыскал и отель, и посла. А тот, будучи осведомлен об СССР немногим лучше, чем сам Филиппо, выдал ему визу, объяснил, что ехать надо через Одессу (там сесть на пароход) и счел вопрос о возвращении Филиппо на родину исчерпанным.

Что кто-то может задержать этого сицилийца в СССР, ни одному здравому человеку не могло прийти в голову. Но здравости вокруг ни у кого не было (а у кого была — скрывал ее). Ведь товарищ Сталин нацелил партию, страну и, уж конечно, органы на борьбу.

И органы не дремали. Тревога, вызванная Филиппо, как я понимаю, началась еще в Москве. Как же! — неизвестный зашел в капиталистическое посольство! Практически пересек государственную границу. Что это, если не ЧП. После этого его из поля зрения уже не выпускали. Работали. Обнаружили, что он отправился на Киевский вокзал. Дело ста-

новилось все более серьезным — вокзалы ведь и существуют для заметания следов. Но «нас» он не обманет. «Мы» знали о нем все: он сел в одесский поезд, по дороге встреч ни с кем не имел — конспирировал, скотина! — а в Одессе он отправился в Морской порт и попытался покинуть пределы нашей страны, — причем не имея советских документов! Тут «мы» и пресекли его подозрительную деятельность. Арестовали. И наткнулись на другое ЧП. Оказалось, что при попытке незаконно покинуть территорию СССР арестовали человека, которого на этой территории официально не было. То есть что органы его проморгали. И тут уж хочешь не хочешь пришлось делать из Филиппо шпиона. Тогда все начинало выглядеть достойно — «проморгали» превращалось в «раскрыли», упущение — в апофеоз бдения. Работа большого количества работников и затраченные средства (о средствах, правда, никто не думал) не пропали даром. Не знаю, правильно ли я излагаю подробности психологии сталинских чекистов, но сюжет излагаю точно.

Когда я появился в этой камере, из Филиппо уже несколько месяцев раскручивали шпиона, чему он яростно и обиженно сопротивлялся. И почти первое, что я услышал от него при знакомстве, было: «Я не шпион». Видимо, ему казалось, что все в этой стране воспринимают его присутствие здесь как шпионаж. Он немножко даже тронулся на этой почве — из того сицилийского городка, где он жил, может, выходили иногда крупные мафиози, но международные шпионы очень не часто.

Я не верю, что те следователи, которые вели его дело, — при любом своем умственном уровне — хотя бы на минуту могли поверить в реальность своего обвинения. Думаю, что надзорсостав, имевший дело с «Филиппом», долго бы смеялся надрывным, хотя и подавленным смехом, услышав, что он — шпион. Да и кому угодно трудно представить, что существует разведка, которая может послать человека такого интеллектуального уровня в чужую и непонятную ему страну и ждать от него квалифицированных сведений. Это если вообще представить, что Италия в 1947 году нуждалась в секретных сведениях об СССР (для классовой борьбы, что ли?) — у нее в эти послевоенные годы и своих забот хватало. Но страшный механизм крутился, и Филиппо, попавший в его жернова, перемалывался в шпиона. Сталин-

ское государство продолжало нуждаться в шпионах (разоблаченных, конечно) и производило их из любого подручного материала.

А пока Филиппо жил в камере №60. Был очень доброжелателен и услужлив. Вызывали его редко, и время от времени он писал обращения к следователю (Signore excellence komissare! — Ваше превосходительство, господин комиссар!) или прокурору (Signore excellence procuratore! — Ваше превосходительство, господин прокурор!), естественно, безрезультатные.

Были у него и странности. Почему-то он ни за что не хотел ходить на прогулки — думаю, что так проявлялась его депрессия. Также не желал он бриться и стричься (процесс, производимый, если помнит читатель, одной и той же машинкой). Но если прогулка считалась делом добровольным, то стрижка головы и бритье относились к гигиене и были обязательными. Однако Филиппо на стрижку ни за что не соглашался. Почему он это делал, я и теперь не понимаю — он вовсе не стремился завести себе бороду. Но он на этом стоял. Необычность этого сопротивления ставила в тупик надзирателей и администрацию. Только один начальник смены однажды нашелся. После очередной стрижки, когда все мы, кроме Филиппо, уже прошли эту процедуру, появился этот начальник и объявил:

— Филипп, к комиссару!

Филиппо быстро собрался, он любил ходить на допросы, ему казалось, что там что-то выясняется. Минут через пять его вызвали, а еще минут через двадцать упирающегося Филиппо втолкнули обратно в камеру и поспешно заперли за ним дверь. Предосторожность была не лишняя. Ибо, как только его перестали держать, он с яростным возмущением, потрясая кулаками и крича:

— Satana!.. Diabolo!. — бросился и на запертую дверь. И только тут мы осознали, что он кругом побрит-острижен. Насильно, конечно. Безусловно, налицо было кричащее нарушение прав человека, но, честно говоря, нас оно не возмутило, а скорее развеселило. На фоне того, что с нами, включая того же Филиппо, здесь каждый день происходило, это нарушение прав не могло произвести сильного впечатления. Да и так ли уж худо время от времени бриться? Над его несчастьем все мы подшучивали, хотя относились

к нему хорошо. Да и сами надзиратели не желали ему зла и относились к нему скорее иронически-добродушно и не считали, что приносят ему зло. Для любого другого его эскапады закончились бы карцером.

Впрочем, за ним числилось и хроническое нарушение тюремного распорядка. Касалось оно послеобеденного сна. По этому поводу он и говорил, что будет «немного *dormir*». Но дело в том, что это *dormir* тюремным распорядком строго запрещалось. От подъема до отбоя арестанты не имели права находиться в лежачем положении. Порядок был строг. Для всех, кроме Филиппо. Он после обеда произносил уже приведенную мной фразу и, хотя *dormir* было строго запрещено, походив по камере, аккуратно стелил себе постель и ложился. Что тут поднималось!

Но пока смены чередовались по утрам, все как-то обрзовывалось. Надзиратели как-то с этим мирились. В конце концов никто ему не подражал, сам «Филипп» был несколько не в себе. Но потом смены стали передаваться после обеда, когда как раз Филиппо положил себе почивать. А сдать смену, когда у тебя непресеченное нарушение порядка, никому не улыбалось. Филиппо будили и приказывали встать. На это он отвечал:

— Начальник тюрьма знает.

Начальник тюрьмы, действительно, знал, но велел ни в коем случае этого не допускать. А Филиппо не вставал. И никто не мог ничего с ним поделывать. Но когда должен быть сдать смену тот начальник, который его обманул со стрижкой, он опять нашелся. Так же, как в первый раз, громогласно объявив:

— Филипп, к комиссару.

Филиппо быстро оделся. Так он и остался сидеть, как дурак с мытой шеей, никто за ним не пришел. Но при сдаче смены все было в ажуре — в камере лежащих не было. Этот обман Филиппо вынес молча — никаких эскападов с его стороны не последовало.

А вообще был он трогателен. Поскольку по средам и пятницам он, как добрый католик, мяса не ел, он все волокна мяса, встречавшиеся в супе (какое на Лубянке мясо?), использовал на бутерброды, чтоб съесть их в более скоромные дни. Так вот этими бутербродами (а ведь и порции хлеба были отмерены!) он угощал других. Например, меня,

когда я появился в камере. Но зато, когда я получил очередную передачу от матери (а она их передавала сколько могла), он, после того как я угостил всех сокамерников, попросил лишний мандарин. Этот грузинский мандарин был для него живым воплощением Италии. Вообще при всей его малограмотности была в нем какая-то европейская, точнее, романская грация, и вот такое изящное благородство — особенно ощутимые на фоне нашего другого малограмотного сокамерника — каракалпака (о нем ниже).

Когда поняли, кто он по профессии (облицовщик мрамора, облицовывал ступени в домах и дворцах), кто-то сострил, что ведь и Лубянка — дворец (палаццо), стало быть, здесь тебе и в карты в руки, он грустно произнес:

— Да, палаццо... Палаццо!. Палаццо дель Лубьянка.

— Филиппо, поедешь в Италию? — спрашивали у него.

— Ой, не скажи такой слово! — отвечал он грустно.

Есть много оснований надеяться, что Италию он все-таки увидел. Вскоре после смерти Сталина, уже в 1953-м, кажется, году, я узнал из газет, что группа итальянцев, содержавшихся в советских местах лишения свободы, освобождена и отбыла на родину. Надеюсь, что Филиппо Нери дожил до этого дня. Какую память унес он о нас и нашей стране? Надеюсь, не только черную.

Правда, дома его ждало еще одно испытание. Ему наверняка очень трудно было убедить жителей своего городка, что то, что он рассказывает им о себе, с ним действительно было. Уж слишком неправдоподобно это выглядело. Люди гораздо более искушенные не верили в подобное.

Помню, как гораздо позже другой итальянец, умный и образованный, возмущенно не поверил мне, когда я рассказал ему историю моего товарища по ссылке, корабельного механика Володи Вильневшица. Тот был арестован во владивостокском порту, когда его судно пришло из Японии, и препровожден в НКВД. На допросе выяснили только анкетные данные (имя, фамилию и прочее). Поскольку он был поляком и имел родственников в Польше, спросили еще, не переписывается ли он с ними, и выяснили, что уже лет семь не переписывается, ибо вообще не любит писать письма. И это все, о чем шла речь. Почему его арестовали и в чем обвиняют, он так на этом допросе не узнал. А больше допросов не было. Вызвали его только через не-

сколько месяцев, но уже не на допрос, а для зачтения приговора. Он получил десять лет за контрреволюционную деятельность (КРД) и отсидел их «от звонка до звонка». А потом ему за это же еще и вечную ссылку добавили. В ссылке он и умер, так и не узнав, в чем дело.

— Нет! — вскричал мой итальянский приятель уже в 1973 году, после всей «критики культа личности». — Нет! Никогда не поверю! Чтобы государство само просто так создавало себе врагов! Не верю! Этого и при Муссолини не было.

И он был прав. Этого не было даже при Гитлере. А при Сталине бывало. И совсем не редко. Я бы и сам не поверил такому рассказу, если б не знал Вильневшица и не слышал сотни похожих. Если б не знал, что это так. Сила построенного Сталиным государства — в его неправдоподобности.

Если мне не изменяет память, я рассказал обо всех, кого застал в камере №60 при своем появлении там. Может, был там еще кто-то, кого я забыл, но тут ничего не подделаешь. Помню этих четырех. Четыре человека — четыре трагедии. Они стали бытовой нормой для всех, кроме юрисконсульта, который никак не мог привыкнуть к тому, о чем сам говорил как о «теории невероятностей», господствующей в лубянском праве. Остальные привыкли.

Я отнюдь не был тогда приверженцем правовых норм, а токмо «революционной целесообразности». Но, хотя в своем мировоззрении я оставался «стойким, несмотря ни на что», сочувствие людям, жившее во мне, все равно незаметно подтачивало эту стойкость и само мировоззрение. Я явно начал «сближаться с классовым врагом» и с «мещанской стихией».

А Лубянка продолжала разворачивать передо мной картину нашей истории во всей ее запутанности и полноте. Скоро я увидел первого власовца. Мы ведь тогда почти ничего не знали о Власове и власовцах: изменники, предатели, пособники нацистов — и весь разговор. И вот сидел передо мной такой изменник, по типу добряк, какими часто бывают умелые, крупные и сильные мужчины, смотрел добрыми глазами и рассказывал о себе удивительные вещи. И хотелось его слушать, а ненавидеть не хотелось. Имя, отчество и фамилию этого человека я, к сожалению, тоже начисто забыл — назовем его для удобства придуманным

именем Иван Михайлович (я и впредь в таких случаях буду давать реальным людям выдуманные имена).

Иван Михайлович был высококвалифицированным человеком — паровозным машинистом. До войны машинистом депо станции Конотоп, а после войны — работал на Воркутинской железной дороге, принадлежащей тогда НКВД. Оказывается, не всех власовцев сразу посадили в лагеря, многих (какую часть, я не знаю) просто загнали в ссылку — на Воркуту, в Кузбасс, возможно, куда-нибудь еще.

Поразившая меня деталь — и до войны, и после нее Иван Михайлович работал очень хорошо, был стахановцем и передовиком производства. Меня это поначалу шокировало. Как же так — прямо от сидения в президиумах во власовцы, а потом опять в передовики производства (только без президиумов). Но что делать, если хорошая работа была стихией его жизни. А президиумы — зола.

На Лубянку из ссылки Ивана Михайловича привезли не потому, что он был власовцем (власовцев вокруг было много), а по «открывшимся обстоятельствам». Открывшимся обстоятельством было его пребывание во власовской школе пропагандистов в Дабендорфе под Берлином. Так что виток оказывался еще круче — от чувствований под красными знаменами до враждебной этим знаменам пропаганды. Все так. Но ведь жил до войны этот стахановец на Украине, пережил «голодомор», и все, что он знал и видел, но что было задавлено страхом и пропагандой, легализовалось в сознании, когда он оказался в плену. Да и могла ли сталинская бесстержневая пропаганда создать прочное мировоззрение, устойчивое по отношению к другой, тоже социалистической и тоже тоталитарной? Он рассказывал, что ведь и у немцев сельское хозяйство было в значительной степени социализировано, только более разумно. «Бауеры» хозяйничали сами, а молоко, например, по утрам выставляли за ограду, где бидоны подбирались специальными грузовиками. Они не имели права самостоятельно распоряжаться плодами своего труда (у них тоже была плановая экономика), но все у них скупается государством, и они довольны. В общем (этого вывода он вслух не делал), все это разумнее, чем у нас.

Конечно, этому поддавались не все. Та же Галя Якубская, о которой я рассказывал в первой части (оказалось,

что она была женой не венгерского, как кто-то мне сказал, а советского офицера), рассказывала, как с ней вместе (она была вывезена в Германию как «остарбайтер») ушли из лагеря на Восток, на родину, двадцать молодых советских офицеров. Правда, при прибытии на родину они все были расстреляны, но это другая тема. Для нас тут важно, что такие офицеры и солдаты были и что их было немало. Из того, что офицерам этим я сочувствую больше, нельзя делать вывод, что я в чем-то осуждаю Ивана Михайловича. В той круговерти, в которой он (да и вся страна) оказались, трудно определить, какая дорога правильная. Ставка на Гитлера и даже на то, чтоб в удобный момент перехватить у него инициативу, была самообманом. Но хотеть избавиться от тех, кто способен был на деяния аналогичные убийству этих офицеров, — не преступно.

Но вернемся к Ивану Михайловичу и к его следствию. Курсантство свое в Дабендорфе он поначалу полностью отрицал, говорил, что служил только в охране. Потом как-то плавно признал, что да, конечно, преподаватели школы иногда читали лекции и им, охране, но это только в порядке, так сказать, политпросвещения масс — пропагандистов из охранников не готовили. На этом он, по-моему, и стоял до конца, до того, как его забрали из нашей камеры. Не знаю, удалось ли ему удержаться на этой версии. О ней самой я тогда не думал, но сейчас, на расстоянии, задним числом, я в нее не шибко верю, но искренне хотел бы, чтобы ему на своей версии удалось тогда настоять.

Хотел бы потому, что в глазах советской власти быть пропагандистом враждебной стороны было страшнее, чем быть палачом. Проявление другого восприятия событий нарушало заколдованность общественного сознания, на которой все держалось. Тем более что власовская пропаганда, о чем я узнал потом, была совсем не то, что немецкая. Да немецкой практически и не было — не та заинтересованность, да и как она могла быть серьезной, если Гитлер приказал прекратить в своей среде всякие разговоры об освободительной миссии германской армии в России. Солдаты должны были знать, что шли захватывать, а не освобождать. Идею «освободительной миссии» полагалось использовать только для пропаганды по ту (по нашу) сторону фронта для локальной цели — обмана и разложения проти-

востоящих войск. Как при такой презумпции немецкие пропагандисты могли быть убедительными — зная, что врут от начала до конца? Это ведь сказывалось. Поэтому германские листовки были столь механистичны, топорны и недействительны. В германских военных успехах начала войны роль пропаганды среди войск и населения противника была мизерна. Победы достигались без них и помимо них.

Те, кто учил власовских пропагандистов, были искренни. И не собирались обманывать соотечественников (разве что и сами в чем-то обманывались). Далеко не все из их курсантов были антисоветчиками до войны. Но то, что на них обрушилось, то, что легализовалось в их сознании, требовало ответа. Я не считаю их выбор хорошим, но не могу за него судить.

Иван Михайлович много рассказывал о преподавателях этой школы, о людях, с которыми я лет через двадцать пять познакомился, а кое с кем и подружился. Хорошо помню, что он употреблял имена Околовича, Поремского. Тогда эти имена для меня ничего не значили, теперь значат. Рассказывал он и о каком-то Роковиче, поджигавшем в начале тридцатых колхозные амбары и ловко уходившем от погони. Действия эти мне и теперь не представляются разумными. Но от Ивана Михайловича от первого я услышал, что Вторая дивизия РОА генерала Буйначенко, в которой он служил, в последние дни войны поддержала народное восстание в Праге, выбила из города немцев и тем спасла его от запланированного уничтожения. Сотрудничество власовцев с врагом было не слишком сердечным.

Все, что рассказывал этот человек, было удивительным, сногшибательным, расходившимся со всем, что я знал и чувствовал до сих пор, но я почему-то сразу ему поверил — в смысле реальности сообщаемых им фактов. И сложность фигуры и положения Власова я тоже тогда впервые, конечно, еще не понял, но почувствовал благодаря Ивану Михайловичу. Так и вижу перед собой этого высокого, мощного, добродушного украинца, который, как бы и сам удивляясь, но и наслаждаясь воспоминаниями, между делом рассказывает такие удивительные для меня тогдашнего вещи.

Я еще не знал, насколько в страданиях таких, как он, в самом их пленении, которое официально считалось темным пятном на биографиях многих и многих, не только

власовцев, был персонально виноват Сталин, его невежество и дурная воля. 22 июня 1941 года вся приграничная армия была организованно подставлена им под удар, практически выдана противнику, из-за чего население полстраны оказалось под оккупантами, а спрашивать за это после войны стали с подставленных и оккупированных. Даже если они были оставлены на свободе, они обязаны были утвердительно отвечать на вопросы всех анкет: «Были ли вы в плену?» Или того интересней: «Находились ли вы во время Великой Отечественной войны на территории, временно оккупированной противником?» И этот ответ превращал их в граждан второго сорта.

Я был тогда еще глуп, и дух мой, выражаясь языком Чеслава Милоша, был плененным, но все-таки человеческую невинность всех этих людей я чувствовал. Чувствовал, что их подхватило поднятой не ими злой волной и понесло... Лубянка учила.

Тема пленных была тогда на Лубянке «модной». Они были почти во всех камерах, о плене и возвращении были почти все рассказы. У нас к этой теме имели отношение еще три человека, в разное время сидевшие в нашей камере. Два — ближе к концу моего пребывания в ней и один — примерно с середины. Рассказ об этом третьем я отложу на позже. А сейчас буду говорить о первых двух. Запомнил я только имя одного из них, а другого опять не помню ни имени, ни отчества, ни фамилии. Начну все-таки с него. Справедливо или нет, к нему одному из всех встреченных мной «пленяг» (словечко более позднего происхождения) я относился с глухим недоверием. Был он из Нижнего Новгорода, тогда Горького, там был вроде партийным работником (в то время это в моих глазах человека не компрометировало), говорил, что в немецком лагере состоял в подпольной антифашистской организации военнопленных.

Неправдоподобного в этой ситуации — антигитлеровский подпольщик в советской тюрьме — не было ничего. Великий вождь не терпел и такой самостоятельности: не поручили — не бунтуй, хоть и против врага. От человека, способного к самостоятельности «там», неизвестно чего ожидать здесь. Так были воспитаны его органы: хватай, не думая зачем, всех, кто высовывается. Да и вообще не при творство ли все это было, чтоб завоевать доверие, а потом

вредить? Короче, по всем параметрам сталинщины — такого надежнее посадить. Недоверие мое вызывала не ситуация, а он сам. Его любимые речения: немецкое — «Ауфштейн — ниht ферштейн, абер эссэн ниht фергессен» («Встать (с постели)! — не понимаю, но есть — не забываю) или русское — «При советской власти неплохо жили, и при всякой не пропадем», которые он довольно часто с удовольствием повторял, как мне казалось и кажется, гораздо больше говорили о среде его лагерного обитания, чем его рассказы. Я не утверждаю, что на нем лежат тяжелые вины или что он на Лубянке сидел не зря. Я этого не знаю. Кроме того, и его не надо было подвергать испытаниям — сдавать в плен и не защищать Красным Крестом. Я вообще не знаю той меры страданий, которые довелось испытать этому человеку (а она в любом случае не мала). Я просто говорю, что исходило от него какое-то ощущение нечистоты и что был этот нижегородец мне неприятен. Допускаю, что это впечатление ложно, но оно было именно таким. Ничего особо интересного или существенного он о себе не рассказывал. И мне не запомнилось.

Второго «пленягу» звали Сережей. Когда я думаю о нем, сердце мое наполняется теплом и болью. Хотя по взглядам он был антисемит. Теоретический, не определяющий общим своим убеждением отношение к живым конкретным людям. Причем антисемитизм этот возник в плену и под воздействием гитлеровской пропаганды, хотя идеологии гитлеризма он остался чужд. Но он поверил пропагандистской фальшивке.

Ему показали советскую газету со статьей Эренбурга. Газета выглядела подлинной и статья была подлинной. Но в этой статье был подменен один абзац. Вместо подлинного, вырезанного, был вмонтирован другой. Статья в целом в духе всей нашей военной пропаганды призывала советских воинов прийти в Германию и отомстить. И поэтому вставленный абзац, где о пленных говорилось, что они предали родину и теперь обедаются в плену шоколадом и другими изысканными яствами, а советский воин призывался, придя в Германию, отомстить и им — выглядел почти естественно. И никакими доводами нельзя было убедить Сережу, что это подделка, что это противоречит всей советской военной пропаганде, неустанно расписывавшей

именно ужасы плена и страдания пленных, что Эренбург такого не писал, а если б сошел с ума и написал, то никто бы этого не напечатал, ибо это описание блаженства в плену политорганы сочли бы пропагандой сдачи в плен (раз там так хорошо, то все и побегут). Ничто не действовало — он сам видел эту газету, а полиграфические фокусы были ему неведомы. Он был глубоко оскорблен этой статьей и ненавидел Эренбурга, а с ним всех таких евреев. Но при этом был он человеком абсолютно светлым и обаятельным: широкое веснушчатое, почти мальчишечье лицо, спокойное доброжелательное выражение больших серых глаз, общее ощущение разумности. По профессии он был шофер-механик, и в плен в 1941-м завела его профессия — выполняя задание командования, заехал на своем грузовике туда, куда его послали, а там уже были немцы.

Это был не первый удар судьбы. Вот уж по ком история его страны проехала всеми своими гусеницами. В начале тридцатых его мать раскулачили. Именно мать, ибо отец, который в середине двадцатых считался зажиточным, давно умер. «Кулачка» эта четвертый год была вдовой и еле сводила концы с концами. Это было нелепо, но против разнарядки не попрешь. Нелепость этого раскулачивания была настолько очевидна, что ее даже не выслали, она просто ушла жить в соседнюю деревню, потом стала работать в колхозе, а Сережа, выучившись на шофера, стал работать в Москве. Оттуда и ушел на фронт, фактически в плен.

В плену он работал на заводе, обтачивал детали. Его сменщиком был пожилой немец, квалифицированный мастер. Сережа ему понравился с самого начала. Он часто даже приносил ему из дому что-нибудь поесть. Но главное, в первый же день он объяснил Сереже правила игры: Сережа должен за смену обтачивать восемь деталей, а сам он, как немец, будет обрабатывать десять. И генуг. Немец этот явно не питал теплых чувств к Гитлеру. Так они и жили довольно долго. Но потом на их горе прибыл с Украины какой-то стахановец-доброволец и в первый же день обработал двадцать деталей. Немцу был большой втык, и потом он говорил Сереже, ругая нового коллегу:

— Плохой человек. Никакой солидарности.

А где мог получить представление о солидарности советский стахановец?

Но это еще не было бедой. Беда пришла примерно в марте 1945 года, когда война шла уже к концу. Сережа случайно сломал станок. Ему грозил трибунал за саботаж и расстрел. Чтобы избежать этой судьбы, он подал заявление в разведшколу. И тогда — в марте 1945-го! — был в нее зачислен. Естественно, он понимал, что закончить эту школу он уже не успеет. Думаю, что и немцы это понимали, но тоталитарная машина продолжала работать — такое понимание называлось поражением. В конце концов вся разведшкола — она в основном состояла из русских — поднялась и в полном боевом порядке вместе с командованием ушла в Швейцарию, где была интернирована. Сережа стал работать у бауера. Бауер не мог нахвалиться на своего нового работника и хотел даже выдать за него свою дочь. Но Сережу манило домой. Его уговаривали не губить себя, но он подал заявление и вернулся. При проверках рассказал обо всем, кроме как о разведшколе. Вернувшись, стал работать в гараже возле Парка культуры. Все шло хорошо. Но через год-полтора вдруг пришел некто и попытался договориться с ним о ремонте швейцарской машины, привезенной им, дескать, из Германии. Сережа ответил:

— Да бросьте вы... Я ведь знаю, откуда вы.

Тот запротестовал: «Что ты, что ты...»

Но скоро, конечно, Сережу арестовали. Когда его спросили, почему он скрыл от репатриационных властей, что учился в разведшколе, он ответил прямо:

— А хотел немного дома на свободе пожить.

И вот официальный советский портрет Сережи: кулацкий недобиток, из ненависти к советской власти добровольно сдавшийся в плен к немцам вместе с доверенным ему Родиной грузовиком, укреплявший германскую военную мощь работой на заводе, за два месяца до крушения Германии, когда ее гибель была неминуема, добровольно пошедший в их разведшколу — чтоб и дальше как можно больше вредить советской власти.

Разумеется, я не читал этой характеристики. Но вряд ли та, которая была приложена к делу, пошедшему в трибунал или ОСО, сильно отличалась от придуманной мной. Все это как бы основано на фактах, но при этом, как видит читатель, все это от начала до конца наглая ложь и просто чушь собачья. Но логика бреда была растворена в самой

атмосфере Лубянки (одной ли Лубянки?). И вот вам результат — хороший, честный, работающий человек, не виновный ни перед кем (это перед ним почти все виноваты!) — сидит в тюрьме и ждет жестокого приговора. И можете не сомневаться — не знаю, когда и какой (меня увели раньше), но приговор, и жестокий, последовал. Шутка ли — измена родине! При всей своей самозадуренности я и тогда не думал, что Сережа хоть в какой-то мере виноват и должен сидеть.

Но кроме историй, которые стояли за каждым, был еще общий быт камеры. Камера хронически страдала от отсутствия папирос и особенно спичек. Все это поступало только с проходящими с воли и из передач. Каждый получающий передачи выделял кое-что и для товарищей. Но передачи в этом смысле были источником ненадежным — некурящим, в том числе мне, родные таких вещей не передавали, а у курящих не всегда были родственники — тем более в Москве и в пределах досягаемости. Но внезапно курильщикам повезло. Продуктовые передачи отменили, передавать стало возможно только деньги, до ста рублей в месяц — для ларька. Раз в месяц или в две недели появлялся «ларешник», раздавал типографски отпечатанные бланки заказов со списком предлагаемых продуктов. Против каждого наименования стояла цена. Те, у кого на счету были деньги, могли выписать их, но в строго лимитированном количестве. Можно было выписать и несколько пачек папирос «Беломор» со спичками. Их выписывали и некурящие — для товарищей. Полагалось ли курящим «табачное довольствие» не помню, но помню, что всегда не хватало спичек. Наша камера от этого не страдала: выручал Алексей Михайлович. Голь на выдумки хитра — все спичечные коробки поступали к нему, а он с ювелирной аккуратностью раскалывал каждую спичку на неимоверное количество (чуть ли не на восемь, а может, даже больше) тонких — иначе не скажешь — лепестков. Помню, когда появился Сережа, он, еще не зная наших правил, между делом, о чем-то рассказывая, попытался прикурить ЦЕЛОЙ спичкой из захваченного из дому коробка. Он тут же был остановлен в этом своем расточительстве Алексеем Михайловичем:

— Вы что? — так нам закуривать скоро будет нечем! А ну-ка давайте сюда ваши спички!

Сережа подчинился, а Алексей Михайлович тут же у него на глазах приступил к их раскалыванию. Сережа отнесся к этому скептически и высказался в том смысле, что, по его мнению, все равно «шилом моря не нагреешь».

— Не нагреешь, говорите? — проговорил как-то себе под нос Алексей Михайлович. — Посмотрим.

И, естественно, Сереже пришлось убедиться в своей неопытности. Правда, у этой пиротехнически-экономической системы был существенный недостаток — зажигать такие «спички» умел тоже только ее создатель, сам Алексей Михайлович. Но недостаток этот не ощущался, ибо он всегда был рад помочь любому желающему закурить — зажигал свои «спички» в любое время по первому требованию. На Лубянке времени у всех хватало.

В эту камеру приходили разные люди и быстро обживались в ней, осваивались, успокаивались (если с воли). К сожалению, как уже неоднократно убеждался читатель, меня с годами стала подводить память на имена. И неудобно мне серьезных и уважаемых мной людей вспоминать без имени-отчества. Без фамилий куда ни шло, а без имени-отчества — тяжело. Придется придумывать им для удобства условные имена-отчества.

Так я не помню имени-отчества своего коллеги, литератора Сименса, с которым в камере подружился. Фигура эта в высшей степени любопытная. По происхождению он был швейцарцем, предки которого в незапамятные времена поселились в Одессе. Это сбывало многих с толку. В ордере на арест у этого спонтанного остроумца (потому и сел) в графе «национальность», как по заказу, значилось: «швейцарец (или еврей)». Вот как получается: это я помню, а имя-отчество забыл. Что ж, назову его для удобства Артуром Петровичем. Главной его бедой — на что он мне часто со смехом жаловался — было его спонтанное, а следовательно, неконтролируемое остроумие. Конечно, бедой это было только в специфических условиях сталинщины. Он и в камере острил, и иногда весьма рискованно, но не намеренно, а по ходу разговора. Каждый раз сокрушенно отмечая: «Вот видите!», но продолжая в том же духе. Было ли это опасно? Не знаю. Стукачей как будто в нашей камере не было, но ручаться за это я бы все равно не стал. Слишком велик был риск. И слишком велики возможности след-

ствия — кто-то мог это делать за обещание сохранить жизнь. Да и такой открытый сталинист, как я, тоже мог внушать опасения. На стукача я, конечно, и тогда не был похож, но диалектическая идейность иногда заводила людей очень далеко от морали, совести и их собственной сущности. Я этого избежал, но кто мог знать это наперед? Но, допустим, меня он мог чувствовать лучше, чем других, как более знакомого ему по типу, но ведь в камере были и люди, менее понятные ему, чем я. Все равно он обреченно острил. Он говорил, что самым складом ума в такое трудное время (права «времени», искренне или нет, не ставились под вопрос) осужден на посадку.

Мои взгляды, мое отношение к «времени» он, похоже, искренне разделял, как почти вся искавшая объяснений тогдашняя интеллигенция (смейтесь, нынешние смельчаки, но тогда признавать, что дважды два четыре было не только опасней, но и духовно трудней, чем вам сегодня смело показывать задницу публике), вместе со мной он «с глубиной» и вряд ли притворно ругал троцкистов.

Кроме того, он принес в камеру информацию о первой (не 1949-го, а еще только 1948 года) волне антикосмополитской кампании. Мы оба пытались что-то в ней понять и как-то ее осмыслить (сиречь оправдать). Я высказал предположение, что существует тонкая грань между интернационализмом, якобы не исключающем патриотизма, и космополитизмом (откуда я мог это знать?), его исключающим, и те, кого обвиняют, эту грань нарушили. Артур Петрович сказал, что я прав, что так это истолковывается и официально. Рассказал Артур Петрович, что во время этой кампании прозвучали и антисемитские нотки, но мы оба сочли, что кто-то под шумок использовал эту нужную (кому и зачем?) кампанию для проявления своих низких инстинктов. Вопрос, почему им раньше не давали, а теперь дали это делать, нам старательно в голову не приходил. Тем более, что кампания тогда вроде бы заглохла.

Артур Петрович был до мозга костей интеллигентом и литератором. Через жену он был прикосновенен к окружению Пастернака. Впрочем, Пастернак тогда и сам был недалек от этих взглядов и чувств. Это был период сборников «На ранних поездах» и «Земной простор», о коих Глазков не совсем справедливо писал:

Нынче души всех людей в ушибах,
Не хватает хлеба и вина...
...Пастернак отрекся от ошибок! —
Вот какие нынче времена.

Особых отречений сборники эти не содержали, в них было много очень хороших стихов (Глазков воспринял как отречение «измену» Пастернака своей старой поэтике), но атмосфера признания происходящего все-таки ощущалась и у него. Что-то же Пастернак имел в виду, когда годы спустя писал:

Но я испортился с тех пор,
Как времени коснулась порча,
И горе возвела в позор
Мещан и оптимистов корча.
Всем тем, кому я доверял,
Я с той поры уже не верен.
...Я человека потерял
С тех пор, как всеми он потерян.

Вряд ли Пастернак был в этом грешнее кого-либо другого, но такой глубины покаяния я не встречал ни у кого. Но все же грех был — признание сталинщины невозможно без возведения горя (чаще чужого, но бывало и собственного), если не в позор, то в нечто бесконечно малое, чем мыслящий индивид обязан пренебречь. А что, как не согласие «пренебречь» — выраженное в известном разговоре желание запросто и на равных поговорить с вождем о жизни и смерти? Это ведь не с кем-то на равных, а с творцом «великого перелома», и не когда-то, а в начале массовых репрессий конца тридцатых.

Так что наши с Артур Петровичем беседы в камере №60 были вполне типичны и для многих на воле. И конечно, я тоже «горе возводил в позор», принимая сталинщину. И даже теперь боялся «невозведения в позор» больше, чем самого горя. Но, принимая и пренебрегая, я все-таки об этом «горе» писал — хотя бы о том, что им надо пренебречь, это меня беспокоило, сверлило, требовало ответа. Видимо, нечто подобное происходило и с Сименсом — но он острил. Наш новый тогда сокамерник профессор Ромашов, выслушав эти мои рассуждения, заметил, что так и в математике — согласно «теории больших чисел», чем большими числами мы оперируем, тем ничтожнее ошибка. Я

думаю (теперь, тогда этого не понял), что его замечание содержало большую долю иронии по отношению ко мне — он, конечно, понимал, что относить эту теорию к человеческим судьбам неуместно. Да разве на Лубянке скажешь! Но ирония, содержащаяся в его словах и (тогда) неосознанная, осталась во мне и делала свою работу. Спасибо и на том.

Профессор-ихтиолог, доктор биологических наук (докторскую ему присвоили без защиты за исследование и описание зеркального карпа) Арсений Викентьевич (назовем его так) Ромащов был вообще личностью замечательной. Он относился к той же кондовой русской интеллигенции, что и доцент Василенко, да и сел по тому же делу — за слушание в чьем-то доме «террористической» повести Даниила Андреева. Поскольку он был биологом и «вейсманистом-морганистом», он по тогдашнему времени мог сесть и за это, что мы сразу и подумали, когда он сказал нам, кто он есть, но советская действительность оказалась богаче и сложнее: слушание повести затмило его научные прегрешения. В отличие от Василенко он сохранял все время присутствие духа и ироничность.

Хоть я был тогда самоуверенным варваром и старую интеллигенцию считал (в отличие от «нас»!) слабаками, не знающими чего-то главного (чего именно?), присутствие рядом сильного и культурного интеллекта я всегда ощущал и откликался на него. Так было и сейчас. Впервые имя Достоевского, употребленное не просто как имя писателя, а как предмет ежедневного интеллектуально-духовного обихода, я услышал от Арсения Викентьевича. И почувствовал за этим традицию десятилетий, целую среду, ее высокий уровень. Еще только почувствовал, а не осознал, но все же...

Кто-то предложил, чтоб Арсений Викентьевич прочел нам несколько лекций о вейсманизме-морганизме, о котором трубили все газеты, а мы ничего не знали. Весь «коллектив камеры» это предложение поддержал. Арсений Викентьевич охотно согласился. И довольно долго каждый день после обеда, оставив чтение, домино и шахматы (все это допускалось), мы торжественно усаживались вокруг стола и слушали его. Как я теперь понимаю, задача его была непростой. Конечно, в том, о чем он читал, все мы были неосведомлены одинаково, но все же немногочисленную

его, но благодарную аудиторию составляли люди разных уровней образования и развития, а надо было быть доступным всем присутствующим. С этой задачей он справлялся блестяще, и лекции его были интересны всем. Я, например, узнал очень много нового.

Оказалось, что известный по школе давний спор дарвинистов с ламаркистами о том, что влияет на наследственность — естественный отбор или условия и образ жизни животного, — никогда не кончался и продолжается до сих пор. До недавнего времени у нас официально поддерживался дарвинизм, что совпадало и с марксизмом, и с традицией российской науки. Но Лысенко (о котором наш лектор отзывался вполне толерантно) объявил войну «буржуазной» науке, которой оказался дарвинизм, и открыто признал себя ламаркистом. Ламаркисты в науке были и без него, но беда в том, что Лысенко был только талантливым селекционером, а вовсе не ученым, способным к широким обобщениям и имеющим для них основания. Его обобщения не считаются с экспериментальными фактами, добытыми наукой. Лысенковской демагогии и его «дискуссионных» приемов Арсений Викентьевич не касался — это было проблемой не научной. Он рассказывал про опыты Менделя с наследственностью, о хромосомах, о признаках, при передаче наследственности подавляющих и подавляемых (термины другие, но я их забыл). У меня возник вопрос: а не может ли быть, что среда и образ жизни животного влияют на хромосомы, а через это на мутацию. На это Арсений Викентьевич ответил, что возможно это и так, но такой связи никто пока не обнаружил и не доказал. То есть он не отрицал априори такой возможности, но утверждал только то, что ему и науке было уже известно.

Лекции профессора Ромашова были для меня еще и школой доказательного мышления. Это опять-таки не значит, что я его навыки усвоил уже тогда, но они остались в моей памяти и «работали». Я рад, что встретился с этим человеком. Тюрьма, хоть и в недобрый час, расширяла мой кругозор, она сводила меня с людьми, с которыми я вряд ли бы встретился иначе.

Я могу еще представить, что где-нибудь как-нибудь мог пересечься с Арсением Викентьевичем, но с Николаем Сергеевичем (дадим ему это имя-отчество) Соколовым,

инженером, ответственным работником одного из промышленных министерств, мне больше встретиться было бы нигде. А тут встретились.

Он появился в камере молчаливый и мрачный, в общем подавленный. Арест его ошеломил. Несколько дней он продолжал мрачно молчать — приходил в себя. Потом стал разговаривать. Но словоохотливостью он, видимо, и до ареста не отличался. В чем состояло его дело, я так никогда и не узнал, он об этом не говорил, у него не возникало потребности советоваться с кем-нибудь об этом. Думаю, что сказывалась в этом больше министерская выучка, чем непосредственное недоверие. О себе рассказывал больше. Я узнал, что он участник Гражданской войны — это тогда в моих глазах стояло очень высоко. Но посадили его, видимо, не в связи с этим — не в таких чинах воевал. Не похоже, чтоб была здесь 58/10 — вряд ли он где-либо допустил рискованное высказывание. Но человек честный и добросовестный, он мог слишком настаивать на решении, которое считал правильным, или критиковать с его точки зрения неправильное. А неправильное могло оказаться изначально Высочайшим или потом Высочайше одобренным. И тогда — «Подать сюда Тяпкина-Ляпкина!» А мог он и просто стать жертвой самума, вроде того, что налетел однажды на шахуринское министерство авиации.

Он очень хорошо разбирался во всей современной ему элите: в повышениях, понижениях, в назначениях и отставках — всегда знал, о ком речь. Суждения его в других делах часто бывали ограничены. Но мое восторженное приятие действительности его явно раздражало. Не потому, что он был против. Похоже, сначала не совсем мне верил. Но в принципе потому, что считал лишним видеть здесь какие-то вопросы и отвечать на них — все и так должно быть ясно. Потом он ко мне потеплел. И однажды, когда, видимо, я развивал перед ним нечто в духе «И значит мало быть своим, / А надо быть необходимым» — он вдруг сказал, что все это правильно, но жизнь сложнее.

— Ведь мы с тобой преданны, а доносить ни я, ни ты не пойдем, потому что отвратительно злоупотреблять доверием.

Я не ручаюсь за текстуальную точность, может, выразился он не совсем так, но сказал он именно это. И я потом был очень ему благодарен. С этой минуты я — смейтесь,

нынешние мудрецы — перестал стыдиться того, что не могу рассказывать следователям о тех, с чьими «неверными» и даже «вредными» взглядами я спорил до ареста. Это ведь тоже феномен: стыдиться, что НЕ предаешь. Правда, феномен это, скорее, двадцатых годов, из тогдашних революционно-антиинтеллигентских писаний — я был тут анахронизмом. Но так было. Николай Сергеевич был тем, кто, вовсе не имея этого в виду, от такого протivoестественного стыда меня избавил. Все-таки и под прессом развращающей власти и протivoестественной идеологии традиции нормального поведения передавались. Как и культура вообще.

Как сложились судьбы хотя бы москвичей из нашей камеры? Про Ромашова я знаю, что он потом вернулся и работал, как, впрочем, и Василенко. Сименса я онажды встретил во дворе дома Ростовых на Поварской (Союза писателей), когда он бежал куда-то по делу. Поприветствовали друг друга как ни в чем не бывало, словно видимся хотя бы два раза в год, и он заспешил дальше. Было это в районе шестидесятых, и больше я его никогда не видел. Об остальных ничего не знаю. Ни о Соколове, ни об еще двух весьма примечательных людях, о которых еще не говорил. Один из них, имя, отчество и фамилию которого я опять-таки забыл начисто, но назову здесь Алексей Алексеевич, обладал редкостной для человека того времени ясностью понимания происходящего. В отличие от всех, сидевших в камере, был этот человек открытым и законченным антисоветчиком, чего не скрывал и от следствия. И был он таким всегда. И до тех пор, несмотря на бдительность органов, был им совершенно безнаказанно.

«Работники органов», как я уже говорил, были специалистами больше по потенциальным противникам, чем по реальным. Правда, в 1934 году ГПУ как-то вышло на него и посадило, но соседи показали, что он возмущался гитлеровскими погромами и делом о поджоге рейхстага, и это в те «идиллические» времена (до убийства Кирова) было сочтено доказательством его лояльности. Его выпустили. С тех пор он буквально не закрывал рта, разоблачая советскую реальность, говорил правду, и все сходило с рук. Да и на этот раз погубила его не правда, которую он говорил, а какое-то мечтательное хвастовство. Ну и, как говорится, — шерше ла фамм (ищи женщину. — *фр.*). Впрочем, искать

особенно и не надо было, она сама нашлась. Онажды, просвещая свою любовницу, он не удержался в границах реальности и выдал желаемое за действительное — «признался» ей, что является резидентом британской разведки «Интеллеженс сервис». Выносить просто антисоветские высказывания эта женщина (да еще в период острого дефицита мужиков), видно, еще соглашалась — мало ли что мужики болтают. Но это признание оказалось чрезмерным, оно превышало все мыслимые представления и нормы — с этим на душе она жить не могла, испугалась и донесла. Его арестовали. Но, насколько я помню по его рассказам, в деле упоминания о шпионаже не было. Видно, после такого серьезного доноса за дело взялась контрразведка. Не каждый же день встречается человек, который сам о себе говорит такое — надо было выявить его шпионские связи.

За Алексеем Алексеевичем установилась слежка, и быстро выяснилось, что таких связей у него нет и шпионажем тут не пахнет. Однако попутно та же контрразведка, выяснив, что он не резидент, вероятно, столь же неопровержимо установила, что он ярый антисоветчик, и передала его дело в другой отдел — «по принадлежности». Так он попал в нашу камеру, где сидели преступники не столь важные. Поскольку шпионаж исключался, а Алексей Алексеевич и от следствия не скрывал своих антисоветских и антисталинских взглядов, попытались это использовать и под шумок пришить ему и террор. Дескать, вы ведь ненавидите товарища Сталина, так, наверно, лелеяли... Но эти уловки Алексей Алексеевич гневно отмел:

— Нет, я против террора — одного убьешь, другого поставят... Нет, надо всю систему с корнем выдрать.

И хотя он, действительно, не занимался и не собирался заниматься террором, в этой позиции была и хитрость. Как он говорил: «Террор мне все-таки удалось с себя сбросить». Статью 58/8 (террор) ему заменили на ширпотреб МГБ — статью 58/10, (антисоветская агитация) — на статью, которую давали анекдотчикам и тем, кто случайно не при тех, при ком можно, пытался «обобщать недостатки».

Как я уже говорил, МГБ (не путать с КГБ) было репрессивным органом, способным подавлять предполагаемое или потенциальное сопротивление, но терпящимся от неожиданности при соприкосновении с реальными противниками режима. Оно в таких случаях не видело для себя

другого выхода (во всяком случае, если не было открытого силового сопротивления, а его не было) кроме как подверстывание их под мнимые, с которыми оно в основном и имело дело. Репрессии КГБ тоже были преступными и незаконными, но тут хотя бы сами гэбисты понимали, кого и почему они сажают.

Как с ним вести себя, следствие не знало. Человек во всем сознавался, а использовать это нельзя. Попытались разработать силлогизм: «Раз вы против Сталина, значит, вы за Гитлера», но тщетно.

— Нет, я против всякого вождизма, — парировал эти попытки Алексей Алексеевич. И следователи опять терялись. Добыча сама шла в руки, человек добровольно сознавался в том, от чего все другие руками и ногами отбивались, а больше, чем на агитацию, не натягивалось.

Разумеется, я отнюдь не жалею, что сталинская фемида так и не смогла подобрать адекватного юридического ключика к таким, как Алексей Алексеевич. Но и не радуюсь — ибо что этой фемиде ключики! Она могла работать и отмычкой, и просто кувалдой. Расстрел по этой статье был тогдашними правилами исключен, но «впаяли» ему, скорее всего, все-таки немало — игра сталинской фемиды в юридические формы была более чем эфемерной. Но эта юридическая (да и идеологическая) беспомощность больше всего говорит о сути сталинского псевдоидеократического государства.

Так что ирония моя относится к ситуации, но никак не к Алексею Алексеевичу. Он к иронии не располагал. Ни внешне — был он широкоплечий, крепкий человек, хорошего роста, в моем восприятии пожилой (лет сорока—пятидесяти), по виду — мастеровой.

Работал он контролером Министерства финансов на Гознаке, что тоже давало ему материал для критики системы.

— Вот, представьте себе, на Гознаке прокатывается золотая фольга. Вдоль линии идет вальцовщик. Он работает, и тяжело. Получает семьсот рублей (дореформенных. — *Н.К.*). Рядом с ним идет бездельник, контролер Гознака, смотрит, чтоб он чего не украл, — получает тысячу. А рядом с ними, следя, чтоб они оба чего не украли, иду я, главный бездельник — контролер Минфина, получаю тысячу четырехста. Так и все.

От него я впервые услышал, что дотация государства к продажной цене автомашины «Москвич», которая продавалась очередникам за пять тысяч рублей, составляет тысячу пятнадцать—двадцать, и в той же пропорции присутствовала дотация и в продажной цене автомобиля «Победа». Дотации были секретны и делались из пропагандно-политических соображений. Нельзя было допустить, чтобы в передовой индустриальной и вдобавок социалистической стране совсем не было частного автомобилевладения.

Все это неудивительно сегодня, но тогда, в 1948 году, когда передовое мышление не шло дальше, чем «Сталин предал революцию», что было не только крайне опасно, но требовало и немало духовной смелости, слова этого «контролера Минфина» поражали своей простотой и неопровержимостью. Цифры, приводимые им, больше совпадали с общим интуитивным ощущением нашей повседневности, чем официальные, были достоверней. Объясняли, например, почему так все-таки непросто приобрести автомобиль.

Короче, отрицание Алексеем Алексеевичем советского строя отнюдь не объяснялось эмоциональными всплесками, общей неуравновешенностью, неумным самоутверждением или честолюбивым желанием отличиться. Его мысли выглядели экстравагантно, но были экстравагантностью не они, а привычная нам советская повседневность — особенно тогда. Его отрицание строя было основано на знании и понимании окружающей его жизни и трезвой оценке ее противоестественной экономики. Он видел то, что видели все, но он в отличие от большинства верил своим глазам. Я и тогда верил каждому его слову и не сомневался в его честности, хотя, конечно, не мог согласиться с его выводами.

Как можно было сочетать сохранение верности мировоззрению с доверием к его словам? Это равносильно ответу на вопрос, как можно было жить в России, да еще пытаться мыслить при Сталине? Жили люди как-то. Мы ведь были рождены в этом искаженном мире. Хватались за что угодно. Как я за «теорию больших чисел» (математика за нее ответственности не несет), которая все на свете могла свести к малостям, которыми можно и следует пренебречь.

Но однажды на пороге нашей камеры возник высокий седой и крепкий человек, рожденный явно «не в этом

мире». Он встал на пороге, несколько выгнув вперед голову, исподлобья оглядел все и всех и спокойно произнес:

— Здравствуйте. Эта камера все-таки больше той, в которой я сидел до этого.

Стало ясно, что его только сегодня арестовали и он имеет в виду бокс.

Человек уселся на пододвинутый ему стул и стал подробно рассказывать газетные новости. Рассказал все. От него мы узнали об Израиле и о войне в Палестине. Причем он выказал одинаковое презрение к обеим борющимся сторонам. Короче, обстоятельно рассказал все, что знал. И только выполнив этот свой долг, он упомянул о том, что камнем лежало у него на душе — он оставил дома больных жену и дочь, для которых был единственным кормильцем и защитой — он работал мастером в «Мосгазе». Так появился в нашей камере Михаил Петрович Уралов (за имя-отчество опять-таки не ручаюсь), несгибаемый анархист и террорист дореволюционных времен — это тоже выяснилось почти сразу. Это он нам сообщил, чтобы объяснить, что в тюрьме он отнюдь не в первый раз. Но сидел он, как выяснилось, больше при царе, а в советские времена только раз — году в двадцать четвертом — за попытку подкопа под Бутырскую тюрьму. Но в тюрьме тогда пробыл недолго, его выручили старые дружки, товарищи по подполью и тюрьмам, работавшие теперь в ЧК.

В этом нет ничего удивительного. В ЧК работало много бывших анархистов и левых эсэров, желавших его выручить как старого товарища. Да и среди большевиков такие нашлись бы. Ведь до революции только в эмиграции среди революционеров существовало строгое разделение на партии, а на территории России это мало проявлялось — явки были общими, враг тоже общий, а тюрьмы, каторга и ссылки — и говорить нечего. Они могли сожалеть, что он не понимал их абсолютной правоты, но держать его в тюрьме за то, что он хотел освободить товарищей, им все-таки было как-то неловко. Все-таки свой, а не сторонник капитализма.

Но вот незадача — когда он сидел при царе и за подкоп, ему было все понятно. А теперь...

— Но почему меня арестовали сейчас, — удивлялся он, — ума не приложу. Политикой я ведь давно не занимаюсь.

— А может, вы где-нибудь не то сказали? — попытался вопросом развеять его непонимание Алексей Михайлович. И напрасно.

— Нет, — отрезал новичок, — я был осторожен. — И добавил, помолчав: — А те, с кем я разговаривал, не донесли, это исключено. Ну ничего, — заверил он нас, — мне не впервые за свою жизнь разговаривать со следователем.

И он был прав: на него никто не донес. Но он не понимал, что его арестовали за биографию. И еще — что со следователями, привыкшими вести такие дела, ему предстояло встретиться впервые. При «проклятом царизме», с которым он вел борьбу не на жизнь, а на смерть, такие не водились. Не говоря уже о том, что при царе и сам он никогда не гадал, за что вдруг его арестовали (это-то он всегда знал!), а только старался понять, что им известно и что можно еще скрыть. Правда, и тогда следователи и тюремщики к таким, как он, относились совсем не столь толерантно, как к социал-демократам. От последних исходила угроза потенциальная, а от таких, как он, — непосредственная: они стреляли и швыряли бомбы. И награждали за них охотнее — как за избавление от непосредственной опасности. Но и законы в отношении таких нарушались безнаказаннее: Михаил Петрович однажды в Орловском центре больше года просидел в холодном карцере, что воспрещалось, но сошло. Все же это была война. Товарищи Михаила Петровича при случае и начальника центра могли хлопнуть — за своего товарища, которого так долго мучили карцером, или по какому-нибудь другому поводу.

Грехов перед большевиками у Михаила Петровича, кроме упомянутого подкопа, за который он уже вроде отчасти отсидел, тоже не было. Он был анархистом, но анархистом правым — русская политическая жизнь была чрезвычайно разветвлена. Всю Гражданскую войну он так или иначе провоевал на стороне красных — отчасти, правда, в отрядах Махно, где был комиссаром от анархистов. Однажды он в этом качестве даже спас целый вагон комиссаров-большевиков, которых братва хотела пустить в расход. Так что перед большевиками у него были даже заслуги. А перед Сталиным у него и грехов быть не могло — Михаил Петрович ушел в частную жизнь еще до воцарения этого Вождя. Несмотря на весь свой опыт, он никак не мог понять, в чем

дело, зачем он понадобился чекистам? Он о большевиках знал все, но, закапсулировавшись, проглядел изменения, внесенные сталининой.

На следующий день Михаила Петровича вызвали на допрос, и впервые в жизни он отправился «разговаривать со следователем» не для того, чтобы скрывать, а чтобы выяснить. Судя по его молчанию после допроса, выяснить ему ничего не удалось.

Арестовали Михаила Петровича, безусловно, только за биографию, но аппетит приходит во время еды. Скорее всего, следствию захотелось эту красочную биографию использовать и, так сказать, пустить его «по специальности» — заставить признать себя террористом сегодняшним. Но старик он был крепкий, на нем где сядешь, там и слезешь. Тогда (это уже не предположение) стали его «допрашивать» каждую ночь, а днем не давать спать на общих основаниях. Много дней подряд не давали спать пожилому человеку (а было ему уже за пятьдесят), чтобы он себя оболгал. Надзиратели строго следили, чтоб он не спал. Мы старались его прикрыть от «кормушки», чтобы его не было видно и он мог хоть немного поспать, сидя. Удавалось редко. Все это должно было его сломить, чтобы он признал за собой терроризм или другую чушь. Но не на того напали.

За этой заботой не забывали прогонять и через биографию. Спустя несколько дней после начала допросов он как бы удивленно сказал следователю:

— Из вопросов, которые вы мне уже несколько дней задаете, у меня сложилось впечатление, что вы мне не можете простить того, что я в Гражданскую войну воевал на стороне красных.

Думаю, что следователь немного опешил. МГБ действительно давно преследовало «героев Гражданской войны» (как и старых большевиков), но приказов, прямо это формулирующих, не поступало. Следовательно, так говорить и думать воспрещалось — это означало распространять злостную клевету на советскую действительность. Но этот железный старик говорил ведь не о политике государства, а о том, что следует из вопросов самого следователя. А следовало именно это. Клеветы не пришьешь. А у них не отдел по особо важным делам — разрешения на специальные меры не получишь. Да и специальными такого невиданного ста-

рика не сразу возьмешь. А случись скандал, и самого следователя обвинят, что своим неумением (а то и намеренно) «создавал ложное представление о политике партии». Ничего не создавал, делал что приказано, но кого это будет интересовать? Лучше бы поскорее избавиться от такого пережитка.

Так, я переставляю себе, мыслил следователь. А избавиться он мог запросто — надо было только отказаться от лишних вожделений и свести дело к статье, не требующей признания.

Несмотря ни на что, Михаил Петрович противостоял художественному творчеству следователя. И вот однажды он вернулся с допроса и начал расспрашивать меня о случившейся уже к тому времени перемене инкриминируемых мне статей с 58/10 (антисоветская агитация) на 7/35 (социально-опасный элемент) и сказал:

— Видимо, это же будет и у меня.

И, действительно, форсированные допросы прекратились. Следствие отступило. Приписать ему ничего не удалось, и пришлось отказаться от излишеств.

Необходимое примечание: навязывание именно террора, а также все, происходившее в связи с ним в кабинете следователя, — это не установленный факт, а мое предположение. Навязывать ему могли и какую-нибудь другую несообразность. Хотя террор мне кажется наиболее вероятным сюжетом выбиваемого из него самоговора. Но само навязывание самоговора и все остальное — сомнений вызывать не должно... Так и было.

Статья же 7/35, поскольку она ни в чем не обвиняла, не нуждалась в признании арестантом своей вины. Что это за статья такая? Поскольку ее инкриминировали и мне, расскажу о ней подробно. До той поры она не имела номера и была буквенной — СОЭ, что означало социально опасный элемент, как и уже упоминавшаяся КРД (контрреволюционная деятельность) или ПШ (подозрение в шпионаже). Эти статьи не имели конкретного содержания и не требовали доказательств, чем в годы «чисток» были очень удобны для всяких «операций по репрессированию». Под СОЭ легко подпадал кто угодно — от проституток до арестованных ни за что, каких тогда бывало много. При всей неопределенности статья эта была чревата очень серьезным санк-

циями. За нее можно было запросто получить и десять лет лагерей. Теперь же звание «социально опасный элемент» решено было использовать не для ужесточения, а для смягчения наказаний, ибо было сочтено целесообразным возродить ссылки (последние годы она как мера наказания совсем сошла на нет, предпочитались лагеря). Этим «смягчением» очищали наши города от отсидевших (повторников), от детей репрессированных и всех, кто о чем-либо мог напомнить и нарушить атмосферу протрации, но кого почему-то считали удобнее сослать, чем посадить. А может быть, существующие лагеря были уж слишком перенаселены.

Для этих надобностей переименовали статью: буквы, ведущие в лагерь, заменили цифрами, ведущими в ссылку (пока в этом была потребность, потом можно было бы все и перетолковать). И статье дали номер — 7/35... Однако такой статьи в Уголовном кодексе нет. Есть целых две статьи — 7-я и 35-я. Обе они относятся к «Общей части» Уголовного кодекса, представляющей как бы предисловие к нему. В ней толкуются принципы применения кодекса, его статей и санкций. Первой статьей, содержащей формулировку конкретных преступлений и санкции за них, была печально знаменитая 58-я. Статья 7-я сообщала, что к лицам, не совершившим преступления, но по своим связям, прошлой деятельности, медицинскому состоянию и «каким-либо другим причинам» могущим представлять опасность для социалистического государства, могут быть применены все санкции, перечисленные в статье 35-й. А статья 35-я просто перечисляла все возможные санкции, которые могут применяться судами по всем статьям. Значит, и я, и многие другие были осуждены на основании предисловия к кодексу. Просто и мило. Однако спасибо и на том, ибо норм у нас все равно не было, а в данном случае это означало, что кому-то (например, мне) вместо лагеря, начинала светить ссылка. Она была рассчитана и на таких, как Уралов. Конечно, приятнее было бы и ему добавить терроризм, но если не вышло, можно ограничиться ею. Впрочем, я не знаю, что они ему по ней накрутили. Но все же надеюсь, что он попал не в лагерь, а в ссылку.

Суждения и восприятие этого человека были четкими и ясными. «Записки террориста» Савинкова его раздражали своей сложностью и рефлексией.

— Чепуха это. Когда я сел в вагон дачного поезда и должен был убить жандармского полковника Х (фамилию я не запомнил. — *Н.К.*), я думал только о том, придет ли он вовремя, сядет ли, как обычно, в этот вагон, и не помешает ли мне что-нибудь в последний момент. А это все — выдумки.

Много он рассказывал о Гражданской войне. О том, как пресекал еврейские погромы (Махно вопреки выдумкам за это наказывал).

— Однажды ребята повеселились, много награбили. Я собрал их на митинг и устроил хорошую взбучку, обещал всех, у кого найдут награбленное, расстрелять (хотя как бы я мог это сделать — принимали участие в погроме они все). Но ребята меня любили и стали сами «незаметно от меня» сносить вещи куда-то в конец зала, где шло это собрание. И я прилежно их не замечал. А потом я предложил евреям в случае опасности кричать «Караул!», но часто с перепугу они кричали зря.

Евреи, в основном евреи местечковые, вообще, чего он не скрывал, его раздражали. Раздражали по памяти Гражданской войны своей, как он полагал, немужественностью — зачем, например, кричали зря «Караул!»? Понять, что, безоружным и пуганым, им было опасно опоздать с этим криком, он не умел, хотя знал, что поведение его ребят отнюдь не всегда было предсказуемым. Он и в Израиль не верил — считал, что победы там одерживают посланные Сталиным советские солдаты. Я несколько удивлялся подобным чувствам в старом революционере, но никакого злостного характера они не носили. Это не было антисемитизмом. Среди анархистов, как известно, их было достаточно, и среди его друзей тоже. Да и вообще ущемлять он никого не собирался.

Конечно, тогда я был весьма далек от моего нынешнего неприятия революций и революционеров, но и сегодня я с уважением вспоминаю Михаила Петровича, его стойкость и надежность, верность себе. Лучше бы все эти качества нашли иное применение и не связались столь крепко с исторической бедой России, но все же жаль, что такие люди, как Михаил Петрович, давно уже не рождаются на Руси. Плохо, когда они начинают доминировать в общественном сознании, но все же как один из необходимых факторов, при-

сутствующих в жизни, они — их строгость, неподкупность и неуступчивость — необходимы. Сегодня людей, обладающих этими качествами, очень России не хватает.

МГБ занималось не одной Россией и даже не одним Союзом. Людей привозили из всех стран, где побывали наши войска. Привозили их, как видел читатель, и в нашу камеру. И не только русских эмигрантов или невозвращенцев. В нашей камере сидело два человека, вывезенных из Ирана: армянин Гаспарян и перс Али Хекмат.

Все это наверняка было связано с пребыванием наших войск в Северном Иране, куда они были введены временно для лучшего контакта с союзниками, войска которых были с этой же целью введены в Южный Иран (через Иран шла существенная часть военной помощи нашей стране). После войны союзники свои войска вывели, а Сталин, как я узнал много позже (у нас об этом не писали), задержался. Как я теперь понимаю, Сталин пытался объявить эту часть Ирана Южным Азербайджаном (справедливо или нет, мне неведомо) и воссоединить его с Северным, то есть с СССР. Думаю, что Гаспарян, который сидел уже давно, был увезен давно, когда область готовили к этой операции. Он был скорее всего крупным коммерсантом, а таких лучше было «обезвредить» загодя.

Положение его было более чем трагическим — в чужой стране, при относительном понимании ее языка, он вдобавок ко всему был еще почти глух. Был он глух давно или оглох от «нежного» обращения уже в каком-нибудь СМЕРШе, я так никогда не узнал. Как никогда не узнал, в чем собственно он обвиняется. Разговаривать с ним по причине глухоты было трудно. Но по карте, нарисованной на пачке «Беломора», он показал, где жил и где бывал. Побывал он почти во всех странах Европы и Ближнего Востока. Да и вообще был он человеком вполне просвещенным. Однако верующим, что тогда многим из нас казалось странным. Но каждый вечер, когда он подходил к голландской печке, выступавшей из стены (к окну запрещалось) и шептал молитвы, вся камера относилась к этому не только с уважением, но и с завистью.

— Вот что значит верить! — говорил Алексей Михайлович. — Подойдет человек к печке, пошепчет что-то, и ему легче... А тут сидишь, ни в Бога, ни в черта не веришь и все в себе несешь — обратиться не к кому...

Но зависть эта все-таки нас к вере не поворачивала...

Хотя именно в это время я много читал Достоевского, «Соборян» Лескова и вполне сочувствовал тому, что они говорили. Просто полагал, что это разновидность человеческой веры, более наивная, чем моя...

Однажды Гаспаряна вызвали, а нам велели собрать его вещи. Я недавно получил передачу и положил ему что-то — несколько конфет, кажется. Ведь он в этой стране был одинок, прислать ему что бы то ни было никто не мог.

Мы считали, что его увели навсегда. Но через месяц однажды открылась дверь, и в ней появился сияющий Гаспарян. Оказалось, что его увозили в Институт Сербского. Он сиял от счастья — рад был, что вернулся в «свою» камеру. Благодарил меня за ничтожное мое вложение в его вещи. Омрачало ему радость возвращения только одно — боязнь, что его там признали сумасшедшим. Глухота, плохое знание языка мешали ему понять реальность.

— Я здоров! — агрессивно заявлял он, когда ему казалось, что мы этого не понимаем. Но пока это было недоразумениями с благожелательными к нему сокамерниками, они быстро улаживались. Но на следующий день это чуть не привело к несчастью, от которого — говорю это с гордостью — спас его я.

За время отсутствия он позабыл тюремный распорядок и сразу после обеда лег отдохнуть. Нарушение это было не Бог весть какое страшное, надзиратель стучал ключом, и человек спохватывался. Но Гаспарян по глухоте на это не отреагировал. Надзиратель вошел в камеру и выразил свою волю словесно. Реакция была той же. Тогда надзиратель стал трясти его за плечи и стаскивать с кровати, и Гаспарян, всего, что было до сих пор, не заметивший, озверел. Он решил, что вот оно, началось — с ним уже обращаются как с сумасшедшим. И он стал вырываться. Это уже было ЧП — сопротивление администрации. Набежало много надзирателей и старший лейтенант, наверное, дежурный по тюрьме. Гаспарян ничего не понимал и оказывал сопротивление. Мы наблюдали эту картину стоя, как было положено по правилам. И молчали. Я попытался что-то объяснить, но мне приказали не вмешиваться. Говорить не о себе, защищать не себя — запрещалось. Между тем тучи сгустились, нависала беда. Еще немного, и его посадят в карцер, а там

он, не понимая, что с ним происходит, и впрямь может повредиться рассудком. И тогда я заговорил второй раз:

— Гражданин начальник. Тут недоразумение. Разрешите объяснить.

Видимо, старший лейтенант не был злым человеком и почувствовал некоторую неадекватность в этой ситуации.

— Ну, объясняйте.

— Гражданин начальник, тут недоразумение. Он не собирается сопротивляться

— Как не собирается! А что он делает?

— Он только вчера вернулся из Института Сербского.

— Ну и что?

— И подозревает, что его признали сумасшедшим. Он глухой и плохо понимает, что ему говорят. А когда его дергают, он думает, что с ним обращаются как с сумасшедшим.

Я торопился объяснить ситуацию, боялся, что опять остановят.

— А! Да нет, — успокоенно сказал старший лейтенант, — раз его вернули сюда, значит, он здоров.

— Разрешите, я ему объясню

И я повернулся к Гаспаряну. Приходилось кричать ему в ухо, отчетливо отделяя слово от слова:

— Ты — мне — веришь?

Он кивнул. Я продолжал:

— Ты, — ткнул я его в грудь, — здоров.

— Я здоров, — запальчиво заявил он.

— Да, — ты — здоров. Они, — показал я на надзирателей, — знают — ты здоров.

Надзиратели закивали: «Да, да, здоров». После этого втолковать ему, что днем лежать запрещается, было сравнительно просто. Поняв это, он сказал: «Хорошо», был рад, что дело только в этом. Надзиратели тоже были довольны — обошлось без скандала: зло ведь было не в них... И инцидент был исчерпан. Мирнейший человек не погиб как необузданный бунтовщик.

Исход идиллический. Но будь прокляты те, кто его сюда притащил и кто обязал нормальных парней мешать спать пожилому, измученному человеку. Я и теперь рад, что мне тогда удалось распутать это такое простое, но в тех условиях почти неразрешимое дело.

У Али Хекмата, соотечественника Гаспаряна, отношения с новой для него средой складывались иначе. Он был молод, красив, образован, принадлежал к высшим кругам своей страны, его дядя был тогда министром иностранных дел Ирана. По профессии он был физиком, теоретиком. Мне он был очень приятен и близок, ибо, несмотря на все перечисленные качества, был верующим коммунистом. Я не знаю, в какой Сорбонне приобрел он эти свои убеждения. Он, видимо, слишком далеко зашел в своем сотрудничестве с первым в мире государством социализма, и когда тому пришлось спешно убираться из Ирана, его увезли тоже — из тех соображений, что много знал. Господи, сколько таких тонких, благородных и разумных людей было захвачено этой наукообразной утопией, «идеей» и служило примитивным и грязным расчетам человека, чуждого во всем и их идее, и им самим! Но так было. И так же, как я, он не изменил своим идеям и здесь. Только рассчитывал, что его пошлют работать по специальности в «шарашку». Вместе мы сидели недолго, меня скоро забрали, но мы подружились. И он бросился мне на шею, когда мы потом случайно встретились с ним на пересылке. От него я узнал, что мечта его сбылась — его везли на «шарашку». Больше я его, к сожалению, не встречал. А жаль: его судьба — тоже штрих нашего времени, кирпич обвалившейся Вавилонской башни.

Наш «интернационал», да и вообще жизнь камеры №60 в период моего пребывания в ней были бы неполны без упоминания о Джумагали Аликоеве, каракалпаке. Каракалпаки — немногочисленный тюркский народ, родственный, как я потом узнал, казахам, но занимающий (не знаю, в какой пропорции с узбеками) существенную часть Узбекистана, практически весь его северо-запад, включающий западный и южный берега Аральского моря. Все это я знал (в основном из довоенного учебника географии СССР для восьмого класса), но не предполагал, что когда-нибудь встречу живого каракалпака. Однако встретил. И какого! Но об этом и пойдет речь. Об этом я рассказывал много и с успехом, это был мой любимый устный рассказ, коронный номер, но я никогда не пробовал изложить на бумаге. Может, это и невозможно. Не знаю. Попробую.

Однажды ночью я был разбужен специфически громким (приспособленным для того, чтобы днем будить прикемаривших) поворотом ключа в замке. Два надзирателя внесли кровать и постельное белье. Это был верный знак, что кого-то сейчас приведут. И, действительно, через пару минут в камере появился крепкий молодой человек азиатского типа. Он стал стелить свою постель, уже собираясь ложиться, окинул взглядом камеру (а в ней всегда горел свет) и, обнаружив меня (не спал я один), дружелюбно промолвил:

— Здрасити! — его карие необыкновенно живые глаза смотрели на меня с любопытством.

Поначалу, гадая, кто он есть, я подумал даже: не Его ли это Величество, маньчжурский император Пу-И, о котором я слышал, что он тоже сидит где-то здесь, на Лубянке. Но после этого приветствия такая версия отпала. Я поздоровался тоже. И тогда он ткнул пальцем в мою сторону и спросил:

— Какой нас?

Вопроса я сразу не понял. Мозги-то мои были сонные.

— Что вас? — спросил я.

— Не «вас» — нас! Какой нас? — и видя, что я не понимаю, уточнил: — Ну, нас! — Русски? Немис?

Но я и уточнения не понял. Я решил, что он просто интересуется, русский я или немец — аспект для послевоенной Лубянки, где тогда сидело много немцев, вполне уместный. Новый сокамерник явно не был новичком в тюрьме и с этим сталкивался. Я решил, что при такой постановке вопроса я уж точно русский. Не немец же я. Так я ему и ответил. Он удовлетворенно накрылся одеялом и уснул.

Утром я понял, что ошибся. Просто это был человек, пораженный обилием наций на земле, он буквально коллекционировал их в своем сознании. Эту работу он продолжил и утром. Про Сименса я сказал ему, что тот по нации одессит. Сименс ухмыльнулся и подтвердил. Новичок очень удивился — о такой нации даже он не слыхивал. А он этих наций перевидел много. В этот же день он рассказал свою историю. Привожу ее в его изложении и своем пересказе — что и как запомнил. И так,

История Каракалпака Джумагали

Среди бурь и невзгод Второй мировой войны.

Сам он каракалпак. Жил он тоже Каракалпак (в Каракалпакии). Жил неплохо. У брата было три жены, он, видимо, собирался последовать его примеру, но пока женат не был и был членом бюро райкома комсомола. Был даже однажды командирован в республиканский центр город Нукус на курсы повышения квалификации комсомольских работников. Курсы благополучно кончил, квалификацию комсомольского работника повысил, но заболел и пошел лечиться к мулле. Несмотря на это, выздоровел и обогащенный знаниями вернулся к себе домой.

Но теперь, как человек образованный, он стал искать работу по призванию и по рангу. И нашел — начальником пожарной охраны хлопкоочистительного завода. Работа была хорошая: пожары для него были абстракцией, а командовать пожарными постами и следить, чтоб в нужных местах находились в ассортименте багры, шланги и прочее, было нетрудно. Жизнь была хорошая. Но ничто на земле не вечно — грянул, как вскоре стали выражаться, грозный час Отечественной войны. И комсомольскому активисту, лицу почти номенклатурному, предложили добровольно пойти на фронт. Он, не зная, что это значит, согласился.

И поначалу все было хорошо. Провожали с музыкой. Угощали бесплатно конфетами, осыпали цветами. Потом посадили в вагоны и «побезли» — тоже бесплатно. Везли долго и далеко. Впечатлений было полно. Но как ни далеко от родимой Каракалпакии до города Сталино на Донбассе (Украина), а в самое неподходящее время, а именно в октябре 1941 года, Джумагали туда прибыл. Прибыл и понял, что здесь не шутят, а того и гляди голову оторвут. В общем, война ему не понравилась. Но тут кто-то то ли от безвыходности, то ли по глупости послал взвод таких каракалпаков в разведку или просто в передовое охранение. Вдруг, откуда ни возьмись, со всех сторон появились немцы, наставили автоматы и сказали: «Руки вверх или стрелять будем». Раз такая альтернатива, естественно, следует поднять руки вверх (иначе ведь без головы останешься), что Джумагали и сделал. Сначала он думал, что все, отвоевался, но не тут-то

было. Немцы загнали их в лагерь, в Запорожскую область, заставили убирать свеклу и кормили этой же свеклой. А Джумагали не любил свеклу, он любил мясо. И начал доходить, завшивел, совсем стал пропадать. И тут опять появились немцы и спросили:

— Кушать хочешь?

— Хочу, — сказал Джумагали.

— Поступи в нашу армию, будешь кушать, — сказали немцы.

— Хорошо, — сказал Джумагали. Как же отказаться, если обещают накормить. И немцы действительно не обманули — не только накормили, но также повели в баню и переодели в немецкую форму. И после этого опять «побезли». И опять, конечно, бесплатно. И все дальше на Запад.

— Два ден безли... Украина — пся... Польша! Город... город... Могилев-польска.

Конечно, он был тогда не в Польше, а все еще на Украине, и Могилев не польский (в Польше Могилева нет), а подольский. Но не будем придирааться к его познаниям в географии — он ее изучал на практике. В Могилеве их некоторое время тренировали немцы — айн! цвай! драй! Нах линкс! Нах рехтс! — а потом посадили в вагоны и опять «побезли». На Запад.

— Польша — пся! Германия — пся! Пранция! Город... Город (он напрягает память и произносит каждый слог отдельно и отчетливо) Ша-та-льон! Есть такой?

Получив заверение, что да, есть, он расслабляется и лицо его принимает мечтательное выражение. Во французском городе Шатильоне (а не в Шатальоне) Джумагали было хорошо. Климат — лучше, чем в Каракалпакии. Войны — никакой. Служил он во вспомогательной части при военном аэродроме. Получал какое-то жалованье. Кормили вполне достаточно — по немецкой солдатской норме. Кроме того, шатильонские продавщицы иногда отпускали ему как экзотическому мужчине хлеб без карточек. Вдобавок он регулярно получал талоны в солдатский публичный дом (через что приобщился и к этой стороне западной цивилизации). В свободное время обыгрывал немецких солдат в карты. У них, правда, согласно Гитлеру, должна была быть особая, «нордическая» хитрость, но он вполне обходился своей доморощенной, азиатской. Не жизнь — малина, мусульманский рай.

Но ничто не вечно. Как ни поздно для нас, но слишком рано для него союзники открыли Второй фронт, высадились на юге, а потом в Нормандии, стали быстро продвигаться вглубь Франции. Джумагали предложили умирать за великого фюрера и не менее великую Германию, на что у него не было ни малейшего желания. Он был согласен ради кого угодно жить, а умирать за кого бы то ни было ему казалось делом неприятным и ненужным. И овладело им разумное желание сдаться в плен — тем более теперь он уже знал, как это делается и что люди с умом на этом не проигрывают.

Но как это сделать — союзники вокруг с таким предложением не появлялись, давили на весь фронт сразу. Рутина не годилась, надо было искать другие пути. Раз или два после приказа об отступлении он попытался притвориться павшим смертью храбрых, но немцы знали этот контингент и стреляли по убитым. Пришлось воскресать, вскакивать и отступать с ними. Дело затягивалось и грозило непоправимыми последствиями. Но он, какой-то калмык, еще кто-то сообща нашли выход — решили просто дезертировать. Убежали в лес, нашли в сторожке какую-то бабку, связанную с партизанами, и сдались ей, а через нее — партизанам. Очень скоро подошли американцы и перебежчиков передали им. Не знаю, какие мытарства Джумагали пережил, попав к партизанам (то есть как у них было с кормежкой), но после того как он был передан в руки американцев, они, если и были, кончились — начали кормить американским солдатским рационом. А что это такое, знаю даже я — они несколько послевоенных месяцев входили в американскую продовольственную помощь Украине, и мои родители в счет карточек получали их. Один дневной рацион — большой картонный ящик — давался примерно на неделю. Короче, Джумагали его второй, противоположный плен с самого начала не был в тягость. О свиной тушенке он вспоминал с удовольствием. Возможно, она не ассоциировалась у него с запретной для мусульман и иудеев свининой.

Во Франции Джумагали после второго пленения пробыл недолго — его вместе с другими пленными, в основном немцами, быстро переправили через Ла-Манш в Англию. Об Англии у него не осталось никаких воспоминаний: был туман, кормили хорошо. Но очень скоро его опять посадили на корабль, опять — «побезли», и опять — на Запад.

— Сем ден... бода... бода. И — псе. Сем ден только бода... И каш!. каш!.. (качка, лицо его искривляется)... Плохо... Ой! Но американ доктор придет, дает порошка. Луше! — он с явным облегчением поглаживает себя по груди и горлу, чувствуется, что он и сейчас наслаждается тогдашним избавлением от тошноты. — Луше... Сем ден приехат Америка...

— А куда вас привезли?

— Америка.

— Ну вот, заладил: «Америка, Америка»! А в какой город вас привезли?

— Не знаю.

— Может, в Нью-Йорк?

— Не знаю.

— Ну, баба там с факелом стояла?

— Не знаю.

В общем, ни по приметам, ни по названию определить ничего нельзя было. Не зафиксировалось. Может, он просто был заморожен урбанистическим пейзажем, может, просто гадал, где здесь среди этого нагромождения может помещаться продпункт — не знаю. Но разговоров и восклицаний, которые всегда бывают в таких случаях, он явно не слышал и порта, через который был ввезен в Америку, не знает.

Не знал он, видимо, и где помещался лагерь военнопленных, в котором он находился. И я не уяснил. Знаю только, что все пленные — и немцы, и наши — там использовались на уборке яблок. Каждое яблоко нужно было сорвать и аккуратно уложить в ящик. Немцы, вероятно, так и делали. Немцы, а не наш герой и его приятели.

— А мы — жестом показывал Джумагали, как трясет дерево, — так.

— Прибегат американ, плячет: «Так низя. Надо так!» Он уйдет, а мы — (и тот же жест).

Между прочим, американцы как противники рабского труда пленным за работу платили. Долларами. И доллары Джумагали очень понравились:

— Пять сент, — вспоминал он с удовольствием, — плитка шоколад стоит.

Потом от сидевших с ним в других камерах (до нашей) я слышал, что тогда, в лагере, его завербовала американская разведка, но мало в это верю. Впрочем, людей, по

своему уровню способных на такую услугу отечеству, в правительственных учреждениях я встречал и видел по телевизору. Но тогда, как я слышал, еще все было иначе. Что же касается самого Джумагали, то, если б ему за определенную мзду предложили подписать такое обязательство, он подписал бы его без раздумий, просто как обычную расписку в получении денег.

Так или иначе, жизнь свою в яблоневом саду он тоже вспоминает как безоблачную. А когда он вдруг заболел и попал в местную больницу, она вообще превратилась в райскую. Ибо условия содержания в ней воспринимались им как роскошь. Вдобавок, работал в ней русский доктор, который относился к нему как к земляку — хорошо было! Но когда он начал выздоравливать, однажды открылась дверь палаты, где он лежал, и:

— Придет русска полковник. Посмотрет кругом и пойдет прямо ко мне.

— А как он догадался? — пошутил кто-то из сокамерников: дескать, трудно было найти каракалпака среди американцев. Но Джумагали остался невозмутим.

— Не знаю, — подумав, сказал он. И продолжал: — Полковник спросит: «Родная поедем?» «Поедем! — я ему сказал. — А что мне там будет?»

Обычно в таких случаях офицеры репатриантских групп отвечали восторженно: «Да не беспокойся. Что б там ни было, Родина — мать, Родина простит». Этот ответил честно:

— Я ведь не знаю, что ты натворил, в зависимости от этого и будет.

— Хорошо, — сказал Джумагали и решил, что обманет.

И вот через несколько дней после этого:

— Придет американ солдат, посмотрет час. И скажет «О-кей», и мы пошли.

Пошли они на вокзал. По дороге все встречные, завидя этот эскорт, кричали: «Джапон! Джапон!», а Джумагали безуспешно вразумлял их: «Я не джапон, я — каракалпак!» — но они его плохо понимали — они ведь воевали с Японией, а не с Каракалпакией. На вокзале он впервые заволновался. Как бы то ни было, он до сих пор всегда путешествовал организованным порядком — при кухне, а тут один солдат с винтовкой и часами — кто кормить будет? И он стал объяснять солдату — словами и жестами — «Кушать хочу! Ку-шать!»

— О, О-кей! — засмеялся солдат и завел Джумагали в привокзальный ресторан, где и накормил. Проблемы не оказалось.

Потом была пересадка, и они перешли на другой вокзал. И на этом вокзале произошло нечто, поразившее его на всю жизнь. На вокзале этом он был сразу окружен толпой невероятных людей. Рассказывал он об этом так:

— Смотрю — Муж... жена... Девичка... Много-много — шорный-шорный... Рук шорный, ног шорный, лисо шорный — только зуб белый... Ей-Богу!

— Ну врешь, таких не бывает, — подначивает его кто-то.

— Нет! Бывает! — восклицает он страстно. — Я сам думал: не бывает — Бывает! Я видел! А говорят: я шорный! Нет! (с удовлетворением) Я не шорный — он шорный!

Видимо, это было где-то на Юге, где тогда еще была сегрегация, и солдат привел его в отделение для цветных. Они окружили его плотной толпой и тоже кричали: «Джапон! Джапон!», и Джумагали так же отвечал им: «Я не джапон, я — каракалпак!» Кто-то сунул ему под нос ученическую тетрадь с контурами карты мира на обложке, чтоб он показал, где живут каракалпаки, и он ткнул куда-то пальцем. Возможно, в Тихий океан, возможно, в Атлантический — он их не различал.

Наконец, прибыли они в город Девис на Тихоокеанском побережье, и здесь солдат сдал Джумагали в советскую репатриантскую роту. Джумагали, пересекший до этого Европу и Атлантику, двигаясь все так же «вперед на Запад!», пересек теперь и американский континент. И вышел к Тихому океану, как некогда русские землепроходцы — только с другой стороны и в другом месте.

Порядки в советской роте были самые либеральные: как бы и не советские. Репатрианты в ожидании отправки работали грузчиками в порту, зарабатывали доллары, и никто их валютные заработки не контролировал. И вообще — когда хочешь, уходи, когда хочешь, приходи, с кем хочешь встречайся... Держали фасон перед американцами.

И показания с репатриантов снимали либерально: мели, Емеля, твоя неделя. И Джумагали поведал властям предержавшим свою нехитрую биографию, согласно которой он, Джумагали Аликеев, попав в плен и оказавшись в лагере военнопленных, вступил в антифашистскую организацию.

За что потом сидел в концлагере, откуда был освобожден и вывезен американцами. Теперь он рвется на родину. Он эту биографию не выдумал, просто это была биография другого человека, с которым он где-то случайно пересекался, а память у него была острой, девственной, незамутненной. Не знаю, поверили ли ему, но — не возражали.

Наконец, настал день — по роте разнесся слух (передаю его в изложении Джумагали):

— Ребята, трать все деньга — едем родная.

Джумагали закупил на всю свою валюту шоколаду и сигарет. Для торговли. И на следующий день на пароходе «Петропавловск» (кажется, я точно запомнил название) отбыл на родину — держа курс опять-таки на Запад.

Опять «был бода, бода», опять — «каш-каш», но на этот раз не было американского доктора и порошков ему никаких никто не дал: «свои» точно знали, что он не барин — и так доедет. И Джумагали благополучно протошнило от порта Девиса в Орегоне до порта Александровск-на-Сахалине.

На Сахалине в его девственную душу вкрались первые подозрения — не выпускали на берег. Но все равно у него остались какие-то впечатления о сахалинской жизни:

— На Сакалин мужик на собак как на ишак дрова возит.

Или:

— На Сакалин мужик, когда дождь нет, плячет.

На Сахалине же он встретил земляка и приятеля, который всю войну прослужил здесь и этого пути не проделал. Тот дал домой лаконичную телеграмму почти эпической тональности: «Джумагали едет». Но Джумагали еще месяц проторчал на пароходе в порту Александровск. Но прошло и это. И вот он прибыл во Владивосток. Когда он рассказывает об этом, глаза его округляются. Встреча была и впрямь приготовлена торжественная:

— Смотрю — собак, пулемет, энкавэдэ — много-много. Плохо!

Как только пароход пристал, все это сразу же ринулось: «Давай-давай! Скорей, скорей! Быстро!» По-видимому, и без просвещающих подзатыльников тоже не обошлось, чтоб быстрее акклиматизировались, кто родину забыл. Но он не был обескуражен.

Потом репатриантов посадили в пассажирский — правда, местный — поезд и опять повезли в неизвестном на-

правлении. Но он сунул проводнице плитку американского (в 1945—1946 годах) шоколада, и она выдала ему государственную тайну — их везут в город Сучан, на угольные шахты, в проверочные лагеря.

В Сучане его сначала определили на подземные работы, и одну упряжку Джумагали отработал под землей. Там ему очень не понравилось, но он быстро разобрался в обстановке и, сунув кому надо сколько надо, стал трудиться на поверхности. Не думаю, чтоб слишком прилежно. Прилежно он занялся коммерческими операциями. Привезенные им шоколад и сигареты были неплохим начальным капиталом; он обернулся много раз. Джумагали богател. А на допросах он держался той же концлагерной версии. В конце концов его освободили из лагеря, но без права выезда из города Сучана. А он хотел выехать — домой. И каким-то образом (каким, не знаю) он купил в военкомате «у русска майор Федотов» демобилизационные документы на чужое имя и все же отбыл на родину — по Великому сибирскому пути продолжил свое начатое в 1941-м движение на Запад.

Ехал он правильно, вышел в Новосибирске, где осмотрел вокзал и остался им доволен («хороший вокзал»), закомпостировал литер и отправился по Турксибу в Ташкент, оттуда в Чарджоу и наконец прибыл домой. Недобровольное кругосветное путешествие было завершено. На Запад он уезжал из дома и теперь с Востока возвращался домой. Впрочем, сам Джумагали, конечно, слышал не раз такое определение своих странствий, но это было для него абстракцией, он-то двигался только вперед.

И вот, наконец, он дома, и дома радость. Демобилизованный воин, доблестный защитник родины вернулся под сень родных пенатов. Его чествуют, зовут работать в райком комсомола, в райком партии, а он сидит и не знает, что делать. Документы на чужое имя дома не покажешь, он их и сжег, а своих у него нет. Впрочем, в тех местах можно было подолгу жить и без документов, и без должности. Но тут его стали тягать в город Нукус, на допросы. Оказалось, что МГБ вышло на его шатильонских соратников, а уж через них на него. Некоторое время его вызывали, допрашивали и отпускали. Но однажды вызвали, допросили и спросили:

— У тебя есть, где переночевать в Нукусе?

— Есть, — ответил Джумагали.

— Тогда переночуй и приходи в девять утра.

Он пришел, его, в машину, на аэродром и в самолет. Так каракалпакский Магеллан узнал еще одну стихию — воздух. В Ташкент прилетели к вечеру, рабочий день в МГБ кончался, нужные люди ушли, и сопровождающие опять спросили:

— У тебя есть, где переночевать в Ташкенте? — Он опять ответил: «Есть». — Ну тогда приходи к этому входу завтра в девять утра.

И он пришел. И тут же был препровожден в кабинет министра госбезопасности Узбекистана — кажется им был тогда генерал майор Цанава — где его встретили как родного. Разговаривали ласково, официантки с кружевами на руках приносили ему котлеты с жареной картошкой, и за отеческой беседой он подписывал все, что ему давали. Три ночи он спал на диване в кабинете министра, но потом, когда он подписал на себя достаточно, его перевели во внутреннюю тюрьму. Но и там просидел он недолго, ибо этим важным политическим преступником интересовалась Москва (потому здесь им занимался сам министр). И в один прекрасный день он в отдельном купе вагонзак выехал в Москву. Вагонзак, как всегда, был переполнен, а этот собеседник министра прохлаждался один в целом купе. Так он и прибыл в Москву, (где я и имел удовольствие с ним общаться). Безусловно, теперь Джумагали предстоял путь на Восток, но сидел он уже года полтора, а конца делу не было видно. Похоже, все его соратники, как и он, подписывали в разных городах все, что им давали, но все не сходилось — не было централизованного сценария. Видимо, в Москве пытались теперь все свести в одно, но работа, несмотря на податливость материала, затягивалась. Закончить эту историю я хочу кратким диалогом, которым собственно и завершилась «исповедь» Джумагали в камере.

— Слушай, Джумагали, — спросил Николай Сергеевич Соколов, — как ты думаешь — сколько тебе дадут за все твои художества?

— Пять, — не колеблясь, ответил Джумагали, но, видя полную неудовлетворенность аудитории, пошел на уступки. — Ну, босемь!

— Дурак, — сказал Соколов, — дадут тебе десять, так беги не оглядывайся. Чтоб не добавили.

— А что я сдѣлил?!

— Как! Ты же против Родины воевал! (Это я тогдашний, с тогдашним пылом.)

— Нет, я родная не боебал! Я боебал мерикано-глийски перализм — произносит он, победно на нас глядя.

Но Соколова это не берет:

— Это ты брось! — говорит он. — Они империалисты, но тогда они были нашими союзниками, а ты надел форму врага.

— А что дѣлать? Ты жить хочу, я — жить хочу...

Последний довод буквально взрывает Михаила Петровича Уралова. Такого кощунства старый революционер вынести не может:

— Не разговаривайте с ним. Он на всех донесет. Он жить хочет!

Но Джумагали о кодексе чести революционера или даже просто интеллигента понятия не имеет. И он завершает свою мысль:

— Ты говоришь, Соколов, что я присяг нарушение сдѣлил?

Соколов кивает. И Джумагали уверенно продолжает:

— Да, сдѣлил! А почему? — и он обводит всех взглядом человека, которому известна невероятная мудрость, и вдруг сообщает как отрубает:

— Бойна!!!

А потом поясняет, почти скандирует, дескать, запомни на всю жизнь:

— А если не бойна, никому присяг нарушение не сдѣлил!

Вот и вся его история — история человека, принудительно впутанного в мировые события, о сути которых он имел очень смутное представление. От него все время разные власти под страхом смерти требовали одного и того же — верности и самоотверженности. И еще — каждая на свой салтык — употребления определенных словесных штампов, которые не приведи Господь перепутать. Все это и выработанная этой ситуацией примитивная система ценностей, венец которой — самосохранение, придает непереборимый комический фон его рассказу. Смеялись все в камере, слушающая его рассказ, смеялись все, кому я в разные годы его рассказ пересказывал. И это естественно. Не знаю, удалось ли мне этот фон передать на бумаге (я не прозаик), но в

самой истории он присутствует. С годами (кстати, позже части моих слушателей) я все больше сознавал и трагическую суть этой истории. Нет, я отнюдь не забыл, с кем воевала страна и не пересматриваю необходимость воевать, но для Джумагали это было вмешательством непонятных, чуждых и опасных сил в его жизнь. Он надел немецкий мундир так же просто, как получал комсомольский билет и путевку в комсомольскую школу, как слушал там лекции. А потом оказалось, что за это надо и голову подставлять — это уж было для него слишком: мимикрией стоит платить за жизнь, а не за смерть. Думаю, что его история очень существенна для понимания многих трагедий XX века.

Однако от слишком долгого погружения в судьбу Джумагали (тем более, что ее завершение мне неизвестно) и от воспаряющих обобщений пора возвращаться на землю — к окончанию рассказа о жизни шестидесятой камеры.

Непременным участником ее стал Джумагали. И поначалу не нарушал ее общей атмосферы. Легко проникался всякими тюремными «парашами», но в его устах они получали какую-то жесткую определенность: — Сорок восьмом году тридцать первый декабря никому тюрьме не будет, — объявлял он в ответ на чьи-либо планы и опасения.

— Почему? — удивленно спрашивал тот.

— Амнист будет, — безапелляционно заявлял Джумагали. Как я уже говорил, слухи об амнистии всегда бродили по тюрьмам. В его «литобработке» они выглядели именно так.

При этом он внимательно, как все мы, слушал лекции профессора Ромашова. И однажды даже задал интригующий его вопрос:

— Скажи Романчеев, пошему он бывает шорны-шорны? Как так?

Арсений Викентьевич сказал, что вопрос интересный, но в науке пока точного ответа на него нет, существуют гипотезы, предположения, которые он кратко изложил. Джумагали остался очень доволен ученой беседой.

А больше всего он любил домино — «забивать козла». Играл страстно и нечестно — заглядывал в чужие костяшки. Делал он это откровенно и, когда его ловили на этом, неизменно извинялся:

— Зминяюсь.

Свои костяшки при этом он старательно оберегал от постороннего глаза, держа ладони с ними на максимальном приближении к лицу. Но однажды Алексей Михайлович, обдумывая очередной ход, вдруг схватил его за оба запястья и приблизил к себе обе его ладони со столь тщательно оберегаемыми костяшками. Джумагали обомлел: от всех других он ждал только честной игры.

— Ты это... почему такой? — вскричал он. На что Алексей Михайлович, сделав свой ход, ответил:

— Змини!

Джумагали был поражен в самое сердце.

Но недели шли. Меня долго не вызывали. В голову лезли страшные мысли, а в душе крепла не имевшая никаких видимых оснований уверенность, что все обойдется. И чем больше крепла уверенность, тем страшнее мне становилось. Ведь на ней держалась сама моя возможность выжить, я погружался в нее, ликовал, а потом вспоминал, что вся она держится на соплях, и словно просыпался в холодном поту. Подкреплял ее только тот факт, что меня долго не вызывают. За несколько месяцев меня вызвали только один раз ночью (потом, как я уже упоминал, дали отоспаться), но не по моему поводу — интересовал их двоюродный брат моей приятельницы Киры Майоровой, школьник. Когда меня о нем спросили, не знал, о ком речь. Конечно, приходя к Кире (она жила вместе с двоюродной сестрой), я видел там ее двоюродного брата, но, по-моему, никогда с ним не разговаривал и не знал его фамилии. Так и записали. Особо ничего не добивались — явно делали работу не для себя.

Но однажды, наконец, меня вызвали всерьез, днем. И оказалось, что на переквалификацию обвинения. Как я уже писал, статью 58/10 мне заменили на 7/35.

В тексте обвинения заменили один термин. Теперь я писал и читал среди знакомых стихи не антисоветского, а только идеологически невыдержанного содержания. Схоластика? Да. Но из-за этой схоластики мне намекнули, что все может кончиться и ссылкой, то есть что я могу и выжить.

Не помню, в тот раз или раньше мне предъявили акт литературной экспертизы по моему творчеству. В экспертную комиссию входило три человека. Одним из них был

критик, будущий (середины пятидесятых) редактор журнала «Молодая гвардия» Александр Николаевич Макаров. О двух других, мужчине и женщине, я никогда больше не слышал. Фамилия мужчины была Хотеев, фамилию же женщины с годами забыл. Создали они (подозреваю, что один Макаров, остальные согласились) прелюбопытнейший документ. Частично он содержал все, что требовалось следствию (но в смягченных тонах), частично же представлял собой очень серьезный критический разбор всего моего творчества, всех его внутренних сомнений и противоречий, каких в тогдашней печати быть не могло ни о ком. Думаю, что этот акт очень содействовал переквалификации обвинения, а скорее всего был и заказан с этой целью.

Так или иначе, это способствовало моему спасению. Чувствовалось, что и сами следователи довольны таким исходом. Теперь оставалось ждать только подписания статьи 206 — окончания дела. С облегченным сердцем я вернулся в камеру. Все меня поздравляли, и я с удовольствием принимал поздравления. В сущности, с чем? С тем, что меня ни за что ни про что отправляют не в лагерь, а в ссылку. Нелепость, с нормальной точки зрения. Но мы родились внутри этой нелепости, вне ее себя не мыслили, и возможность не стать бессмысленной щепкой при рубке леса радовала.

И вот вызвали меня подписывать двести шестую.

Процедура эта состояла в том, что обвиняемому предъявляются все материалы его дела (без, конечно, агентурных данных) и он, просмотрев их, скрепляет все своей подписью. И тут я заартачился — в деле оставались все лживые показания, и я требовал их убрать. Убрать почему-то нельзя было.

Меня уверяли, что для дела это неважно, что мне этих показаний и так никто не инкриминирует. Я и сам знал, что не инкриминируют, но скрепить своей подписью такие показания все равно не мог. Даже идиотские показания Телегина, показавшего, что отношения у меня с ним были хорошие — настолько, что иногда мы даже с ним здоровались на лестнице, но что при этом я ему известен как опасный и скрытный враг, хотя конкретно он ничего сказать не может, и именно ввиду моей чрезвычайной вражеской скрытности. Конечно, неизвестно, что тут от Телегина, что от того порочного красавчика, который во время одного из

допросов приходил ко мне «знакомиться» и о котором с ужасом рассказывал мне потом Игорь Кобзев. Но как бы то ни было, подписывать дело, содержащее показания, где так нахально утверждалось, что я враг, я все же не хотел. А ведь там были еще показания одной дамы, которая утверждала, что я обманом увернулся от фронта и еще этим хвастал (так интерпретировала она рассказанную уже здесь мою историю с военкоматом), — так что ж, и это скреплять своей подписью? Остальные были не лучше. Все мои стихи называли вражескими, что-то плели. Подписать дело, содержащее их (или их руками записанную) клевету, я не мог. Это, как ни смешно мне теперь, ставило меня в ложное положение перед самим собой и другими — что ж я, последние годы всем врал, что ли?

Исключение составляли только Максим, о котором я уже здесь говорил, и Сашуня (Александр Парфенов). Они отделялись только легкой и неопасной критикой в мой адрес, но делали все, чтобы отвести от меня удар. Трудней всего приходилось Сашуне, который был зам секретаря партбюро. Ему при этом надо было показать и что партбюро было на страже, и что я был вполне лоялен. Доходило до смешного. Однажды он нашел (а красавчик записал), среди моих ошибок, с которыми боролось партбюро, и такую «Мандель воспевал реакционное прошлое нашей родины». Это было неопасно. В тот момент прошлое нашей родины не подлежало сомнению и требовало воспевания. И уж никак не могло быть реакционным. Но форма требовала. Нужны были мои ошибки, которые партбюро вскрыло, а я, как честный советский человек, осознал и исправился. Он раньше не раз выручал таким приемом многих, и меня в том числе. Он не знал, что здесь это не работает, что все уже решено. Сейчас его давно нет. Помяни, Господи, в Царствии Своем душу этого хорошего, доброго, естественно порядочного человека.

Но вернемся к подписанию двести шестой. Процедура этой положено было проходить в присутствии прокурора, — конечно, специального, из отдела по наблюдению за органами (кто за кем наблюдал?), но прокурора — липа требовала строгого соблюдения формальностей. И этот прокурор Александр Петрович Дарон явился. Веселый, сияющий бонвиван. Конечно, быть столь радостным и сияющим на та-

ком месте смог бы не всякий — этот смог. Потом, в период гонений на евреев, он и сам загремел. Без вины, конечно. Тогда на его месте засиял другой. А может, наоборот, он не сиял, а мрачно исполнял свой привилегированный долг — кто знает? Но только и он, заверяя бумажки, корежащие чужие судьбы, чувствовал себя невиноватым. Мы ведь вообще страна невиноватых — может, поэтому и никак не выберемся из ямы, в которую все без вины попали.

Но мысли эти — нынешние. Тогда я был от них весьма далек, Александр Петрович сиял, а будущего никто из нас не предвидел.

Предупреждаю: никакого раздражения против Александра Петровича у меня не было и нет. Мне лично он ничего дурного не сделал — более того, сделал даже хорошее. Я говорю не о нем, а о нашем общем падении.

Однако вернемся к «делу». Сначала Алкксандр Петрович непринужденно произвел формальный допрос по всем пунктам. Это было легко — по смыслу статьи 7/35 сознаваться ни в чем не надо было. Но опять возник спор о лживых показаниях — я требовал их изъятия, а следователи не соглашались. И тут он нашел мудрое решение, которое устраивало всех.

— Составь еще один протокол, по поводу этих показаний, — посоветовал он Бритцову, — пусть ответит по поводу каждого из них, что он в нем признает верным, а что — отрицает.

Такой протокол был составлен, после чего я подписал двести шестую, и следствие было закончено. Итак, я настоял на своем. Сделал я это из глупых, чисто идеологических соображений. Но теперь думаю, что это принесло мне и практическую пользу. Наверно, именно из-за этого я, в отличие от, например, Юрия Айхенвальда, избежал повторного ареста в ссылке. Ему тоже заменили статью, но лживые показания формально опровергнуты не были. Это, вероятно, и обнаружил очередной ревизор или интриган — проявил бдительность и подкузьмил коллег. А у меня в этом смысле все оказалось в порядке. Так, вероятно, оказалось лучше и для моих следователей — а то бы им приписали брак в работе. Глупая принципиальность обернулась предусмотрительностью. Конечно, все это мои предположения, но у меня есть основания так думать.

Кончая с темой следствия, я хочу уточнить мое отношение к следователям. Ибо из того, что я часто говорю о них мягко и с сочувствием, а также из того, что я по тогдашнему времени легко отделался, может создаться неверное представление о той страшной организации, где они работали. Ко мне они, действительно, относились неплохо. Очень долго, до 1989 года, когда Ф.Е.Медведев рассказал мне, как было дело, я даже полагал, что они сами подвели меня под переквалификацию статей. Этого они не могли, но были явно рады, что это произошло. Но я ведь был не просто невиновен — невиновны были все, с кем они имели дело, — а был, к сожалению и стыду моему, горячим сторонником строя, его оправдателем, даже оправдателем их все-таки непопулярной в народе деятельности. Это от удивления могло рождать и благодарность. И это же не помешало бы им добиваться от меня ложных показаний (чего без пыток было бы им не добиться — я не умею повторять бессмыслицу) и затолкать меня лет на десять в лагерь. Ничто ведь не помешало тому же Бритцову превратить Минухина в меньшевика и террориста, а это не исключительный случай. Наоборот, исключением было то, что произошло со мной. Они творили злодеяния, но по природе были не злодеями, а обыкновенными советскими людьми, просто им доверили некое важное дело, суть которого по не менее важным причинам не раскрыли.

Так или иначе дело было закончено. Через несколько дней меня опять вызвали, завели в бокс и официально уведомили, что мое дело передано в ОСО, в Особое совещание при министре госбезопасности. Оставалось только дожидаться его решения.

Уже перед самым объявлением этого решения, в конце августа, в нашей дружной камере произошло неприятное событие. По вине все того же Джумагали. Все произошло из-за щетки. Каждое утро нам на несколько минут давалась щетка для уборки камеры. Люди, лишённые возможности нормально трудиться, с жадностью хватались за эту работу. Соблюдалась очередность. Никто не в свою очередь за щетку не брался. В то утро была очередь Алексея Михайловича, но Джумагали, получив щетку из рук надзирателя, вцепился в нее и не захотел ее передавать дальше. Это была наглость, рассчитанная на безнаказанность. Алексей Михай-

лович рассердился и силой вырвал щетку из рук наглеца. Тогда Джумагали совершил непозволительное — стал стучать в дверь и вызывать надзирателей.

Есть люди, которым, на каком бы уровне развития они ни находились, от Бога дано ощущение границы между нормальным поведением и подлостью. Джумагали, видимо, к таким не относился. Приструнить руками надзирателей того самого «Амир Шакира», к которому он до этой минуты испытывал только почтение, ему казалось делом естественным. Он не нарушал эту границу, он ее не видел.

Когда набежали надзиратели, тоже еще было не все потеряно, и даже когда Джумагали стал жаловаться, что его избивают, Алексей Михайлович пытался его ласково урезонивать: «Что ты, дурачок...», но тот не унимался. И тогда Алексей Михайлович вдруг не выдержал, обычная сдержанность его покинула, возмущение и ярость вырвались наружу, и он бросился на обидчика и доносчика. И сразу же его увели, он получил карцер. А вся камера перестала разговаривать с Джумагали — кажется, по инициативе Урлова. Правы ли мы были? Не слишком ли многого от него требовали? Не знаю, все же он был человеком и понимал, чем грозил товарищу его демарш. А с другой стороны — как можно было теперь ему доверять? Это ведь была и самозащита.

Через два дня при утреннем обходе он попросил перевести его в другую камеру. Надзиратель спросил почему.

— Тут никому со мной не говорит, — ответил он.

— Учитесь жить с людьми, уважать надо людей, — высказал надзиратель то обыкновенное российское житейское правило, которое было усвоено им отнюдь не на Лубянке.

Когда меня вызвали и ясно было, что насовсем, я со всеми сердечно простился, но не с ним — с ним по-прежнему никто не разговаривал. И Алексей Михайлович по-прежнему сидел в карцере — я так с ним и не простился. И этого тоже я не могу простить каракалпакскому Магеллану.

Меня опять привели в бокс и следом за мной принесли мои вещи из камеры. Так же, как раньше, когда меня отправляли в Институт Сербского. Но на этом сходство кончилось. Теперь меня повели не во двор к «воронку», а еще ниже — по-видимому, в подвал. Туда, где помешались камеры осужденных. В той, где я оказался, кроме меня было

уже три человека (может, их было больше, но мне запомнилось, что три). Своих приговоров никто еще не знал — объявлять их должны были начать с минуты на минуту. Естественно, все мысли были только об этом. Но, несмотря на всю напряженность обстановки, мы знакомились и разговаривали. А что мы еще могли делать?

Кто были эти люди? Точно я помню фамилию только одного из них. Это был старый большевик Рузер — но и его имени-отчества я не запомнил. Потом я о нем читал, что он был одним из организаторов большевистского переворота в Одессе. Теперь он был художником. За что он был арестован — при его биографии спрашивать не надо, а осужден он был за то, что однажды в 1910 году, где-то за границей проголосовал за резолюцию центристов — черт его дернул об этом упомянуть. Впрочем, не упомянул бы — прицепились бы к чему-нибудь другому.

Вторым был фронтовой офицер, а до и после войны — футболист команды «Крылья Советов», — человек приятный, скромный и по ощущению естественно-порядочный. Как его звали, к сожалению, не помню. Вред, нанесенный им социализму, был более ощутимым — сам того не зная, он нарушил закрытость общества. Ибо, пройдя с боями несколько стран, он имел наглость делиться с товарищами впечатлениями о тамошней технике и благоустроенности жизни. Его никто не предупреждал, что это — то что видела вся армия, весь народ — секрет, не подлежащий разглашению. Естественно, обвинение по статье 58/10 — антисоветская агитация, состоящая в восхвалении заграничного образа жизни — было «как на него пошито».

Был там еще парень, моего примерно возраста, страстный радиолобитель — это его и погубило. Саша — так его, кажется, звали — ехал то ли с Урала, то ли из Сибири к брату-офицеру, служившему в Ужгороде. Остановился на пару дней в гостинице «Москва», и там в номере ему на его горе попался оставленный кем-то экземпляр журнала «Британский союзник». И в этом журнале он обнаружил заинтересовавшую его радиосхему. Вернее, ее половину. Вторая была обещана в следующем номере, за которым желающие, если они не смогут его купить в киосках «Союзпечати», приглашались зайти в редакцию по следующему адресу. Кажется, это был адрес британского посольства. Ничего

странного Саша в этом предложении не увидел. Англичане были нашими союзниками, журнал распространялся вполне легально, нашел он этот журнал чуть ли не в главном московском отеле, где останавливались ответственные работники, — почему не зайти? И зашел.

Англичанин дал ему журнал, пристально на него посмотрел и спросил:

— А вы не боитесь, что вас схватят, когда вы выйдете отсюда? Может быть, лучше я вас вывезу на машине?

Саша удивился: кто его будет хватать? Зачем? Провокационные разговоры. И — вышел. И вот теперь ждал приговора.

Потом этот «политик», видимо, наслушавшись, как надо жить в лагере, быстро ссучился. Уже в Свердловске, вызвавшись с приятелем помочь Рuzеру поднести вещи — тот был уже в летах, — он воспользовался тем, что на пересылке попал с ним в разные камеры, и вещи эти не вернул, присвоил. Еще весело подвел под это идеологическую базу — прокричал что-то антисемитское. Словно бы русского в этих обстоятельствах он бы не ограбил. Но всего этого он пока не знал — как все, ждал приговора. Кстати, как юридически ему оформили обвинение, я не помню — неужто шпионаж присобачили?

Первым для зачтения приговора вызвали меня. Вызывали уже без всяких предосторожностей и даже не по фамилии. А просто так: «Давайте вы». Отвели меня в какой-то кабинет неподалеку, там за столом сидел высокий, широкоплечий, но не ухарского, а канцелярского вида человек в очках. Спросил фамилию и, получив ответ, велел надзирателям меня увести назад:

— Этого потом.

И меня вернули в камеру без приговора. Потом по одному стали брать остальных. Футболиста приговорили к восьми годам лагерей. Остальных — тоже к лагерю, но сроков я не помню. Хлопали двери других камер — людей водили за приговорами и возвращали уже с ними. Последним повели меня.

И я узнал, что постановлением Особого совещания при министре Госбезопасности СССР от 14 августа 1948 года я приговорен к высылке из города Москвы сроком на три года.

Приговор по тогдашнему времени более, чем мягкий. Ведь даже не ссылка в определенное место, а только высылка из определенного места. По точному смыслу постановления я мог жить, где угодно, только не в Москве. Из-за этого меня и вызвали последним — чтоб я имел возможность выбрать себе место поселения. Я выбрал какую-то из ближних областей. Человек в очках — видимо, из-за необычности приговора — согласился. Но на следующий день он вызвал меня опять и сказал, что ближние области исключаются, что я могу выбирать только вот из этого списка областей. И показал мне список, куда не входила ни одна область Европейской части. Я выбрал Новосибирскую область, имея в виду поселиться в Новосибирске. Но не вышло. Забегая вперед, скажу, что Новосибирское управление это мое право выбора проигнорировало — видимо, был такой приговор, но не было института высылки — и включило в общий поток ссыльных — отправило туда, куда в данный момент отправляло очередной этап — и я попал в деревню Чумаково Михайловского района. Сегодня я об этом нисколько не жалею.

Но все это было месяца через полтора. А пока мы сидели в камере и ждали этапа — готовились к более чем «нежеланному путешествию в Сибирь». Разговоров особых не помню — каждый рассказывал свою историю, о которых здесь уже шла речь. Только однажды Рузер в ответ на мои сложные разглагольствования о ситуации, оправдывающей Сталина (разговор был как бы наедине — других он не интересовал), процитировал мне что-то из Маркса, напрочь опрокидывающее все мои построения. Фразу эту я долго помнил, но и забыл давно — такие ли фразы мне пришлось потом слышать, читать, произносить и писать. Но впечатление помню. Оно было разительным. Вероятно, с высоты сегодняшнего понимания к самому этому факту можно отнестись с отнюдь не бесосновательным ехидством — дескать, теперь говорите такое, а кто этого Сталина допустил? — но все равно тогда эта фраза многого стоила. Во всяком случае была ближе к истине, чем то, что нес я.

Но долго нас держать на лубянских хлебах никто не собирался — страна (в лице ГУЛАГа) нуждалась в «рабсиле», и дня через два, а именно 2 сентября 1948 года (я запомнил дату), каждому выдали из кладовой его вещи (мне мою

многострадальную корзину), из канцелярии деньги, оставшиеся на его счету (у меня оставалось копеек шестьдесят), и вывели нас во двор. Здесь нас уже поджидали «воронки» (кажется, два). Приводили и из других камер. Постепенно собралась маленькая толпа эков. Было несколько «вояк», власовцев и просто пленных. Садясь в «воронки», они затеяли перепалку с надзирателями, стали их на прощание оскорблять, понося их вместе с Лубянкой. Надзиратели не оставались в долгу. А за Лубянку один из них вступился так:

— Дурак! Еще в лагере вспомнишь Лубянку добрым словом.

Отчасти он не ошибался — в лагерном беспределе строгая регламентированность тюремного обихода (а ведь именно о ней говорил и в основном к ней имел отношение надзиратель) могла иногда показаться и оазисом порядка. Если, конечно, вас там не пытали «следователи по особо важным делам». Но вокруг меня — ни в следственных камерах, ни в предэтапных — лиц, отнесенных к важным, не было. К счастью (для них), все такая же мелюзга, как и я сам.

Содержание

Вступление	5
------------------	---

Часть первая. ДО ВОЙНЫ

Начало детства: среда обитания.....	12
Дом и город	36
Микрорайон моего детства	48
Постепенное расширение границ мира	49
Край ойкумены	50
Начальные классы — школа и двор	73
Детские игры	135
Начало	165
Маяковский и наша жизнь	170
Последний предвоенный	199
Начало войны. Расставание с Киевом, детством и отрочеством	260

Часть вторая. ЮНОСТЬ

Вступление ко второй части.....	278
Краткое вступление во вторую часть.....	285
Каникулы сорок первого года	287
Симские коррективы-1	318
Поселок и школа	318
Свердловская вылазка.....	354
Симские коррективы-2	374
Родной завод	374
Ввиду невозможности использовать	413

Часть третья. МОСКВА 40-Х

В Москву и Москва 1944 года	458
«Вихри враждебные» и иные	486
Сельвинский	506
Упоение у бездны-1	522
Перед Литинститутом и Литинститут	556
Упоение у бездны-2.....	633
Друзья старшие и иные	679
Расплата	720
Камера № 60.....	787
История Каракалпака Джумагали	835

**Наум Коржавин
В СОБЛАЗНАХ КРОВАВОЙ ЭПОХИ
Книга 1**

Редактор

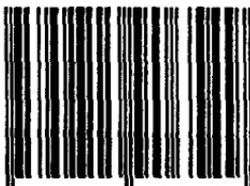
Игорь Захаров

Художник

Григорий Златогоров

Верстка

Кирилл Лачугин



9 785815 906549

Издатель Ирина Евг. Богат
Свидетельство о регистрации
77 № 006722212 от 12.10.2004

121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9
(Рядом с Никитскими Воротами,
отдельный вход в арке)

Тел.: 291-12-17, 258-69-10. Факс: 258-69-09

Наш сайт: www.zakharov.ru

E-mail: info@zakharov.ru

Подписано в печать 16.11.2006. Формат 84×108^{1/32}.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Бумага писчая.
Усл. печ. л. 45,36+0,63 вкл. Тираж 2000 экз. Изд. № 654.
Заказ № 40.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
<http://www.uralprint.ru> e-mail: book@uralprint.ru